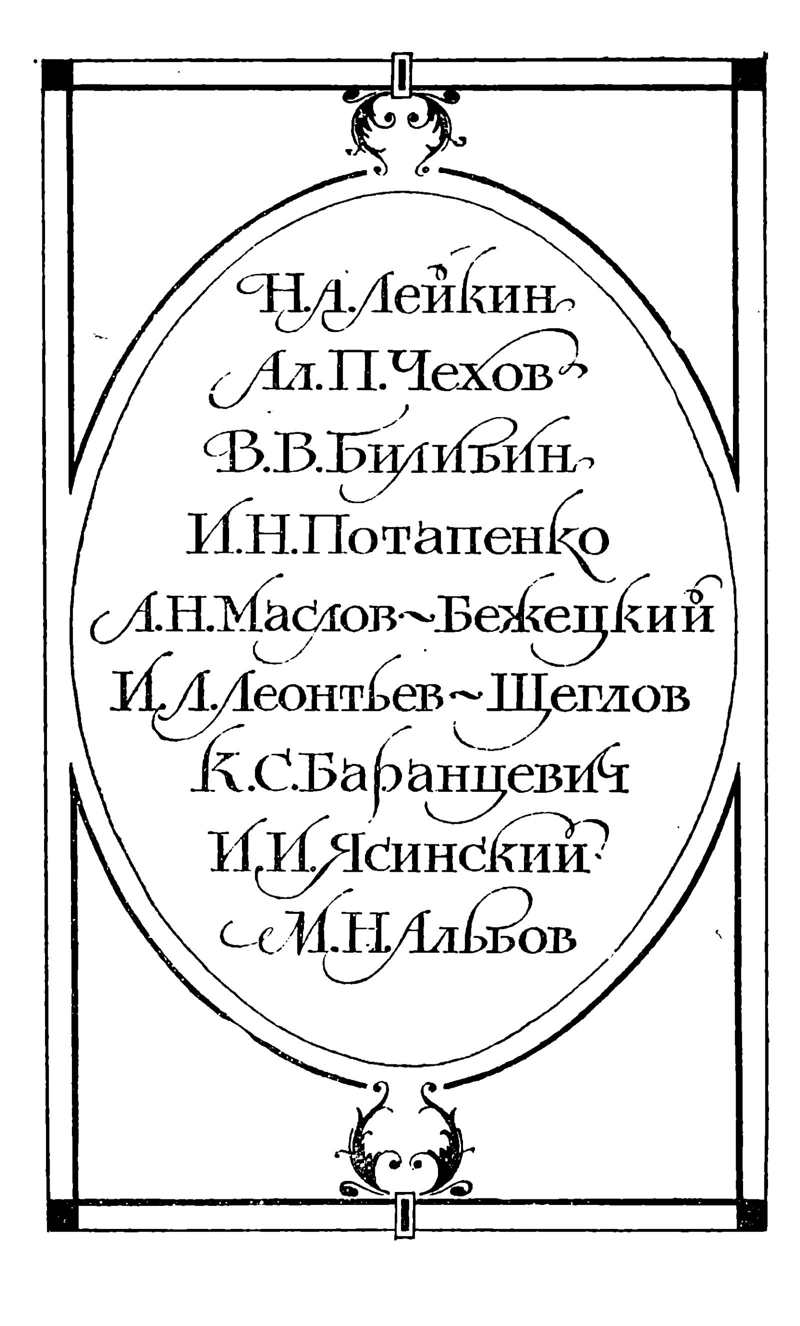
ПИСАТЕЛИ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ


1880


1890

ПИСАТЕЛИ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ



Н.А.Лейкин
Ал.П.Чехов
В.В.Билибин
И.Н.Потапенко
А.Н.Маслов-Бежецкий
И.Л.Леонтьев-Щеглов
К.С.Баранцевич
И.И.Ясинский
М.Н.Альбов

ПИСАТЕЛИ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПИСАТЕЛЕЙ 80—90-х ГОДОВ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р1
П34

Вступительная статья,
составление и комментарии
С. В. БУКЧИНА

Оформление художника
Ю. АЛЕКСЕЕВОЙ

П $\frac{4702010100-043}{028(01)-82}$ 38-82

ЧЕХОВСКАЯ «АРТЕЛЬ»

Литературу делают не только великие писатели. Этот факт всегда признавался ее выдающимися, прогрессивными представителями. В 1912 году в статье из цикла «Издалека» А. М. Горький отмечал: «У нас есть огромная литература «второстепенных», которую мы совсем не знаем и которая может дать и чувству и мысли значительно больше того, что дают сейчас» [1]. Замолвил слово о «забытых» писателях и Л. Н. Толстой: «...по отношению так называемых великих писателей существует большая несправедливость: их знают все, знают все их произведения, среди которых есть много неудачных и просто слабых. А между тем у никому не известных, всеми забытых писателей часто попадаются удивительные вещи, выше многих и многих произведений признанных, а их никто не читает» [2]. Чехов тоже заметил по этому поводу: «В литературе маленькие чины так же необходимы, как и в армии...» (письмо М. В. Киселевой от 14 января 1887 года).

Цель настоящего двухтомника — познакомить современного читателя с произведениями русских беллетристов 80—90-х годов XIX века, и по сей день сохранившими художественную привлекательность. Это были авторы разной степени талантливости и, соответственно, известности. В литературе своего времени они занимали разное положение: некоторые из них, как, скажем, И. Н. Потапенко, были даже знамениты, некоторые — метеором

---

[1] М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. М., Гослитиздат, 1941, с. 418.

[2] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., Гослитиздат, 1959, с. 86.

промелькнули на литературном небосклоне и оказались забытыми еще при жизни. Но все вместе они составляли литературную среду, тот фон, на котором росли, мужали и великие таланты. Так было с А. П. Чеховым. Он, как, пожалуй, никто другой, был теснейшим образом связан с целой группой беллетристов, которую историки литературы называют восьмидесятниками, «скромными реалистами», бытописателями... Эпистолярий Чехова свидетельствует о его многолетних, обширных и весьма близких дружеских контактах с тем же Потапенко, с А. С. Лазаревым-Грузинским, Н. М. Ежовым, В. В. Билибиным, И. Л. Леонтьевым-Щегловым, В. Л. Кигном-Дедловым и другими литераторами, имена которых известны сегодняшнему читателю в основном по биографии Чехова и томам его писем. Его внимание к творчеству беллетристов, не занявших первых мест в истории русской литературы, но в известной степени определявших облик прозы 80—90-х годов, было заинтересованным, активным. История русской литературы знает немало примеров, когда большие писатели протягивали руку помощи молодым и незнаменитым коллегам. Но случай с Чеховым уникален: будучи сам молодым, начинающим писателем, еще вырабатывавшим свою эстетику, формировавшим свои идейные и нравственные убеждения, он добровольно берет на себя обязанности литературного опекуна многих, не только молодых, но и постарше себя, беллетристов. С приходом творческой зрелости эта деятельность Чехова приобретает характер подлинной литературной учебы, которую вольно и невольно проходили у него соприкасавшиеся с ним авторы. Уча и воспитывая других, Чехов одновременно учился и сам на чужом опыте. Воспринимая богатейший опыт титанов русской литературы — Пушкина, Гоголя, Толстого, творчество Чехова одновременно не могло не «отталкиваться» и от произведений писателей своего окружения (в этом убеждает перекличка многих чеховских тем, сюжетов, образов с рассказами авторов, включенных в настоящий двухтомник). Видимо, и по этой причине поиск чеховской мысли, пути эстетического анализа писателя несчетное число раз проходят через произведения тех, кого мы привыкли называть второстепенными и третьестепенными литераторами. Наконец, он был их редактором, критиком, советчиком, рекомендателем их произведений в газеты и журналы.

Беллетристы из чеховского окружения 80—90-х годов представляют интерес и в связи с биографией Чехова, и как явление общественной жизни, и, наконец, как определенное звено в истории русской литературы. «Дело не в отдельных произведениях, не в статистике талантов... Дело в общем характере литературы,— справедливо отмечал И. Эренбург.— В те времена, когда жил Чехов, люди читали не только Чехова, но и Потапенко, Боборыкина,

Баранцевича, Скитальца и многих других средних авторов. Конечно, лучшая часть читателей понимала, что нельзя сравнивать Потапенко с Чеховым или Скитальца с молодым Горьким; но в целом литература соответствовала запросам общества. Писатели, даже весьма посредственные, освещали те вопросы, которые интересовали читателей «Русского богатства» или «Русской мысли» [1].

Сегодня мы являемся свидетелями растущего общественного интереса к, условно говоря, второму и третьему рядам литературы. Подчеркнуть относительность этого обозначения, на наш взгляд, необходимо и потому, что, как показывает время, оценки ряда писателей не всегда бесспорны и долговечны. Отбор в искусстве продолжается бесконечно, укрупняя подлинное и ставя на место малозначительное. Причину же указанного выше интереса, очевидно, следует искать и в назревшей потребности воссоздания максимально полной истории русской литературы, восстановления ее утраченных звеньев, в осознании, по замечанию академика Д. С. Лихачева, невозможности правильно «построить историко-литературную перспективу без изучения какого-либо специального вопроса, без изучения второстепенных и третьестепенных авторов» [2]. Это же имел в виду К. И. Чуковский, когда призывал «издать два-три сборника лучших повестей и рассказов, написанных забытыми беллетристами восьмидесятых — девяностых годов, чтобы современный читатель яснее представил себе, какова была литературная атмосфера тех лет, когда Чехов создавал свои книги» [3].

Более двадцати лет назад была опубликована статья Л. П. Громова, в которой даны достаточно пространные характеристики творчества некоторых литераторов из чеховского окружения 80—90-х годов — Щеглова, Потапенко, Бежецкого, Ясинского, Бибикова. Исследователь дал себе труд познакомиться со многими произведениями прочно забытых писателей, перечитать их в широком сопоставлении с прозой Чехова и сумел отыскать в них «правдивые картины русской жизни 80-х годов... серьезные обличительные нотки... подчас демократические симпатии». Один из выводов Громова также состоит в том, что эти «ценные стороны творческой деятельности беллетристов-восьмидесятников сыграли небольшую, но положительную роль в развитии русской литературы» [4].

---

[1] «Литературная газета», 1957, 12 февраля, № 19.

[2] «Литературная газета», 1974, 18 сентября, № 38.

[3] Корней Чуковский. О Чехове. М., «Художественная литература», 1967, с. 161.

[4] «А. П. Чехов. Сборник статей и материалов». Ростов-на-Дону, 1959, с. 157.

Сегодня пришла пора разобраться в этой роли, представив на суд читателя произведения двадцати одного писателя, созданные почти сто лет назад.

80-е годы XIX столетия... Общеизвестно наименование этой эпохи: «безвременье». Оно пришло на смену революционно-демократическим веяниям 60—70-х годов. Усиление реакции после убийства народовольцами Александра II выразилось и в гонениях на передовую литературу и печать. В 1884 году был закрыт демократический журнал «Отечественные записки». Среди общественных настроений возобладали пессимистические ноты, получила распространение «теория малых дел», многих захватило религиозно-философское учение Л. Н. Толстого. Определяя 80-е годы «по существу», литературовед и социолог, выступавший с позиций субъективного идеализма, назвал их «эпохой общественного мещанства», стоявшей «на трех китах — на теории малых дел, на постепеновстве и на самоусовершенствовании»[1]. Эта характеристика в тех или иных модификациях получила развитие в позднейших работах по истории России, в том числе по истории русской литературы. Вероятно, в ее чрезмерном распространении на целый литературный период следует видеть причину поверхностной оценки одних писателей этого времени и полное игнорирование других. Мы ведь знаем и другую характеристику 80-х годов, данную В. И. Лениным: «...в России не было эпохи, про которую бы до такой степени можно было сказать: «наступила очередь мысли и разума», как про эпоху Александра III! <...> Именно в эту эпоху всего интенсивнее работала русская революционная мысль, создав основы социал-демократического миросозерцания»[2]. Последние десятилетия XIX века прошли под знаком подготовки величайших социальных потрясений, вершиной которых стала революция 1917 года.

В 80-е годы, наряду с обогащением передовой общественной мысли, происходило стремительное развитие экономики России, ее культуры, науки, искусства, чьи достижения стали очевидными в конце 90-х — начале 900-х годов. В сумрачные 80-е годы взошла на литературном небосклоне яркая звезда Чехова и созревал, чтобы вскоре заявить о себе, М. Горький. Другое дело, что прогрессивный общественный процесс шел как бы «внутри», «подспудно», в то время как торжество реакции было явным и абсолютным. Демократические традиции 60—70-х годов казались прерван-

---

[1] Иванов-Разумник. История русской общественной мысли, часть VI. От семидесятых годов к девяностым. Пг., 1918, с. 158—159.

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, с. 331.

ными и даже навсегда утраченными. Отсюда и настроения «безвременья», вся психология идейных шатаний и разброда в «переходную эпоху», когда революционность народничества умирала и перерождалась в либеральные теории, а пролетарское движение еще не проявило себя с достаточной силой.

Проблемы, решавшиеся в 80-е годы, практически пронизывают всю историю русской общественной мысли. Вопрос «что делать?» в конце прошлого века приобрел особую остроту: с чего должна начаться коренная перестройка жизни в лучшую сторону — с глубоких социальных перемен или с переделки личности, «кирпичика» общества? Нравственные искания литературы этого периода определяли прежде всего и созданные ранее и новые произведения корифеев — Толстого, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Достоевского, ставивших сложные общественные, философские, эстетические вопросы времени. На смену им шла плеяда талантливейших писателей, продолживших углубленно-критическое изучение российской действительности,— Чехов, Короленко, Горький, Бунин, Куприн — художники, чье творчество способствовало обновлению реализма не только в русской, но и в мировой литературе. Народнические идеи питали прозу таких известных и тоже пользовавшихся общественным признанием писателей, как Н. Златовратский и Н. Наумов. В этой разнообразной картине литературной жизни эпохи ее специфическим выражением стала трагическая поэзия Надсона, имя которого было на устах мыслящей интеллигенции, передовой молодежи.

Творчество писателей, имевших большее или меньшее отношение к чеховскому окружению, естественно, не было изолировано ни от предшествовавшего, ни от новейшего опыта литературы. Некоторые из них (Лейкин, Ясинский, Альбов, Баранцевич, Бежецкий) начали свой путь намного раньше Чехова. Они и их младшие коллеги вошли в литературу не только испытав творческое воздействие писателей старшего поколения, но и нередко при их чисто человеческой поддержке. Лейкина, Ясинского, Альбова, Щеглова поддержал М. Е. Салтыков-Щедрин, Кигна-Дедлова ободрил И. С. Тургенев, сочувственное слово о первых драматургических опытах Тихонова сказал А. Н. Островский. Известно, какое значение для самого Чехова имело благословляющее письмо Д. В. Григоровича. Писатели из чеховского окружения, вступившие в литературу позже, в первой половине 90-х годов (Авилова, Федоров, Лазаревский), также находились под влиянием и классического наследия, и современной им беллетристики. Разными были и периоды вступления в литературу и творческая ориентация включенных в этот двухтомник авторов (Потапенко, например, отмечал сильное воздействие на него Гоголя, Альбов указывал на До-

стоевского, Щеглов в первых рассказах подражая Толстому). И тем не менее есть все основания говорить об этих писателях как о выразителях эпохи «безвременья». Для старшего поколения литераторов из окружения Чехова, испытавших в молодости влияние революционной атмосферы 60—70-х годов, 80-е годы стали переломным периодом в их творчестве, определившим последующий спад в новой исторической обстановке. Для младшего поколения это была эпоха духовного созревания, идеи и настроения которой также во многом определили судьбу их произведений, оставшихся за чертой времени, когда они были написаны. Писатели же, которые вместе с Чеховым вступили на литературный путь в начале 80-х годов (Леонтьев-Щеглов, Билибин, Тихонов, Бибиков), хотя и испытали на себе воздействие чеховской эстетики, но, не обладая его духовной силой и талантом, не сумели продвинуться вперед идейно и художнически и — как следствие — уже в начале 900-х годов потеряли широкий читательский интерес к своему творчеству. Между тем многие из литературных спутников Чехова начинали творческие биографии интересно, многообещающе.

7 марта 1889 года Чехов писал прозаику и драматургу В. А. Тихонову, желая удачи в работе над новой пьесой: «Чем больше успеха, тем лучше для всего нашего поколения писателей... мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а «восьмидесятые годы» или «конец XIX столетия». Некоторым образом, артель». Ровно через год, 8 марта 1890 года, Тихонов в письме к Чехову вспомнил об этих словах: «Вы когда-то... сопричисляли себя к артели писателей под названием «80-е годы» или «конец XIX столетия»... Я и тогда с Вами согласен не был, а теперь в особенности протестую против этого. Нет, Антон Павлович, Вы в эту артель не годитесь... Не только в качестве равноспособного члена, но даже и вожаком или старостой этой артели зачислить Вас нельзя, потому что на основании артельных начал староста избирается непременно из среды этой же самой артели... А между нами Вы единственно вольный и свободный человек, и душой, и умом, и телом вольный казак» [1]. Надо отдать должное Тихонову: не для всех из литературного окружения Чехова 80-х годов были очевидны значительность и своеобразие его таланта. Но вряд ли только скромность и такт продиктовали Чехову слова о необходимости «усилий целого поколения» писателей. В них прежде всего видится понимание спе-

---

[1] «Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина». Вып. 8. «А. П. Чехов». М., Госполитиздат, 1941, с. 66—67.

цифичности общественного быта эпохи, который должны были попытаться правдиво осветить литераторы, заявившие о себе в конце 70-х — начале 80-х годов. И не только осветить, но и, подобно своим великим предшественникам, «взять» новые художественные высоты. В письме к Тихонову ощутимо желание разделить с современниками ответственность за судьбы времени и его литературы. К этому призывала молодых писателей и демократическая критика, указывавшая на необходимость разрушения тенет восьмидесятничества, опутавших некоторых из них, преодоления философии «малых дел». Н. В. Шелгунов писал в «Очерках русской жизни» о том, что нельзя «превращать в нуль всю умственную работу предыдущих поколений» [1] — то есть пренебрегать революционно-демократическими традициями. В тех же «Очерках» приводится выдержка из статьи Н. К. Михайловского: «Между нашими так называемыми молодыми писателями, бесспорно, есть люди умные и чрезвычайно талантливые. Но они бескрылы, и не только им самим «никогда до облак не подняться», но они желали бы, чтобы и прочие люди жили «помалу, по полсаженки, низком перелетаючи». Комментируя эту характеристику, Шелгунов говорит: «Поколение подобных людей, несомненно, образует общественно-пустое пространство, оно, так сказать, умственный этап, может быть, и необходимый для роздыха, и может быть, и совершенно ненужный минус, но тем не менее это все-таки трещина, которая образовалась на нашем общественном пути, а чтобы перешагнуть через нее, потребуется шаг больше обыкновенного» [2]. Суровый максимализм критиков старшего поколения понятен: он продиктован их духовным потенциалом — 60—70-ми годами. Отсюда и горькие упреки Шелгунова в адрес публицистов, которые в ответ на «страстные вопросы людей, жаждущих деятельности», предлагают «теорию «маленьких дел», «среднего человека» и будущей хорошей погоды, если люди будут скромно дремать на берегу моря!» [3]. Он назвал восьмидесятников «пожертвованным поколением» [4]. Историк литературы С. А. Венгеров, уточняя эту характеристику по отношению к молодым литераторам, писал, что «они-то и пали искупительною жертвою безвремения, они-то и совершают свой жизненный и литературный путь без прочных принципов и идеалов...» [5].

---

[1] Н. В. Шелгунов. Очерки русской жизни. СПб., 1895, стб. 567.

[2] Там же, стб. 923.

[3] Там же, стб. 1090.

[4] Там же.

[5] С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. III. СПб., 1892, с. 257.

Да, эпоха губила таланты. Бросился в пролет петербургской лестницы Гаршин. Спился и умер на улице Николай Успенский. 80-е годы были испытанием для многих художников, и прежде всего молодых. Далеко не все из них сумели перешагнуть через ту «трещину», о которой писал Шелгунов, и выйти обновленными в другие времена. Талант, безусловно, вещь первостепенная, но что он без осознанного совершенствования, необходимость которого отмечал Плеханов[1], без тех самых принципов и идеалов, на отсутствие которых у писателей-восьмидесятников (правда, чересчур категорично) указал Венгеров?

Необходимость, важность выработки общего мировоззрения и общественной позиции художника, в частности, хорошо понимал молодой Чехов. «Кроме изобилия материала и таланта,— писал он 7 января 1889 года А. С. Суворину,— нужно еще кое-что, не менее важное. Нужна возмужалость — это раз; во-вторых, необходимо *чувство личной свободы...»* Ежедневная работа Чехова над собой как личностью, все то, что он называл «штудировкой», дало свои плоды. Высочайшей требовательностью к себе и своим литературным сверстникам дышит его письмо к Суворину от 25 ноября 1892 года: «Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель...»

Можно сказать, что, несмотря на тяжкие сомнения и разочарования, Чехов твердой походкой прошел через опасности и искусы безвременья. Это, кстати, понимали и некоторые литераторы из его окружения. Кигн-Дедлов, отвечая своему приятелю С. Н. Сыромятникову, относившему недостатки их творчества на счет «переходной эпохи», писал: «Что значит воля, доказывает пример Чехова. Рассуждает он насчет переходной эпохи очень мрачно, но он поставлен в необходимость работать, работает, и выходит, при таланте, конечно, прекрасно»[2]. Работать для Чехова было прежде всего двигаться вперед, взрослея духовно, оттачивая мастерство. К этому он постоянно призывал, а то и буквально подталкивал своих коллег. У Чехова было обострено чувство времени, быстротекущего, невосполнимого, требующего от художника максимальной отдачи сил, всей жизни. Ему было всего двадцать восемь лет, когда он написал Лазареву-Грузинскому: «У Вас еще впереди

---

[1] Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. 2. М., Гослитиздат, 1958, с. 359.

[2] Цит. по кн.: Семен Букчин. Дорогой Антон Павлович... Очерки о корреспондентах А. П. Чехова. Минск, «Наука и техника», 1973, с. 103.

будущее (2—3 года), а я переживаю кризис. Если теперь не возьму приза, то уж начну спускаться по наклонной плоскости...» (4 февраля 1888 года).

Разнообразные связи Чехова с членами «артели» имели в конечном счете единственную цель: способствовать прогрессивному развитию отечественной литературы. Отсюда его постоянная забота о писательской этике, об «уважении друг к другу, взаимном доверии и абсолютной честности в отношениях» (К. С. Баранцевичу, 25 апреля 1888 года), об интеллектуальном росте и широте кругозора молодых литераторов, о расширении и обновлении их творческого диапазона. Борясь с благодушным изображением «сытых, довольных людей», с писательской «небрежностью», «малописанием», тяготением к штампу, к стилевой и языковой архаике, Чехов годами не уставал звать своих товарищей по перу вперед. Еще в 1887 году (письмо от 27 октября) он напоминал Ежову: «Вы «начинающий» в полном смысле этого слова и не должны под страхом смертной казни забывать, что каждая строка в настоящем составляет капитал будущего. Если теперь не будете приучать свою руку и свой мозг к дисциплине и к форсированному маршу, если не будете спешить и подструнивать себя, то через 3—4 года будет уже поздно. Я думаю, что Вам и Грузинскому следует ежедневно и подолгу гонять себя на корде. Вы оба мало работаете».

Советы Чехова кем-то воспринимались почти с обидой, другими — с благодарностью. Лазарев-Грузинский, например, вспоминал: «Он открывал мне тайны писательства, до которых без его помощи мне пришлось бы брести ощупью весьма продолжительный срок»[1]. Могли «взять приз» и литераторы из «артели». Это видел Чехов. Это очевидно и для нас, перелистывающих сейчас их произведения. Чего же им не хватило? Таланта? Воли? Эпоха ли виновата? А может быть, дело в той самой духовной свободе, раскрепощенности, которую превыше всего ставил Чехов? Не будем искать ответа на эти «вечные» вопросы. Постараемся понять и оценить то лучшее, что подметил в их творчестве Чехов, что возвращается к нам сегодня как часть его времени.

Юмористический журнал «Осколки» был, по признанию Чехова, его школой, его купелью. Жанр короткого рассказа, точность детали, лаконизм стиля — эти особенности юмористики «Осколков» характерны для творчества основных сотрудников журнала Лей-

---

[1] «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1960, с. 164.

кина и Билибина, у которых поначалу учился Антоша Чехонте, но которые очень скоро стали перенимать опыт и отдельные элементы художественной системы Чехова. Сотни сценок и рассказов, опубликованных издателем журнала Лейкиным, далеко не равноценны. Многие из них представляют собой как бы «моментальные» фотографии «с натуры» самых различных сторон городской жизни: приемная доктора, обед в купеческом семействе, уличная толкотня, трактир, рынок... Это желание передать многообразие быта и его типов в коротких, «осколочных» впечатлениях мы находим и у молодого Чехова («В бане», «В номерах», «В цирульне» и т. д.). Рассказ Лейкина «Птица», несомненно, напомнит читателю чеховскую зарисовку «В Москве на Трубной площади».

В центре лучших рассказов Лейкина, выделяющихся среди поистине безбрежного «моря» купеческих и мещанских нравоописаний,— фигура «Тит Титыча», «хозяина жизни», купца, «завсегда» помнящего о собственной пользе. Лейкин чуточку и любуется колоритностью своего героя («После светлой заутрени»), но он же хорошо знает жестокую, развращающую и убивающую силу денег. Об этом говорит многознаменательный образ Самоглот-Загребаевых, созданный им в одноименном рассказе. Умеет Лейкин остроумно высмеять купеческую ограниченность, жадность, расчетливость, упрямство («Айвазовский», «В гостях у хозяина»). В ряде рассказов сквозь внешне бесстрастную, бытоописательную манеру прямо смотрят на читателя народная нищета и горе. К петербургскому дворнику приходит его односельчанин («Земляк»). Их разговор о деревенских новостях воссоздает ужасающую картину разорения и голода в деревне, где силу забирает кабатчик Митрий Николаич. Очевидной была для Лейкина и метаморфоза либерально настроенного интеллигента, мечтавшего о «свободе слова, свободе печати», но во имя материального преуспеяния пошедшего на сделку с собственной совестью и в итоге оказавшегося на самых реакционных позициях («Кустодиевский»).

Критический дух в «Осколках» 80-х годов значительно поддерживался творчеством Билибина, талант которого поначалу обещал много. Обличительное отношение Билибина к российской действительности сквозит в его юморесках «Из молодых, но ранний», «Под Новый год», «Я и околоточный надзиратель», в которых осмеянию подвергнуты «столпы режима» — прокурор и полицейский. Едкий сарказм отличает пародию «Из записок иностранца о России», где «любимым кушаньем русского мужика» служит «березовая каша», где «литературы... почти не существует, так как письменный русский язык очень труден и надо уметь писать как-то между строчками», где на север «нередко посылают больных, по совету лучших докторов, и даже на казенный счет».

Билибин был особенно чуток к фальши, казенщине, штампу и псевдооригинальности в литературе. В многочисленных пародиях на литературные темы он смеется над казенной, благонамеренной литературой, рецензентской пошлостью, выспренностью декадентской прозы. Знакомясь с пародиями Билибина, читатель наверняка вспомнит о таких вещах молодого Чехова, как «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?», «Мой юбилей», «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь», «Жены артистов», «Контора объявлений Антоши Ч.», «Библиография», «И то и се», «Комические рекламы и объявления» и др.

Перекличка с ранним Чеховым характерна и для рассказов Лазарева-Грузинского, которого вместе с Ежовым дореволюционная критика называла самым последовательным «чеховистом». Лазарев писал Ежову 3 апреля 1887 года: «Попробуй написать страницу в подражание Чехову — и у тебя (у меня и т. д.) *ничего не выйдет»* [1]. Однако следы этих попыток очевидны в таких лаконичных по манере рассказах Лазарева, как «Дипломат» и «Репетитор» (вспомним, кстати, одноименные чеховские рассказы), «Завтра» (здесь отчетливо видны мотивы «Хирургии» и «Сельских эскулапов»). Так же, как чеховский гимназист-репетитор Егор Зиберов, томится с незадачливым, туповатым, но богатеньким учеником герой рассказа Лазарева юный Петухов. А в рассказе «На работу» слышны отзвуки чеховской «Тоски».

Невозможность подражать Чехову, точнее сказать — подражать только внешнему, приемам мастерства, и неумение подняться до его идейного уровня сказались прежде всего на писательском росте Лазарева-Грузинского, практически прекратившемся в начале 90-х годов. Случилось то, о чем предупреждал его Чехов (в письме от 20 октября 1888 года): Лазарев не пошел «форсированным маршем», «прозевал», и его место заняли другие. Но уроки Чехова, которые должны были стать средством для самостоятельного продвижения вперед, оказались благотворными для его раннего творчества. В рассказах этого периода слышны чеховский протест против застойного мещанского существования и сочувствие горькой доле простого человека.

Беллетристы 80—90-х годов постоянно обращались к теме народного быта, положения городских низов, крестьянства. Этой теме посвящены вошедшие в двухтомник рассказы Тихонова-Лугового («Швейцар»), Ал. Чехова («Бабье горе»), Баранцевича («Кляча»), Потапенко («Шестеро»), Лазарева-Грузинского («На работу»), Авиловой («Костры», «На чужбину», «В дороге»). Беспросветна жизнь

---

[1] «Чехов в неизданной переписке современников». Публикация Н. И. Гитович.— «Вопросы литературы», 1960, № 1, с. 99.

их героев: нищета, болезни, тяжкий труд... Судьбу заболевшего швейцара Ивана (рассказ Тихонова-Лугового), выброшенного хозяином на улицу, разделили тысячи бедняков, оторванных от деревни, прошедших солдатчину и вынужденных из-за куска хлеба не только терпеть всевозможные унижения, но попросту вести нечеловеческий образ жизни.

Крестьяне, занесенные судьбой в большой столичный город, пришедшие из разорившейся, голодающей деревни, становились здесь жертвами тяжелейшей эксплуатации, невыносимых условий жизни. Типичную историю из быта нищей петербургской окраины рассказывает Баранцевич в «Кляче». Молодая, полная сил крестьянская девушка выходит замуж «в город», затем многодетная семья, беспробудное пьянство мужа-сапожника, бедность хуже некуда, страшный, убивающий труд на табачной фабрике и ранняя смерть. Такой же несчастной, загнанной «клячей» предстает перед читателем и прачка-поденщица из рассказа Александра Чехова «Бабье горе».

Тяжела жизнь рабочего человека в городе, но там, на его родине, в пореформенной деревне, и вовсе дышать невозможно — все забрали в свои руки кабатчики, кулаки, разбогатевшие дельцы. Выразительными штрихами рисует картину крестьянского разорения Потапенко в рассказе «Шестеро». Бьющая в глаза нищета видна в быту героя рассказа Потапенко — сельского дьякона отца Антония, у которого шестеро детей и смертельно больна жена. Рядом с ним Потапенко рисует колоритные фигуры «священника-помещика» отца Панкратия, богача, держащего в своих руках разнообразную аренду и торговлю, и его начальника, благочинного, отца Иоанна Вселенова, представляющего собой тип сытого либерала. Стяжательство, лицемерие, взяточничество среди духовенства, в том числе и приближенного к самому архиерею, обнажает история стремления бедного и многодетного сельского дьякона получить священнический сан. Правда жизни в рассказе «Шестеро», одной из самых замечательных вещей Потапенко, подымается к высотам лучших произведений русской реалистической прозы. Раскрывшееся здесь мастерство писателя указывает на одну из существенных причин широкого общественного интереса к его творчеству в 80—90-е годы, когда имя Потапенко не только в критике, но и во мнении читателя стояло рядом с именем Чехова. «Шестеро» своим беспощадным реализмом близки к чеховским повестям «Мужики» и «В овраге».

Рисуя правдивые картины народного быта, литераторы из чеховской «артели» одновременно стремились уловить происходящие в нем изменения, спорили о правах и судьбах народа, включаясь в широкую полемику о путях общественного развития Рос-

сии, которая шла в различных, подчас скрытых, неявных формах. Рассказ Авиловой «На чужбину» воспроизводит характерные для эпохи сцены отъезда крестьян-переселенцев из родных мест на восток. Либеральный интеллигент Накатов видит на станции только пьяную толпу, бессмысленные глаза, «безвольного зверя». А когда поезд тронулся, «вдруг опомнившаяся толпа дрогнула, застонала... Самые бессмысленные от вина лица прояснились сознанием; одна и та же мысль, одно и то же чувство выразились во всех глазах... рядом с человеком стоял человек, а в душах этих людей было одно им всем общее, всем одинаковое горе; и горе это было так велико и боль от него так нестерпима, что все то наносное, случайное, все то, что придавало им еще силы и терпения, теперь разом рассеялось, и стояли люди лицом к лицу со своим горем...». Вопрос, заданный сестрой Накатова Катей, «кто виноват?» слышится и в других рассказах Авиловой — «Костры», «В дороге», где нужда, разорение, голод создают картину полного бесправия и безысходного горя народной жизни.

Но эпоха несла и другие веяния — ломку психологии рабства, вековой покорности барам. С трудом сдерживаемую ненависть крестьян, готовую вот-вот обрушиться и на барскую усадьбу, и на голову самого помещика, ощущает герой рассказа Кигна-Дедлова Столбунский («Лес»). Просыпается в крестьянской массе и стремление утвердить свое человеческое достоинство. В этом плане интересен рассказ Вл. И. Немировича-Данченко «С дипломом!». Молодая крестьянка, жаждущая духовного равенства со своим барином-мужем, истинным Обломовым конца XIX века, и отвергнутая им именно потому, что стала «образованной», находит в себе мужество распрямиться, избавиться и от внутреннего холопства, и от ощущения двусмысленности своего положения. Процесс раскрепощения личности в рассказе еще не закончен, он будет продолжаться за его пределами — там, в незнакомом селе, где Анна Тимофеевна будет работать акушеркой. Образ ее достаточно нов для литературы того времени. И вместе с тем он знаменателен: идет процесс духовного высвобождения «низов», осознания ими необходимости жить по-иному. Рассказ Немировича-Данченко появился в 1892 году, когда в литературу вступил Горький, утвердивший тип нового героя — человека из народа, мечтающего о свободной жизни, дорожащего своим достоинством, напряженно размышляющего о ценностях человеческого бытия. Вера в человека, в его творческое призвание на земле, в необходимость нравственной свободы объединяет рассказ Немировича-Данченко и с произведениями Чехова, написанными в первой половине 90-х годов, такими как «Студент», «Рассказ старшего садовника», герой которого говорит: «Веровать в бога не трудно... Нет, вы в человека уверуйте!» Не слу-

чайно признание, сделанное Немировичем-Данченко в своих воспоминаниях: «...новые краски, новые ритмы, новые слова, которые находил для своих рассказов и повестей Чехов, волновали меня с особенной остротой. Мы как будто пользовались одним и тем же жизненным материалом и для одних и тех же целей...»[1]

Несмотря на относительное разнообразие жизненного материала, к которому обращались литераторы чеховской «артели», основной темой их произведений следует все-таки признать интеллигентские искания, попытки нравственного самоопределения тех же героев, которые живут на страницах многих рассказов и повестей Чехова,— студентов, чиновников, врачей, актеров, учителей, помещиков... Беллетристика 80-х годов вывела на сцену характерную фигуру эпохи — молодого интеллигента, испытавшего некоторое воздействие революционно-демократических идей предшествовавшего десятилетия, но запутавшегося и обессилевшего в тенетах восьмидесятничества. Атмосферу идейных интересов и настроений молодежи 80-х годов, переживавшей увлечение народничеством, передает рассказ Бибикова «На лодке». И хотя поэт Хвостов-Трясилин кривляется и фиглярствует, рассказывая о своих знакомствах в литературном мире, но он называет те имена, которые вызывают благоговейное внимание слушателей: Всеволод Гаршин, Глеб Успенский, Каронин, Златовратский, Михайловский... Из этой же молодой среды и герой рассказа Бибикова «Встреча», который после долгих исканий «осел на земле», стал толстовцем. Но и толстовство не принесло удовлетворения: он, жаждавший сближения с народом, чужой среди мужиков, членов общины.

Попытки преодоления пропасти между интеллигенцией и народом были предметом пристального внимания литературы 80—90-х годов. Достаточно вспомнить такие произведения Чехова, как «Студент», «Новая дача», «Моя жизнь», «Дом с мезонином». Чехов не раз показывал ограниченность народолюбия либеральной интеллигенции, ее попыток создания «культурных хозяйств» и духовного развития голодного и раздетого мужика. Эту тему по-своему развивали и литераторы из «артели». Полное фиаско в своих хозяйственных начинаниях потерпели молодые помещики Столбунский и Халевич («Лес» Кигна-Дедлова). Бывшие петербургские либералы, они переродились в самых заурядных эксплуататоров крестьянского труда. Герой рассказа Авиловой «Без привычки»

---

[1] Вл. Ив. Немирович-Данченко. Из прошлого. М., «Academia», 1936, с. 2.

еще стесняется гнать нищую крестьянку из принадлежащей ему рощи, но долго ли продержится он, слабовольный человек, понукаемый сестрой к избавлению от малейшего сочувствия крестьянам? Острое разоблачение либерального «народолюбия» мы видим и в рассказе Авиловой «Костры», где сталкиваются интеллигент, слывущий ревнителем народных интересов, но по сути глубоко равнодушный к судьбам крестьян, с неграмотным мужиком, который оказывается натурой более богатой, тонкой и сердечной. «Как же постичь простой, серый люд, как подойти к нему вплотную?» — мучительно размышляет герой рассказа Жиркевича молодой поручик Сомов (кстати, в чем-то предвосхитивший Ромашова из «Поединка» Куприна). Он мечтает осуществить в армии свои либеральные идеи, но при первом же столкновении с действительностью наказывает солдата розгами.

Герои Бибикова и Жиркевича молоды. И возможно, жизнь их еще повернется иначе. Вряд ли останется надолго в общине Малиновский, натура страстная, ищущая,— через толстовство, как некий духовный этап, прошло немало молодых людей, искавших своего пути в жизни. Но случалось нередко и так, что подобные Сомову «чистые, добрые и хорошие» ломались, превращались под давлением обстоятельств в полную себе противоположность или пополняли ряды «бывших» людей, застывали «на точке», как, например, преподаватель русской словесности Филипп Филиппыч Караваев, герой рассказа Альбова. Своеобразно звучит здесь чеховская тема человека сломанного и забившегося в «футляр», из которого нет исхода. В дореволюционной критике Филиппа Караваева сравнивали с тургеневскими героями: «Это один из идеалистов старого покроя, каких теперь уже немного, отчасти родственник Якова Пасынкова, отчасти — Гамлета Щигровского уезда, только состарившийся...»[1] Таким образом, считалось, что Альбов подхватил тему «лишнего человека», заметно звучавшую в литературе 40—50-х годов, и перенес ее в 60-е годы — это время прямо указано в его рассказе. Но рассказ написан в 1885 году, и в нем отразились настроения именно эпохи «безвременья».

В 60—70-е годы живет и герой рассказа Ежова «Письма без адреса», опубликованного в 1892 году. И в нем, как и в произведении Альбова, совсем не слышно бурного дыхания времени. А есть надрывная боль, тоска по несостоявшейся жизни и презрение к самому себе, неустоявшему, изменившему идеалам юности. Устами героя Ежова говорит само безвременье, усталое, болез-

---

[1] К. Арсеньев. Современные русские беллетристы.— «Вестник Европы», 1888, № 7, с. 256.

венное, надломленное. Перенос же героев из подлинно отвечающей их настроениям эпохи в другую и у Альбова и у Ежова — чисто литературный прием, позволяющий достигнуть определенного «остранения». Но само обращение к подобному типу продиктовано в первую очередь временем создания произведений. Итог, к которому приходят многие разочарованные в жизни герои писателей «безвременья», близок к выводам прожившего долгую жизнь профессора Николая Степановича из чеховской «Скучной истории». Он говорит о своей драме: «Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал... Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь».

«Скучные истории» «хмурых людей» рассказывают беллетристы из чеховской «артели». Об оскудении «дворянских гнезд», идущем параллельно с «убылью души» их владельцев («Лес» Кигна-Дедлова, «С дипломом!» Немировича-Данченко). О браках не по любви, о занятиях, к которым не лежит душа, о жизни — такой далекой от той, что просят ум и сердце. Молодой чиновник Кудряшев женится на дебелой мещанской девице Вареньке и мучается от давящей на него пошлости («Весною» Тихонова). Ему предстоит, судя по всему, та же жизнь, которой живет, задыхаясь в атмосфере мещанских животных интересов, женившийся на купеческой дочери из-за ее приданого доктор Ковров из рассказа Ал. Чехова «Цепи». Читая эти рассказы, нельзя не вспомнить чеховского «Учителя словесности», герой которого с ужасом повторяет: «Меня окружает пошлость и пошлость... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости».

Но вряд ли осуществит учитель словесности Никитин свое намерение бежать из чуждого ему мира. Скорее всего, он не сделает этого — так же, как не сделал доктор Ковров, живущий под одною кровлею с людьми из «темного царства». И тогда может наступить трансформация личности, ее перерождение. Схожий процесс происходит в рассказе Шавровой «Жена цезаря». Правда, исходные позиции героини здесь иные. Легкомысленная, жаждущая развлечений и удовольствий Вава выходит не любя за делающего карьеру чиновника, петербургского «цезаря» (его образ — удачная модификация толстовского Каренина), и душа ее постепенно умирает, погибают ростки всего доброго и живого, всего того, что еще могло бы противостоять стремлению к пустой, бессодержательной светской жизни.

Фальшивая, пустая и бесцельная жизнь вращающейся в высших петербургских сферах Вавы по сути своей сродни тому же быту, который давит и ломает людей в мелкочиновной, мещанско-купеческой среде, к которой принадлежат герои рассказа Ясинского «Граф». С «графом» Румянцевым, жизненные принципы которого, казалось бы, столь непритязательны, тоже происходит своего рода «скучная история». Сама жизнь подводит его к осознанию пустоты своего существования, к неизбежному вопросу о смысле собственного бытия.

Вопрос «зачем я живу?» достаточно сильно звучит в литературе 80—90-х годов. Он теснейшим образом связан с вопросом «что делать?», с проблемой «дела», общественного служения, проблемой, которая, как об этом говорилось в начале статьи, была важнейшей для того периода. В 1889 году в театре Корша был поставлен чеховский «Иванов». Ощущение духовного тупика, безвыходности привело героя пьесы Николая Алексеевича Иванова к самоубийству. «Прогрессивным параличом» жизни назвал драму русского интеллигента известный сатирик и театральный критик В. М. Дорошевич. Причину появления «Ионычей» и людей «в футляре» он видел в отказе от «благороднейших порывов» молодости и в переходе от «Надо переделать мир!» к «Надо тянуть лямку!» [1]. Как это совпадает с признаниями чеховского Иванова о том, что в молодости он «любил, ненавидел и верил не так, как все, работал и надеялся за десятерых, сражался с мельницами, бился лбом об стены» и в тридцать лет оказался уже «с тяжелою головой, с ленивою душой, утомленный, надорванный, надломленный, без веры, без любви, без цели». Проблема, поставленная Чеховым в «Иванове», оказалась шире и значительнее; она выходит за рамки идейного банкротства интеллигенции 80-х годов. Ее развитие мы находим в последующей чеховской драматургии, в позднейших рассказах и повестях Чехова и литераторов из его окружения. Конечно же, чеховское исследование жизни и возможных путей ее перестройки намного глубже и многостороннее, потому что более объемным было чеховское ви́дение мира.

Через год после премьеры «Иванова» была опубликована наделавшая много шума повесть Потапенко «На действительной службе», где писатель пытается исследовать ту же проблему «дела», общественного служения, о которой кипят споры и в произведениях Чехова. «Аптечки» и «библиотечки» — главное «оружие» Лиды Волчаниновой, героини чеховского «Дома с мезонином». С нею спорит художник: «Народ опутан цепью великой, и вы не

---

[1] «Русское слово», 1904, 7 ноября. № 310.

рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья». Герои же Потапенко (Обновленский из повести «На действительной службе», помещик Рачеев из романа 1891 года «Не герой») практически не встречают столь принципиальных оппонентов и успешно преодолевают жизненные затруднения. Но неверно представлять себе творчество Потапенко односторонне-дидактичным, морализаторским, мещански-бодряческим, как пыталась это сделать критика того времени. В том же романе «Не герой» очевидно острокритическое авторское восприятие буржуазно-чиновничьей обстановки Петербурга. Да и социальная философия Рачеева, «наиположительнейшего» героя Потапенко, подана отчасти на грани шаржа, хотел или не хотел того автор. Сатирическая струя остро ощутима в повести Потапенко «Секретарь его превосходительства». Ее герой Николай Алексеевич Погонкин — человек с несомненными способностями. Но на что направлены его ум и энергия? Потапенко мастерски рисует лихорадочную бумажную круговерть, имитирующую некую «высокую» государственную деятельность героя и его покровителя. Деятельность по сути пустую, бесцельную, нелепую. Работодатель и покровитель Погонкина, «его превосходительство», непосредственно не появляющийся на страницах повести, тем не менее живет в ней активной, все подавляющей силой, олицетворяющей косность, бюрократизм, мертвенность эпохи. Крах «его превосходительства» влечет за собою смерть Погонкина. Неизвестно, случайно или с намерением назвал Потапенко своего героя Николаем Алексеевичем, именем чеховского Иванова, вышедшего на сцену за год до опубликования «Секретаря его превосходительства». Гибнут оба героя, люди недюжинных способностей, могущие приносить пользу обществу, но сломленные, запутавшиеся, обессилевшие, в конечном счете — ненужные в эпоху «безвременья».

Примечателен самый факт появления в 1890—1891 годах ряда повестей Потапенко, герои которых — проповедники «малых дел», приспособленцы, карьеристы, неудачники... Писатель пытается нарисовать обширную картину общественных нравов, осмыслить их, отразить парадоксальность бытия и самых понятий, определяющих его нравственные нормы. Очевидно его стремление к анализу «влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры» [1]. В чеховской плеяде 80—90-х годов Потапенко, безусловно, один из одареннейших мастеров, в чьем творчестве нашли подлинно художественное воплощение типы, настроения, идеи эпохи.

---

[1] Н. Г. Чернышовский. Полн. собр. соч., т. III. М., Гослитиздат, 1947, с. 422—423.

Чем сгущеннее атмосфера казенщины и бездуховности, в которой происходит очерствение души, тем острее становятся поиски человеческой гармонии, мечты о духовном подъеме и радостном труде, об ощущении подлинной полноты бытия. Вера в человека, в его духовное пробуждение и высокое социальное призвание заключена в критическом изображении действительности, характерном для лучших произведений беллетристов 80—90-х годов. В. И. Ленин говорил о «революционной роли реакционных периодов» [1]. Пытались литераторы из чеховской «артели» разглядеть нового для них героя — революционера, посвятившего свою жизнь освободительной борьбе. Разумеется, в подцензурной литературе делалось это в осторожных формах. Эта осторожность сохранялась даже тогда, когда речь шла о людях, отошедших от революционной борьбы. Тип бывшего революционера, разочарованного, страдающего от утраты былых идеалов, переживающего ломку мировоззрения, был вызван в литературе 80—90-х годов разгромом народовольческого движения и экспансией идей либерального народничества. Таких людей — по-разному — изобразили Чехов (повесть «Рассказ неизвестного человека») и Альбов (рассказ «О том, как горели дрова», в двухтомник не вошел). Иной тип — в рассказе Баранцевича «Горсточка родной земли», принадлежащем, по мнению В. Г. Короленко, к произведениям, в которых впервые «изображалась психология скитальца революционера» [2]. Образ, созданный Баранцевичем, несколько условен, потому что автор шел не столько от жизни, сколько от чисто литературных представлений о революционере. Герой Баранцевича, суровый, много испытавший в жизни человек, сознательно гасит нахлынувшее на него сентиментальное чувство, чтобы не остановиться, «не размякнуть», не изменить своему делу.

Сильной личностью в эпоху «безвременья» мог выглядеть и человек, живущий на краю опасности, выломившийся из традиционной среды, из общества. Это Махмутка и его сыновья из рассказа Ал. Чехова. Перекликаясь с романтическими образами лермонтовской «Тамани», они одновременно предвосхищают горьковских «босяков», Челкаша, гордо противопоставившего свою вольную жизнь сытому мещанскому существованию.

Подлинные же истоки чистоты и высоты помыслов героев виделись писателям по-прежнему в 60-х годах. Образ юного последователя тургеневского Базарова Гриши Горбачева из повести Ясинского, воплотивший чистоту и искренность юности, видимо, не случайно припомнился писателю в годы «безвременья». Он волновал

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, с. 331.

[2] «В. Г. Короленко о литературе». М., Гослитиздат, 1957, с. 291.

память, говорил об утраченном... И сам Гриша, и полюбившая его девушка, заплатившая жизнью за нежелание жить по законам собственнического мира, предстают чуть идеализированными образами ушедшей эпохи духовности, горения и надежд, которой любили клясться и которую с умилением поминали интеллигенты 80—90-х годов.

Вместе с воспоминаниями о юной поре надежд тусклую и однообразную жизнь героев «безвременья» прорывала магическая, преобразующая сила искусства. Не случайно тема искусства занимает в литературе того периода значительное место: его высокие грезы приходили в жестокое столкновение с прозой реального быта.

Тип русского провинциального актера, увековеченного А. Н. Островским в «Лесе», имел многочисленные вариации в беллетристике конца XIX века. Пожалуй, не было автора, не отдавшего дани этой теме. Среди писателей чеховского окружения ее в особенности развивали Щеглов и Федоров, близко знавшие театральный быт. Образ «кожаного актера» (из одноименного рассказа Леонтьева-Щеглова), замученного грошовыми выступлениями бедняка, в сцене, так живо напомнившей ему его собственное горькое существование, вырастает в трагическую фигуру. Было всего несколько минут, когда талантливый человек забыл о своей нищете и страданиях, поднялся на высоты искусства и в полную силу заявил о горе человеческом. И сразу же за этим следует гибель «кожаного актера». «Кожаный актер» наверняка напомнит читателю такого же несчастного, но истинного театрального подвижника из рассказа Чехова «Барон», у которого был один высокий миг, когда из своей будки он произнес слова голосом «почти настоящего Гамлета». Этот миг подлинного искусства был оплачен дорогой ценой: барона выгоняют из театра. И он, видимо, скоро погибнет, так же как погиб «кожаный актер» Щеглова. Мечты о «благородном искусстве» и падение «со ступеньки на ступеньку» — в исповеди трагика Ларского (рассказ Федорова «Гастролеры»). Здесь слились сотни судеб «кожаных актеров», «баронов» и других Несчастливцевых. «...Он рассказал мне довольно обычную повесть из жизни русского провинциального актера,— говорит автор,— но трагизм ее от этого нисколько не уменьшился...»

В произведениях эпохи «безвременья» они живут рядом — зовущее к чистой и прекрасной жизни и любви искусство и убийственная проза мелкого, ничтожного существования, губящего все высокие порывы. Этот разлад оказался невыносимым для служащего в захолустной Мухрованской крепости поручика Степурина,

героя высоко оцененного Чеховым рассказа Щеглова «Миньона». Судьба безродной девочки Миньоны воспринимается Степуриным как самое близкое и дорогое: она так же одинока и заброшена, как и он в своей «глухой и безрадостной жизни». Бесцельное существование столкнулось с мечтой и любовью, озаренной высоким идеалом искусства. Не выдержав этого столкновения («Куда идти?.. Чего теперь ждать! К чему жить?!»), поручик Степурин застрелился.

Так терпит крах любовь в выморочном мире, где вместо людей их жалкие подобия, отталкивающие призраки. То же пошлое окружение вечно пьяных, ограниченных людей, среди которых жил поручик Степурин, становится во время болезни вдруг очевидным и мучительным для капитана Иловлина, героя рассказа Маслова-Бежецкого «Тиф». А любовь, подлинная, возвышенная, высвобождающая человека из мира мелких страстей и пошлых интересов, оказывается иллюзией. Реальность и видения во время болезни слились воедино, и Иловлину кажется, что между ним и юной армянкой Мариам «произошла целая жизненная драма». Образ Мариам, женственный, лирический, становится в рассказе символом той настоящей жизни, которой должны жить люди и на которую совсем не похож их нынешний быт — с попойками, сальными разговорами, душевной опустошенностью, озлоблением. И потому смерть Мариам сделала жизнь Иловлина ужасающе бессмысленной.

Очевидна перекличка произведения Маслова-Бежецкого с появившимся позднее одноименным рассказом Чехова, герой которого, поручик Климов, переживает во время болезни схожие фантастические видения, а после выздоровления узнает о смерти заразившейся от него восемнадцатилетней сестры и испытывает «чувство невозвратимой потери». У обоих героев болезнь как бы обострила зрение, раскрыла глаза на несовершенство жизни.

Любовь как духовное спасение, как возможность разорвать тоскливо однообразное кольцо будней не часто посещает героев произведений беллетристов 80—90-х годов. Она скорее живет в них как неосуществимая, недостижимая мечта. На маленькой станции Заболотье молодой телеграфист Кудрявцев, по прозвищу Тютик (рассказ Федорова «Нерв прогресса»), грезит о «каком-то необычайном счастье, которое должно было свалиться на него, как с неба». Его старший товарищ по службе Барбашев уже прожил период молодых мечтаний и надежд; он пьет, опустился, чувствуя себя заброшенным, никому не нужным. Прекрасные мечты уступили реальности: унылая комната с телеграфным аппаратом, пьяные выкрики начальника станции, беспросветность убогого быта, который Барбашеву хочется разбить и растоптать, «мстя за

свою раздавленную жизнь и судьбу». В самом приеме рассказа — пролетающих мимо поездах, увозящих куда-то далеко яркую красивую, наполненную жизнь,— видится сходство «Нерва прогресса» с рассказом Чехова «На подводе».

Ощущение проходящей мимо жизни иногда может быть и спрятанным очень глубоко, таящимся под маской внешнего спокойствия и благополучия — как у земского врача Федора Петровича Орлова, героя рассказа Лазаревского «Доктор». История его любви, достаточно тривиальная, нанесла ему травму все той же пошлостью и стала раной, не заживающей долгие годы... Герои Лазаревского вообще много и подолгу рассуждают о любви, об отношениях мужчины и женщины. Листов и Ольга из рассказа «В лесу» приходят к выводу, что «любовь самое дорогое и для мужчины и для женщины» чувство. Но вопреки этому убеждению и личная драматическая ситуация и, возможно, народнические верования толкают Ольгу на неожиданный поступок: она выходит замуж за человека, которого не любит,— живущего в деревне школьного учителя Зарудного. Скорее всего, Ольгу и ее мужа ждет тот же финал, к которому пришли в своей попытке опрощения, сближения с мужиком герои чеховской «Моей жизни»...

Монолог подлинной любви, страдающей и возвышенной, не омраченной пошлостью, не отягощенной «идейными» соображениями, звучит в рассказе Авиловой «Забытые письма». В нем слышно стремление стать духовно рядом с любимым человеком и в то же время не уронить своего человеческого достоинства, не жертвовать собою как личностью. Чувство вины сближает героиню Авиловой с Листовым (у нее умер муж, у него — жена). Но как далека эта женщина в максимализме своей любви, в том, что Чехов в письме к автору назвал «искренним, почти страстным чувством», от умозрительных построений и эгоистической рефлексии героя Лазаревского. Для нее жизнь «с каждым днем становится желаннее и дороже» только потому, что сердце живет великой, неизбывной, хотя и мучительной любовью.

В письме от 14 января 1887 года к детской писательнице М. В. Киселевой Чехов говорит: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная». Эту правду он настойчиво искал в рукописях и книгах современников, отмечая даже ее крупицы, радуясь уже самому стремлению к ней. Чехов понимал необходимость движения вперед всех литераторов, поэтому, всматриваясь в произведения многих работавших рядом писателей, он всегда с радостью от-

мечал стремление к правде и старался, как только мог, не дать угаснуть таланту.

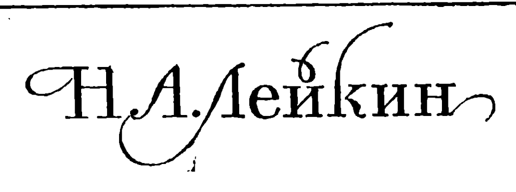
Читателю этого двухтомника, составителем которого в известной степени является и Чехов (в него включены многие заслужившие его одобрительный отзыв произведения), может показаться, что чеховские оценки некоторых вещей завышены или, наоборот, занижены (конечно же, некоторые из них могли быть продиктованы и чисто человеческими соображениями, и литературной тактикой, и какими-то неизвестными нам мотивами). Но будем помнить о том сложном времени, когда они создавались, и поверять их единственною мерою, предложенной самим Чеховым,— «правдой безусловной и честной». Думается, что вслед за известным советским писателем-библиофилом читатель сможет сказать: «...это были тоже одаренные люди со своей судьбой, со своими книгами, со своим вкладом, пусть скромным, в литературу», и произведения их «помогают... глубже почувствовать чеховскую эпоху» [1].

И действительно: разве это не главное в судьбе писателя — суметь поделиться не только с современником, но и с читателем «века грядущего» правдой о своем времени?..

С. Букчин

---

[1] Вл. Лидин. Друзья мои — книги. М., «Книга», 1966, с. 246—249.



ПТИЦА

Вербная неделя. На одном из столиков, поставленных на галерее Гостиного двора, приютился продавец чучел птиц. Над разными мелкими чижами, снегирями, кобчиками и совами высится громадный орел, сидящий на скале с распростертыми крыльями. Орел придавил когтями какую-то маленькую пичужку и сбирается ее клевать. Около чучельника особенная толпа. Все смотрят на хорошо сделанную громадную птицу, прицениваются, но никто ее не покупает.

— Птица важная! — восклицает купец в барашковой шубе, крытой синим сукном.— Почем за птицу-то грабите? — спрашивает он.

— За орла двадцать рублей,— отвечает продавец.

— Двадцать рублей? Сшутил тоже! Да за двадцать-то рублей я себе целого живого барана куплю, а тут дохлая птица и ничего больше. А я так думал, что ежели зелененькую посулить и пожертвовать, то в самый раз будет. А галки почем?

— За галку три рубля взять можно.

— Еще того лучше! Приходи ко мне на извозчичий двор на Лиговку, я тебе два десятка за три-то рубля предоставлю. Стоит только работникам сказать, так они живо в тенета наловят.

— Тут работа ценится, а не галка.

— Какая работа! Когда тут скотский падеж был, так у меня коновал за полтину поймал галку и прибил ее за

крылья на ворота дома да еще с наговором от несчастия за ту же цену. Марья Тимофевна, купить, что ли, большую-то птицу? Может быть, он спустит цену,— обращается купец к жене.

— Ну уж... Лучше у тальянца пару купидонов купить и на окна поставить. Зачем тебе птица? Ведь ты не чернокнижник, а эти птицы только у чернокнижников.

— А почем ты знаешь? может быть, я и чернокнижником хочу быть, чтоб знать, какая звезда на небе что обозначает. К птице на прибавку куплю шкилет смертный и буду по книжке читать, что у человека внутри есть. Торговаться на птицу-то?

— Ну, вот! Он и в самом деле! Разве можно такие вещи в православном доме иметь? Купи-ко только, так я, ей-ей, сейчас к маменьке на Охту сбегу.

— Не сбежишь, коли хвост пришпилют. Ну, что, господин чучельник, берешь пару зеленых?

— Митрофан Иваныч, да что ты, белены объелся, что ли? Говорю тебе, что дня дома не останусь.

— Врешь, останешься. Я еще так думаю, чтоб над нашей кроватью на стене ее утвердить, и будешь ты спать в лучшем виде наподобие нимфы. Только та при белом лебеде существовала, а ты, как попроще, при сером орле существуй. Почтенный, возьми за птицу-то красненькую,— обращается купец к торговцу.— Уважь. Уж больно мне хочется жену-то подразнить, а двадцать рублей цена несообразная.

— Не могу-с. Восемнадцать рублей, ежели хотите, я возьму, а дешевле, ей-ей, нельзя.

— Ну, значит, не рука, разойдемся. Был бы пьян, так купил, потому в хмельном образе я назло жене и сторублевые зеркала бил, а теперь тверезый. Разойдемся. Адье, господин немец. Ой, бери красненькую с блажного купца! Красненькая большие деньги. На нее к Пасхе три окорока ветчины купить можно да пару десятков крашеных яиц.

Торговец молчит. Купец и купчиха отходят.

Против большой птицы стоит лакей в ливрее и с галуном на шляпе, держит в руках покупки и ожидает барыню, зашедшую в магазин. В толпе, мимо него, двигаются молодая и красивая мамка в шугае и повойнике и рядом с ней горничная с вздернутым носиком. Они тоже останавливаются перед птицей.

— Ай, страсти какие! — восклицает горничная.— Смотри-ко, мамка, какой ястреб выставлен и воробья клюет.

— Это не ястреб, Аннушка, а по-нашему, по-деревенски, оборотень называется, и на чью он крышу прилетит и каркать начнет, тому и смерть приключится,— поясняет горничной мамка.— У нас в деревне как увидят его, так и ждут себе смерти. Но ежели кто до зари сорок пауков успеет убить, тому смерть на три года отдаляется.

— А нам-то не будет худо, что мы на него смотрим? — спрашивает горничная.— Смотри, чтоб у тебя молоко не испортилось.

— Да ведь это не настоящий оборотень, а игрушечный.

К горничной и мамке наклоняется лакей и шепчет:

— Это не оборотень-с, а птица казор, и на тот сюжет он поставлен, чтобы женское коварство изобразить над нашими чувствами. Теперича та самая птичка, что в когтях у казора, мужчинскую судьбу изображает, и как этот самый казор клюет воробья, так точно вы наше сердце расклевываете.

Мамка и горничная улыбаются.

— Ах, оставьте, пожалуйста! Мужчины коварственнее нас,— говорит горничная.— К вам в когти попасться — так сейчас несчастной объявишься.

— Большая ошибка с вашей стороны. Женские когти много страшнее. Мужчина иногда и кулаком действует, но напрямик, а ваша сестра исподтишка норовит.

Молодой детина в новом нагольном тулупе продает раскрашенные портреты иностранных генералов. У него же на столике рамки, фотографические карточки актеров и писателей и так картинки, изображающие немецкие идиллии. К нему подходят пожилая женщина и девушка.

— Есть у вас фотографическая карточка Тургенева? — спрашивает девушка.

— Тургенева?..— заминается детина.— Есть-с. Вот пожалуйте,— предлагает он какую-то карточку с изображением мужчины в усах.

— Да это не Тургенев. И не стыдно тебе надувать!

— Как не Тургенев? Самый настоящий Тургенев. Ведь Тургеневы, сударыня, тоже разные есть. Есть в триках, при всем своем голоножии, есть в сюртуке, а то так и в мужицком костюме. Вот этот самый ходкий, его больше всего покупают.

— Да что ты меня морочишь? Ведь Тургенев не актер, чтобы ему в трико быть.

— Зачем мне вас, сударыня, морочить? А только у нас этот портрет в лучшем виде за Тургенева идет. Вам Петипу [1] не надо ли? В четырех сортах есть. И дешево бы отдал. Вот этот товар в прошлом году куда какой ходовой был, а ныне совсем с рук нейдет. Приелся, что ли, уж и не знаем, право. Нынче все Наума Прокофьева вместо Петипы спрашивают, да где его возьмешь. Будь сотня, в день продать можно бы было. Вот на Науме Прокофьеве это я действительно согрешил и двух литераторов за него продал.

— Так нет Тургенева-то?

— Такого нет, какого вам требуется. И нигде не найдете.

Женщина и девушка отходят.

ПОСЛЕ СВЕТЛОЙ ЗАУТРЕНИ

Богатый ремесленник Панкрат Давыдыч Уховертов только что вернулся в сообществе своего семейства от заутрени в Светлое Воскресенье.

— Христос воскрес! — воскликнул он отворившей ему двери кухарке и начал христосоваться, подставляя ей щеки, но тут же прибавил: — Чего же ты, дура, губами чмокаешь? В стихерах поется «друг друга обымем», а о целовании ничего не сказано.

— Я от чувства-с... Вот вам яичко,— пробормотала кухарка.

— Спасибо. Пелагея Дмитриевна, отдари ее парой яиц из второго сорта,— сказал он жене.

Посланные в церковь для того, чтобы освятить кулич и пасху, мальчики-ученики из церкви еще не возвращались, а потому садиться за стол и разговляться было нельзя. Это несколько разозлило хозяина.

— Вишь, идолы! Поди, остановились где-нибудь на дороге и в чехарду играют,— предположил он.— День-то великий, а то по-настоящему вихры бы натрепать следует.

— Ну, уж оставь для праздника,— остановила его жена.— Лучше я им за это вместо цельных битые яйца дам.

Около стола с яствами ходили хозяйские дети, трогали пальцами окорок ветчины и облизывали пальцы.

— Не сметь трогать ветчины! — кричала на них мать.— Кто до освященной пасхи другой едой разговляется, тот целый год хворать будет.

— Заметила, как со мной Тихонов-то сегодня за заутреней христосовался? — спросил ее хозяин.

— А что?

— Самым нахальным образом, и улыбка эдакая гордая на лице: дескать, плюю я на тебя, я теперь сам хозяйствую и вовсе тебя уважать не намерен. А ведь еще полгода тому назад у меня в мастерской работал. Ох, как люди скоро добро забывают! Да еще что! Стал со мной рядом и говорит: «Теперь ежели насчет густой позолоты, то я по своей работе в лучшем виде могу с вами канканировать». Это он-то, со мной!

— Конкурировать, папенька, а не канканировать.— заметил отцу старший сын, гимназист.

— Ну, все равно. Нет, какова дерзость-то!

— Мастеровые, папенька, христосоваться пришли и вот эдакое большое яйцо принесли! — доложил прибежавший из кухни маленький сынишка.

— Ну, скажите на милость, уж и мастеровые от заутрени пришли, а мальчишки все еще шляются! — возгласил хозяин.

— Из второго сорта яиц с мастеровыми-то христосоваться? — спросила жена.

— Конечно, из второго. Баловать не следует. Нешто они понимают? Им было бы яйцо.

— Я не стану с мастеровыми христосоваться! Ну, что даром губы трепать. Я уйду,— сказала старшая дочь.

— Марья, останься! В такие дни гордыню нужно отбросить. Наконец, при чем тут губы? Ты можешь их стиснуть, подставлять мастеровым одни щеки. Авось насквозь не процелуют.

Вошли мастеровые в новых кафтанах и сибирках и поднесли хозяину громадное точеное яйцо. Волосы их были жирно смазаны, а потому в комнате запахло деревянным маслом.

— Христос воскрес! Воистину! — послышались возгласы, и началось чмоканье, которое буквально длилось несколько минут.

Мастеровые, начиная с хозяина, переходили от старшего к младшему члену семейства. Каждый член семейства, опуская руку в корзину, вынимал оттуда яйцо и оделял их.

— Не видали мальчишек с куличами? — спросил хозяин.

— Нет, не видали. Да неужто они, стервецы, еще не пришли? Вы, Панкрат Давыдыч, слишком милостивы и кротки. Вот мы ужо с ними по-свойски!

В комнату вбежали запыхавшиеся мальчишки с узлами, в которых были куличи и пасха. Одного из них мастеровой успел уже схватить за ухо.

— Где болты били до сих пор? Мало вам завтра времени слонов-то водить! — крикнул хозяин.

— Все на улице стояли. Священники долго не выходили святить,— оправдывались мальчики.

— Вы двугривенный-то на блюдо дьячку положили ли, что я вам дал?

— Положили. Как же без этого?

— То-то. А то, пожалуй, на пряники себе ужилили. Смотрите, ведь это грех великий!

— Ей-богу же, положили.

— Ох, воры мальчишки! Только за ними не догляди! Прошлый раз у меня совсем новые голенищи пропали, и это уж их рук дело! — раздался возглас из толпы мастеровых.

Хозяин и все члены семейства дозволили по разу чмокнуть себя мальчишкам в щеки. Хозяйка между тем развязала узлы и кричала:

— Отчего освященные яйца раздавлены? Ведь я вам как есть цельные положила.

— Это не мы, это пьяный мужик какой-то. Поставили мы блюдья на тротуар, а он шел мимо, покачнулся и наступил ногой. Еще драться с нами лез, когда мы заругались,— оправдывались мальчишки.

— Ох, учить вас надо! — произнес хозяин, но тут же перекрестился, сказал «Христос воскрес», отрезал себе кулича, намазал пасхи и принялся есть.— Разговляйтесь, господа, пасхой-то, а в мастерскую потом подадут вам самовар и окорок ветчины.

— Много вам благодарны, Панкрат Давыдыч! Пускай семейство ваше прежде, а мы успеем. Куда нам торопиться? — говорили мастеровые.

2 Заказ 694

Хозяин между тем налил себе рюмку водки, держал ее в руках и, обратясь к ним, сказал:

— Ну, с праздником! На гулянку я вам жертвую две красненькие! Только смотрите не пьянствовать напропалую. Что есть пьянство? В нем бо есть блуд. Так и в Писании сказано. Выпить в праздник можно. Отчего не выпить? Можно и захмелеть, но надо честно, благообразно, с молитвой и помнить о благородстве чувств. Даже и ссору я допускаю, но запивать, пропивать сапоги и одежду — это уже совсем мараль. Отчего в заграничной Европе сего не существует? А ведь и там есть мастеровой народ. Теперича драка... Отчего и не подраться, а выворачивать глаз или ставить друг другу синяки не след. Ну, что за плезир? * Даже и никакой радости нет, а просто одно срамное украшение. Благочестивый муж взглянет и скажет: «Сей человек пьяница, на нем печать беспутства». А что хорошего? И себе телесный ущерб, и другим соблазн на осуждение. Так смотрите, чтобы не пришлось мне из полиции вас выручать, а на Фоминой неделе по кабакам да трактирам вас отыскивать и одежу вашу выкупать. Засим пью ваше здоровье! Поняли? Держите себя на заграничный манер.

— Еще бы не понять! Господи! Неужто мы скоты бесчувственные? — послышалось у мастеровых.

— Ну и ладно. Позоблите куличика с пасхой да и с богом к себе в мастерскую,— закончил хозяин и потянулся к графину, дабы налить себе вторую рюмку водки.

САМОГЛОТ-ЗАГРЕБАЕВЫ

(Краткий современный роман в документах)

I

Ницца

Пишу тебе это письмо, неисчерпаемо добрый Лев Викторович, и сгораю от стыда за свой прошлый грех. Простите вашу блудную жену и позвольте ей по-прежнему поселиться под одним с Вами кровом. Увлечения мои...

---

* удовольствие (от *фр.* plaisir).

Господи! Мне скоро сорок лет, а я говорю о увлечениях! Увлечения мои кончились печально. Ненавистный Вам человек теперь и мне ненавистен. Я навсегда покончила с ним. Он оказался мерзавцем. Я бросила его в Гамбурге, переехала в Ниццу и на днях еду в Петербург. Я в нищете. Больше писать не смею... Умоляю...

Ваша жена

Лариса Самоглот-Загребаева.

II

Отвечаю Вам в нескольких строках, Лариса Петровна... Приезжайте и живите в моем доме... Но простить Вас я пока не могу. Мерзавец Заксмиллер слишком еще жив в моей памяти. Шлю переводом через банкира триста рублей.

Лев Самоглот-Загребаев.

III

(Перевод с французского)

...В Париже Вы ничто, а в Петербурге Вы можете сделать себе карьеру. Вспомните меня и приезжайте. Нам нужен для детей гувернер-француз. Муж не может предоставить Вам большого жалованья, но 1000 р. в год к Вашим услугам. Будете жить у нас на всем готовом. О том, что Вы не дипломированы — не заботьтесь. Но, приехав, вы не должны показывать вида, что мы были знакомы раньше...

. . . .

Лариса Самоглот-Загребаева.

IV

Вы, Лев Викторович, не являетесь ко мне более недели и забыли Ваши обязанности. Ко мне пристают извозчик, портниха... Прислуга требует жалованье... Управляющий ходит каждый день и просит, наступя на горло, уплаты за квартиру. И Вы еще после этого смеете меня ревновать! Непременно приезжайте завтра же и привезите денег, иначе поссоримся.

Пока еще Ваша Сонечка Бучкова.

V

Счет ее превосходительству Ларисе Петровне Самоглот-Загребаевой из магазина торгового дома А. Баволе.

Костюм для прогулки	400	р.	—	к.
Коробочка булавок	1	р.	25	к.
Бальное платье	550	р.	—	к.
За цветы на платье	78	р.	—	к.
Коробочка булавок	1	р.	25	к.
Шубка бархатная с соболями . . .	730	р.	—	к.
Осталось по старому счету . . .	2340	р.	—	к.
Итого:	4100	р.	50	к.
Получено в уплату	350	р.	—	к.
Осталось доплатить	3750	р.	50	к.

VI

Ваше превосходительство, многоуважаемая Лариса Петровна! Вы просили у меня пожертвовать на нужды Ваших бедных, а посему, чувствуя все это до глубины души, препровождаю к Вам при сем тысячу рублей и прошу замолвить за меня словечко у супруга Вашего, так как вся наша подрядчицкая механика в ихней власти.

Потомственный почетный гражданин и 1-й гильдии купец и кавалер *Савва Нагревалов*.

VII

Добрый папаша! Не знаю, как и просить Вас... Я в ужасном положении. Я поставил чужой бланк на векселе, и 7 ноября срок... Спасите... вышлите тысячу рублей... Не погубите Ваше и Вашего сына доброе имя. Я пробовал перехватить у товарищей по полку, но у всех безденежье полное, поэтому бога ради поспешите.

Ваш покорный сын Николай Самоглот-Загребаев.

VIII

Французскому подданному Анри Тюрбо.

Вещи Ваши вышвырнуты из квартиры в сарай. Дабы мне не марать рук о Вашу физиономию, советую Вам самому за ними не являться. Медальон с Вашим портретом,

сорванный мною с шеи той, которую я имею несчастие называть женою, при сем препровождаю. Надпись на портрете — «подлец» сделана моей рукой.

Лев Самоглот-Загребаев.

IX

Левушка мой старенький, но миленький! Я опять без денег. За квартиру нужно, за лошадей, портнихе. Вчера привезли новую коляску и тоже требуют денег... Привези.

Твоя Софи Бучкова.

Отчего тебя вчера в балете не было?

X

Ваше превосходительство, многоуважаемый Лев Викторович!

По поручению артистки Надежды Михайловны Одуванчиковой (по сцене Онежской), имею честь при сем представить Вам поданный ей из нашего магазина счет в 2844 р. 30 к. и просить по оному сделать уплату. Счет признан г-жою Онежской и подписан ею.

Обойный и мебельный фабрикант Оноре.

XI

Вы можете по неделям не видеться с Вашей женой, но все-таки, пока Вы с ней не разведены, обязаны заботиться о том, чтобы она не терпела лишений хоть в своих мелких нуждах. С подательницей этой записки, горничной Машей, пришлите хоть пятьсот рублей.

Лариса Самоглот-Загребаева.

XII

Осмелюсь Вам напомнить, уважаемый Лев Викторович, о карточном долге в 1800 р. Веря Вашему слову, я не записал тогда в клубе Вашего имени в книгу, но вот уже прошло три дня, а уплаты я не получал.

Искренно преданный Ф. Кинд.

XIII

Папаша! За долги меня выгнали из полка. Не с чем выехать в Петербург. Ради бога, вышлите хоть триста рублей.

Ваш сын Н. Самоглот-Загребаев.

XIV

Многоуважаемый Лев Викторович!

Сейчас я узнал конфиденциально, что у нас назначена экстренная ревизия всех сумм. Меня поразило как громом. Что делать? Надо доложить растраченное. Бога ради, ищите скорей где-нибудь денег, иначе мы погибли.

Преданный Вам П. Сыроедов.

XV

Счет из оружейного магазина К. Флинте. Господину Л. В. Самоглот-Загребаеву.

Один револьвер центрального боя. Р. 50.

Деньги верю получить артельщику.

К. Флинте.

XVI

Мы слышали, что в... обнаружена крупная растрата. Заведующий... арестован домашним арестом.

XVII

Вдова и дети действительного статского советника Льва Викторовича Самоглот-Загребаева извещают о кончине первая любезнейшего мужа ее, а вторые отца их, последовавшей сего 17 Января 188... г. Вынос тела покойного из квартиры его для отпевания и погребения на Волковом кладбище имеет быть 20-го Января в 10 час. утра.

С подлинным верно:
Н. Лейкин.

КУСТОДИЕВСКИЙ

(Краткий роман в документах)

I

Добрый друг Леша!

Ты поздравляешь меня с окончанием курса, радуешься, что я кандидат, с университетским дипломом в кармане. Спасибо тебе,— конечно, лучше кончить курс хоть как-нибудь; но я недоволен собой, я разочарован, зачем я филолог, зачем я классик. Теперь надо выбирать дорогу, жизненный путь. А какой мой путь? Поступить на казенную службу я не могу, это было бы против моих принципов, против убеждений. Нет, я не чиновник, я не вицмундирный человек; я враг формалистики, враг всяких рамок, хотя бы и в педагогии. А вдруг еще пришлось бы служить среди взяточников? Ужас! Поступить на частное место... но куда? на какое? Я искалеченный классик. Бегать по домам и вдалбливать ребятишкам то, к чему сам не чувствуешь симпатий? Нет, друг, я этого не в силах... Ты спрашиваешь, как я устроился... Пишу в журналы и газеты; но горек и скуден этот хлеб. Болтать печатный вздор не хочется, а писать то, что хотелось бы,— нельзя. О, боже! Когда же наконец мы дождемся свободы слова, свободы печати!

Прости. Кончаю письмо... Пришла Лиза. Вот ангел-то! Если я живу, то для нее одной. А как любит меня эта трудящаяся девушка!

Твой Рафаил Кустодиевский.

II

Добрый друг Леша!

Я расстался с Лизой... Конечно, на время... Мы решили ждать, пока переменятся наши обстоятельства. Зачем распложать нищих? Лиза едет к вам, в Москву. Она получила там место гувернантки. Она зайдет к тебе и оставит свой адрес. Друг! В случае чего... будь ее защитником в чужом городе... Если можешь, достань ей переводы.

Теперь о себе... Жив, здоров. Решил заниматься естественными науками. Авось, пополню в себе этот пробел. Буду слушать лекции. Странно: в душе я реалист, ненавижу классицизм, а меня сделали классиком! Горько.

Твой Р. Кустодиевский.

III

Ты спрашиваешь: как и что? Живу, существую, друг Леша, но бьюсь как рыба об лед. Предлагают место учителя греческого языка в гимназию... Но нет, это сверх сил моих! Лизе я писал... Как только хоть чуть-чуть изменятся обстоятельства к лучшему — выпишу ее в Петербург и женюсь на ней... Крепко скучаю о ней.

Твой Р. Кустодиевский.

IV

...Прозябаю. Пишу в газеты, пишу много, но редакторы боятся помещать, говорят: чересчур красно. Боже! Да не могу же я им писать сине! Впрочем, теперь приготовляю сына одной богатой вдовы в гимназию. Вдова купца она, фамилия ее — Расбубнова. Дура вдоль и поперек, имеет два каменные дома и, представь себе, начинает за мной ухаживать, делает мне глазки... Писал об этом Лизе. Пусть поревнует.

Твой Кустодиевский.

V

Зачислены на службу по министерству... кандидаты университета: Иванов и Кустодиевский.

VI

Рафаил Кузьмич Кустодиевский и Настасья Даниловна Расбубнова покорнейше просят пожаловать на бракосочетание их в церковь Иоанна Предтечи, а оттуда к обеденному столу и на бал в квартиру кухмистера Королькова, на Гороховой ул., д. № 146.

VII

...Напрасно укоряете Вы меня, Алексей Иванович, в перемене моих убеждений. Но если кто был слеп и прозрел — как тут быть? Вы вспоминаете, что я ненавидел классицизм, а теперь стою за него... Но ведь это были только юношеские заблуждения. Вы сообщаете, что ка-

кая-то Лизавета Ивановна Перехрамова умерла в больнице, но — представьте себе — я даже не помню такой. Впрочем, знавал ли я ее или не знавал, вечная ей память... Сын Ваш являлся ко мне; я, правда, высказал ему мое сожаление, что он поступает на естественный факультет, но что могу — сделаю для него с полной готовностию. Естественные науки я не отрицаю, но они хороши для зрелого ума, а юношей приучают только к вольнодумству...

. . . .

Ваш Р. Кустодиевский.

VIII

В книжный магазин А. П. Куклова.

Рафаил Кузьмич Кустодиевский просил меня возвратить Вам прилагаемый счет для надлежащего исправления. Дело в том, что счет адресован «господину» Р. К. Кустодиевскому, тогда как Рафаил Кузьмич с Нового года произведен в действительные статские советники, и, стало быть, его надо титуловать не «господином», а «его превосходительством». Будьте добры и перепишите.

Ваш слуга Г. Горохов.

IX

М. г. Алексей Иванович!

В ответ на письмо Ваше имею честь Вам объяснить, что просьбу Вашу я никак не могу исполнить. Ходатайство о цензурном пропуске Вашей статьи шло бы вполне вразрез с моими убеждениями. Бесспорно, что статья правдива, но там есть такие мысли, которые не должны быть высказываемы массе, ибо мы уже и так отрываемся от почвы. Возвращаемую Вам статью прочел, впрочем, с большим удовольствием.

Искренно преданный Вам Р. Кустодиевский.

X

...прилагаемые же при сем пятьсот рублей прошу Ваше превосходительство не счесть за взятку. Боже меня покарай, если бы я смел предложить Вам взятку, много-

уважаемый Рафаил Кузьмич. Эти деньги даже не могут назваться и так называемою благодарностию, ибо я и мысли не допускаю, чтоб Вас можно отблагодарить деньгами. Пятьсот рублей суть должное вознаграждение за Ваш труд: Вы приказывали по моему делу, просили, утруждали свою память обо мне, а это труд нелегкий.

. . . .

Примите уверение в искренней преданности к Вам Вашего покорного слуги.

А. Бескровный.

XI

Многоуважаемый Анисим Петрович!

Письмо Ваше получил. Спасибо. Очень рад, что мог быть полезен Вам своим влиянием. Но вот просьба. Я слышал, что у Вас прелестные оранжереи. Пришлите мне несколько пальм и других тропических растений для моей гостиной. Жена так любит растения. Кстати: если Вы еще не сдали Вашу дачу, то я оставляю ее за собой. О цене найма не спрашиваю. Надеюсь, что не заспорим.

Готовый к услугам Р. Кустодиевский.

XII

...Мой совет Вам, уважаемый Алексей Иванович, употребить все Ваши силы для удержания дочери Вашей Варвары в недрах семейства. Женские врачебные курсы, пожалуй, и будут продолжать свое существование, но, скажу Вам откровенно, я не сторонник их. Зачем женщине мудрствовать? Мудрствование приводит девушек к тлетворной гидре неверия, а это расшатывает основы. И труд... Труд женщины должен заключаться в воспитании своих детей, а не в резании лягушек. Вот поэтому-то я советовал бы Вам скорей выдать Вашу дочь Варвару замуж за хорошего, солидного человека, после чего и все эти девичьи бредни у ней сами собой исчезнут.

Ваш слуга Р. Кустодиевский.

С подлинным верно:
Н. Лейкин.

ИМЕНИНЫ СТАРШЕГО ДВОРНИКА

Николин день. Вечер. Старший дворник Николай Данилов справляет «престол» по деревне и день своего ангела. Небольшая комната, треть которой занята русской печкой, переполнена гостями. За ситцевым пологом на кровати попискивают сложенные туда грудные ребята, принесенные с собой гостьями. Сама дворничиха тоже с грудным ребенком у груди. В ее распоряжении только правая рука; ею она наливает гостям в рюмки и стаканы водку и пиво. Упрашивая, чтоб пили, дворничиха то и дело восклицает:

— По рукам, по ногам связал меня ребенок! У людей младенцы как младенцы, лежат себе смирнехонько на постели да покрякивают, а у меня из рук выпустить нельзя. Как положишь, так и заорет благим матом. Кушайте, гости дорогие, груздочков-то да рыжичков... Грибки отменные. Это мелочной лавочник Данилычу взаместо чашки именинной поклонился.

— Да попробуй ты попоить ребенка-то водкой — он и уснет,— советует городовиха, толстая, в чепчике с помятыми лентами и цветами.— Намочи булку вином, да в соску — и распречудесное дело.

— А и то попробовать,— соглашается дворничиха.— Верите ли, ведь смучил он меня. Не идет от груди, да и что ты хочешь.

Гости сидят за столом, уставленным питиями и яствами. Тут пирог с капустой и пирог с черничным вареньем, на тарелках соленые грибы, селедка, мятные пряники и мармелад. Стол и подоконник уставлены бутылками пива и водки. На почетном месте, под образами, сидит городовой, рядом швейцар в ливрее. Подалее два лакея во фраках и белых жилетах играют на медные деньги в орлянку. Какие-то две бабы возятся около самовара, раздувая его хозяйским сапогом. У окна приютился солдат в гвардейском мундире нараспашку, плюет в колки гитары и налаживает струны. Тут же повар с поварихой. Повар лезет через стол к городовому и говорит:

— Емельян Трифоныч... Я так полагаю, что господа теперича ни шиша не стоют... Купцы главное... Как вы чувствуете?

— Купец на первом планте — это действительно,— отвечает городовой.— Теперича барин обнищал. Он только одне неприятности может делать.

— Правильно,— подхватывает дворник.— Барину нониче грош цена. Возьмем праздник — Новый год... Купец три рубля, а барин на полтине норовит отъехать.

— Лучше купца и содержанки на этот счет нет...— прибавляет швейцар.— Кабы у меня по лестнице одни купцы с содержанками жили, то и умирать не надо.

— Постой...— возвышает голос городовой.— Окромя всего прочего, барин кляузе заводка... Из-за них вся интрига... Теперича, ежели взять мирового судью... В каких смыслах у него разборка дел?.. Все господа судятся... Не будь барина — спокой. Офицер тоже нашего брата много тревожит.

— Емельян Трифоныч... Позвольте... Кабы мастеровой народ уничтожили — вот где спокой-то бы был.

— За что на нас такая критика? — послышался пьяный голос около печки, где на лавке полулежал, уткнувшись головой в баранью чуйку и шапку, пиджак с всклокоченной головой.— Коли я столяр, какую такую вы имеете праву?..

— Лежи, лежи, коли уже вино подкосило! — крикнула баба, суетившаяся около самовара, и погрозила кулаком.

— Нет, ты постой... Мастерового человека я не согласен, потому... Петр Великий как любил мастерового человека!

— Верно, верно... От мастерового человека больших препон нет,— согласился городовой.— Мастеровому человеку вдарил по шее — он и молчит. Забунтовал — волоки его в участок.

— Однако ты, брат, участок, иди-ка к себе на угол становиться,— напоминала городовому городовиха.— Сейчас пристав пойдет в обход.

— Врешь... Пристав еще через час... Вот ежели околоточный — так и тот у портерщика на именинах.

— Смотри, Емельян Трифоныч, будет тебе нахлобучка.

— Дура! Да нешто я не мог с поста за подозрительным человеком во двор зайти? Вот и вся механика...

— Врешь, врешь... Коли подозрительный человек во двор вошел — твоя обязанность к дворнику звониться. Иди, иди... А то Николин день, на улице столько пьяных, а ты...

— Иду, иду... Вот пристала-то, словно банный лист...— поднялся с места городовой.

— Не пущу, не пущу без чаю с ромом...— заговорил дворник.

— Чудак человек! Да ведь я приду потом... Пристав пройдет, я и приду... Без четверти в девять он на нашем угле бывает, ну, а вот теперь четверть девятого... Прощай... Компании почтение.

— Господин городовой! Дайте с руки хоть копейку полицейского счастья,— сказал один из лакеев.— Говорят, полицейское не горит, не тонет! Совсем проигрался. На отыгрыш прошу.

— Получай две копейки.

— Мерси... Отыграюсь — пара пива за мной.

Солдат настроил гитару, заиграл и запел:

Ни папаши, ни мамаши,
Нету дома никого,
Нету дома никого,
Полезай скорей в окно...

Пьяный лежал в углу и вдруг заорал совсем не в такт:

— Пропадай моя телега, все четыре колеса!

— Тише ты, полоумный! Чего ты деликатность-то портишь! — крикнула на него баба.

— Мастерового человека обидели — не могу.

Дворник и швейцар провожали городового к дверям. Распахнулась дверь на лестницу, и холодный воздух, ворвавшись в тепло, клубами закрутился по комнате.

— Действительно, купец теперь выше всякого графа стал,— все еще продолжал разговор дворник.— Вот у нас по угловой лестнице... Граф Дербаловский занимает квартиру в пять комнат и по рублю в праздник дворникам дает, а под ним купец Разносов в двенадцати комнатах существует — и синицу [1] отваливает; так кто выше-то: граф или купец?

— Емельян Трифоныч!.. Вернешься сюда опять, так захвати из фруктовой лавки Николаю Данилычу в именинное поднесение винограду,— кричала городовому городовиха.

В дверях показалась кухарка. Она держала в руках форму заливного.

— Люди из гостей, а мы в гости...— затараторила она.— Уж извините, Николай Данилыч, раньше и управиться не могла. Ведь у нас хозяева совсем подлецы... Чем больше у бога праздник, тем хозяйка больше стряпни по

кухне заказывает. С ангелом! Вот уж это вам позвольте взаместо чайной чашки в день именин. Формочку рыбки заливной... Самые лучшие кусочки отобрала и залила.

— Да не студите вы комнату-то! Ребят простудите! — кричала дворничиха и начала целоваться с кухаркой.

За кухаркой ввалилась горничная с завитками на лбу и в шелковом платье.

— Фу! Как здесь накурено-то! Словно немецкий клуб! — возгласила она.— С ангелом, Николай Данилыч... А вас с именинником...

Скинь мантилью, ангел милый,
И явись как божий день...—

запел солдат.

— Это вы мне? Мерси вас,— сказала горничная, сняла платок с плеч и села.

ПРАЗДНИЧНЫЙ

(Сценка)

— Эх, загуляла ты, ежова голова! — восклицает ледащий мужичонко в картузе, надетом козырьком набок, и в рваном полушубке нараспашку, пробирающийся в Ямской, по набережной Лиговки, из кабака в трактир.— Ходи ты, ходи я, ходи милая моя! — приплясывает он на тротуаре, размахивая руками и подмигивая проезжающему извозчику.

— Загулял, земляк? — спрашивает его ласково извозчик.

— Загулял, брат, в лучшем виде загулял. Престол справляем. Праздничные мы по деревне. А я батюшку Покров всегда чудесно помню. Хочешь, пивком попотчую?

— Нет, брат, пей один. На фатеру пробираюсь. В ночь ездил, так надо и поспать.

— Поспать! Кто утром спит? Утром гулять надо. Пойдем попотчую, мы праздничные. Ты думаешь, у нас денег нет? Во... Денег достаточно.

Мужичонко запустил руку в штанину и брякнул медяками.

— Иди-ка ты лучше к своей Анне Палагевне, да и выкури хмель-то тихим манером,— сказал извозчик.

— Я хмель выкуривать? Зачем? Вчера только завел, а сегодня выкуривать? Нет, брат, я старых-то дрождей месяц дожидался. Дрожди завел, и баста... Три дня гулять будем. На то Покров-батюшка. Мы его помним чудесно. У нас вчера по деревне белые пироги пекли, попы с образами ходили. Прокати меня на своей егорьевской, а я тебя пивком...

Извозчик едет далее. Мужичонко продолжает свой путь. Попадается ему кузнец в кожаном переднике и с молотом на плече.

— Никитка! Все еще гуляешь? — улыбается мужичонке кузнец.

— Гуляю, Анисим Макарыч... В лучшем виде гуляю. Праздничные... У нас вчера по деревне престол, так нешто не гулять? Мы батюшку Покров предпочитаем. Пойдем сейчас обнову покупать. Рубаху хочу себе новую ситцевую... А потом спрыснем...

— Ну тя в болото! Я работаю.

— После Покрова да поутру работать! Работа не медведь, в лес не убежит. Пойдем рубаху покупать.

— Какой ты теперь покупщик! Тверезый купишь, а теперь оставь. Купец линючий ситец подсунет.

— Мне подсунет линючий ситец? Нет, брат, я ситец твердо знаю. Вот взял сейчас подол у рубахи в рот, пожевал его на зубу, а потом сплюнул... Не сдал ситец краски — ну, значит, не линючий. А то принес вот из трактира лимончику кусочек...

— Иди-ка ты лучше домой спать, а потом в баню...

— Зачем спать? Я престол справляю. Я праздничный. Анисим Макарыч! Анисим... Ах, чтоб тебя мухи съели! Ушел...— бормотал мужичонко, смотря вслед кузнецу.— Это, стало быть, я опять без компании. Ну, пойдем компанию себе искать.

Мужичонко останавливается перед городовым, хочет вытянуться во фрунт и чуть не падает.

— Чего тебе? — спрашивает городовой.

— Праздничные мы. Престол справляем. А вашему здоровью...

— Проходи, проходи! Нечего тут кривляться-то.

— Господину городовому поклон,— снимает картуз мужичонко.— Кланяюсь твоей чести и угостить тебя

хочу, так как мы, значит, по деревне праздничные. Пойдем, братец, поднесу.

— Я тебе сам так поднесу, что не прочихаешься! Двигайся. Нечего станцию-то делать. Иди, куда шел.

— Это за что же такие шершавые слова, коли мы со всей своей лаской? — недоумевает мужичонко.

— А за то, что не вводи казенного человека в соблазн, когда он на посту стоит.

— Я из-за Покрова-батюшки преподобного. У нас таперь кажинного человека угощают. А мне с казенным человеком любопытно в праздник...

— Праздник вчера был.

— Врешь. Престол у нас о трех днях бывает. Три дня гуляем. У нас по деревне в первый день пироги пекут, во второй оладьи, а в третий блины... Эх, куда нынче как народ во всей своей гордости недвижим стал! Ты, может быть, супротив меня в своей голове павлина содержишь? Так ты гордость-то эту брось. Ты городовой, а я штукатур и со всем своим чувствием...

— Проходи! Проходи! Что за поярец[1] такой, что из себя дурака строишь!

— Мы поярцы? Нет, брат, мы православные християне и все там будем... У нас душа чиста... А Покров я предпочитаю чудесно... Эх, скучно, грустно мне, молодцу, на чужой стороне быть! — воскликнул мужичонко, покрутил головой, отер слезу, махнул рукой и запел: — «Сторона ль моя, сторонушка»...

— Ты горло-то на улице не дери, а то я тебя в участок отправлю! — крикнул ему вслед городовой.

Мужичонко обернулся.

— Сироту-то? Праздничную сироту-то? Что же, отправляй. Заодно уж нам страдать без семьи родной,— сказал он, отирая слезы полой полушубка.— Ну, народ стал ноне! Сам-то ты прежде кто был, пока в городовых не служил? Ведь мужик тоже... А вот теперь с праздничным мужиком выпить не хочешь. А я сирота... Ты думаешь, я себе компанию не найду? Найду, брат, будьте покойны.

Мужичонко плакал пьяными слезами и даже всхлипывал.

— Найду, брат... Эх, загуляла ты, ежова голова бесталанная! — взвизгнул он и поплелся, покачиваясь на ногах, далее.

АЙВАЗОВСКИЙ

(Сценка)

Черный купец сидел по одну сторону стола около чайного прибора и пощелкивал щипчиками, дробя куски сахару на более мелкие части. Рыжий купец помещался по другую сторону стола и просматривал газету, вздетую на палку.

— Ну, что Кобургский? [1] — спросил черный купец рыжего.

— Да ничего сегодня про него не пишут. Второй день уж не пишут. Надо полагать, уж не отменили его. Да и пора. Надоел. Ну что ему мотаться в политическом гарнизоне. Побаловал, да и будет.

— Да нешто это можно, чтобы отменить?

— Отчего же? Бисмарк [2] все может. Погоди, вот конгресс всех нот будет, так и совсем запретят. Из-за чего Бисмарк с Кальноки [3] шушукались-то? Все из-за этого. «Надо, говорят, нам нашего молодца посократить. Достаточно ему мозолить глаза». Довольно. Уж ежели залез, то сиди и пей себе пиво с букивротами, а действовать не смей. Немец немца завсегда послушает.

— Чего ему! Он теперь при генеральском мундире и при шпорах.

— А вот конгресс нот порешит, так и шпоры спилят.

— Уж хоть бы решали скорей. Куда его решат?

— Да куда решить? Решат, я думаю, в Калугу. Этих всех в Калугу решают. Туда и Шамиль решен был [4]. Баттенберга [5] тоже в Калугу везли, да сбежал он с дороги.

Рыжий купец опять углубился в чтение.

— Пей чай-то. Чего тут? Остынет. Вон я кусочков сахару нащипал,— сказал черный купец.

— А вот сейчас, только про Айвазовского юбилей дочту. Юбилей ему устраивают,— отвечал рыжий купец.

— Какой это Айвазовский? Чем он торгует?

— Живописец он, картины водяные пишет.

— О-о! А я думал, наш брат купец.

— Чего ты окаешь-то! Этому стоит юбилей сделать, хоть он и не купец. Главное дело, пятьдесят лет живописного рукомесла день в день выполнил, точка в точку. А это не шутка. Ведь за последнее время у нас все какие юбилеи бывали: семь лет, тринадцать лет, а то так и четыре с половиной. Четырехсполовинойлетний юбилей — нешто это можно. А тут пятьдесят лет! Говорят, он за это

время одного полотна стравил столько, что щеколдинской фабрике в год не сработать.

— Водяные картины, ты говоришь, он писал?

— Только водяные. Вода, вода и вода. Вода и небесы — и ничего больше. И ведь в чем штука: только одну синюю краску и покупал. Разве малость белилами разводил.

— Ну, водяные-то картины не мудрость. Вот ежели бы портреты.

— Не мудрость! Нет, ты попробуй-ка пятьдесят лет подряд все одной и той же синей краской. Ведь он ею, может статься, миллион аршин полотна замазал. Да ведь не зря мазал, а надо тоже так, чтобы выходило что-нибудь. А у него было как. Вот поставишь ты его картину к стене, к примеру, а супротив ее утку пустишь, смотришь, утка-то в картину и лезет, на воду, значит, идет. Уток надувал.

— Т-с... Ну, это действительно. А портретов он не писал?

— Ни боже мой! Только одна вода да небесы. Да он и не умеет портреты... начал, говорят, раз с одного купца писать портрет, глядь, а вместо купца-то не то облизьяна, не то черт, а из пасти фонтал воды льется.

— Скажи на милость!

— Да. Кому уж бог какое упование дал. Другой вот способен только вывески для мелочных лавочек писать, чтобы фрукта была, хлеб, стеариновые свечи, а воду не может. А этот только воду да небесы. Третий и для мелочной лавочки не напишет вывески, а для табачной в лучшем виде. Дай ты ему турку с трубкой написать, либо арапа с цигаркой — напишет, а заставь воду — не может. Ты думаешь, воду-то легко, чтобы по-настоящему выходило?

— Да что говорить!

— А у Айвазовского как угодно. С мальчишек уж руку набил. И ведь что удивительно-то: надо тебе морскую воду — он морскую напишет, надо речную — речная готова. И видишь ты сейчас, что это речная вода, а это морская.

— И на вкус? — спросил черный человек.

— Чудак человек! Как же можно на вкус-то?

— А ежели лизнуть по картине? Ведь морская вода соленая.

— Ах, вот это-то! Так. Да кто ж его знает, может

статься, в морскую-то воду он и прибавлял соли, только я его картины видеть видел, а лизать не лизал. Да ведь и не допустят до этого на выставке. Ну-ка, коли ежели вся публика начнет лизать картину? Что из этого выйдет? До дыр и пролижешь. А его айвазовские картины дорогие.

— И фонтал может написать?

— И фонтал. Глядишь — ну, вот живой, да и только. Такое уж ему от бога умудрение.

— А болотную воду?

— И болотную воду. Одно только — зельтерской воды он не мог ухитриться написать; сколько ни старался — не выходит, да и что ты хочешь!

— Не далось?

— Не может. Пробовал хоть стаканчик — не выходит, да и шабаш. Уж он и так и эдак — нет. Колодезная, ключевая — всякая выходит, а зельтерскую не может.

— А кипяток?

— Кипяток? Кипяток выходит, а самовар не выходит. И так он за пятьдесят лет к этой воде пристрастился, что только о воде и думает, только о воде и разговаривает. Жареного даже ничего не ест, а только варево. Каждый день только уха и уха — в том его и пища. От воды, говорит, я себе капиталы нажил, так ничего мне теперича кроме воды и не надо.

— Капиталы?

— При больших капиталах состоит. В Крыму, в Феодосии, у него большое поместье и тоже стоит на воде. Спереди море, сбоку река, а сзади фонталы ключевой воды бьют. Нынче он городу Феодосии пятьдесят тысяч ведер воды в день на водопровод подарил. «Нате, говорит, пользуйтесь». Гости к нему приедут, а он сейчас водой угощать.

— Ну, это не больно вкусно.

— Так-то оно так, но старичка уважают. Пьют. И ничем ты его не утешишь, как ежели из всех его кадок хоть по рюмке воды выпьешь.

— А у него кадки в доме стоят?

— Никакой мебели, а только кадки стоят, крышками прикрытые, и это взаместо стульев и столов. На кадках все сидят, на кадке с водой простую уху хлебают — вот и все угощение. Потом купаться. Сначала в морской воде все выкупаются, потом в речной и, наконец, в ключевой на загладку. Требовает. Коли уж, говорит, в гости при-

шел, то действуй по-нашему. В чужой монастырь с своим уставом не ходят.

— И как это его умудрило насчет воды?

— Видение было в юности. «Напиши ты, говорит, Ноев потоп, чтоб ничего не было видно, а только одна вода и небесы». Написал, и с тех пор вода, вода и вода.

— Водку-то он пьет ли?

— А то как же? Ведь она тоже вода. Ты водку от воды нешто можешь отличить. По виду ни в жизнь. Лизнешь — ну, дело другое. Водку он пьет. Да ты чего к водке-то подговариваешься? Не хочешь ли уж дербалызнуть? — спросил рыжий купец.

— Следовало бы за здоровье старичка. Как его?..

— Айвазовский.

— Следовало бы за господина водяного живописца Айвазовского.

— Ну, вали!

— Прислужающий! Насыпь-ка нам пару баночек хрустальной! — крикнул трактирному слуге черный купец.

В ГОСТЯХ У ХОЗЯИНА

Был вечер. Два паренька — один в шляпе котелком, другой в фуражке, оба с еле пробивающимися бородками, долго ходили около решетки садика одной из дачек на Черной Речке и все не решались войти в калитку.

— Седьмой час уж... Пойдем к нему... Пора...— сказала наконец шляпа котелком.

— Погоди. Подождем еще немножко... А то скажет, что рано лавку заперли, и будет ругаться,— отвечала фуражка.

— Да ведь сам же он звал нас к себе в гости. «Запретесь в рынке,— говорит,— так приезжайте на дачу».

— Мало ли что звал! А вот приди рано — выругается. Ты его еще не знаешь хорошо-то, а я, слава тебе господи, с мальчиков у него живу. Он яд, а не хозяин.

— Очень хорошо понимаю, что яд, но ты разочти: ведь мы сделали, как он приказывал. Он приказал запереть лавку в пять часов — в пять и заперли. Три четверти часа шли и по конке ехали. Четверть часа здесь маемся. Нет, я уж пойду, а ты как хочешь.

Шляпа котелком решительно махнула рукой и вошла в калитку садика. Фуражка робко последовала за ним. Около куста волчьих ягод в садике сидел толстый купец без сюртука и с непокрытой лысой головой и пил чай. Полная, нарядно одетая дама — жена его — помещалась около самовара.

— Доброго здоровья, Иван Анисимыч... Здравствуйте, Варвара Макаровна...— раскланялась шляпа котелком с купцом и купчихой.

Фуражка тоже раскланивалась.

— Ах, это вы! — сказал купец.— А я и забыл, что вас звал к себе сегодня после запора лавки. Ну, как торговля была?

— Да ведь уж известно, день воскресный, так какая же торговля...— почтительно ответила фуражка и поперхнулась.

— Ну, не скажи... И по воскресеньям может быть хорошая торговля, коли ежели продавцы хорошие, а конечно, коли ежели продавцы к торговле негляжа и только и думают, как бы скорей из лавки удрать, то, само собой, торговли обстоятельной быть не может.

— Мы в пять часов, Иван Анисимыч, заперлись. Как вы приказали, так мы и заперлись.

— А уж до половины-то шестого не могли посидеть из усердия? Посидели бы, а может быть, кто-нибудь на спешку и наклюнулся бы. Теперь, по вечерам, всегда траурный покупатель попадается, а лучше траурного покупателя и не бывает. Траурный покупатель с горя так даже и не торгуется, а что у него запросишь, то он и дает.

— Да уж все в пять-то часов запираться начали.

— Тут-то и сидеть, когда все запираться начали. Прибежит покупатель, а ты его и поймал. Куда он от тебя уйдет, ежели все соседи заперлись?

— Да ведь сами же вы изволили...— оправдывалась шляпа котелком.

— Ну, да уж ладно, ладно,— перебил шляпу купец.— Берите стулья и садитесь к столу. Жена вам по стакану чаю нальет. Стулья можете взять из дачи. Там есть стулья.

Приказчики сходили за стульями и сели около стола. Они сидели как на иголках перед хозяином.

— Попотчевал бы вас коньяком, да ведь, поди, после запора лавки уже забегали вы в трактир и пили?

— Видит бог-с, прямо сюда.

— Ну, ну, ну... Не божись... Варвара Макаровна, плесни им в стаканы коньячишку, только смотри не ошибись, не налей много.

— Да нам даже совсем не надо-с. Зачем коньяк? Бог с ним...

— Ну, ну... Не егози. Ведь уж пьете... Коли ежели бы не пили, то дело другое...

— Потреблять-то потребляем по малости, а только...

— Пей за столом, а не пей за столбом...— наставительно произнес хозяин.

Приказчики покорились своей участи и стали пить чай с коньяком.

— Не люблю я такой извадки, кто из себя невинность разыгрывает,— продолжал хозяин.— Ну, вот дышите теперь легким воздухом-то. А то все жаловались, что вас в городской квартире взаперти держат.

— Когда же мы, Иван Анисимыч, жаловались?..

— Довольно, довольно. Дышите... Что ж не дышите?

— Мы дышим-с. Воздух здесь у вас даже очень прекрасный,— говорила шляпа котелком.

— То-то, я думаю, что тебе не воздух нужен, а баловство. Ты вот теперь сидишь, а у тебя такие мечтания в головном воображении, как бы отсюда улизнуть да скорей в «Аркадию» махнуть, а там с мамзелями...

— Вот как перед истинным, нет во мне такого головного вопля!

— Пей, пей чай-то. Ну, что ж, в шашки мне с тобой сыграть, что ли, для прокламации?

— Ежели прикажете — с большим рвением готов.

— Тащи сюда шашечницу. Она в даче, в первой комнате на окне.

Приказчик отправился и принес доску.

— Ты сколько же мне дашь вперед? — спросил его хозяин.

— Да ведь вы много лучше меня изволите играть.

— Врешь. Вы по вечерам дома как в эту игру насобачились-то! Страсть!

— Одну шашечку вперед могу дать, если вы этого желаете.

— Что одну! Давай две.

— Хорошо, извольте-с. Нам хозяину угодить — первое удовольствие. А только я проиграю-с.

— Так и надо. Неужто же тебе выиграть? Зачем же я оплеванный-то буду?

— Вам ходить-с...

— Схожено. А теперь вот так... Бери шашку-то.

— Взято-с. А теперь извольте сами кушать. Вы скушаете мою шашку, а потом я ваши две съем и в дамки...

— Нет, я этого не хочу...— воспротивился хозяин.

— Да как же-с? Ведь это правило. Пожалуйте...

— Не стану я есть твою шашку. Поставь мою шашку, я другой ход сделаю.

— Этого нельзя-с...

— А я тебе говорю: поставь! Ну?!

— Хорошо, извольте-с...

— Вот я сюда хожу.

— Да ведь здесь загорожено.

— Не твое дело.

Играют. Хозяин все-таки начинает проигрывать.

— Моя дамка,— говорит приказчик.— Я в дамки вышел.

— Врешь.

— Да ведь сами же изволите видеть, где шашка моя стоит.

— Ничего я не вижу.

— Да как же-с...

— Молчи!

— Теперича я должен все ваши шашки есть...

— Посмей...

— Иван Анисимыч...

— Не хочу больше играть. Ну, довольно вам здесь сидеть. Поезжайте домой.

Хозяин сбил шашки. Приказчики поднялись с местов и стали прощаться.

— Да в «Аркадию» у меня не сметь заезжать! — говорил хозяин.— Узнаю завтра от кого-нибудь, что видели вас там, то так уж и ждите, что завтра вам по шее.

— Слушаем-с...— отвечали приказчики и пятились к калитке.

— Кухарку спрошу завтра, в котором часу домой явились. Поняли?

— Поняли-с.

Приказчики юркнули за калитку.

ЗЕМЛЯК

Дворник Калистрат Григорьев только что разнес по жильцам дрова, пришел в дворницкую, сбросил с плеч соломенный тюфячок и хотел завалиться на койку, чтобы поразмять спину, как дверь дворницкой отворилась и на пороге показался корявый и тщедушный мужичонко в заплатанном полушубке, в стоптанных валенках и с котомкой за спиной.

— Калистрата Григорьева бы мне...— начал он робко и, увидав дворника, воскликнул: — Калистрат Григорьич! Да ты это сам и есть!

— Господи, боже мой! Дядя Анисим! Какими судьбами! — удивленно раскрыл глаза дворник.— Когда приехал?

— Да вот сейчас прямо с чугунки.

— Зачем это тебя сюда принесло?

— Ох, уж и не говори! — махнул рукой мужик.— На заработки сюда приехал.

— Какие теперь зимой здесь, в Питере, заработки! До Благовещенья дня никаких тут у нас нет заработков. Кто и жил-то в Питере, так и тот теперь мается.

— Что делать, друг милый, очень уж нас в деревне-то подкосило. То есть так подкосило, так подкосило, что и сказать невозможно.

— Ну, а здесь еще больше подкосит. Один приехал или с бабой?

— Бабу в Москву на заработки отправил.

— Вот дела-то! — развел руками дворник.— Ну, разоблакайся, снимай котомку, присаживайся, коли так.

Мужик, кряхтя и охая, стал снимать котомку.

— Ты пристать-то где же думаешь? — спрашивал дворник.

— Да где пристать! Никого у меня в Питере нету... Будь другом-благодетелем, призри до места. Мне где-нибудь, я хоть в баньке какой ни на есть старенькой на ночлег приткнусь. Так, на задворках где-нибудь.

— Какие в Питере баньки! Ты никак угорел! Нет уж, видно, надо будет старшего попросить, чтобы дозволил тебе вот здесь у нас в дворницкой переночевать.

— Будь другом-благодетелем! Денег всего двугривенный да трешник осталось. Ну, как тут с эдакими деньгами?..

— Да, брат, с двадцатью тремя копейками в Питере немного напляшешь. С чего ж вы это из деревни-то с женой потянулись?

— С голодухи, друг любезный, с голодухи. Очень уж туго нам пришлось. Матушку старушку к дьячку из хлебов в пестуньи к детям поместил, а старик в земской больнице лежать остался. Не знаю уж, и выживет ли... Нутро у него попорчено. Уезжал я, так заходил к нему... Лежит и ничего не понимает.

— Что ж у вас, хлеба не хватило, что ли?

— Где хватит! У нас хлеба и до Покрова не хватило. Работали тут на кабатчика, на Митрия Николаича, а перед Филипповками лошадь пала. Что тут станешь делать! Продали корову, начали на коровьи деньги питаться, что было — проели, а работы никакой... Бились, бились... Эх!

— Дмитрий-то Николаев здоров ли? — спросил дворник.

— Это кабатчик-то? Что ему делается? В гору лезет, разбогател страсть! Ноничe старостой церковным у Рождества. Вот озимь ему продали и приехали сюда,— рассказывал мужик.

— Дети-то у тебя где?

— Дети-то? Да старшенького брат взял из жалости, дочку помещица Марья Кузьминишна у себя из жалости приютила...

— Ну, а еще-то? Ведь еще были дети?

— А двух младшеньких тут около Крещеньева дня бог прибрал... померли. По всей округе ребятишки-то мерли, и наши померли. Захватило, это, горло у них, понесли к фельдшеру... Одного-то донесли, а другой так на дороге и помер. Мальчика вот жалко... Уж такой был мальчик хороший да занятный... Принесли, это, его к фельдшеру, а фельдшер и говорит: «Несите, говорит, его обратно домой и кладите под образа, все равно, говорит, умрет».

— Похоронили, стало быть?

— Похоронили... Да что! Ангельские души... прямо в рай... Хорошо, что хоть матери-то руки развязали, а то куда бы она с ними? Вон кума Марья Тимофеевна Кузнечиха с ребенком на груди, так как мается — страсть. Пошла бы тоже куда-нибудь на заработки, а с ребенком не берут,— ну, ходит кругом да окрест да Христовым именем кусочки собирает.

— Кузнечиха... Да ведь у ней муж есть?

— Есть. Да где его сыщешь? Ушел, непутевый, на заработки в Москву, писем не отписывает, денег не присылает. Билась-билась баба, сначала у учителя стряпушничала, потом Василий Герасимов, лавочник, из хлебов ее

держал, а потом взял да и согнал от себя, так эдак около Спиридона Поворота... Что тут делать? Ну, и пошла побираться.

— Василий Герасимов-то как живет?

— Живет отлично. Он теперича первостатейному купцу не уступит. Дом новый под себя выстроил, шарманку завел.

— И все у крестьян лен скупает?

— Все скупает. И лен скупает, и шкуры скупает, и хлеб скупает. Все у него теперь в кабале. Помещики, которые остались, так и тех закабалил. Вот после поста дочь в город замуж выдавать хочет. Поп ему наш жениха высватал.

— Старик Петр Михайлов у вас жив ли?

— Это кривой-то, что пчелами хвастал?

— Ну, вот, вот...

— По осени в реке утонул. Разбило тут у нас барку с лесом. Начал он лес ловить, да и утонул.

— Царство ему небесное! Тетка Аграфена жива ли?

— Жива-то жива, да что — лучше и не жить! На Михайлов день дотла погорела, три скотины у ней сгорели, а теперь по миру за кусочками пошла.

— Эки дела-то у вас в деревне! — вздохнул дворник.

— Ох, уж и не говори! Кажись, к весне полдеревни сюда в Питер придет. Все сбираются, всем нутро подвело... Приюти ты меня, желанный, пока до заработки-то у себя.

— Да уж что делать! Делать нечего, оставайся покуда. Надо вот только будет старшему сказать! Паспорт у тебя с собой ли?

— С собой, с собой... Как возможно без паспорта.

— Ну, пойдем в трактир. Надо тебя с дороги чаем попоить. Там и потолкуем,— сказал дворник и повел земляка в трактир.





ИЗ МОЛОДЫХ, НО РАННИЙ

(Очерк)

Теплый весенний вечер угасал... Под косыми лучами заходящего солнца березовая аллея рисовалась и темно-зелеными, и огненно-золотистыми пятнами кружевной листвы на ярко-голубом фоне неба... Доносился аромат распустившейся сирени...

На скамейке сидела молоденькая девушка-брюнетка с короткими вьющимися волосами и рассеянно глядела в книгу... Ее мысли носились далеко...

Песок аллеи заскрипел. Показался молодой человек с пробивающимися усиками, одетый франтом, в модных синих брюках, в pince-nez, в широкой соломенной шляпе...

Девушка вскочила со скамейки и вся зарделась.

— Сережа... Сергей Павлович!.. Как вы долго не были... Я думала — больны...— радостно говорила она, сжимая ему руку и глядя в глаза.

— Экзамены, Маня, вы знаете... Ну, теперь, слава богу, с правоведением развязался... покончил... Ваша тетушка дома?..

— У всенощной...

— А что же вы, Маня, не пошли?

— Не хотелось... Сядемте здесь...

Они сели. Он сказал «уф» и, снявши шляпу, обмахивался надушенным носовым платком. Они молчали.

— Что это вы читали, Маня? — спросил он, указывая на книгу.

— Лермонтова... стихи...

— Охота вам всякие пустяки читать,— заметил он.

Они опять молчали.

— Сережа...— начала она.

Они росли почти вместе. Но теперь ей неловко было называть его по-прежнему «Сережа»: теперь он — «большой».

— Сергей Павлович!.. Вы редко у нас бывали в последнее время...

— Занятия все...

И он опять сказал «уф», точно страшно устал. Между нами — «занятия» большею частью происходили у Доротта или Дюссо [1].

— Что же вы, Маня, соскучились обо мне? — шутливо прибавил он.

— Да...— сказала она и опять покраснела.

Он улыбнулся.

Она была так рада, что вот он здесь, говорит с ней. Ей было хорошо... Он глядел на нее. Весенний воздух будил нежные чувства. Ему показалось таким милым это знакомое скромное личико, всегда ласковое... эти чуть приподнятые темные брови, придававшие девушке вид наивного недоумения... и ямочки на розовом бархате полных, почти детских щек... и эти перламутрово-белые зубки... полуоткрытый румяный ротик...

Он знал, что им надо скоро расстаться. Ему стало как будто чего-то жаль...

— У вас сирень, Маня... Рано она нынче распустилась...

— Да... Хотите?.. Я у соседей сорвала...

— Напрасно, Маня,— строго заметил он.— Конечно, это не кража... но все-таки это деяние, несомненно, подходит под понятие самовольного пользования чужим недвижимым имуществом, наказуемого по статье сто сорок пятой устава о наказаниях.

Маня взглянула на него с удивлением и бросила ветку.

— Как вы странно стали говорить, Сергей Павлович,— заметила она.— Точно полицейский...

— Помилуйте!.. Что же общего между юристом и полицейским?..

Он хотел обидеться, но раздумал: ведь они скоро расстанутся. Он взял ее за руку и тихо сказал:

— Маня... А ведь я уезжаю...

— Куда? — с испугом спросила она, даже сжимая его руку от волнения.

— Далеко... в провинцию... Ваша тетушка выхлопотала мне место товарища прокурора...

Она грустно молчала.

— Надо же начинать карьеру,— продолжал он.— Ну, и жалованье около двух с половиною тысяч...

— Кто же этот прокурор — ваш товарищ? Как вы с ним познакомились?

— Это не то совсем, Маня... Он мне вовсе не товарищ... Должность такая в суде... Обвинять...

— Всех обвинять? — с недоумением спросила Маня.

— Ну да; то есть кто предан суду... Закон, правда, предоставляет прокурору отказаться на суде от обвинения... Так и делают иногда либеральные прокуроришки, из университетских... Я не буду... С какой стати?.. Уж раз судебная палата, высшая инстанция, предала суду — значит, есть же основания...

Маня не совсем понимала, что он говорит про инстанцию; но чувствовала, будто он говорит что-то не совсем хорошее.

— Как же это? — горячо заговорила она.— Всех!.. А если он не виноват?.. И вы сами сознаете это... И потом вообще... ведь это страшно — делать всегда так, чтобы человека в тюрьму... или на каторгу... на целую жизнь... Это ужасно!..

— Но если он совершил уголовное правонарушение, Маня?

— Что же... Он — «несчастный»... Знаете, как народ говорит...— с жаром убеждала Маня.— Убийство там или другое... разве он виноват?.. Он больной... Разве может здоровый человек?..

Вновь испеченный товарищ прокурора вскочил с места...

— Я много думала о преступниках,— продолжала свое Маня.— Или вот украл... Ну, когда ему есть было нечего?.. Потом, его не воспитывали... И родители у него бедные, необразованные, грубые... Он не сам виноват... Он...

— Марья Васильевна! — строго перебил ее Сергей Павлович.— Довольно-с!.. Я вижу... вижу... понимаю... Я достаточно проницателен... Не развивайте своих теорий... Я, как представитель закона, не имею права дольше слушать вас... Вы отрицаете весь общественный строй... Страшусь назвать вас настоящим именем... Так вот этот студент с уроками математики!.. Хороша математика... Мне жаль вашей тетушки... и мы росли вместе... А то, по-на-

стоящему... я был бы обязан донести о вас... Прощайте... одумайтесь, пока не поздно... Поклон вашей тетушке...

И он важно удалился, скрипя по песку аллеи. Она грустно поникла головой. В конце аллеи мелькнули синие брюки.

Ей отчего-то живо, живо вспомнилось, как он и она, еще так будто бы недавно, играли в пятнашки...

Солнце закатилось... Потянулся розовато-серый полумрак... Голубое небо бледнело... Верхушки древесной листвы вспыхнули огнисто-пурпурным румянцем...

Маня плакала...

СНОВИДЕНИЯ

СОН БАРЫШНИ

Грот какой-то. Много деревьев с красивыми, широкими листьями. И все розово, розово, розово. Розовый свет, мягкий, чуть мигающий, будто электрический, только розовый. Тепло и пахнет духами...

Посредине большой стол накрыт. Фрукты всякие — и виноград, и персики. А в вазочке горка конфект. И шоколадные есть. Может быть, с ликером! И тянушки!.. Попробовать разве?.. Никого нет... Без спроса неловко... Попробовать разве?..

Она подошла к столу и только что хотела взять тянушку, появился херувим. В белой длинной одежде, волосы белокурые, пробор посредине, крылья. Подошел близко, близко... Крылья мягкие такие... И будто кольдкремом от него пахнет... А сам улыбается ее смущенью...

Она отвернулась... Потом глядит исподлобья — у херувима усы черненькие... и мундир гусарский... А лицо его близко, близко... и все улыбается... Она вся вспыхнула... Рука обвивает... гусар целует, целует... И хорошо, и страшно, и досадно... а гусар все целует...

— Довольно! — крикнула она и проснулась, с пылающими щеками, с сильно бьющимся сердечком...

СОН ЛИТЕРАТОРА

Что за черт! мундир какой-то одет... Фалды, воротник с галуном, фуражка форменная, и на околыше буквы *«с. л.»*. Что за черт!..

Стыдно по улице идти!.. Мальчишки уличные заметили, бегут сзади, пальцами показывают и кричат: «Усь, усь! Столичный литератор! Столичный литератор!»

А старики у ворот стоят и снисходительно улыбаются проказам ребят...

Прибавить шагу... Вот положение! не отстают!.. Бежать надо... Вон навстречу пробежал по другой стороне улицы такой же господин с такой же свитой... Верно, тоже литератор... Сконфуженная какая физиономия...

Хохот на улице... Бежать надо, бежать...

— Куда? — раздался грозный голос.

Глядит, стоит усач.

— Я... я... так бежал... вперед...

— Что-о? вперед?.. Пожалуйте в участок для составления протокола... Да вот, кстати, у вас под мышкою бумаги сверток: верно, новая статейка — посмотрим, посмотрим, любопытно...

— Да помилуйте, какое вы имеете право!

— А-а! р-рассуждать!! — И он свистнул.

Свист все громче, громче, пронзительнее... и в свисте слышится дикий хохот... Темно стало... ни зги не видно... Голова закружилась... И вдруг будто кто-то схватил... чьи-то руки... и чувствует он, что несется, несется куда-то... подбрасывает его, будто на кочках... и точно чей-то ус надоедливо щекочет щеку...

А свист все пронзительнее... ухо режет... а хохот все громче, все наглее... Тьма... душно... масла деревянного запах... душно... воздуху нет... Задыхается...

И он проснулся, обливаясь холодным потом.

СОН КУПЧИХИ

— Жупел, положительно жупел! — думала она, вся дрожа от страха.

Перед нею на полу сидел карапузик, весь в темной шерсти, с большим животом, с козлиными кривыми ногами, голова баранья...

— Ишь, глазищи зеленые... так и сверкают... Пост, а он яйца лопает, окаянный!..

Облупил и трескает. Уставился в нее глазищами. Она хочет двинуться, уйти — боится. Хорошо еще, что страшными словами перестал пугать. Лучше смирно сидеть, не дразнить его...

А он-то все яйца облупливает и трескает! Потом стал в нее скорлупой кидаться. И сам смотрит, что-де она на это скажет; а она молчит, боится... Решила лаской взять.

— Жупел! — говорит...— Жупеленька! Хороший ты мой, гладкий!.. Отпусти ты меня, бедную!.. Вот шел бы к Матрене Савишне, она безбожница, она с приказчиками шуры-муры заводит... Попугай ты ее хорошенько...

А жупел как улыбнется, а ртище у него громадный, и начал он опять:

— Геенна! геенна огненная!.. Кимвалы... Синедрион!.. Цимбалы!.. Архитектура!.. Кафедра!.. Кедр ливанский!..

— Голубчик, миленький, перестань! — взмолила купчиха «жупела», обливаясь холодным потом.

А «жупел» защелкал зубами, изо рта пламя с дымом, когти расправил...

Купчиха вскрикнула и проснулась...

СОН КРЕСТЬЯНИНА

— И за что, то-ись, он меня двинул? — недоумевал он, держась за щеку...— Было бы за дело; ну, тогда, что и толковать, учить надо... А то ведь, на-поди... задаром... шел мимо, да и засветил, здорово живешь...

И ему горько стало ужасно. Выпить захотелось. А денег ни гроша... Горе!.. И вдруг видит он во ржи полуштоф... Пляшет, подлец, ножки тоненькие, как у опенка...

Бросился он полштоф ловить. Так ведь, подлец, между пальцев и проскальзывает... Поймал-таки, подносит ко рту...

— Это ты, брат, што?! — раздался голос.— Водкой балуешь, а недоимки?! Одобряю!..

— Видит бог, отдам... Дай с силами соберусь... отдам... Лошадка околела, сам знаешь...

— А водку пить умеешь? а?.. На водку деньги есть?.. Потом за тебя перед начальством отвечай!..

Тррах!.. Ну, тут уж было за дело — по другой щеке, и ему хотя и больно было, но не обидно, как давеча: потому — за дело...

А тот, отведя душу, ушел...

Жрать-то как хочется... Пузо расперло от мякины, а сытости нет... Хлебушка бы, чистенького...

Ишь ты, чего захотел! хлебушка!.. А недоимки? позабыл? По-омни, брат! А Силаю Кузьмичу долг? А барину из Обираловки?.. То-то... А он вдруг хлебушка!..

Он сам себя упрекнул за вздорные и несообразные желания...

— Попробовать разве дресву?.. Ничего, есть можно...

И он сытно наелся... Славно!..

ИЗ ЗАПИСОК ИНОСТРАНЦА О РОССИИ

От редакции.—Помещая эти «записки», не можем не заметить, что к ним надо относиться весьма осторожно. Автор, очевидно, не был вполне знаком с русским языком и поэтому многие явления нашей жизни толкует совсем в превратном виде.

Россия разделяется на европейскую и азиятскую; но трудно, почти невозможно определить, где собственно кончается Азия *. В азиятской России лежит Сибирь. Там денег мало. Поэтому, когда кто-нибудь наворует много денег, его посылают жить в Сибирь. Таким образом народное богатство уравновешивается. Таких колонизаторов называют «растратившие».

В России есть совсем необитаемые земли. Их раздают всем желающим. Предлагали участок и мне («можете сказать: для постройки дач», советовали просить), но я отказался, потому что, кажется, для этого пришлось бы принять православие. Много есть и девственных лесов, которые очень губит особая порода зверей, так называемые «хищники».

Низший класс народонаселения составляют «мужики» (les moujiks). Они ужасно дики. Занимаются они по преимуществу подделкою двугривенных и часто бунтуют против полицейских властей — особенно их жены, так называемые бабы (см. судебные процессы). Для того чтобы хотя несколько удержать баб в границах повиновения, по деревням расставлены полки «конных урядников», воору-

---

* Эта мысль, сама по себе очень верная, украдена почтенным автором-иностранцем из нашего журнала! Этакая бесцеремонность!! — Примеч. ред. *(Примеч. В. В. Билибина.)*

женных «нагайками». Это очень честные и храбрые воины. Они будут опасными врагами, если Россия начнет войну. Любимым кушаньем русского мужика служат «березовая каша», «суп из осиновой корки» и «кукиш с маслом». Последнее блюдо слишком жирно и неприятного вкуса, я его испробовал в одной деревенской гостинице. Вообще у мужиков очень странный вкус: они совсем не пьют красных вин, а пьют очень крепкую жидкость, которая называется «сивуха», «водка» или «керосин».

Все мужики обязаны платить «недоимки». Что это такое, я не мог хорошенько узнать. Вероятно, особый вид налога, платимого скотом: коровами и т. п. («доить» — «недоимка»). Когда я, в своем путешествии по деревням России, пытался через переводчика расспрашивать мужиков об этом предмете, они только чесались (преимущественно в одном месте) и просили «на чаек», т. е. денег, чтобы выпить водки.

Мужиков отличают от всех прочих тем, что каждый мужик должен иметь «паспорт». Это род фамильных бумаг. Они все пишутся по одному образцу: рост — средний, рот и нос — умеренные, подбородок — круглый, глаза — серые и т. д. Спрос на них, конечно, громадный — мужиков ведь миллионов 70, считайте потом потери и пр. И вот развелись особого рода ремесленники, которые делают эти бумаги по баснословно дешевой цене («паспортисты»).

Есть особый вид мужиков — так называемые самоеды. Они живут совсем на севере, где постоянная ночь и вечный снег. Они запрягают в сани белых медведей и называются *самоедами* потому, что сами себя (т. е. друг друга) едят, по жребию, за полным почти отсутствием пищи.

Впрочем, этот северный климат, должно быть, очень здоров, потому что сюда нередко посылают больных, по совету лучших докторов, и даже на казенный счет. Так меня, по крайней мере, уверял один видный администратор.

Потом замечательны еще чиновники. Это остаток феодального права. Каждый «дворянин» (т. е. благородный) имеет право сделаться чиновником.

Литературы здесь почти не существует, так как письменный русский язык очень труден и надо уметь писать как-то между строчками. Я никак не мог добиться, что это собственно такое. Наиболее распространенные русские газеты: «S.-Petersburger Zeitung» и «Journal de S.-Petersburg».

Русские вообще ужасно любопытны и очень любят интересоваться чужими делами, так что меня предостерегали не говорить слишком много и громко, когда я нахожусь в незнакомом обществе, на улице, в театре и пр.; а то сейчас выйдет так называемая «сплетня» (от глагола «плести», «сплетать», «завязывать», «связывать»). И действительно, я заметил, что русские больше молчат.

Лица более или менее зажиточные очень любят есть, и притом в компании. Поэтому здесь при всяком удобном случае устраиваются «обеды по подписке»: при отставке начальника (очень частое явление), в честь новой шансонетной певицы, в годовщину нашествия Батыя с татарами, в честь десятилетнего юбилея Цетивайо [1] или Араби-паши [2] и пр. Пьют на этих обедах очень много, сначала «за здравие», затем, когда опьянеют, «за упокой» и потом ложатся «на покой», т. е. спать здесь же у обеденного стола.

Благотворительность здесь развита в широких размерах. Я видел в городах множество вывесок с надписями «ссуда денег». Этим делом занимаются преимущественно аристократки. О казенной благотворительности я говорил выше: переселение больных безвозмездно на север, напр. бедных литераторов и пр.

(Продолжение, может быть, будет.)

ПОД НОВЫЙ ГОД

На одной из окраин Петербурга стоит маленький полуразвалившийся деревянный домик, старый и очень скучный на вид.

Однако в ночь на Новый год в этом домике было очень весело, и собрались все молодые. Старый скучный домик как будто даже стал глядеть веселее своими освещенными окошками...

В старом домике много хохотали, пели хором классическое «Gaudeamus igitur»; * надо сознаться, что и выпито было малую толику... Барышни не жеманились, не напрашивались на комплименты, кавалеры не говорили бездушного вздора, а каждый хвалил прямо то, что любил, то, что считал хорошим и честным... Спорили и кричали, смело

* «Будем веселиться» *(лат.)*.

трактуя обо всем и быстро разрешая самые трудные философские и социальные задачи...

Когда пробило двенадцать, дружно, искренно чокнулись...

А какая-то фигура в пальто горохового цвета [1] очень настойчиво дышала свежим воздухом, то останавливаясь, то снова прохаживаясь под окнами.

Эта фигура, очевидно, гадала: есть особый вид русского народного гаданья — подслушивать у окон...

Я И ОКОЛОТОЧНЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ

Я познакомился с ним случайно: он явился ко мне с визитом в не совсем принятое для визитов время, надо правду сказать. Мы были, впрочем, взаимно очень любезны: я ему гостеприимно показал даже мою маленькую коллекцию писем и расположение моей квартиры, а он ласково расспрашивал меня о здоровье и фамилиях моих знакомых, заявил, что он очень любит литературу, сам немножко пописывает и рад со мной познакомиться. Мы расстались еще любезнее, и с тех пор он заходил ко мне иногда поболтать за стаканом чая о том, о сем. Мы откровенничаем.

— А знаете,— говорил он мне однажды, подливая ром в чай,— знаете, говоря откровенно, по душе, я так называемую юмористическую литературу не одобряю... Помилуйте: к чему? Ведь соблазн! Для публики соблазн!

— Да полноте, Станислав Иванович! — возразил я.— Какой же соблазн? Какие у нас и темы возможны! Сами ведь читаете. Совсем ведь уж безобидные. Теща, кассир, интендант... Даже самим и досадно, и грустно...

— Читаю-с, читаю и не одобряю... Вот вы изволите говорить «теща». Во-первых, теща может быть очень честной женщиной, а во-вторых, вы подрываете этими насмешками семейную жизнь, институт брака. Другой бы и женился, да боится теперь тещи. И стыдно ему: знакомые с улыбочкой будут спрашивать о здоровье тещи. А все вы виноваты, юмористы. Вред делаете. Теперь вы говорите «интендант». Да ведь вы возьмите то во внимание, что интенданты суть правительственные чиновники, удостоены, значит, вообще доверия начальства. Вы против начальства, выходит, пишете.

— Да ведь воруют.

— Их и казнят. Но смеяться нельзя-с, подрываете... Или опять «кассир». Да ведь вы, нападая на кассиров, на собственность нападаете.

— Это еще как?

— Конечно-с. Другой бы стал копить деньги, движимость, в банк положил бы, а теперь боится, расточает.

— Да мы-то чем виноваты, что они воруют?

— Раздуваете, нехорошо-с. Нет, я не одобряю. Да вы и вообще без уважения пишете. Нередко читаешь критику и карикатуры даже на генералов. Возможно ли это? Вы с отрицанием и насмешкою обо всем толкуете... Я, знаете ли, говоря откровенно, я бы юмористическую литературу того, похерил бы... Не время смеяться... Там, за границей, другое дело-с, там давно неверие. А у нас народ благочестив и всегда всем сердцем готов, а вы портите. Верно я вам говорю. Не в русских нравах смех. Русский молитву любит. Вот в этаком духе и пишите. О доблестях пишите, военных и гражданских, внушайте печатным словом страх и повиновение, любовь к отчизне, о необходимости военной службы и об умеренности в спиртных напитках также... Ну, наконец, я понимаю, для более образованных читателей возможны разные этакие любовные описания, этакие романы... Отчего нет? Развлечение для усталого от службы духа, и ежели талантливо написана вещь, то даже способствует, склоняя к брачной жизни, увеличению народонаселения, следовательно, государственных доходов...

— Вы, конечно, сами пишете? — перебил я.

Он покраснел и стыдливо сказал:

— Стихи-с... В свободное от занятий время...

— У вас при себе? Покажите, любопытно...

— При себе-с...— И он стыдливо вынул из бокового кармана розовую тетрадку.— Вначале мои первые опыты стихотворства и поэзии... Я переложил в стихотворную форму всех домовладельцев города Санкт-Петербурга... Далее, вот это стихотворение более лирического свойства: я взял мысли дворника, страдающего зубною болью, но принужденного дежурить ночью... Ведь надо же и их пожалеть... Другой раз дашь в зубы, а самому жалко... Служба... Вот это-с небольшая ода в честь частного пристава, вроде Державина... Нет, нет, тех не читайте... Вроде как у Пушкина... Вот я все хотел спросить вас,— робко прибавил он, помолчав,— нельзя ли некоторые тиснуть?

— Где? В «Осколках»? Да ведь вы сами...

— Дух журнала подняли бы...

— Нет, стихи прелестны, звучны, но не подходят к программе...

Он самодовольно улыбнулся и стал пить чай.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАНЫ, «КУДА МАКАР ТЕЛЯТ НЕ ГОНЯЛ»

У нас и в обществе, и в печати до сих пор еще существуют крайне превратные понятия о стране, «куда Макар телят не гонял». Ее представляют себе чем-то ужасным! На самом деле это вовсе не так. Попытаемся установить правильные воззрения на предмет.

В стране той, так как туда Макар телят не гонял, не имеется, очевидно, вовсе телятины. Это во-первых. Поэтому выражение «Эх ты, телятина!» там не принято; вместо него прямо говорят «Эх ты, подписчик!» или «Эх ты, акционер!» и т. д., смотря по обстоятельствам.

Не имея пагубного примера телят перед глазами, местные жители не приходят в телячий восторг от ног приезжей танцорки или иностранной каскадерки. Гласные никогда не обладают телячьими головами. Молодые люди не занимаются телячьими нежностями.

Нет телят, нет, конечно, ни коров, ни быков, ни рогатых мужей. Жители вовсе не знают говядины. Жители варят суп из биллиардных шаров и зубочисток.

Нет там и баранов. Обыватели благоденствуют, ибо никто и в мыслях не имеет их в бараний рог согнуть.

В той стране нет и ни одного несчастного Макара, на которого всегда все шишки валятся.

Чем же эта страна плоха?!

ЯЗЫК ПОЭТОВ

Поэты, как известно, словечка в простоте не скажут. У них в стихах особенный «поэтический» язык.

Свой «поэтический язык» они переносят и в жизнь и потому, по привычке, выражаются так:

Вместо:	*Поэты говорят:*
«Он дал ему пощечину».	«Он коснулся своей дланью его левой ланиты».
«Кормилица кормит грудью господского ребенка».	«Деревенская Церера насыщает млеком своих персей чадо властелинов».
«Он разбил себе нос в кровь».	«И хлынул алый фонтан из фронтона лика».
«Матрену кусают клопы по ночам».	«Под покровом тьмы наглые пасынки природы горячим лобзанием впиваются в нежное тело Хлои».
«Какая сегодня слякоть».	«Хаос небесных сил покрыл стезю топкой влагой».
«Моя жена бранится как кухарка».	«Подруга дней моих прекрасная хулу устами извергает, как Медуза».
«Городовой».	«Страж бдительный на перепутье».
«Пожарный».	«Борец с огненной стихией».

ДЕКАДЕНТСКАЯ ПРОЗА

(Отрывки современной беллетристики)

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Багровое и пузатое солнце скувырнулось с небосклона. Куда? В пучину страдающего прострацией моря. Море зашипело.

На востоке опрокинутой вверх дном небесной чаши переменились постепенно все цвета, чрез которые проходит подставленный под глазом синяк.

Потом небо вздохнуло и погасло.

Выплыла развратная луна.

Лес стоял растрепанный, лохматый и давно не стриженный. В лесу были слышны звуки икоты. Из лесу вырвался и поскакал галопом по полям фиолетовый стон. То зевнул леший.

Над змеевидной лентой реки заклубился кислый туман, точно саван новобрачной.

Беременные лягушки смотрели выпуклыми глазами и слушали брюхом, а не ухом.

РЕВНОСТЬ

Скользкая змея обвилась своими горяче-холодными кольцами вокруг его окровавленного сердца.

Он ощутил невыносимо-острую и вместе с тем волнисто-тупую боль под левыми ребрами.

Ему хотелось хохотать и рыдать, стонать и рычать.

Клубок отвратительно мягких пиявок подступил к горлу.

Ему хотелось быть коршуном, чтобы безжалостными когтями растерзать ее белую, как сливочное масло, грудь.

Какая-то липкая тьма с огненно блещущими точками охватывала его расплавленный мозг.

Он схватил чреватый пулями револьвер, который злобно захохотал у него в руке.

ГЕРОИНЯ

Чудные глаза, изумрудные, стеклоподобные, колючие, магнитные.

Зубы ровные, как фортепианные клавиши.

Нос острый, как кинжал, трепещущий, как птица крылами.

Волосы — бушующий по горбатым камням водопад.

Стан — стройный, как гитара, упруго-мягкий, колыхающийся, как стебель наглого подсолнечника.

Под нежной и тонкой, как папиросная бумага, кожей ее рук вились голубые червяки жилок.

Она была ядовита и безумно-страстна, безгранично-нежна и огненно-вспыльчива.

ЖИЗНЬ

Длинная белая дорога, белая, белая, пыльно-белая.

Человек идет по белой дороге белыми ногами.

Какие-то черные лапы хватают его с обеих сторон дороги за белые ноги. Это — угрызения совести.

Тучи нависли киселем над его головой. Это — думы.

В воздухе лопаются разноцветные пузыри, испуская смрад. Это — убеждения.

В фиолетово-желтой дали молодая дева протягивает к нему свои белые обнаженные руки. Кто ты, молодая? Это — смерть.

СОКРАЩЕННЫЕ ЛИБРЕТТО

АИДА

У египетского военного губернатора жила, при дочери его Амнерисе, гувернанткой иностранка Аида. Амнериса была барышня белокурая, капризная, ветреная, она часто ссорилась со своею гувернанткою (действие 2-е, карт. 1-я) и ходила декольте.

Аида была жгучая брюнетка, любила мечтать при луне на берегу речки и распевать жалостные романсы с очень низкими и с очень высокими нотками (д. 3-е).

Сам генерал пристрастен был к смотрам и парадам, завел даже пожарный духовой оркестр (д. 2-е, карт. 2-я).

В губернаторский дом хаживал гостем молодой капитан Радамес. Он влюбился в гувернантку Аиду, и она в него. Молодые люди, однако, хотя были бедны, но благоразумны: они отложили свадьбу до тех пор, пока Радамес не выиграет 75 000.

Однажды застает их на свидании при луне папенька Аиды, изрядный забулдыга, кабардинец с виду и подлец в душе. Хочет сделать сценку, но удовлетворяется красненькой (д. 3-е).

Между тем загорелась война. Радамес, благодаря протекции Амнерисы, в него влюбленной, попал в интенданты. Отчаявшись выиграть 75 000, он проворовался, был уличен и попал под суд. Судили при закрытых дверях (д. 4-е, карт. 1-я). Приговорили сослать в места не столь

отдаленные от центра земли, а до приведения приговора в исполнение посадили голубчика в дом предварительного заключения (д. 4-е, карт. 2-я).

ФАВОРИТКА

Алеша Карамазов (см. роман Достоевского) был юноша скромный и жил в монастыре у своего старца Зосимы (д. 1-е, карт. 1-я). Только однажды он увидел препикантную бапыньку и втюрился. Познакомились в городском саду (д. 1-е, карт. 2-я).

Грушенька (по опере — Элеонора) была экономкою у губернатора, но, в сущности, стояла на линии губернаторши.

Однажды губернатор давал бал (д. 2-е). Плясали достаточно. Сам исправник с женою почтмейстера исполнил качучу [1]. Старец Зосима, гневаясь на Грушеньку за своего Алешу, явился и наделал скандал (д. 2-е).

В 3-м действии Алеша окончательно отрекается от своего старца Зосимы, поступает в гусары и сватается за Грушеньку, не зная того, что она «на линии». Но местные обыватели все рассказывают Алеше.

Скандал. Сцена из «Птичек певчих» [2].

В 4-м действии Алеша Карамазов, разочаровавшийся в Грушеньке, снова идет в монастырь.

Грушенька, которой в аптеке вместо хинина отпустили по ошибке стрихнина, приходит и умирает.

АФРИКАНКА

Действие 1-е. Васко ди Гама, укротитель львов, приехал с человеком-бомбою (Нелюско) и женщиной-рыбою (Селика) давать представления, но за какое-то дебоширство попал со своею труппою к мировому. Мировой съезд оставил его апелляционную жалобу без последствий.

Действие 2-е. Вся компания отсиживает. Укротитель львов Васко ди Гама, решивший, что здесь страна варварская, изучает географическую карту и маршрут своего будущего путешествия.

Действие 3-е — происходит почему-то на корабле Добровольного флота, перевозящем каторжников на о. Сахалин.

Действие 4-е — в сущности, к опере и не относится, ибо состоит из балета.

Действие 5-е. На даче. Прелюдия выражает томительный зной. Действительно, страшная жара: на солнце 47°, в тени 58°. Собирается гроза.



Ал. П. Чехов

НА МАЯКЕ

Море бушевало и пенилось. Волны набегали одна на другую с белыми гребешками на спине и ударялись об отвесную скалу с такою силою, точно хотели во что бы то ни стало достать маленький домик, приютившийся у высокого маяка на верху скалы, и смыть его так, чтобы от него не осталось и камешка. Но домик и маяк стояли крепко. Брызги волн едва долетали только до фундамента. Дул сильный норд-ост. Чахлые деревца, посаженные вокруг маяка, гнулись и стонали под напором ветра. В домике хлопали ставни. А наверху, сзади, над горным хребтом, точно в насмешку, лениво ползли облака, ползли спокойно и тихо, и как будто назло бушующему ветру, шли в противную сторону. На море буря, а наверху — тишь и гладь и даже обратное течение воздуха. Это явление знакомо кавказцам.

Маяк стоял одиноко на выступе скалы. До ближайшего поселка было одиннадцать верст где-то там, далеко за хребтом. Чтобы пройти туда, надо подняться на гору, пройти перевал и спуститься в долину. В маленьком домике, казавшемся пигмеем сравнительно с гигантом маяком, жил смотритель Лука Евсеевич с семнадцатилетнею дочерью и солдат Фейзулин. Более никого. Впереди море, сзади — горы и ни одной живой души...

В эту бурю Лука Евсеевич стоял у фундамента маяка и смотрел в море. Ветер неистово трепал его платье и жидкие волоски на висках. Брызги волн налетали на него

дождем. Он был без пиджака, в одной рубахе, но и рубаху расстегнул и обнажил грудь так, что на нее дождем падали соленые капли. После каждого удара волн он проводил рукою за пазухой, растирая воду, и повторял:

— За что же, за что? Чем я тебя прогневал, господи?! Нет... надо, надо, надо... Нельзя томить чужую жизнь...

— Фанар зажигать нада, ваш блародие,— закричал у него над ухом солдат-татарин.

Лука Евсеевич не слышал. Шум моря заглушал человеческий голос.

— Жалко, жалко, сердце с места сорвется, а надо...— повторял он про себя...

— Фанар, ваш блародие...

Лука Евсеевич вздрогнул и обернулся.

— А?

— Огонь, маяк... светить нада...

— Это ты, Фейзулин?.. Да, да, надо... свети, свети...— очнулся Лука Евсеевич.— Эка буря-то какая...

Он уставился на солдата и стал смотреть, как ветер трепал его волосы и фалдочки старого казенного мундирчика. Смотрел и ничего не понимал.

— Ходы домой, ваше блародие,— посоветовал солдат...— норд-ос... бура... простуд... буд добры, ходы... глаза тебе не хороши...

— А ты бы, братец, пуговицу пришил,— ответил Лука Евсеевич, ткнув пальцем в грудь Фейзулина...— Ну да, это, впрочем, не то... Олечка что?

— Барышна лежит на диван, книжка читает, говорит: папаша простуд будет.

— Ну, пойдем, пойдем...

Солдат взял своего патрона за руку и повел домой.

Лука Евсеевич в былые годы — теперь ему пятьдесят три — учился в семинарии, не кончил курса, служил писцом в различных ведомствах, всюду терпел горькую участь несчастливца, боролся, тужился, напрягался и, наконец, истощив все силы, бросил себя на произвол судьбы.

— Будь что будет,— решил он.— Решай сама судьба.

Судьба решила тем, что отняла у него жену, умершую от чахотки, а его самого с маленькой дочерью Олей забросила на маяк. Разбитый жизнью и горем, он рад был и этому.

— Тепло, хорошо, уютно,— радовался он.— Знай зажигай да туши фонарь... Горя мало...

И действительно ему было уютно. Чистенькая комнатка, в кровати дочурка, за стенкой солдат. А главное — ти-

шина и невозмутимость, раз в месяц рапортичка о благополучии маяка, и конец. Люди... а на что ему люди? Был между людьми, скитался и, кроме пакостей, ничего от них не вынес. А тут еще смерть проклятая: так вот взяла и унесла жену Сонечку...

— Одна только дочка осталась,— объяснял он заездом в городе почтмейстеру.— В ней вся моя жизнь, вся моя сила, вся душа моя... Верите, возьмет ее солдат на руки, камешки перед ней раскладывает, она смеется — а у меня точно рай в душе. Я из Одессы ей железную кроватку с матрасиком выписал... Что за радость была. Фейзулин, мерзавец,— тоже ведь привязался к ребенку — двенадцать верст с пароходной пристани эту кроватку с матрасиком на своих плечах ко мне на маяк пер... Олечка, говорю, вот тебе кроватка. Кто на ней бай-бай будет? А она говорит — я. А потом ко мне на шею. Смеется, целует, и я смеюсь и ее целую, а у самого слезы с усов каплют.

— Детское малодушие,— глубокомысленно ответил почтмейстер.— Позвольте вашу повесточку...

С тех пор Лука Евсеевич замкнулся в себе и беседовал только с Фейзулиным.

— А что, брат, люди — свиньи?

— Так тошно, ваше благородье.

— До нашей, брат, Олечки никому дела нет...

— Так тошно...

— Говорят: малодушие детское...

— Тошно так.

— А ты знаешь, что такое малодушие?

— Ныкак нет.

— Вот то-то и дело, дурак. Люди не понимают, а я понимаю, что она — часть моей души. Если ее обидят — я горло перерву.

— А я кинджалом башка резать буду, живот резать буду... Дитя ны трогай...

Всякий день на этом беседа и вертелась. Один готов был горло перервать, а другой кинжалом живот резать. Но Оля подрастала, и папенька что-то такое понял. Думал, думал, ходил по комнатке взад и вперед две недели и кончил тем, что взял месячный отпуск и отвез Олю в пансион в Тифлис...

— Нет, брат, нашей Олечки, нет голубочки, в пансион в Тифлисе отдал,— объявил он Фейзулину по возвращении.— Умная будет, ученая...

— Хорошо,— ответил Фейзулин.— Дай, ваше благородь, руп целковый: за гору на духан пойду, пить буду, пьян буду, драться буду, морды бить буду. Зачем дите взял?.. Душа болно... Давай деньга скорей...

С этой поры началось одиночество. Фейзулин каждый день чистил кроватку, вытряхивал из матрасика пыль, сосредоточенно-скорбно смотрел на пустое местечко и уходил смотреть на море.

— Чего смотришь? — допрашивал его Лука Евсеевич.

— Ничаво,— обрывал татарин.— Пиши мене письмо на Тифлис. Пиши: кушаю — не могу, хожу — не могу, фонарь зажигаю — не хорошо. Весь душа мой там! Пиши, что мене скучно...

— Хорошо, хорошо, напишу.

— Врошь, не напышешь, ваш благородие. Сам знаю: тебе душа болит... Мене тоже душа болит.

Получение письма от Оли было событием.

— Чытай, поджалуйста чытай,— приставал Фейзулин.

Лука Евсеевич читал ему письмо, детское, нацарапанное каракульками: «Милый папочка, у нас чай подают в семь часов утра, завтрак в двенадцать, а к обеду мы ходим парочками. Я люблю Нину, и она меня любит, а Любку терпеть не могу, она такая скверная, и надзирательницу тоже не люблю».

— Читай, ваш благородь, еще раз.

Лука Евсеевич читал еще раз.

— А ну читай еще раз.

Письмо читалось еще раз.

— Нина — хороши, а Любка — не хороши. Надзирательница — тоже не хороши... Нет, ваш благородие, другой раз такой писмо мне не читай...

Прошло семь лет. Олечка вышла из пансиона. «Еду, еду к тебе, папа,— писала она.— Вышли лошадей на станцию. А что Фейзулка, жив? Я у тебя сама зажгу маяк... Папочка, целую, целую, целую. Я свободна... Кавказ, Кавказ!..»

Фейзулин после письма пришел в положительный экстаз: чистил, мыл, тер и два раза сбегал за восемнадцать верст на станцию. И нужно было видеть его лицо, когда он привез Олечку домой. Он нанял фаэтон и ехал рядом с нею. Лука Евсеевич выскочил навстречу. В глазах светилось торжество...

— Нэт, нэт, ны надо, я буду платить за фаэтон... барышна здесь, ты здесь, я здесь, она мене в щеку целовала: «Хорош Фейзулка, толко дурак, а я тебе люблу...» Я тоже

люблу, я свой жаловань не издержал, мене денга есть, я хочу лошади платит.

Лука Евсеевич не сопротивлялся. Ему было не до того. Оля так и повисла у него на шее.

Началось счастье бесконечное. Явилась новая душа.

— Папочка, как у тебя здесь хорошо... Фейзулка, слышишь? Здесь у вас хорошо. Дай морду, дай свою татарскую морду — я тебя поцелую... А тебя, папка, целовать не хочу...

— Не надо, не надо, не целуй,— блаженствовал Лука Евсеевич.— Мое не уйдет...

— А хочешь, папочка, я со скалы от счастья в море брошусь и утону... Фейзулка, ты шашлык делал? Ты? Вкусно, вкусно... Папочка, я выкину какое-нибудь антраша.

— Выкидывай, голубчик, выкидывай...

— Изволь... Папка, ведь ты отшельник, ты аскет, ты одинок, дай мне свои усы: я целовать их буду, я хочу, хочу, хочу... Ну не противься, только вытрись сначала, а то у тебя капуста висит...

Лука Евсеевич тщательно утирался, подставлял губы и расплывался от счастия.

— Вот те, брат, и полировка,— решил он ночью, стаскивая сапоги и подставляя панталоны Фейзулину.— Оба мы с тобою перед нею — дураки. Понял?..

— Так тошно...

— Глуп ты, братец, я тебе говорю, что у нас жизнь новая началась, веселье, счастье. Да не так тянешь: этак по швам лопнет.

— Пускай лопныт,— решил Фейзулин,— это — ничаво, когда баришна дома.

На его татарских скулах светилось довольство.

— Гы, гы,— захихикал он вдруг.

— Чему смеешься, болван?

— Гы, гы... Мине первого целовала, как мы фаэтон ехали...

— Ступай к черту, а я спать буду.

Но оба не уснули, оба тайком шлялись всю ночь и прислушивались, крепко ли спит, хорошо ли спит. Раз даже чуть не столкнулись лбами.

— Тебе чего?

— Нычаво.

— Ну и я «нычаво». Ступай спи.

Прошло два месяца хорошего и безмятежного счастья.

Фейзулин так отличался котлетами, как никогда. Он в них вложил всю душу и все искусство. Но все-таки в воздухе повисла какая-то грустная струнка. Оля была мила, весела, но что-то глядело в ее глазках. Болтает, болтает и вдруг задумается и станет в упор глядеть в море. Глядит и молчит.

— Оленька!

— А?

— Скучаешь?

— Нет, папа, мне не скучно. Я смотрю на море и думаю, думаю... Там где-то за морем есть берег, на берегу живут люди, думают, чувствуют, страдают. Рядом с ними — тоже люди. В Тифлисе тоже есть люди... Обмен мыслей...

— Вот оно что,— процедил сквозь зубы Лука Евсеевич и задумался.

С этого момента на его душу залегла печаль. Он стал нервен и раздражителен.

— Фейзулин, братец ты мой, плохи дела. Ей скучно у нас. Да и в самом деле, что мы ей за партия? Ты, черт тебя дери, чуть ли не сороковой год здесь на маяке служишь, я тоже — старая разбитая кляча. Не весело ей с нами. Старики мы с тобою, совсем ей не в масть.

— Давай, ваш благородь, другой нога, сапог снимать буду. Зачем этот даешь: этот разутый. Другой давай. Ты ны думай, что у мине слеза идот, это пиль попал... Давай ногу...

Лука Евсеевич улегся. Ночью к нему пришел Фейзулин.

— Ны плачь, паджалуйста, а то я сам плачать буду. Две старики, две дураки, зачем девка тут? Тифлыс надо отправить... Плачать ны нада.

— Фейзулин, голубчик...

— Много плачать — много слезы, одын вода, девке не легче. Ты старый, я — старый, она молодой — молодой тоже хочет. Тыфлис нада, болше нычево ни нада.

После этого разговора у него точно что оторвалось в груди и упало. Наутро он спросил у дочери:

— Олечка, скучаешь?

— Что ты, папочка, мне весело, весело, весело...

Он поглядел ей в глаза и закручинился еще более.

— Фейзулка,— рявкнул он вдруг.

— На что тебе, папа?

Лука Евсеевич замялся.

— Вот что, братец,— обратился он к Фейзулину,— ты тово... понимаешь... на счет... ну, одним словом, этак... пошел к черту.

— Папочка, милый, ты не в себе... Что с тобою?

— А вот что, дочушка. Давай поговорим. Давай-ка сядем. Так-с. Тебе, голубчик, у нас скучно: все я да я, Фейзулин да Фейзулин. Опротивели, я думаю...

— Что ты, папа, я вас люблю обоих.

— Погоди, не перебивай. Ты, брат, нам не пара. Мы отжили, а ты только начинаешь. Тянет тебя в свет?

— Как сказать...

— В жизнь, в общество, в залы, в любовь, наконец, тянет?

— Пожалуй — да.

— Так и отлично. Это кстати. Будь добра, окажи дочернюю услугу старику-отцу: съезди в Тифлис. У меня там дело к твоей тетке, а моей сестрице... Погостишь там, а потом к нам.

— Ты меня гонишь, папа!

— Боже сохрани. С чего взяла? Прогуляешься. Маяк забудешь. Ветерком продует, а вспомнишь — милости просим. Так свезешь письмо? А?

— Ты думаешь, что я скучаю у тебя?

— Да нет же, нет, не думаю. Съезди в Тифлис, отдай письмо тетке. За деньгами дело не станет: нам с Фейзулиным немного надо: щи да каша — и объелся. А ты повеселишься. Нельзя же золотые дни губить... Езжай, голубчик.

— Право, папа, как-то...

— Ну что за глупости. Валяй, и кончено.

В это время задул норд-ост, и Лука Евсеевич вышел выплакать свое горе буре. Кому же, как не ей? Дочь уедет, и он — один. А жизнь его разве не буря? Три года томления над угасающей женой; семь лет ждать дочери и потом, когда мелькнуло счастие, сознаться, что ей «не пара», не место ей на маяке. Тяжелое страдание. Он возроптал:

— За что же, господи, за что же? Не надо, не надо, не надо... Нельзя томить чужую жизнь.

Через два дня Фейзулин сбегал за перевал, достал лошадей и отвез Олю на пароход. Воротился пасмурный и мрачный. Лука Евсеевич стоял у маяка и жадно вглядывался в дымок на горизонте. Он был чуть-чуть виден. То был пароход, и на этом пароходе уезжала Оля.

Лука Евсеевич не плакал. Он только чувствовал, что она покинула их навсегда. Рядом с ним стоял Фейзулин и тоже смотрел в море на дымок.

Лука Евсеевич вдруг обернулся к нему.

— Фейзулин, а? Уехала?

— Уехала, ваше б-родие.

— И тебе жалко?

— Жалко, ваше б-родие.

— А вернется к нам сюда? Поддержит нас, стариков, скажет нам словцо перед смертью нашей? Или все это пропадет даром?

— Не знаю, ваше б-родие.

— Не знаю, брат, и я... Поди-ка достань водки... с горя... Авось легче станет...

ЦЕНИ

Возвратившись с практики и войдя к себе в роскошно меблированный кабинет, доктор Ковров потянул носом воздух и почти закричал:

— Господи! Когда же это наконец кончится? Когда изменится хоть сколько-нибудь эта уродливая, проклятая жизнь, эти невозможные отношения? Попроси ко мне барыню,— сказал он вошедшему лакею.

В кабинет вошла жена Коврова, солидная, полная дама с встревоженным лицом.

— Сколько раз я тебя, Аглая Дмитриевна, предупреждал,— обратился он к ней сурово,— что я не могу выносить ладана, что у меня от этого запаха всякий раз начинает болеть голова, а ты сегодня опять накадила, точно назло. Вели форточки открыть!

На лице Аглаи Дмитриевны выразился испуг.

— Господь с тобою,— сказала она и перекрестилась.— Ты уже почти совсем нехристем стал. Как же было не покадить: завтра ведь праздник! Это только один нечистый, прости господи, ладану боится. Родители сегодня после всенощной обещали прийти чай пить, а ты...

— Ну, так ты своему родителю этим ладаном под нос и покади, если он его любит. А у меня от него, повторяю тебе сотый раз, голова болит!

Михаил Александрович в отчаянии махнул рукою, опустился в кресло у письменного стола и тоскливо задумался.

«Деревянный народ! — подумал он.— И это будет продолжаться всю жизнь, до самой смерти! Зачем это так дорого и так больно приходится искупать необдуманный шаг молодости? Презираю я вас всех, идиотов, а себя презираю еще больше... Эх, если бы не дети!..»

Доктор был удручен. Он решил провести этот вечер у себя дома и почитать, облачившись в халат; но теперь вот придет из церкви тесть с торжественно-благочестивым лицом, помолится, начнет пить чай — священнодействовать, заведет беседу о богослужении, о достоинстве хора, о голосе дьякона и, с сознанием собственного духовного превосходства, скажет: «Напрасно вы, Михаил Александрович, в храм божий не ходите. Наука — наукою, а богослужение — богослужением. Надо иногда и о душе подумать!» Он — хороший и даже душевный человек, этот тесть, но Михаилу Александровичу с ним бывает всегда необычайно тяжело. С посторонними людьми тесть говорит просто и дельно, но с зятем, из уважения к его учености, он начинает всякий раз говорить «умно» и при этом несет такую чепуху, что становится тошно и жалко, что он так ломается без нужды. Жена влюблена в Михаила Александровича без ума, и весь смысл ее жизни, все ее отношения к нему сосредоточены на том, чтобы смотреть ему в глаза и угождать. Но поговорить с нею по душе, поделиться своими радостями и скорбями, успехами и неудачами он не может. Он пробовал, но она или пугается неизвестно чего, или слушает так, что от напряженного внимания ничего не может понимать. Теща — существо бессловесное, но и опасное: считая отца жестокосердым, она тайком обкармливает внучат. Брат жены — прекрасный малый, но он проникнут таким уважением, что Михаил Александрович и с ним говорить не может. О чем бы речь ни шла, от него получается всегда один ответ: «Вы у нас, братец, по купечеству, первым Боткиным [1] считаетесь». Людей из «темного царства» Островского [2] приятно видеть на сцене, но жить с ними под одною почти кровлей, быть беспрерывно действующим лицом то в драме, то в комедии — невыносимо. А кто виноват? Он сам, он один, он — молодой врач, женившийся на купеческой дочери из-за ее приданого... Положим, узел развязать нетрудно. А дети!..

И это изо дня в день, из года в год...

Михаил Александрович задумался так, что даже обрадовался, когда лакей окликнул его и доложил, что явился человек из «Европейской гостиницы» и приглашает его к

заболевшей приезжей даме. Он поднялся и пошел в переднюю одеваться. Проходя через залу, он мимоходом приласкал двух своих ребятишек — Соню и Митю. Дети тотчас же прильнули к нему и повисли на нем. Он поцеловал их и сказал: «Ну, ребята, довольно. Мне надо ехать»; и вышел. В передней его ждал человек из гостиницы. Лакей, с важностью и искоса глядя на посланного, подал Михаилу Александровичу дорогую медвежью шубу. Глядя на напускную важность лакея, Михаил Александрович не мог удержаться от улыбки, а самому ему богатая медвежья шуба, при той буре, которая у него происходила на душе, показалась насмешкой...

По приезде в гостиницу доктора ввели в номер средней руки, но не из дешевых. Занимали его, очевидно, люди не бедные. На диване у овального стола, покрытого ковровою скатертью, полулежала молодая женщина. Она была бледна. Михаил Александрович опытным глазом признал в ней больную и направился прямо к ней.

— Вы звали доктора? — начал было он обычным деловым тоном, но, вглядевшись попристальнее в даму, он сделал шаг назад и удивленно и радостно вскрикнул:

— Оля!.. Ольга Николаевна!..

Молодая женщина вздрогнула, поднялась быстро на ноги и не менее радостно проговорила:

— Миша! Михаил Александрович! Вот неожиданность!

В первое мгновение доктор и пациентка сделали невольное движение, чтобы упасть друг другу в объятия, но оба удержались и отступили. Ольга Николаевна покраснела, села опять на диван; сел и Михаил Александрович. Несколько секунд длилось молчание. Ольга Николаевна нервно дышала и сидела, опустив глаза.

— Вот удивительный случай,— заговорил наконец доктор.— Когда меня позвали к больной, я вовсе не рассчитывал встретить именно вас.

— А я, в свою очередь, не ждала, что увижусь именно с вами. Но раз уж это случилось — делать нечего. Давайте беседовать. Лечите меня.

— Что с вами?

— И все, и ничего. Вас потревожили напрасно. Я сегодня только приехала по Варшавской дороге и устала во время пути. А потом сейчас мне подали неутешительную телеграмму. Со мною сделалось от слабости что-то вроде обморока, но теперь уже это прошло. За вами посылали

без моего ведома. Интересно, почему это судьба направила посланного именно к вам, а не к какому-нибудь другому врачу?

— Потому что посланный получает от меня подачку за каждого пациента,— ответил, улыбаясь, Михаил Александрович.— Я ведь — карьерист. У меня денег достаточно, но мне все хочется больше. Однако обратимся к вам. Дайте руку. Пульс у вас хорош и никакой болезни нет. Давайте-ка лучше вспомянем старину и поболтаем по-прежнему, как тогда, четыре года тому назад. Много с тех пор воды утекло. Вы, оказывается, нисколько не постарели, а я — сильно нравственно подвинулся назад. Вы — все та же, Оля?

— Все та же Оля,— ответила она глухо.— Но...

— И я все тот же,— грустно кивнул он головою.— Только мое «но» несколько грустнее вашего. Вы еще замужем?

— Да. А вы по-прежнему женаты?

— Женат по-прежнему, и у меня уже двое детей.

Михаил Александрович начал молча ходить по комнате. Ольга Николаевна следила за ним глазами.

— Вы приехали с кем-нибудь или одни? — спросил он.

— Одна, как перст, и даже без горничной.

— А где ваш муж теперь?

— Был до сих пор в Висбадене. Лечился от старости, а теперь пока не знаю где. Послал меня сюда, в Петербург, взять денег из банка и привезти ему туда, за границу. Дня четыре я вздохнула одна свободно и думала, что удастся еще несколько дней попользоваться одиночеством; да не тут-то было. Сейчас вот получила телеграмму: соскучился, жить без меня не может и едет вслед за мной сюда. В старой голове возникают подозрения... Боже мой, как жить тяжело!..

— Вы все еще не полюбили его? — спросил он.

— Нет. Силилась, принуждала себя, подкупала себя софизмами, слушала за границей самых знаменитых проповедников, но ничего не вышло. Была ему до сих пор верною женою и нянькой — и только. Я не могу его полюбить уже потому, что никогда не в силах простить ему, что он воспользовался моим ужасным положением и купил меня, а я продалась ему за деньги от голода. Он любит меня, как любят вообще старики, то есть не отказывает в деньгах, целует руки, брюзжит, ревнует, плачет, ухаживает за

мною, но чаще просит растереть ему поясницу мазью от ревматизма...

Ольга Николаевна сделала презрительную гримасу.

— А вы? — спросил он.

— А я переношу капризы и ласки, трачу деньги, но не ищу нигде на стороне любви, потому что... по-прежнему люблю... одного вас. Может быть, я была бы счастливее теперь, если бы поддалась там, на водах, какому-нибудь «увлечению».

— Вы мне, значит, простили мою женитьбу? — спросил Михаил Александрович.

— Конечно, простила. Да и прощать вас, в сущности, было не за что. Мы оба с вами — два сапога пара, как говорится, и не мне вас судить. Да и что вы сделали преступного? Мне надоело голодать с матерью, я не могла устоять против денег богатого старика и вышла за него замуж. Почему же было и вам не жениться на купеческой дочери с приданым? Это так естественно, тем более что тогда вы были еще только бедным, начинающим врачом...

— А теперь,— прервал он ее с явным презрением к самому себе,— я выезжаю не иначе, как на паре рысаков и в дорогой медвежьей шубе... Ольга Николаевна... Оля!.. Я уже теперь — отец и люблю, если не жену, то детей. Я — не опасен и не оскорблю вас. У меня так много накипело на душе, так много в ней скорби... Бог ведает, увидимся ли мы еще когда-либо при такой обстановке... Позвольте мне по-старому, как в былые студенческие времена, честно и искренно рассказать вам все, что я выстрадал... Олечка, позволь мне эту отраду, моя дорогая... Ведь и я до сих пор люблю только одну тебя...

— Говори... Только поди прежде запри дверь на ключ на всякий случай...

Он запер дверь, затем подошел к ней, опустился перед ней на колени, взял ее за обе руки и начал свою исповедь.

— Я богат, сыт по горло и давно уже прославился как хороший доктор в купеческом кругу,— говорил Михаил Александрович.— Мне завидуют. Но мне скверно, мне невыносимо тяжело. Я гадок и противен самому себе. Я изолгался, как самый последний школьник. Своей женитьбой я солгал первый раз в жизни, и с тех пор я лгу, лгу и лгу бесконечно и не лгать уже не в силах. Не лгу я только самому себе, да и то потому, что это невозможно, потому что внутри сидит совесть, которую не проведешь. Я качусь по наклонной плоскости вниз. У меня нет средств для

борьбы, нет поддержки, нет семейного счастья. У меня есть деньги, лошади, роскошная обстановка, но нет жены, нет друга, с которыми я мог бы говорить без маски на лице, вот так, как говорю с тобой сейчас. Нет человека, которому я мог бы сказать правду. Я должен вечно притворяться. Будь я прежний честный человек, я должен был бы сказать тестю: «Ты — вор и мошенник. Ты жертвуешь на приют сто рублей и в то же время наживаешь двести на плохой провизии, которую ты же поставляешь в этот же приют. Ты сознательно портишь сотни несчастных детских желудков и в то же время зовешь отца Иоанна Кронштадтского служить молебны» [3]. А я этого не говорю ему. Я отвечаю: «Мда... Жертва на приют доброе дело». Жениному братцу я должен был бы поднести кулак к физиономии и не сказать, а прямо грубо закричать: «Не смей ты, пьяное рыло, показываться ко мне на порог до тех пор, пока ты не обеспечишь свою несчастную швейку из Пассажа». А я вместо этого авторитетно мычу, когда он является ко мне с изжогой от перепоя, и прописываю ему лошадиное слабительное, после которого он, выпуча глаза, бегает по рядам, корчится и всюду заявляет: «Вот так лекарство!.. Нет, братцы, наш Михаил Алексанч куда почище Боткина будет!..» Это все еще пустяки. Послушай, друг мой, дальше. Я возвращаюсь домой после визитов. Я устал. Мне нужно отдохнуть хоть немного от прописанных мною рецептов и от массы выслушанных глупостей; я хочу остаться один. Не тут-то было. Входит жена. «Ах, Мишенька, как ты сегодня поздно приехал. Уж как я скучала по тебе... То к одному окошку подойду, то к другому: все смотрю, не едешь ли ты, и все думаю. Все мне кажется, что ты одних девиц да хорошеньких дамочек лечишь... И заноет, заноет у меня сердце... Я тебе к обеду осетринки приготовила...» От такой речи у меня в душе поднимается черт знает что. Мне хочется крикнуть ей: «Да тебе-то, дура ты неумытая, какое дело до того, кого я лечу? Ты не в силах вызвать во мне ни одной капельки любви к себе, а туда же лезешь с глупой ревностью? Ведь ты для меня — не человек, а купившая меня жирная самка. Ведь любовь к тебе и к слоеному пирогу — одно и то же чувство...» Но это я только думаю и не высказываю вслух. Я поступаю как раз наоборот. Я делаю счастливую физиономию и отвечаю: «Все это показывает, что ты любишь меня, Аглаечка; спасибо тебе за любовь. Ты у меня жена — хоть куда. Пойдем осетрину есть...» Ну не ложь ли это на каждом

шагу, ложь подлая, возмущающая, но в то же время и принудительная?! А поступать иначе я не могу, да и не должен. Ты вообрази себе, какой бы кавардак поднялся, если бы я вдруг высказал всем в глаза ту правду, которую ты слышала сейчас от меня. Все заболели бы не на шутку, а я был бы отдан под надзор психиатра... Когда я остаюсь один, сам с собою, мне становится тошно, и я начинаю метаться, как зверь в клетке, ища выхода. Я знаю хорошо, что можно все это бросить, уйти из этого пошлого круга, но станет ли мне от этого легче? Едва ли. Я причиню этим только ненужные страдания всем этим глупым, но, в сущности, по-своему добрым людям. А главное — ведь я не уйду от самого себя, от воспоминаний о пережитом, и все это будет давить меня тяжелым кошмаром... Куда бы я ни бежал, я везде буду таким же одиноким, как и теперь, и меня будет глодать все та же тоска. В результате выйдет, что я сделал не подвиг, а только лишил себя сам сладкого пирога, как школьник. Чтобы уйти, надо знать, зачем и для чего уйти. Надо, чтобы впереди ждало тебя счастие, а у меня его нет и быть оно не может...

Михаил Александрович поднялся с коленей и начал крупными шагами ходить по номеру. Ольга Николаевна была бледна и взволнована.

Он рассказывал ей о том, что и сама она переживала и переживает. И ее жизнь с мужем — одна и та же беспросветная ложь. Старик думает, что она его может любить. Но она ненавидит его, он ей мерзок и гадок, и она скрывает это от него. Она принимает его ласки, принимает его деньги. Она ему лжет и принуждена лгать до самой его смерти, и даже в могилу она проводит его с обманом. Разве венок, который она, как вдова, возложит на его гроб, не будет самой позорнейшей ложью? А любить и жить ведь и ей хочется так же, как и ему...

— Хочешь,— заговорила она взволнованным голосом,— хочешь избавиться от этой подлой жизни, о которой ты только что говорил, от этих обманов? Хочешь любить и быть взаимно любимым?

— Оля...

— Хочешь иметь свой собственный угол, сердце, которое будет биться только для тебя? Хочешь? Я вижу, что — да. Мне тоже опостылела ложь, и я тоже хочу жить для тебя и для себя... Брось все, и я все брошу, и уедем отсюда в глухую провинцию. Ты — врач, а больные найдутся везде... Будем жить только вдвоем: ты — для меня,

а я — для тебя. Брось все, и уедем сегодня же в Москву. До курьерского еще два часа осталось... Согласен? Завтра будет уже поздно: завтра утром приедет муж...

Он слушал ее и дрожал всем телом. Ее глаза его жгли; вся она дышала решимостью. С каждым ее словом эта решимость проникала к нему в душу все глубже и глубже...

Вот она, та женщина, с которою он может быть истинно счастливым! Только с нею и более ни с кем!..

Не помня себя, он обнял ее и, блестя глазами, ответил:

— Согласен. Хоть на край света... Бросим все и всех и едем. Готовься к курьерскому поезду. Я за тобою заеду...

Торопливо рылся Михаил Александрович у себя в ящиках стола, собирая нужные документы и деньги. На душе у него было светло и хорошо. Еще один только час — и он будет уже далеко от этих дрязг, от опротивевшей жизни, от опостылевшей семьи, и главное — он будет не один, а с Ольгою, с давно любимой женщиной. Они уедут, куда — все равно, и заживут безмятежною жизнью вдвоем.

С женою он решил не прощаться и написать ей уже из Москвы. Ему было даже смешно, что он, взрослый человек, убегает тайком, как институтка. Совсем как роман...

Пока он хлопотал у стола, в кабинет незаметно вошли Соня и Митя.

— Папа, а ты мне лофадку купиф? — спросил Митя.

— А мне куклу, папа,— проговорила Соня.

Михаил Александрович опустился на турецкий диван.

«А дети? — подумал он, холодея.— Я убегу от семьи, от жены, от тестя... А от детей разве можно убежать?»

Соня и Митя вскарабкались к нему на колени.

«Разве есть хоть один уголок, куда бы можно было скрыться от них? Ведь они вечно будут рисоваться в глазах. Кто их без меня воспитает? О, господи, что же мне делать? Раз за столько лет безотрадной жизни мелькнула секунда надежды на счастие — и ту судьба отнимает безжалостно. Ведь это — цепи, которых нельзя ни разорвать, ни разбить... Господи, дай же мне силы... Ведь есть же отцы, которые бросают детей... Почему же я не могу? Вздор, малодушие: могу и я. Я буду издали следить за ними. Еду. Имею же я, наконец, право пожить хоть немножко с любимой женщиной и исключительно для себя?! К черту все связи и цепи. В путь! И чем скорее, тем лучше...»

Он крепко поцеловал детей и стал спускаться с лестницы. Но с половины ее он вернулся назад, сел за свой

стол, дрожащей рукою написал записку, запечатал в конверт и позвонил.

— Свезти этот конверт в «Европейскую гостиницу» — сказал он вошедшему слуге.

— Слушаю!..— ответил лакей и вышел.

Михаил Александрович был бледен, как полотно.

Корабли были сожжены навсегда, и теперь, когда уже ему ничего не оставалось впереди, он ясно и твердо взглянул в глаза своему будущему, и его личное счастье показалось ему пошлым и ничтожным в сравнении с тем грядущим, великим и разнообразным, которое ожидало его детей и которое было теперь всецело в его руках. Его сердце обливалось кровью, на глаза его навертывались слезы, ему было жаль себя, своей так неумно израсходованной жизни, но какой-то голос внутри его ясно и определенно говорил ему: «Ты прав!»

В записке была только одна строка:

«У меня дети. Не могу».

БАБЬЕ ГОРЕ

Над Варварой стряслось горе. Двенадцать лет, возвращаясь вечером со стирки или с поденщины домой, она находила мужа Афанасия пьяным и после изрядной ругани била его. Двенадцать лет она упрекала его за тунеядство, лень и пропойство и на все лады высказывала самое искреннее пожелание, чтобы он как можно скорее предпринял путешествие на тот свет и освободил ее. Род смерти она накликала ему на выбор, смотря по вдохновению: ему предоставлялось право издохнуть, повеситься, сгнить в остроге, прогуляться в Сибирь, попасть черту в лапы, лопнуть, утопиться и вообще — умереть. Но так как ни одно из этих желаний не исполнялось и Афанасий, даже после побоев, не умирал, а, наоборот, проявлял энергичную жизненность, давая супруге сдачи, то Варвара к концу ссоры переходила обыкновенно к горьким жалобам на судьбу, связавшую ее с окаянным пропойцей, заедающим ее жизнь.

Пропойца же, отпустив по регламенту два-три крепких словца, засыпал под звуки этих жалоб самым безмятежным сном, как человек, исполнивший все, чего от него требовали долг, совесть и обязанности мужа и главы семьи.

В свою очередь и Варвара, утомленная тяжелой дневной работой, тоже скоро прекращала поток своих излияний и также засыпала с сознанием, что и она исполнила как следует обязанности жены, у которой на шее сидит дармоед и пьяница муж.

Такое ежедневное исполнение взаимных супружеских обязательств вошло в привычку не только для самих воюющих сторон, но даже и для угловых жильцов общей квартиры-конуры. Если Варвара почему-либо запаздывала, то из какого-нибудь угла доносился зевок и нетерпеливый возглас:

— Что это Варвара нынче так долго не идет? Отругала бы уж скорее своего идола — да и спать... Чего даром керосин жечь!

Идол на эти возгласы никогда ничего не возражал. Он понимал, что неизбежного предотвратить нельзя, и тоже нетерпеливо ожидал возвращения жены, чтобы принять и воздать должное.

Наутро Варвара уходила на тяжелую дневную работу, а Афанасий — куда ветер понесет: промышлять выпивку.

Так текли годы с образцовой правильностью и аккуратностью и почти без изменений. Программа изменялась лишь на короткое время, когда воюющей чете бог посылал нового младенца и когда этого же младенца вскоре затем относили в маленьком гробике на кладбище. На это время ссоры прекращались, а потом мало-помалу все налаживалось снова по-старому. Когда Афанасий допивался до белой горячки и попадал в больницу, Варваре чего-то не хватало, и по возвращении с работы она чувствовала себя чего-то не сделавшей, не исполнившей и страшно неудовлетворенной, хотя в душе и молила бога, чтобы ее благоверный из больницы вернулся не домой, а туда, откуда уже больше не приходят. Если Варвара почему-либо не ночевала дома, то Афанасий, в свою очередь, засыпал тревожно и не в своей тарелке.

Долго текла жизнь по определенной колее, и вдруг неожиданно случился казус, сбивший всех с толку и разбивший все и вся.

Однажды вечером Варвара, вернувшись с работы, нашла дома чудо. Афанасий был трезв и задумчив. Это ее так поразило своей необычайностью, что она даже растерялась и не знала, с чего начинать: с пожеланий ли супругу всякого рода смертей, с жалоб ли на судьбу или же с обычных побоев. Когда же она по привычке начала было с перечис-

ления разнообразнейших способов путешествия в лучший мир, Афанасий кротко, но твердо заметил:

— Брось, Варвара! Тошно!

При этом он так поглядел на нее, что она невольно отступила от него и смутилась.

В этот вечер не было ни ссоры, ни драки, но в воздухе висело какое-то странное недоумение. На следующий день была тишина, и на третий день — та же история, Афанасий не выходил никуда из каморки, ни с кем не говорил, не пил и только смотрел на всех скорбно и страдальчески. Такое странное поведение повергало всех в уныние.

Варвара была так угнетена этой неожиданностью, что даже сама принесла мужу водки, но он молча отстранил от себя бутылку и на все расспросы ответил только одно:

— Тоска! Отстань!

Пробовали к нему подходить и угловые жильцы с недоумевающими вопросами и тоже предлагали то водки, то квасу, то александрийского листа, но толку не выходило никакого. Афанасий оставался по-прежнему тоскливым и загадочным. Самая умная из жилиц, торговавшая вразнос рыбою, объявила, что у него не иначе как глисты.

— Все равно как у рыбы,— поясняла она,— вертится-вертится и очумеет. Его бы к бабке сводить, чтобы пошептала...

Но Варвара плохо верила в глисты. Она почуяла что-то недоброе.

— Какие тут глисты! Глаза строгие, ровно у угодника на иконе, и молчит. Не к добру это...

Предчувствие не обмануло ее.

На четвертый день Афанасий долго и тоскливо слонялся по углам, несколько раз подавленно вздохнул и затем исчез. После его ухода на подоконнике нашли его тельный крест.

Варвара не на шутку испугалась. Прошла одна ночь, прошла другая и третья, а Афанасия все нет. Всем стало ясно, что он наложил на себя руки. Снял с себя крест — значит, пошел кончать с собою. Пил-пил, а потом либо в воду бросился, либо в петлю полез от тоски. Умная жилица объяснила, что пьяницы всегда так поступают.

По мере того как угловые жильцы, утешая Варвару, перечисляли различные роды смерти, к которым прибегают пропойцы, она чувствовала, что сама начинает чу-

меть. Ей припомнились и строгие глаза Афанасия, и его кроткий тон, и вся длинная вереница несчастий и невзгод, которые она в ссорах накликала на голову мужа. В душу начинало закрадываться трусливое сомнение: не накаркала ли она сама беды на него?

Возвращаясь с работы, она чувствовала замирание сердца и все надеялась, что, отворив дверь, она встретит на обычном месте пьяную фигуру своего благоверного, отругает его на этот раз для приличия, а там все пойдет постарому. Но пьяной фигуры не было. Место Афанасия было по-прежнему пусто.

Не отдыхая и не раздеваясь, Варвара выходила из своей каморки и пускалась на поиски. Побывала она у беспаспортного крючника Кости, с которым Афанасий водил пьяную компанию, перешарила всю Вяземскую лавру, даже не побрезгала зайти и в смрадную конуру пьяной Аксютки, знакомством с которой не раз попрекала мужа. Но ни собутыльники, ни товарищи по пьяным злоключениям не сказали ей ничего утешительного...

— Пропал?! Ишь ты, дело какое! Поищи теперь в ночлежных. У нас его нету...

Варвара последовала совету и целых три вечера шаталась по ночлежным домам. Но и там ничего не нашла. Домой возвращалась она неохотно, зная, что ее ожидают участливые расспросы жильцов. Им она с досадою отвечала одно и то же:

— Хорошо, если помер, царство небесное: туда ему и дорога. А если, подлец, жив, да меня только в хлопоты вводит?! Покажи он мне только после этого свою пьяную харю!..

Но угроза произносилась только для вида. На душе было совсем не то. В душу, как назло, заползали гибкой змейкой жгучие воспоминания и картины ссор и драк. Вспоминалось, как он лежал пьяный и больной перед белой горячкой, а она была в ту пору зла и ночью подползла к нему и давай царапать ему, сонному, лицо ногтями. Вспомнилось, как она усердно молилась и даже поставила свечку, чтобы он умер в больнице от белой горячки. Но пуще всего не давали ей покоя его глаза и безнадежное слово «тоска!». По ночам ей спалось плохо и ломило голову от уймы неразрешимых вопросов.

Прошла неделя. Надежды на возвращение становились все слабее и слабее. Пришлось делать объявку в участок о пропаже мужа.

В полиции она было расплакалась и вздумала излить свое горе в многословной и длинной жалобе с причитаниями, но ее сразу осадили строгим вопросом:

— Уже неделя, говоришь, как пропал? Отчего же ты раньше не заявила? А? За это тебя... Где его теперь искать? Если утонул или повесился, так его давно уже похоронили...

Тем не менее в участке ей подали благой совет: отправиться в то место, где сохраняется одежда, снятая полицией с разного рода неизвестных и необнаруженного звания покойников. Если признает рубаху, штаны или сапоги, значит — аминь, а если нет — то черт его знает: где-нибудь шатается. Потом велели ей обойти все часовни, где отпеваются все подобранные на улице, вынутые из петель и вытащенные из воды мертвые тела.

Варвара ухватилась за этот совет как за последнюю надежду и, отправляясь искать мужа по костюму, прихватила с собою умную жилицу, торгующую рыбой. Вдвоем распознать одежду — и легче, и вернее. Но и эта поддержка не помогла. Когда чиновник спросил, в чем был одет подозреваемый в самовольном переселении на тот свет, то ни Варвара, ни умная жилица не могли дать удовлетворительного ответа. Афанасий каждый день приходил домой в новом костюме. Как человек, постоянно нуждавшийся в деньгах, он выменивал на толкучке свое наличное платье и сапоги на худшие и добытые этим путем гроши пропивал. Обновление костюма продолжалось до тех пор, пока на теле оставались только одна рубаха и порты, а на ногах — одни воспоминания о сапогах в виде мозолей. При таком разнообразии и богатстве гардероба признать человека по одежде было трудно. Тем не менее обеим женщинам предложено было пересмотреть несколько узлов с платьем, оставшимся после самых свежих утопленников и висельников, уже разрешивших все жизненные вопросы и мирно почивающих в занумерованных, бескрестных могилах.

Осмотр узлов не привел ни к чему. В одном узлу будто рубаха подходит, в другом — будто знакомые штаны, а в третьем — будто опять рубаха.

Оставалось обойти часовни. Но умная жилица решила, что обходить их зря не стоит. Афанасий мог быть еще жив, а живого в часовню не понесут и отпевать не станут. Надо сначала побывать у гадалки и узнать от нее доподлинно, точно ли он умер. Гадалка узнает прошедшее, на-

стоящее и будущее по книжкам со стихами. Для разных людей у нее — разные книжки: кто даст больше, для того и книжка потолще. За гривенник она гадает по самой тоненькой. Можно погадать за пятиалтынный по средней книжке: там наверно нужный стих про Афанасия найдется.

Пошли. Жилица, как человек бывалый, взяла на себя труд вести переговоры с гадалкою и, переступив порог, тотчас же начала излагать дело нарочно в туманной форме. Пропал-де мужеского пола пьяница и оставил после себя неутешную жену на манер вроде вдовы. Пятеро детей было за двенадцать лет, да все, слава богу, перемерли. Объявляли в полицию. Платье смотрели — все без толку. Теперь надо идти по часовням смотреть. Как зовут — не скажем. Какова его судьба? Жив он или помер? Гадать надо по средней книжке на пятнадцать копеек.

Гадалка открыла книжку, нашла подходящий стих и, подумав, сколько следовало по положению, ответила, что судьба пропавшего — дело мудреное. По стиху видно, что человек был женат, что у него было пятеро детей, что он шибко пил и допился до того, что после двенадцати лет супружеской жизни бросил жену и пропал неизвестно куда. Где он теперь находится — сказать трудно, но где-нибудь он непременно есть. Может быть, он теперь жив, а может быть, и помер. Вернее всего, что — жив, но еще того вернее, что уже помер, хотя возможно, что если еще не утопился и не повесился, то, пожалуй, и вернется домой. А если помер, то уже ждать его возвращения будет напрасно и надо служить панихиду.

Обе женщины ушли вполне удовлетворенными и уверовавшими. Ворожея насчет мужеского пола, пьянства и пятерых детей отгадала верно,— стало быть, и все остальное тоже верно и не подлежит ни малейшему сомнению. На этом основании жилица вынесла убеждение, что Афанасий еще жив, а Варвара — что он уже помер.

Обход часовен Варвара начала после обеда. Скверно было у нее на душе, когда она входила в тесное, пропитанное своеобразным запахом помещение с иконами и тускло мерцающими лампадами. Среди молчаливых покойников ей было жутко.

— Признавать пришла? — равнодушно спросил сторож.

— Мужа признавать, голубчик. Десятый день, как пропал. И не знаем, жив ли, помер ли. Места себе не нахожу, по ночам не сплю: таких хлопот наделал...

Началось многословное причитание, но сторож еще равнодушнее перебил:

— Каков из себя: рыжий, черный, с бородою, бритый, стриженый?..

Варвара, утирая слезы, поспешно рассказала приметы Афанасия. Сторож открывал ей один гроб за другим. Она со страхом и издали всматривалась в мертвые лица и скорбно шептала:

— Где же его теперь распознаешь?! Вишь, как раздуло...

— В воде размок, оттого и раздуло,— пояснил сторож.

Положение было затруднительное. Все утопленники были одинаково неузнаваемы. Переходя от гроба к гробу, Варвара вдруг почувствовала, что ее что-то кольнуло в сердце и к горлу стали подступать слезы. Через минуту она упала на колени перед одним гробом и завыла. Плакала она громко и долго у ног покойника с расплывшейся подушкой вместо лица и с торчавшими на опухшем подбородке щетиною русыми волосами. Горе ее было безысходно и так искренно, что даже равнодушный ко всему сторож сердобольно толкнул ее в плечо и промолвил:

— Будет убиваться. На вот, выпей воды...

Тяжело поднялась Варвара с пола часовни и, расспросив сторожа о подробностях и обо всем, что надо, нетвердою походкой пошла домой. Вопрос был решен. Афанасий был найден. Все теперь кончено: кончены распри, кончена беспросветная, пьяная тягота. Все решено и выяснено. Теперь осталось только одно: царство небесное рабу божию Афанасию...

По дороге домой Варвара немного успокоилась. Но дома жилица встретила ее новым известием. Городовой на улице сказывал, что час тому назад отвезли в другую часовню утопленника. Вынули из канала. Роста среднего, волоса русые. По всем приметам — Афанасий, только сильно, сказывают, раздуло: долго в воде пробыл...

— Сходим вместе, может, и признаем,— предложила жилица.

Варвара рассказала о своей грустной находке в первой часовне и в точности перечислила все приметы. Но жилица не приняла этого в резон и настаивала на своем. В часовне — не Афанасий, а другой покойник, не настоящий. Настоящий — тот, про которого говорил городовой. Городовой обманывать не станет: с чего ему говорить, что рост

средний и волосы русые, если это не Афанасий?! Надо тоже в голове разум иметь. Все покойники — люди, да по всем не наплачешься...

Доводы умной жилицы показались убедительными, и Варвара пошла. К тому же и внутри ей что-то подсказывало, что она могла ошибиться.

И во второй часовне она испытала то же чувство тоскливого одиночества среди безмолвных гробов. Так же, как и раньше, на нее повеяло чем-то грустным и далеким от земной суеты.

Обошли два гроба и остановились у третьего. В нем лежал такой же покойник с подушкою вместо лица и с торчавшею русою щетиной на щеках и на подбородке. Только по лбу проходила царапина.

— Царство небесное!.. Как есть он, твой Афанасий,— сказала жилица, крестясь.

— Будто и похож на него,— с сомнением ответила Варвара и начала пристально всматриваться. Осмотрели покойника тщательно вместе с жилицей, разобрали все до единой приметы — и Варвара снова завыла. Но уже это были не те слезы, что в первой часовне: те были свежее и искреннее и вытекали прямо из наболевшей души...

После плача решили привести других угловых жильцов и окончательно решить: он или не он?

Жильцы согласились беспрекословно, сходили вместе с обеими женщинами в часовню и безусловно признали в покойнике Афанасия. Все скорбно и набожно крестились, прощая искренно покойному его вольные и невольные прегрешения и пьяные обиды. Варвара снова завыла и стала причитать так, как это полагается доброй жене при посторонних людях. Лица у всех были, как и следует, вытянутые, скорбные.

Но Варваре не дали ни перечислить достоинств и качеств покойного мужа, ни выплакать своего вдовьего сиротского горя. В самый разгар ее причитаний подошел сторож и стал потихоньку толкать ее.

— Отступитесь! Батюшка идет. Сродственники панафиду служить будут...

В часовню вошла новая группа незнакомых лиц, и на том месте, где только что выла Варвара, стала выть и причитать другая женщина.

Возникло недоразумение, но оно скоро выяснилось. В карманах покойного найден был паспорт на имя Ивана

Петрова, и родственники признали его. Личность удостоверена официально.

— Не мешайте, господа... Сейчас панафида начнется... Не ваш покойник — так и идите себе с богом...

Сколько было после этого дома разговоров, рассуждений, повествований и предположений! Вечером состоялась даже легкая выпивка под видом поминовения души усопшего. Варвара пила, плакала и спрашивала у всех совета, как ей быть с первым покойником, в котором она признала мужа. Вопрос был важный, поэтому и судили сообща и долго. Единогласно остановились на таком решении.

Афанасий — бог с ним совсем и царство небесное. Жив ли он, помер ли — не нам судить: пусть его бог судит. А Варваре больше соваться в часовню незачем. Пусть его полиция на казенный счет хоронит. Если признаешься, так, пожалуй, еще за похороны потребуют. Лучше уж пусть так останется, и будто не наш и будто знать мы его не знаем. Лучше после когда-нибудь по душе его панихиду отслужим...

На том и покончили. Варвара успокоилась и опять принялась за стирку и поденщину, жалуясь везде, где только было можно, на свою горькую сиротскую долю. Ее слушали, соболезновали ей и иногда прибавляли к поденной плате лишний гривенник.

Потекли дни за днями, однообразные и трудовые. Все опять пошло по-старому. Свет божий был тот же, угол тот же и жильцы те же. Не хватало только одного — без вести пропавшего пьянчуги Афанасия. Сначала без него как будто чего-то недоставало, а затем через месяц и о нем забыли. Скоро на том месте в каморке, где прежде сидел пьяный Афанасий, появилась новая мужская фигура, и тоже с нетрезвым ликом, но с повелительными замашками... Нельзя же беззащитной женщине жить на свете одной, без опоры...

Так все на этом свете хило, дрябло и превратно...

Несмотря, однако, на такой поворот дела, Варвара частенько вспоминала о своем тихом и кротком во хмелю благоверном, и всякий раз ей делалось грустно и жалко его, особенно же по ночам. После таких ночей она утром по дороге за водкой для своего нового сожителя забегала в церковь и с искренним вздохом ставила свечку.

Ей даже казалось иногда, что если бы каким-нибудь чудом да вдруг с того света вернулся Афанасий, то она

зажила бы лучше, спокойнее и душевнее. И чем дальше шло время, тем она все больше задумывалась над этим, и ее мысль подолгу и болезненно останавливалась на этой мечте. Скоро она полюбила эту мечту за ее несбыточность и невозможность. Она знала, что вернуть ей Афанасия может одно только чудо.

Чудо это, однако же, совершилось, и притом без всякого участия сверхъестественных сил и так просто, что никто из жильцов даже и не удивился.

Вернувшись как-то раз вечером домой со стирки, Варвара нашла у себя в каморке одновременно и своего сожителя, и законного супруга Афанасия, и толпу жильцов, чутко внимавших рассказу.

Новоявленный супруг с отекшим от долгого пьянства лицом и его временный заместитель мирно тянули водочку и уже были на втором взводе. Афанасий нетвердым языком повествовал жадно ловившей каждое слово компании о своих мытарствах и приключениях.

Его грызла тоска, и он дал обет бросить водку — будь она проклята — и никогда больше не пить, а чтобы дело было вернее, он, не сказав никому ни слова, предпринял далекий путь на поклонение угодникам в Киев. Пробирался он долго: где пешком, где ползком, а где и Христовым именем. Побывал в Киеве, помолился и «сподобился», а главное — исцелился и теперь даже в рот не берет, ни боже мой, ни капли, ни-ни... Одно слово — шабаш... А если теперь чуточку пьян, так это по случаю благополучного возвращения, баловство — и только...

Жильцы внимали, сочувственно вздыхали и находили, что он совершил целый подвиг и действительно «сподобился». И никто из них не заметил в дверях окаменевшей от испуга и восторга Варвары, стоявшей с огромными глазами, раскрытым ртом и бессильно повисшими руками.

Первым увидел ее Афанасий. Прервав рассказ, но не вставая с места, он вскрикнул:

— А! Супруга наша приятная! Сдрасти! Давно не видались... Я теперь не пью, так вы пожалуйте выпить рюмочку!.. Федька, ну-ка, смахай, брат, еще за посудинкой! Для дорогой супруги и я разрешу за благополучное возвращение...

После этого счастливого возгласа всем показалось, будто пережитое горе улетело далеко прочь и будто к буд-

ничному прошлому и старому прибавилось что-то новое и даже как будто хорошее.

То же самое думала и Варвара, отвечая радостным криком на приветствие мужа.

Пока шло нежное свидание супругов, новый сожитель в отставке самоотверженно во весь дух «махал» за водкой.

СТАРЫЙ МАХМУТКА

Старый Махмутка с беспокойством и даже со злобой смотрел на пенившиеся волны Черного моря. Он уже слишком умудрен годами и убелен снегом старости для того, чтобы допустить ошибку. На своем веку он уже семьдесят девять раз видел смену лета и зимы. Во время молодости он избороздил почти все моря, где только можно было поживиться чужим добром, ведя ремесло пирата или занимаясь контрабандой. Он девять раз в жизни спасал свою шкуру от виселицы и бессчетное число раз тонул в море. Бури ему известны как свои пять пальцев. Он понимал поэтому, что значат эти седые гребешки волн и надвигавшиеся с вершин гор белые маленькие тучки. Бури еще пока нет, но она скоро наступит; она налетит так неожиданно, что к ней успеют приготовиться только одни старые и опытные моряки. Молодые не верят в эти признаки. Он предупреждал и предостерегал их, но его не послушали: мудрость старых людей считается теперь пустяком, и его теперь учат молокососы. Какой шайтан понес на краденой шлюпке этих ослов в открытое море? Шлюпка — скорлупа, и они, окаянные, потонут.

Махмутка стоял на берегу и ругался. Он ругал и старшего сына, и младшего. Они не послушали его предостережений и упрямо отправились в такую погоду за контрабандой. Норд-ост уже усиливается, а они только еще на полдороге... Ну, и перевернет же их, молокососов, кверху килем!..

Теперь может выходить в море только пароход, но и тут каждый опытный капитан принимает заранее меры и готовится к борьбе. А они уплыли вдвоем только на четырех веслах. Они поступили так же глупо, как и этот молодой капитан таможенного парохода. Он стоит у пристани, не видит надвигающейся бури и не уменьшает паров в котле.

Махмутка взглянул наверх, на высокий берег, и злобно рассмеялся. Мачта, на которой по телеграфу вывешиваются штормовые знаки, была пуста. Наука не знает, что буря будет, а он, Махмутка, знает: наука еще молода, а он — уже стар. Он готов ручаться своей старой головою, что если он пойдет на таможенный пароход и выскажет свои опасения капитану, то капитан засмеется и укажет ему на мачту с сигналами... Но шайтан с ним! Вся махмуткина душа там, в море, где теперь, вероятно, уже бессильно борются с волнами его два сына. До берега им не доплыть ни за что. Шлюпку перевернет, и они потонут.

Зачем же он произвел на свет этих двух негодяев? Зачем он поил и кормил их? Зачем он пренебрегал тысячами опасностей для того, чтобы сделать из них людей? Зачем он стал контрабандистом и их научил этому ремеслу? Затем разве, чтобы видеть, как они погибнут почти у него на глазах? Они потонут, и он останется один во всем мире, без куска хлеба, старый, дряхлый, с искалеченной ногой и без детей. Аллах, аллах!..

На лице Махмутки выразилось глубокое отчаяние. По щекам потекли слезы. Затем у него в старческих глазах вдруг блеснула искра и во всей фигуре высказалась решимость. Он выпрямился и быстро побежал на таможенный пароход прямо в каюту капитана.

— Капитан, иди лови контрабанду! Я знаю где, и я тебе покажу!..

— Где? Что?

— Табак идет на маяк... Надо скорее!

Отрывочно, с блестящими глазами и сильно жестикулируя, Махмутка рассказал капитану, что за косою стоит турецкое судно. С него, пользуясь волнением, теперь выгружают табак и свозят на скалу у маяка. Триста кип уже успели свезти на берег, а в трюме еще много. Надо спешить.

— А не брешешь, старый черт? — усомнился капитан.

Махмутка подробно описал и шлюпку, и контрабандистов. Надо поймать их и взять шлюпку на буксир. Шлюпка поднимает много кип. Если ее поймать и доставить в таможню, то награда будет большая и ему, Махмутке, и капитану. Много денег будет, очень много: хватит до самой смерти... Только надо скорее, как можно скорее надо!

Махмутка говорил так искренно и глаза его светились

такою жадностью, что капитан поверил и вышел на рубку. Резкий ветер немного смутил его.

— Пожалуй, норд-ост не даст нам выйти из бухты,— проговорил он.

Вместо ответа Махмутка молча указал ему на штормовую мачту на берегу. На ней по-прежнему не было предостерегающих сигналов.

— Скорей, капитан, надо скорей. Уйдут, шайтаны...

Капитан стал у штурвала и наклонился над говорною трубкой в машину...

Винт парохода забурлил. Матросы и досмотрщики закопошились. Пароход отделился от пристани. Берег стал медленно удаляться...

Тучки, висевшие на вершинах гор, принимали самые причудливые контуры, быстро меняясь в форме. Капитан не без тревоги начал всматриваться в одно облачко. Пока он смотрел на него, оно успело рассеяться и исчезнуть и затем появилось снова. Очертания его расползались то вправо, то влево. Ясно, что там, наверху, свирепо рвал его на клочья сильный норд-ост. Через десять минут буря спустится вниз, сюда, на бухту, и начнет здесь трепать. Волны и без того уже сменили свои седые гребешки на яркую, серебристую, крупную пену, и брызги их залетали по временам через борт на палубу. Досмотрщики начинали кутаться в свои шинели.

Рядом с капитаном стоял Махмутка, кошачьими глазами вглядывался в даль и неистово выкрикивал в борьбе с ветром, захватывавшим глотку, непонятные для капитана слова. Ветер усиливался с каждою минутой. Скоро брызги соленой воды стало забрасывать и на рубку, так что капитан по временам должен был прятать от них лицо в воротник пальто.

Пароход сделал еще около мили. Его уже порядочно качало.

Коса была уже близко, и капитан держал прямо на нее. За ее изгибом должно открыться турецкое судно с табаком. Но удастся ли добраться до него? Ветер не на шутку свирепеет. Капитан взглянул в лицо Махмутки. Махмутка, не обращая внимания на качку, смотрел попрежнему, как ястреб, вперед, и иногда только лицо его вздрагивало.

«Несомненно был пиратом, старая собака»,— подумал капитан.

Вдруг Махмутка вышел из оцепенения, неожиданно оттолкнул грубо капитана и быстро повернул рулевое колесо.

— Держи на шлюпку!.. Там они!..

Пароход круто изменил направление. Впереди прыгала и бессильно боролась с волнами едва заметная черточка. Капитан сначала был удивлен резким толчком Махмутки, но, вглядевшись в даль, только проворчал:

— Ну да и глаза же у анафемы. Прибавить ходу! — скомандовал он в машину.

Махмутка был прав. Черная полоска на волнах оказалась шлюпкой. В ней капитан скоро разглядел в бинокль двух контрабандистов, которые отчаянно гребли, стараясь уйти от таможенного парохода.

— Не уйдешь, голубчики,— волновался капитан, не отрывая бинокля от глаз.— Только бы их не перевернуло... Табак везут, это верно... Старый турок не надул.

Через четверть часа шлюпку настигли. В ней сидели два измученных молодых турка в фесках. Оба были на веслах. Между ними, и на корме и на носу, лежали кипы табаку, покрытые брезентами. Тяжелая шлюпка слушалась плохо. На суровых лицах контрабандистов было написано отчаянное упорство и решение не отдаваться в руки живьем. Глядя на них, досмотрщики не решились спуститься по трапу, чтобы зацепить лодку багром. Видно было, что турки решатся колотить досмотрщиков веслами по рукам и по багру до тех пор, пока разъяренные волны или вынесут их на простор или поглотят их вместе с их грузом в своей пучине.

— Иди на трап, поговори с ними,— обратился капитан к Махмутке.— Ты знаешь по-ихнему.

Махмутка повиновался и, наклонившись через борт, стал осыпать контрабандистов страшной турецкой руганью, пересыпая ее ломаными русскими проклятиями.

Контрабандисты, услыша его голос, бросили весла и стали быстро выбрасывать из лодки табак.

— Подлецы! — закричал вне себя капитан.— Они топят контрабанду.— А, чтоб вам... Эй ты, старый черт, крикни им, что если они не перестанут бросать кипы в море, так я в них стрелять буду.

Махмутка закричал им снова во весь голос, но молодые турки в ответ стали работать еще поспешнее. Кипы вылетали за борт с лихорадочной быстротою. Капитан ре-

вел и ругался, как только может быть способен на это моряк.

— Они хотят облегчить лодку,— и наутек,— рычал он, как зверь.— Они мои деньги топят, проклятые... Черта ли мне в них самих?.. Буду стрелять, анафемы!.. Крикни им, что сейчас стану стрелять...

Махмутка снова вступил в переговоры, но он надрывал глотку напрасно. Контрабандисты причалили к трапу только тогда, когда шлюпка была уже пуста. Они поднялись на палубу один за другим с таким свирепым видом, что досмотрщики, приготовившиеся было встретить их как следует, невольно опустили кулаки.

— В остроге сгною распроклятых! — топал ногами капитан в рубке.— Брось шлюпку, пусть она пропадает... Ни одной кипы не оставили, мерзавцы... Погодите, я вам себя покажу...

Махмутка пришел в положительную ярость. Бормоча на непонятном для таможенных служащих турецком языке, он поднес к лицу одного из контрабандистов сжатый кулак, но тот посмотрел на него так, что он отступил.

— Держи к берегу,— скомандовал капитан совсем свирепо.— Утопить вас мало!..

Оба контрабандиста, промокшие до костей, сидели на полу палубы, прижавшись спиною к борту и злобно сверкая белками глаз на Махмутку и на капитана.

Капитан стоял у рулевого колеса и старался бороться с разъяренным морем. Казенный пароходик был невелик, а опасность становилась с каждым оборотом винта все больше и больше. Пристань была уже видна, но подойти к ней было задачей. Норд-ост всей своей силой нес на корпус парохода огромные массы волн. Пароход бросало как щепку. Порою винт не выгребал.

Капитан вертел штурвал неровно и с сердцем. Он жалел, что спас вместо табаку этих двух негодяев. Если бы они захлебнулись соленой водой — туда им и дорога. Но табак — другое дело. Если считать по двадцати рублей за кипу, так и тогда на его долю наградных пришлось бы не менее двухсот рублей. А теперь где взять, когда эти мерзавцы утопили всю конфискацию?.. И что с них самих возьмешь? Стоило ехать в такую бурю... Ухнули денежки... О, негодяи!..

На площадку с трудом поднялся матрос-досмотрщик с калмыцким лицом.

— Ваше благородие, турки нас обманули... Турки по-нашему говорят — ругают, а по-своему — хорошо говорят. Турки...

— Убирайся ты к черту с своими турками. Подлецы они!..— прогнал его капитан, не слушая.— Ухнули денежки, ухнули...

Матрос хотел было еще что-то сказать, но капитан сосредоточил все свое внимание на штурвале. До пристани уже оставалось не более как сажен сто. Надо было подвести пароход так, чтобы не ударить его носом о сваи пристани.

Между пароходом и волнами шла борьба не на шутку. Капитан чуть не поминутно наклонялся к говорной трубе, а кочегар подбрасывал в топку уголь. Пары держали высоко. Цилиндры работали неравномерно: винт часто делал перебои. Буря грозила перейти в шторм. Капитан чувствовал по толчкам штурвала, что волны беспорядочно колеблют руль. Через четверть часа до пристани осталось сорок сажен; еще через десять минут расстояние это сократилось уже на двадцать сажен.

С носа послышался отчаянный крик таможенных досмотрщиков и матросов. Контрабандист, стоявший на носу, бросился с борта в море и исчез, подхваченный волною. Поднялась суматоха. Бросились снимать спасательные круги, хотя и знали, что это бесполезно. В такую бурю подать помощь невозможно. Контрабандист погиб несомненно. Два-три матроса перекрестились.

Через минуту снова послышался такой же крик. Второй контрабандист последовал примеру товарища и тоже бросился за борт. Страшно озабоченный капитан взглянул на Махмутку. Махмутка сидел, поджав под себя ноги, был бледен, но лицо его выражало полное спокойствие...

Пароход причалил к пристани, хотя и не вполне благополучно. Капитан поспешил на берег с рапортом о происшедшем. Под влиянием впечатления никто не решился задержать Махмутку при сходе его на пристань. Махмутка тихо пошел по берегу и скоро скрылся из глаз. Буря потрясла старика так, что он и не думал идти в город, а шел прямо, куда глаза глядят, несмотря на то что свирепый норд-ост почти сваливал его с ног...

К вечеру буря утихла. Капитан, освободившись от длинного рапорта, который ему нужно было писать на бумаге, шел, страшно утомленный, к себе домой.

Его томил голод, и он порешил перехватить по дороге рюмку водки в духане.

Войдя, он потребовал себе графинчик водки, но не проглотил из него ни одной капли. Прямо перед ним во втором отделении духана, за столиком, старый Махмутка гладил по голове и ласкал двух молодых контрабандистов, смотревших, в свою очередь, на старика с удивительной любовью. Лица их были бледны, но горели отвагой. Они показывали ему жестами, как они плыли, как боролись с волнами... Махмутка умилялся и плакал...

Капитан понял все, и сцена, которую он видел перед собой, так ошеломила его, что он ударил кулаком по столу и закричал со злобою:

— Живы таки, проклятые! Не утонули, черти. Даже и буря их не берет?! Какого же я дурака сломал?! Ведь это я их спас, а они мою конфискацию потопили!!



И. Н. Потапенко



СЕКРЕТАРЬ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА

Очерк

I

— Так вот-с, видите ли, почтеннейший Владимир Сергеич,—все эти разрозненные сведения, заключенные в бесчисленные обложки и запечатленные внушительными нумерами, надобно собрать, систематизировать, рассортировать и обработать. Я должен вам сказать, что, благодаря неусыпной энергии и замечательному искусству Антона Петровича, мы уже половину дела сделали. Самое трудное тут было — проложить путь, и этот путь проложен. Ах, вы не можете себе представить, до какой степени я был беспомощен до появления на моем горизонте Антона Петровича! А впрочем, говоря по совести и, конечно, entre nous *, все это глубочайшая ерунда и до тошноты надоело мне...

Говоря это, мой патрон с необычайною нервностью вертелся на своем дубовом кресле, спинка которого была слишком низка, а перила слишком высоки. Было очевидно, что в кресле этом он чувствовал себя крайне неудобно. Его маленькие ножки висели, не доставая до полу, и напрасно искали опоры; локтям было слишком высоко опираться на перила. Я старался слушать его внимательно, но это мне мало удавалось. Это уже был пятый день, что я привыкал к нему, и никак не мог привыкнуть. Этот маленький человечек, немного раздавшийся вширь, с небольшим брюшком, походившим скорее на опухоль, с лицом землистого цвета, с жиденькой белобрысой козлиной бо-

* между нами *(фр.)*.

родкой и ничтожными усиками, с умными блестящими быстрыми глазами, с большим лбом и с густыми волосами, падавшими на лоб, был для меня сфинксом. Когда он длинно и основательно говорил о «разработке материала», для которой, собственно, я был призван, мне всегда казалось, что он шутит или потешается над каким-то третьим, отсутствующим лицом. На этот раз, как и всегда, его серьезная речь сопровождалась саркастической улыбкой, а к оберткам «дел» он прикасался двумя пальцами с такой гадливостью, словно под этими обертками скрывались не «сведения о числе заседаний чертопульской городской думы в 187* году», а целое гнездо грязных насекомых.

Мы сидели с ним уже часа два. Я почти все время молчал, ограничиваясь только репликами. Зато он говорил без конца. По крайней мере, двадцать раз он начинал говорить о «разработке материала», но сейчас же сбивался на жалобу, что ему это надоело, и хватался за голову, которую непрерывно мучила мигрень.

— Ах, с каким наслаждением я все это бросил бы, нет, не бросил бы, а швырнул бы и умчался куда-нибудь на лоно природы, на зеленую травку, где бродят овцы, коровы, лошади, свиньи и нет ни коллежских, ни статских, ни тайных советников... о!..— И он действительно швырял в сторону несколько подвернувшихся ему оберток, соскакивал с своего высокого кресла и начинал бегать по комнате. Он подбегал к огромному шкафу и порывисто раскрывал настежь обе дверцы.

— Знаете ли вы, сколько здесь книг и что это за книги? Пятнадцать лет я самым тщательнейшим образом собираю эти сокровища, я люблю их — и можете себе представить, что за пятнадцать лет я не прочитал ни одной из этих книг! Как вам это нравится?

— Да-с,— продолжал он после молчания,— так мы остановились на мещанах города Псовска. Надо вам знать...— Он опять забирался в кресло и опять теребил какое-нибудь занумерованное дело. Но теребил он его совершенно напрасно, потому что больше двух минут ему не удавалось говорить о деле. Вот он уже рассказывал мне анекдот о каком-то сенаторе, который, по престарелости своей, не мог взобраться в зал заседаний, и его несли по лестнице секретари. И он от души смеялся своему анекдоту, но вдруг прерывал смех и торопливо хватался за бумаги, извинялся и опять начинал историю о псовских мещанах.

Горничная принесла свечи и чай.

— Батюшки, как уже поздно! — спохватился мой хозяин,— а мы еще ровно ни до чего не договорились. Но, я думаю, вы уже понимаете, в чем дело!..

Я понимал это довольно смутно. Антон Петрович Куницын, тот самый, который «направил дело на путь» и вывел моего патрона из беспомощного состояния, сказал мне просто, что есть работа и что у этой работы есть два преимущества перед всеми другими: первое — она отлично оплачивается, второе — она ни к чему не приведет и, вероятно, никогда не кончится.

— Тут дело вот в чем,— пояснил мне еще Куницын,— в некотором году и в некотором месте некий сановник произвел ревизию и привез оттуда в Петербург три вагона материалу. Вот эти-то три вагона и предназначены для того, чтобы прокормить вас более или менее продолжительное время.

Одним словом, рекомендуя меня, Куницын руководствовался не пригодностью моей особы для дела, а единственно желанием дать мне, своему приятелю, корм.

Знакомство мое с Николаем Алексеевичем Погонкиным, моим теперешним патроном, состоялось у Здыбаевских, у которых я бывал, правда, не часто, но все-таки это было странно, что я ни разу не встретил там Погонкина и даже ничего не слышал о нем. Это показалось мне еще более странным, когда я узнал, что он давний и близкий знакомый Здыбаевских, что старик Федор Михайлович знал его чуть ли не с пеленок. Объяснилось это очень просто: Николай Алексеевич был до того завален работой, что выражение «дышать некогда», которое он любил употреблять, шло к нему почти буквально. Все, что он делал, было ему противно; для всего же того, что ему хотелось делать, у него не было времени.

В тот момент, когда Николай Алексеевич в двадцать первый раз взобрался в кресло с самым серьезным намерением объяснить мне наконец, в чем дело, в передней раздался звонок. Погонкин нервно подскочил на месте и затем откинулся на спинку кресла.

— Всегда так, всегда! Чуть займешься серьезно, какая-нибудь деловая рожа ввалится к тебе!..

Но через минуту он уже сиял и торопливо выбирался из-за стола навстречу гостю.

— Антон Петрович! Голубчик! Вас, именно вас нам надо! Без вас мы как без рук! — радостно восклицал он,

делая вид, что раскрывает гостю объятия. Но дело ограничилось простым рукопожатием.

Антон Петрович вошел, остановился на пороге и прищурил глаза. Поздоровавшись с хозяином и со мной, он снял очки и стал вытирать их носовым платком. К необычайной приветливости Николая Алексеевича он отнесся довольно сдержанно и даже как будто надменно.

Он представлял полную противоположность Погонкину. Очень высокого роста, тонкий и прямой, в изящно сидевшей коричневой коротенькой жакетке, в светлом галстуке, в безукоризненно белом высоком воротничке, он производил впечатление человека, любящего пофрантить, но в то же время солидного, не допускающего в своем костюме ничего вульгарного. Лицо его, несколько поношенное, с большим лбом и красивыми глазами, носило следы регулярной работы парикмахера. Но опять-таки и в этой статье Куницын не допускал излишеств. Бородка неопределенного цвета была подстрижена à la Henri IV, небольшие усики были завиты щипцами, щеки выбриты. Негустые и недлинные волосы зачесывались вверх без определенного фасона. На приветствие Николая Алексеевича Куницын кисло улыбнулся и сказал басом, внушительно протягивая слова:

— Всегда готов служить вам, любезнейший Николай Алексеевич! Но, к сожалению...

— Что такое — к сожалению? Нет, уж пожалуйста, голубчик, без всякого сожаления! Готовы, говорите, служить — вот и прекрасно.

— К сожалению, я не могу теперь посвящать вам столько времени, сколько посвящал до сих пор. Даже, если вам угодно знать, я расположен совсем отказаться.

— Антон Петрович! Антон Петрович!..

И на лице Погонкина изобразился неподдельный ужас.

— Антон Петрович! — еще раз возгласил он,— за что же вы хотите погубить меня? За что?

Николай Алексеевич произнес эту фразу с такой искренностью и при этом лицо его приняло такое жалобное выражение, что мне сделалось неловко. Но Куницына это нисколько не тронуло. Он продолжал тем же строгим басом, отчеканивая каждое слово:

— Да-с, поставлен в необходимость погубить вас, Николай Алексеевич. Вам известно, что я два месяца тому назад сделался кандидатом юридических наук. В настоящее время я имел честь вступить в сословие адвокатов и

намерен серьезно заняться своей карьерой. Вы должны понять, Николай Алексеевич, что я имею право предпочесть живое дело адвокатуры бесплодному общению с господами псовскими мещанами.

Антон Петрович не говорил, а упражнялся в красноречии. Он и смотрел при этом, и жестикулировал таким образом, словно перед ним были не я с Погонкиным, а господа судьи и господа присяжные заседатели. Но для Николая Алексеевича он оказался не добрым защитником, а безжалостным прокурором. Мой патрон ходил по комнате, заложив руки за спину и поникнув головой.

— Да, все это так... Конечно, конечно! С какой стати вам жертвовать собой? Но согласитесь, что мое положение дурацкое. Ведь, говоря по совести, я ни бельмеса не смыслю в этом деле; я полагаю, против этого вы не станете возражать?

— Против этого я действительно не стану возражать!..— категорическим тоном отозвался Куницын.

— Ну-с, так как же мне быть? Вы, по крайней мере, не откажите мне в совете! Нельзя же так взять да и бросить человека в беспомощном состоянии на произвол судьбы!

— Что касается советов, то я готов дать вам их сколько угодно, ибо это — моя профессия! — шутя сказал Куницын.— Но я не понимаю, зачем вам так беспокоиться, когда у вас есть такой мастер на все руки, как Владимир Сергеич!..

Я до сих пор слушал этот диалог как любопытствующее третье лицо, но так как теперь речь зашла обо мне, то я подтянулся и приготовился вступить в разговор.

— Я глубоко уважаю Владимира Сергеича,— сказал Погонкин с изысканно-любезной улыбкой в мою сторону,— но, говоря по совести, мы оба вместе понимаем в этом деле меньше, чем ваш мизинец!

— Гм... Я давно знаю, что сенатские чиновники очень любезные люди! — заметил Антон Петрович.— Но если даже и признать справедливость вашего замечания, то дело все-таки не так безнадежно, как вы думаете. Надо помнить, что вы имеете дело с Владимиром Сергеичем, а нет такого дела, к которому Владимир Сергеич не приспособился бы самым блестящим образом. Если обстоятельства заставят его переплетать книги, могу вас уверить, что через три дня он будет превосходным переплетчиком. Если бы он был поставлен в необходимость во что бы то ни стало писать стихи, поверьте, что его хорей и

дактили нисколько не уступали бы пушкинским. Я даже думаю, что если бы ему сказали: вы должны играть в оркестре на тромбоне, то он, никогда не бравший в руки тромбона, стал бы играть на этом инструменте и дела не портил бы. Владимир Сергеич — это гений приспособляемости. Можете быть уверены, что ежели он возьмется за вашу пресловутую статистику, то через неделю заткнет за пояс и вас, и меня.

Решительно Куницын был рожден адвокатом. Что касается меня, то я должен был сделать какое-нибудь замечание, которое смягчило бы его рекламу. Отчасти он был прав. Я действительно обладал способностью приспособляться к самым разнообразным занятиям, очень скоро усваивая их сущность. Случалось мне и стихи писать, и книги переплетать (на трубе играть не пробовал), но все это было, разумеется, далеко от совершенства. Мало ли с чем ни приходится возиться человеку без определенных занятий, желающему во что бы то ни стало наслаждаться преимуществами Петербурга. Я сказал:

— Всему этому можно было бы поверить, если бы не было известно, что вы мой давний приятель!..

Но Николай Алексеич поверил. Он уже стоял передо мной и смотрел на меня умоляющим взглядом.

— Владимир Сергеич! Я надеюсь на вас, как на каменную гору! — трогательным голосом сказал он, взял мою руку и сильно потряс ее. Я ответил, что приложу все старания. Николай Алексеевич мгновенно успокоился и уже беззаботным тоном рассказал какой-то путевой анекдот. Он ездил вместе с сановником на ревизию, и в голове его был неистощимый запас провинциальных курьезов, которые служили дополнением к трем вагонам материалов. Таким образом, я, еще не разобравший хорошенько, в чем дело, получил звание руководителя неизвестной мне разработки неведомого мне материала.

Николай Алексеевич разошелся и расчувствовался. Он трогательно говорил о наслаждении, какое испытывает в беседе с живыми людьми — что редко выпадало на его долю,— о том, что за час такой беседы он охотно отдал бы всю свою чиновную карьеру; спрашивал, что нового в журналах, и объяснялся в любви к литературе. Любовь эта была безнадежна, потому что у него хватало времени лишь на то, чтобы разрезать новую книжку журнала и прочитать оглавление.

Вошел плотный, коренастый человек в сером парусиновом костюме, с великолепными рыжими баками, с густыми волосами, подстриженными ежом, и с выпуклыми крупными серыми глазами. Николай Алексеевич бросился в его сторону и зверски наскочил на него.

— Что вам нужно? Оставьте меня в покое!.. Дайте мне хоть немножко подышать!..

Вошедший нимало не смутился и сказал весьма почтительным голосом, тыча ему под самый нос какие-то бумажки:

— Тут счеты, Николай Алексеич. Кровельщик уже три дня ходит. Тараканщику за два месяца следует.

— Вот-с, всегда так! — обратился к нам с жалобой Погонкин.— Стоит мне только на минуту забыться, как этот господин прилезет со своими тараканщиками!.. Это, господа, радости моей жизни... Ну-с, сколько тут?

Он вырвал счеты из рук докладчика и швырнул их на стол, даже не заглянув в них.

— Кровельщику шестьдесят два рубля пятьдесят копеек, а тараканщику двенадцать рублей.— Погонкин подлетел к ящику стола, с грохотом выдвинул его, порылся, достал сторублевую бумажку и бросил ее рыжим бакенбардам.

— Только, пожалуйста, не забудьте принести сдачу, а то вы иногда забываете об этих пустяках...

— Мне странно слышать, Николай Алексеевич...

— Ладно. Чего ж вы торчите? Получили, ну, и убирайтесь!..

— Я еще хотел доложить, что дворник коломенского дома второй день пьянствует.

— Покорно вас благодарю. Кажется, это вы порекомендовали его?

— Прикажете прогнать его?

— Послушайте, Иван Иваныч! Хотите доставить мне истинное удовольствие? Так прогоните, пожалуйста, не только этого пьяного дворника, а... ну, хоть и себя самого прогоните!..

Иван Иваныч на это улыбнулся, как человек, привыкший к подобным выходкам своего начальника, и скромно вышел.

— Как? Разве вы и коломенским домом управляете? — спросил Куницын.

— Ах, голубчик, Антон Петрович! Я всем управляю, всем заведую, все делаю, на то я секретарь его превос-

ходительства!.. Я не делаю только одного того, что мне хочется делать и что могло бы доставить мне удовольствие!..

Это было сказано таким жалобным тоном, что Антон Петрович почел необходимым переменить разговор.

— Послушайте, Николай Алексеевич, вчера я был у Здыбаевских. Федор Михайлович обещал мне бутылку старого токайского вина, если я сегодня приведу вас к ним.

— Антон Петрович, вы знаете, что я блаженствую, когда бываю у этих прекрасных людей, но у меня целая куча дел. Целая куча, Антон Петрович!..

— Наплюйте на нее!..

— Да, легко сказать — наплюйте! Во вторник его превосходительство будет докладывать дело по ходатайству города Бруева о разрешении установить налог на каждую пару сапог, носимых обывателями. Я должен написать доклад. В среду его превосходительство читает в одном ученом обществе реферат о том, как «в старину живали деды веселей своих внучат»; [1] я должен составить этот реферат по источникам. Засим-с, я должен на этой неделе представить его превосходительству отчет по управлению его тремя домами, из коих один ремонтируется. Далее-с, я обязан рассмотреть переписку по покупке его превосходительством имения в Черниговской губернии — и отписаться; затем-с...

— И наконец,— перебил его Антон Петрович,— вы должны зажарить самого себя и собственноручно подать себя на обеденный стол его превосходительства, который скушает вас с особенным удовольствием!..

— Вот именно, именно!.. Вы это удивительно метко определили, Антон Петрович, удивительно метко!..

— Но, однако же, позвольте узнать, на кой вам все это черт?

— Я никогда не задавался этим вопросом!..

— Ах, Николай Алексеевич, наберитесь-ка храбрости, наплюйте сегодня на все эти доклады, отчеты и рефераты, оденьтесь, и поедемте к Здыбаевским!

Николай Алексеевич ходил по комнате мелкими и частыми шажками, очевидно, сильно взволнованный. Вдруг он подошел к стене у кровати и решительным движением крепко надавил пуговицу воздушного звонка. Через две секунды прибежала горничная.

— Одеваться мне и никого не принимать. Меня нет дома!..— отрывисто приказал он.— Ну-с, Антон Петрович,

я плюю, к вашему удовольствию. Надо, в самом деле, хоть чуточку пожить для себя. Ведь я же имею на это право!

— То-то и есть. Одобряю! — заметил Куницын.

Принесли черную пару. Николай Алексеевич с лихорадочною поспешностью снимал с себя домашний костюм и облачался в парадный, предварительно извинившись перед нами. Вот он уже натянул сюртук и ищет гребенку, чтобы причесаться.

— Я готов, господа, я сию минуту. Спасибо вам, Антон Петрович, за хорошую мысль... В самом деле, надо освежиться, проветриться. Ведь этак и вправду закиснешь, заплесневеешь, отупеешь вконец. Эка важность — доклады, рефераты! Подождут ведь! Правда, Антон Петрович?

— Совершенная истина, Николай Алексеевич! — поощрительно сказал Куницын.

— Да и что, в самом деле?! Что за генеральство, черт возьми! — уже окончательно расходился наш хозяин.— Положим, я его секретарь и домоправитель, я получаю за это жалованье и квартиру, а также облегчение в прохождении чиновных ступеней. Отлично! Но я никогда не слышал, чтобы секретари писали ученые рефераты. Вы слышали когда-нибудь, Антон Петрович? А вы, Владимир Сергеич, слышали? Это значит быть ученым за своего патрона! Понимаете, я буду рыться по источникам, а он с великой серьезностью прочитает о том, как «в старину живали деды веселей своих внучат», и ему будут аплодировать!.. Нет, я завтра же объявлю ему, что желаю точно придерживаться своих титулов: секретарь и домоправитель, и только. И никаких рефератов!.. Ну-с, господа, я готов и к вашим услугам!..

Он был чрезвычайно оживлен и подвижен, а черный сюртук, который был хорошо сшит и отлично сидел на нем, придавал ему некоторую торжественность. После того как за десять минут перед этим я видел его брюзгой — в широком костюме, в некрахмаленной сорочке, в мягких туфлях, он производил теперь приятное впечатление человека, после долгих колебаний на что-то решившегося. Это сознание радовало и воодушевляло и его самого, придавало здоровый румянец его щекам и блеск его глазам.

Он взял в руки шляпу; мы поднялись с своих мест.

— Знаете, я просто любуюсь вами, Николай Алексеевич! — сказал ему Куницын.— Вы совсем другой человек!

— Да ведь это и есть моя природа!.. Таков я всегда был во время оно. Едемте, господа, едемте!..

Мы все трое направились к дверям. Но едва мы сделали по три шага, как раздался пронзительный звон. Кто-то требовал Николая Алексеевича к телефону.

— Черт возьми! что им надо от меня? — раздраженно воскликнул Погонкин и подбежал к телефону.— Кто звонит? — сердито крикнул он и приложил трубочку к уху. Ему что-то ответили.

— Да, это я. А вы... вы... Ах, это вы, ваше превосходительство?! Мое почтение!..

Тон его мгновенно переменился и сделался мягким и почтительным. Он приветливо улыбнулся, раза два кивнул головой, как бы кланяясь невидимому его превосходительству, и даже шаркнул ножкой. Антон Петрович подмигнул мне в его сторону: наблюдай, мол!

Николай Алексеевич опять послушал в трубочку.

— Да, да, я уже приступил к работе, ваше превосходительство, я изучаю источники!

Опять внимательное молчание.

— Завтра в семь часов вечера?

Молчание.

— Боюсь, что не успею, ваше превосходительство!

Продолжительное молчание, прерываемое отрывистыми и невнятными: «да, да!», «очень хорошо!», «разумеется!».

— Если вы настаиваете, то я, конечно, приложу все старания, буду работать всю ночь и на службу не поеду!.. Спокойной ночи, ваше превосходительство! — За этим последовал поклон и короткий звонок.

— Ну-с, вы кончили, Николай Алексеевич? Так едем! — сказал Куницын.

Николай Алексеевич молча два раза прошелся по комнате, потом остановился.

— Нет, господа, извините! Я не могу ехать. Я сейчас должен засесть за реферат. Он завтра хочет выслушать его и сделать свои замечания.

Все его оживление, вся энергия, выражавшаяся в его глазах, исчезли бесследно. Лицо сделалось желтым и дряблым. Не стало живого, умного, симпатичного человека; опять перед нами был секретарь его превосходительства.

— Не могу, господа, не могу! Извините! — еще раз повторил он.— Передайте, пожалуйста, мой сердечный привет добрейшему Федору Михайловичу, Елизавете Федоровне и Сереженьке!..

Мы молча пожали ему руку и вышли.

II

Ровно неделю я употребил на то, чтобы «овладеть предметом». На восьмой день я уже сидел в так называемой «канцелярии», с видом человека, съевшего собаку в статистике (так как это называлось у нас статистикой), и самым авторитетным тоном делал указания и вносил поправки в систему, выработанную Антоном Петровичем.

Может быть, с моей стороны это было немалым нахальством. Признаюсь, что никогда в жизни я не занимался статистикой. Я наскоро подчитал кое-что подходящее, по указанию Антона Петровича, бегло окинул взором шкапы с трехвагонным материалом, и в голове моей составилось нечто цельное, определенное и до невероятия смелое. Когда я изложил Николаю Алексеевичу «свою» систему, он остолбенел от изумления.

— Действительно, вы гений приспособляемости! — воскликнул он, выскочив из-за стола, за которым он сидел в своем неизменном дубовом кресле.— Знаете что? Я совершенно передаю вам это дело, совершенно. Делайте что хотите, требуйте что нужно! Я только исполнитель ваших предначертаний и плательщик!

Такое необычайное доверие доказывало, что Погонкин был дилетант еще более глубокий, чем я, хотя это и трудно было представить. В моей системе его подкупила стройность и законченность, и он вообразил, что я в самом деле основательно изучил его три вагона и в то же время вооружился солидными знаниями по теории статистики. Ничего этого, разумеется, не могло быть. Все дело заключалось в особой способности моего ума — никогда ни в чем не терпеть пробелов. Когда я чего-нибудь не знаю, я замещаю пустое место чем-нибудь подходящим из того, что я знаю; когда я, благодаря недостаточной подготовке, чего-нибудь не понимаю, я его просто выбрасываю. Но в конце концов я так ловко и искусно сведу концы с концами, что получается нечто правдоподобное.

Я сделался полным хозяином «канцелярии». Это была очень длинная комната, все стены которой были превращены в шкапы, а полки этих шкапов были завалены «материалом» в виде бесконечного множества «дел», «сведений», «записок», «ведомостей» и т. п. Во всю длину комнаты посредине ее тянулся стол, покрытый зеленой клеенкой; на столе лежали в несметном количестве

письменные принадлежности: чернильницы, ручки, перья, карандаши, кипы бумаги, линейки, даже циркуля. Все это указывало на то, что моя скромная и тихая работа служит только преддверием к чему-то грандиозному, долженствующему поглотить всю эту массу «принадлежностей».

И действительно, когда я раскрывал шкапы, из которых на меня внушительно смотрели необъятные горы бумажного материала, я чувствовал себя мизерным со всей своей стройной и законченной системой. Роясь одиноко в этой громаде, я походил на муху, мечтающую съесть сахарную голову.

«Канцелярия» сделалась моим храмом, а я — ее единственным посвященным жрецом. По крайней мере, вход в нее был доступен далеко не всякому смертному. Сам Николай Алексеевич, прежде чем войти в нее, стучался в дверь и спрашивал позволения. Феня, носившая нам чай, чуть слышно отворяла дверь и входила на цыпочках. Единственный человек, пользовавшийся правом свободного входа сюда, это Иван Иваныч. Мало этого, он даже был хранителем ключей как от самой канцелярии, так от шкапов и от ящиков стола.

С Иваном Иванычем я познакомился при довольно торжественной обстановке. Это было еще в период созревания моей системы, когда я ходил по канцелярии и с недоумением посматривал на грандиозные шкафы, решительно не зная, что я буду делать с их содержимым. В одну из минут моей глубокой задумчивости вошел Николай Алексеевич, а вслед за ним почтительно и сдержанно вступил Иван Иваныч.

— Вот-с, Владимир Сергеевич, позвольте вам представить этого человека! — сказал Николай Алексеевич.— Это Иван Иваныч, который все знает и все может. Ему достоверно известно, где, в какой именно щелочке лежит такая-то ведомость; его голова — справочный ящик по этой части и по всякой другой части! Он весь к вашим услугам!

Я пожал увесистую и потную руку Ивана Иваныча, фамилию которого, вероятно, считали несущественной для дела и поэтому совсем не назвали ее. Он для первого знакомства не сказал ни слова, держался вообще мешковато и стесненно и скоро исчез. Сейчас же по уходе его Николай Алексеевич прибавил мне конфиденциально:

— С ним надо вести себя осторожно. Жулик первой руки!

Хотя эта вторая рекомендация явно противоречила первой, но я не возбуждал об этом вопроса.

Через четверть часа Иван Иваныч вернулся. Он был в своеобразном костюме: в синей рубашке навыпуск, подпоясанной ремнем, а поверх покрытой серым пиджаком.

— Может быть, желаете ознакомиться, где что лежит? — почтительно спросил он меня. Я пожелал. Он вынул из кармана связку ключей и отпер поочередно все шкапы.

— Вот здесь покоятся мещане! — сказал он без всякой иронии.— Его превосходительство очень много привезли мещанского материалу, потому в этих паршивых городах почти никого и нет, кроме мещан. Вот тут — касательно городских дум. Здесь — насчет сиротских судов. Большею частью я собственноручно принимал все дела и в реестр вносил; потому и знаю хорошо.

— Как? Разве и вы ездили на ревизию?

— А как же? При его превосходительстве состояли — Николай Алексеевич и я... Но, собственно, большею частью я-то и производил ревизию. Зайдешь, бывало, в какую-нибудь ремесленную управу в городе Неплюйске, и сейчас: покажите то, покажите другое. Так тебе все и вываливают. Я вам скажу: ежели б кто захотел, заработать мог бы на всю жизнь! Мне, например, дают дела сиротского суда (его превосходительство приказали всюду снимать для нас копии со всех дел). Вижу я — озаглавлено: «Об опеке над имуществом такой-то умалишенной». Уж можете быть покойны, что тут дело нечисто. Сейчас вы: пожалуйте подлинное для сверки. Вот тут-то и есть самый момент. Подлинное-то на копию даже вовсе не похоже... На этом можно было сильно заработать...

Я не решился по первому знакомству спросить, заработал ли он на этом. Но надо думать, что это было так, потому что очень уж он уверенно говорил об этом. Не успели мы с ним хорошенько разговориться, как зычный звонок, проведенный сюда из кабинета Николая Алексеевича, отнял у меня собеседника. Иван Иваныч сделал ужасную гримасу и закрыл уши.

— Можете себе представить, что я каждые пять минут слышу этот звонок, и не только наяву, а даже во сне! — с досадой промолвил Иван Иваныч и помчался в кабинет.

Действительно, звонки Николая Алексеевича преследовали его на каждом шагу. Они как бы следили за ним, шпионили и ловили его. Звонки из кабинета Погонкина

были проведены всюду, как во все комнаты его собственной квартиры, так и в квартиру Ивана Иваныча.

Через две минуты Иван Иваныч вернулся.

— Извольте видеть, он никак не мог припомнить, какого числа нанят дворник Яков, так я должен был бежать к нему и докладывать...— объяснил мне Иван Иваныч.— Поверите ли, от этих звонков мне житья нет. Вот это он сидит, корпит над бумагой, вдруг ему придет в голову: сколько я заплатил извозчику, который вчера привез его со службы? Сейчас подбегает к стене, а в стене у него, может вы заметили, целая дюжина кнопок. Придавит одну — нет, другую — нет, третью, четвертую, хоть все двенадцать: которая-нибудь таки меня где-нибудь отыщет. Знаете, иной раз он до того запишется в каком-нибудь докладе, что уже сам не знает, что говорит. Один раз он этак позвал меня звонком — я прибег. Вижу, стоит посреди комнаты и лоб трет. «Что прикажете, Николай Алексеевич?» — «Ах, говорит, Иван Иваныч, не помните ли вы, что я такое сейчас думал? Что-то очень важное, а припомнить не могу!» Можете себе представить?! Я посмотрел на него и думаю: надо что-нибудь сказать; и говорю: «Вы, говорю, Николай Алексеевич, ни о чем не думали, это вам показалось». Ну, рассмеялись оба.

Иван Иваныч с каждой минутой все делался словоохотливее. Он уже понизил голос, раз-два оглянулся на дверь и придвинулся ко мне поближе. Из этого я заключил, что сообщения его будут конфиденциальны.

— И из-за чего человек мучается? Просто невозможно понять! Возьмите вы это: одинокий, жалованья по службе получает до трех тысяч; кажись бы, жить бы только в свое удовольствие. А он, подите вы! Его превосходительство, Константин Александрович, прямо вам скажу, кровь из него высасывает. Ведь он ему все делает, все как есть, а тот сидит себе в своих палатах, балы задает, чины да ордена получает. Чего ради, я вас спрашиваю? День и ночь, день и ночь на него работает... А за это получает квартиру, да сто рублей в месяц деньгами, да меня на придачу...

Его опять потревожил звонок. На этот раз он сидел в кабинете дольше, а вернувшись, объяснил, что там неизвестно куда запропастилось какое-то «дело» и он искал его под столом и под диваном.

— А его превосходительство богат как жид,— продолжал он прежним конфиденциальным тоном.— Три дома у

него здесь, да два именья, одно в Московской, другое в Новгородской, с лесами, с охотой.

— А вы у него служите? — спросил я, желая уяснить себе роль этого человека.

— Я был у него сначала по письменной части, потому как я из военных писарей и почерк хороший имею... Ну, а потом дан Николаю Алексеевичу как бы в помощники. И уж тут я и сам не разберу, что я такое. Прямо на все руки. Один раз дворник запьянствовал, так меня целых двадцать часов дворницкую службу нести заставили.

Получив эти важные сообщения, я уже несколько яснее представлял себе отношения, связывавшие Николая Алексеевича, Ивана Иваныча и его превосходительство.

Я выбрал ближайшее воскресенье для того, чтобы поговорить с моим патроном о деле. Мне нужно было выхлопотать себе помощника, отчасти потому, что в самом деле одному нельзя было справиться с таким обширным делом, да и потому еще, что у меня был приятель, тоже человек без определенных занятий, а в данное время даже без всяких занятий.

Я пошел с утра, рассчитывая, что в праздничное утро застану моего патрона свободным.

Но когда я вошел в кабинет, я встретил там целую толпу народа. Это были рабочие по ремонту дома его превосходительства. Николай Алексеевич производил им расчет. С каждым он вел особые переговоры, читал нотацию за небрежность, пытался оштрафовать, сделать вычет, выслушивал возражения и платил. Каждую минуту он раздражался, вскакивал с места, швырял счеты, вскрикивал, брался за голову и просил всех провалиться сквозь землю. Но рабочие не обращали на это внимания и тянули свою линию.

— А, вот это для вас еще новость! — обратился он ко мне, пожимая мою руку.— Это устроено собственно с той целью, чтобы свести меня с ума. Понимаете, я говорил, я доказывал его превосходительству, я настаивал, чтобы производить ремонт подрядным способом. Тогда я знал бы одного подрядчика. Так нет, изволили не согласиться, а теперь я должен возиться с каждым рабочим. Знаете, я, кажется, все это брошу, ей-богу брошу! — Это была угроза, которую я от него слышал каждый день по всевозможным поводам, а Иван Иваныч слышал ее уже пять лет. Разумеется, ей не суждено было осуществиться.

Рабочие рассчитывались до двенадцати часов. Тут сказали, что подан завтрак; мы вышли в столовую. Но завтракать пришлось мне одному. Едва Николай Алексеевич взял в руки нож и вилку и прицелился резать бифштекс, как пришел жилец из коломенского дома с жалобой на старшего дворника, который выдает мало дров, потому что ворует их себе. Погонкин принялся разбирать жалобу, причем предварительно пустил во все концы звонки для того, чтобы изловить Ивана Иваныча, который должен был оказаться во всем виноватым.

— Ах, голубчик, извините, я вас оставил одного! — воскликнул он, с отвращением разрезывая совершенно застывшее мясо. Сколько я заметил, он никогда не ел ни одного кушанья в надлежащем виде. Все перестаивалось и приобретало отталкивающий вид, в ожидании, пока он покончит с каким-нибудь внезапно нагрянувшим делом.— Ну, расскажите-ка, что делается на белом свете? Я уже ровно две недели не читаю газет. Этот ремонт отнимает у меня остаток моего времени.

Я сообщил ему, что вчера был в концерте и слышал Девятую симфонию Бетховена.

— Боже мой! — с искренним чувством проговорил он,— а ведь я мечтал об этой симфонии! Неужели это было вчера? У меня и билет есть, я за две недели купил его, но совершенно выпустил из виду! — Он начал говорить о музыке. Оказалось, что он страстный любитель ее, но живет по этой части одними воспоминаниями. Пятнадцать лет тому назад, когда он был еще студентом, он, по его выражению, «дневал и ночевал» «в коробке» Большого театра, слушая итальянских знаменитостей. Он слышал Патти [2], но не выносил ее за ее холодность и деревянность.

— Мне ее напоминает вот этот противный бифштекс, в котором столько же чувства, сколько у нее,— говорил он.

Шедевром оперной музыки он считал квартет из «Риголетто» [3], и когда он сообщал мне об этом, то старался изобразить кое-что из партии Джильды. Высшим произведением симфонического жанра он считал Девятую симфонию Бетховена, ту самую, на которую он вчера не попал. В течение двенадцати лет он всего два раза нашел время сходить в оперу, причем оба раза попал на Вагнера и был ужасно недоволен, потому что не слышал ничего похожего на квартет из «Риголетто». Но в его сердце всегда оставался уголок, отведенный музыке, и любовь свою к ней он

выражал тем, что покупал через Ивана Иваныча билеты на все выдающиеся концерты, обязательно абонировался на симфонические собрания и никогда никуда не ходил.

— Знаете, это что-то роковое! — воскликнул он.— В день концерта, в самый момент, когда надо ехать в театр, непременно свалится на мою голову какое-нибудь спешное, неотложное дело, и я остаюсь... Иногда прямо плакать хочется, а ничего не поделаешь!..

Был уже третий час. Я, наконец, нашел необходимым заговорить с ним о деле.

— У меня есть к вам дело, Николай Алексеевич! — перебил я его почти в самом разгаре музыкальных восторгов.

Он с шутливым негодованием положил в тарелку вилку и нож и укоризненно закачал головой.

— Владимир Сергеич! И у вас, как погляжу, нет жалости ко мне! Ну, что вам стоит хоть в воскресенье поболтать со мной о том, о сем, о чем угодно, только не о деле?!

Я смутился.

— Извольте, Николай Алексеевич, я готов забыть о своем деле!.. Давайте болтать!..

— Нет, нет, пожалуйста! Все равно, от дела в том или другом виде мне не уйти. Все равно, Иван Иваныч придет, телефон прозвонит, тараканщик прилезет, ремонт, дворник, доклад, реферат et cetera, et cetera *. Говорите, пожалуйста! Я весь, весь к вашим услугам!..

— Мне нужен помощник! Одному мне не сдвинуть эту гору! — заявил я.

— Гм... Помощник?!

К моему удивлению, Николай Алексеевич, несмотря на всю свою необычайную предупредительность, не поспешил выразить согласие. Он оттопырил нижнюю губу и забарабанил пальцами по столу.

— Помощник! Гм!.. Я вполне разделяю это, вполне! — Но и разделяя это вполне, он продолжал обнаруживать нерешительность.

— Вы встречаете препятствия? — спросил я.

— Как вам сказать? Препятствия особого рода. Надо вам знать, что его превосходительство страшно туг на всякий новый расход.

— Неужели? Такой богач!

— Да, представьте себе! Он не скуп, живет широко, тратит огромные деньги на приемы и всякие развлечения...

---

* и прочее, и так далее (*лат.*).

Но он глубоко убежден, что это моя обязанность и что все это я должен делать один...

— Как? И это еще? Да когда же?

— О, он об этом не думает... Секретарь — значит, должен делать все. Вы не можете себе представить, каких усилий мне стоило выхлопотать себе одного помощника в лице Антона Петровича, а потом вас! Это, говорит, роскошь; вы, говорит, разбаловались, жиреть начинаете... Каково? Но во всяком случае я на этом настою и почти обещаю вам помощника. У него есть одно больное место, на которое я в таких случаях и действую, как опытный психолог.

Я не расспрашивал, но Николай Алексеевич почувствовал потребность поделиться со мной своим секретом.

— Это, конечно, между нами. Надо вам знать, что в то время, как мы с его превосходительством производили ревизию в одних губерниях, другое его превосходительство занималось тем же в других губерниях. Мы привезли три вагона плодов нашей деятельности и думали, что больше уже никому не привезти; а они, можете себе представить, взяли да целых четыре привалили. Ну, понимаете, нам стало досадно. Где ж таки! То его превосходительство живет чуть ли не одним жалованьем, а мы почти что миллионеры. Мы желаем, чтобы о нас говорили больше, чем о ком бы то ни было другом. Посему мы постановили: перещеголять другое его превосходительство разработкой материала. Мы должны накатать тьму-тьмущую разных ведомостей и составить отчетище, в котором цифры сидели бы одна на другой, смелые выводы били бы в нос, а главное, чтобы книга была толстая-претолстая, чтоб ее никогда нельзя было дочитать до конца. В книге этой *наш* его превосходительство будет все говорить: «я полагаю», «я пришел к заключению», «я вычислил» и т. п., а другое его превосходительство об этой готовящейся грозе не подозревает и поэтому даст кратенький и жиденький отчетец. Вот мы и победили!..

Все это он излагал с неподражаемым юмором. Никак нельзя было подумать, что он говорит о том деле, в котором сам играл столь видную роль. Я осведомился, куда пойдут эти отчеты.

— Как куда? А в комиссию! Есть такая особая комиссия, которая действует уже четыре года и никак ни к чему не может прийти. Два года назад она выработала «основные положения»; прочитали, просмотрели, обсудили; положения оказались слишком либеральными. Тогда

комиссия опять засела и принялась вырабатывать сначала. Но беда: хватила через край! Ее новые «положения» оказались чересчур уж консервативными. Теперь она вновь засела и ищет середины... Так вот эту-то комиссию мы и хотим поразить своим отчетом!.. Ну-с, я и скажу его превосходительству, что ежели он будет жалеть денег для работников, то другое его превосходительство, чего доброго, и отчетом перещеголяет нас! А это для него все равно что нож в сердце!..

Я ушел с надеждой, что соперничество двух их превосходительств доставит корм моему приятелю.

III

Его превосходительство разрешил мне взять помощника. Поэтому вот уже около месяца я сидел в канцелярии не один, а с моим приятелем и сожителем, Кириллом Семенычем Рапидовым. Иван Иваныч по-прежнему забегал к нам, рассказывал анекдоты про ревизию, про его превосходительство, в особенности ядовито изображал своего ближайшего патрона, Николая Алексеевича, который мстил ему тем, что каждые две минуты отравлял его покой звонком. Работали мы мирно и не спеша, обрабатывая деятельность городских общественных управлений в городах двух отдаленных губерний. Выбор материала всецело принадлежал Ивану Иванычу, единственному человеку, который знал, где что лежит в этой необъятной куче. Вместо какой бы то ни было описи в наше распоряжение была предоставлена его голова. По мере надобности он подкладывал нам «дела», а мы извлекали из них цифры. Метод наш был довольно прост и несложен. Мы забирались в город Неплюйск и смотрели, сколько в нем гласных[4]. В Неплюйске их было тридцать. Тогда мы начинали разделывать эту цифру на все корки. Мы делили их на мещан, дворян, купцов и прочие сословия и вычисляли процентное отношение их между собою. Главное тут было, чтобы вышло *сто*, в этом была вся забота, и мой приятель и помощник, Рапидов, сначала никак не мог приспособиться к этому условию.

— Вольдемар, тут, брат, не выходит *ста*, а только девяносто семь! — тревожно сообщал он мне. Он почему-то сделал привычку называть меня не иначе как Вольдемаром, хотя это вовсе было не к лицу ни мне, ни ему.

Я просматривал его выкладки и убеждался, что *сто* не выходит по весьма законной причине: не хватает одного гласного. Всех-то их тридцать, а по сословиям набирается всего 29. Другой на моем месте почувствовал бы себя в затруднительном положении, но я, в качестве гения приспособляемости, сейчас же нашелся.

— Всади куда-нибудь еще одного гласного! — рекомендовал я.

— Куда же? В мещане, дворяне, купцы или прочие сословия? — спрашивал Рапидов, который очень был еще далек от постижения моей системы.

— А ты погадай на пальцах!

— Как на пальцах?

— А так, как обыкновенно гадают. Указательный перст правой руки поверти вокруг такового же левой, потом разведи их, закрой глаза и сомкни.

— Что же это будет за статистика?— недоумевал Рапидов, который вообще смотрел на вещи ужасно серьезно.

— Что делать! Там, где Иван Иваныч не дал точных сведений, надо прибегать к услугам судьбы. Вот погадай — и увидишь, что непременно что-нибудь выйдет.

Рапидов гадал. Сначала на дворян — пальцы разошлись, потом на мещан тоже, на купцов пальцы благополучно встретились.

— Ну, следовательно, сей недостающий гласный был купец!

Рапидов записывал его в купцы и, таким образом, добивался желанных *ста* процентов. Бывали случаи, что гласные исчезали не поодиночке, а целой полдюжиной. Тут мой помощник делал протестующее лицо и никак не соглашался решить судьбу такой большой компании при посредстве пальцев. В этих случаях я принимал меры строгости.

— Прошу не забывать, что ты не более как мой помощник! — строго внушал я Рапидову,— и обязан подчиняться всем моим предначертаниям. Надо быть последовательным. Все гласные пользуются одинаковыми правами. Если можно решить судьбу одного при посредстве указательных пальцев, то почему это не годится для полдюжины!

Рапидов упорствовал; тогда я пускал в дело свои собственные указательные пальцы и доставлял ему *сто процентов*.

Мой ум, ставящий на первом плане округленность, законченность и чистоту отделки, не выносил каких бы то

ни было недомолвок и пробелов. Поэтому я совсем не признавал «ведомостей», выработанных моим предшественником, Антоном Петровичем Куницыным. Он точно придерживался источников, и у него на каждом шагу во всю ширину ведомости стояли позорные надписи: «сведения неточны». Я этого решительно не мог допустить. С одной стороны, это могло бы бросить тень на лицо, которое производило ревизию. Помилуйте, сведения неточны! Зачем не разыскали точных? С другой стороны, на основании неточных сведений нельзя было сделать никаких общих выводов. Кроме того, мне было известно, что в «делах», служивших нам материалом, всецело отразился пытливый дух Ивана Иваныча, и я был совершенно уверен, что то, что давалось в этом материале как точное, было столь же достоверно, как и результаты наших гаданий при посредстве указательных пальцев. Наконец,— и это чуть ли не самое главное,— это было некрасиво и, может быть, даже неприлично. Какая же это статистика, которая основана на неточных сведениях? Поэтому у меня все было удивительно точно: «ведомости» щеголяли только цифрами, процентными отношениями, благополучно дававшими сотню, и средними величинами, которые тоже всегда составляли *сто*.

Однажды к нам зашел Николай Алексеевич, а вместе с ним нам сделал честь родоначальник и основатель нашей статистики — Антон Петрович. Мы уже три месяца с Рапидовым гадали на пальцах и успели за это время приготовить бездну ведомостей. Что касается ведомостей Антона Петровича, то они у меня были наклеены на стене, на видном месте, как пример того, как не следует делать. Николай Алексеевич заглянул в наши работы и воскликнул в совершенном восторге:

— Ах, какая прелесть! Антон Петрович, взгляните! какая чистота, как все аккуратно сходится! Помните, как мы с вами не могли этого добиться?! Еще его превосходительство укорял меня: «Что это, говорит, у вас на каждом шагу сведения неточны? Нас, говорит, могут спросить, чего ж мы смотрели? Вы, говорит, пожалуйста, как-нибудь постарайтесь избежать этого!» Как вы этого достигли, Владимир Сергеич? Нет, вы решительно золото, а не человек!

Я, разумеется, принял похвалу без протеста, но не открыл своего секрета. Антон Петрович едко улыбнулся и шутя погладил меня по голове.

— Вам бы быть министром финансов! — сказал он.

Рапидов сидел с суровым лицом и молчал. По-видимому, его подмывало рассказать, в чем дело, так как он в душе все еще жаждал «честной статистики»; но я посмотрел на него безапелляционным взглядом и сейчас же переменил разговор.

— Как ваша практика? — спросил я Куницына.

— Не так блестяща, как ваша! — с улыбкой промолвил он,— но в общем ничего, делаю успехи!..

Ядовитый человек был Антон Петрович Куницын. Впрочем, надо сказать, что ядовитость его была чисто адвокатская. В присутствии лиц посторонних он не признавал ни дружбы, ни родства, ни приятельства и не пропускал ни одного случая поразить человека и положить его в лоск. В этом случае он отдавал дань публичности и своему адвокатскому тщеславию. Но когда он оставался в интимном приятельском кружке, он становился просто милым, сердечным и добродушным человеком. Стоило только появиться новому лицу — все равно, был ли это человек его круга, или дама (о, в особенности дама!), или лакей в ресторане — он делался едким и беспощадным.

Так случилось и теперь. Через минуту прибежал Иван Иваныч, вспотевший и запыхавшийся.

— Николай Алексеич! Во флигеле, во втором дворе, у Канючкина в квартире, лопнула труба и просачивается вода! — объявил он, и Николай Алексеевич, взявшись обеими руками за голову и произнеся несколько ругательств, впрочем совершенно приличных, по адресу Ивана Иваныча, пошел осматривать лопнувшую трубу. Антон Петрович мгновенно преобразился. Он начал хохотать самым искренним образом.

— Ну, знаете, ваша находчивость превзошла мои ожидания! — говорил он.— Вы только представьте, какие от сего могут произойти благодетельные последствия. Его превосходительство, придя в восторг оттого, что неточность совсем исчезла, лишних два раза пожмет руку Николая Алексеевича и отпустит ему столько же лишних и одобрительных улыбок; Николай Алексеевич вследствие этого, а именно чтобы оправдать высокое доверие, с удвоенной силой наляжет на доклады и рефераты, а от всего этого, в конце концов, выиграет отечество!.. Хвала вам, Владимир Сергеич!

Рапидов сказал мрачно:

— А ведь это тово... жульничеством называется!.. Ведь пойдет в комиссию, которая, основываясь на этом материале, решает государственный вопрос!..

Куницын посмотрел на моего сожителя сильно прищуренными глазами.

— Вам, Кирилл Семеныч, надобно сбрить бороду! — сказал он.— Она у вас слишком длинна!..

— Это почему?

— Потому что с столь длинной бородой никак невозможно согласовать столь детскую наивность. Впрочем, извините, мне некогда. Я надеюсь, что через три месяца вы скажете, что я был прав.— Он обратился ко мне: — Будьте сегодня у Здыбаевских; Николай Алексеич наконец решился выйти из берлоги!

Я обещал, так как мне вообще было приятно бывать в этом семействе.

Здесь мне надо сказать несколько слов о моем помощнике и сожителе. Когда я в первый раз привез его к Николаю Алексеевичу, я заметил очень странное явление. Мой патрон, обыкновенно рассыпавшийся в изысканных любезностях и без умолку болтавший во все промежутки между деловыми появлениями Ивана Иваныча, вдруг как-то съежился и замолк. После я узнал, что на него произвел удручающее впечатление внешний вид моего приятеля. У Рапидова была необычайно громоздкая фигура. Ростом он не был слишком высок, Антон Петрович был выше его на полголовы. Но когда они стояли рядом, последний совершенно стушевывался перед первым. Все у этого человека было отменно крупное, начиная с головы, увенчанной косматой шевелюрой и высоким лбом, и кончая ногами-лапищами в длинных, стучащих сапогах; широчайшая спина, толстейшие руки, могущественнейшая грудь, бычачья шея — все это можно определить только при помощи превосходной степени. Лицо его нисколько не отставало от прочих частей тела. Густые брови, почти сросшиеся в одну линию, висели над большими глазами, несколько ушедшими в глубь орбит, отчего взгляд их казался еще более внушительным; нос правильный, ровный, как следует, нос, но словно видимый сквозь лупу; губы толстые, задрапированные густыми темными усами, и, наконец, борода длинная, густая, широкая, начинающаяся чуть не под глазами. При этом он имел привычку смотреть всегда сурово, насупившись, и старался басить, хотя природа дала ему довольно мягкий голос. Одевался мой прия-

тель во все широкое, старался подбирать сукно погрубее, шляпу пошире, повыше, позабористее, сапоги потяжелее и вдобавок ко всему всегда носил с собой толстую палку с железным острым наконечником, которым звонил о панель. Существование этого наконечника мотивировалось необходимостью путешествовать по льду через Неву, так как мы обыкновенно жили на Выборгской стороне. В таком виде Рапидов на всех, кто с ним встречался в первый раз, производил самое безотрадное впечатление. Так и казалось, что он вот-вот набросится на вас с палкой и начнет ее острым наконечником бодать вас в бок. Но уже через полчаса оказывалось, что это самый мирный человек во всем свете, с которым вполне безопасно, хотя и не особенно интересно проводить время,— не интересно потому, что он любил молчать, а если и вступал в разговор, то в самых кратких выражениях. Рапидов года четыре тому назад был медицинским студентом, и дело у него шло недурно. Он уже был на третьем курсе, когда судьба сыграла с ним штуку. Еще в гимназии любил он упражняться карандашом, не оставлял этого занятия и на Выборгской. Однажды ему удалось нарисовать карандашом голову профессора анатомии; рисунок вышел замечательно удачным и характерным и пошел по рукам. У кого-то его увидал какой-то художник — профессор с Васильевского острова и расхвалил до небес. До Рапидова дошли вести, что у него большой талант и что это сказал профессор. Об этом трубили ему два месяца и совершенно затмили у него здравый смысл. Он вдруг бросил академию Выборгской стороны и как-то необычайно быстро поступил в академию Васильевского острова [5]. Но, пошлявшись туда около года, он убедился, что таланта у него вовсе нет, и плюнул. Сбитый с толку, он уже никак не мог приладиться, чтобы вернуться к медицине, и остался ни при чем. Таким образом Рапидов сделался человеком без определенных занятий.

В семь часов мы обыкновенно уходили домой. Перед уходом я завернул к Николаю Алексеевичу осведомиться, в самом ли деле он решился на подвиг — провести вечер вне своего кабинета. Я застал его за спешным делом. Он ходил по комнате в своих мягких туфлях и в разгильдяйском костюме и диктовал что-то Ивану Иванычу, который сидел за столом в его дубовом кресле.

— Простите, голубчик, я сейчас! — сказал он мне, указал мне на стул и продолжал, обращаясь к Ивану Иванычу, произнося слова с большими промежутками: — Вот те

предварительные условия, по принятии которых вами его превосходительство готов вести дальнейшие переговоры. Прошу принять уверение и прочее, как обыкновенно... Кончили? Ну, давайте, я подпишу... Вот так... Теперь, почтеннейший Иван Иваныч, предлагаю вам провалиться в тартарары и ни в каком случае, ни по каким бы то ни было важнейшим делам не трогать меня. Вообразите, что я исчез с лица земли, исчез бесследно. Меня нет, вовсе нет меня, понимаете? И если бы даже я вздумал звать вас звонком — наплюйте и не откликайтесь!

Иван Иваныч скептически улыбнулся, забрал какие-то бумаги и вышел на цыпочках.

— Значит, это решено бесповоротно, что вы сегодня у Здыбаевских? — спросил я.

— О, да, да, да, да, да! — с необычайной экспрессией произнес он.— Я у Здыбаевских, да! Прекрасные люди Здыбаевские, не правда ли?

Я подтвердил.

— Какой это добрейший, симпатичнейший человек Федор Михайлович! — с неподдельным чувством воскликнул он. Я и с этим согласился. Но Погонкин, очевидно, ощущал потребность излить свое восхищение на все семейство Здыбаевских. Он продолжал: — А Сергей Федорович, Сереженька, что за милый, что за талантливый юноша! Но согласитесь, согласитесь, голубчик, что таких девушек, как Елизавета Федоровна, не много найдется! Ведь правда? Как вы думаете?

Я подтвердил все пункты допроса и, выслушав еще несколько похвал Здыбаевским, стал прощаться. Он задержал меня.

— Да, вот что, я давно собирался спросить... Не нужно ли вам денег или вашему товарищу? Пожалуйста, не стесняйтесь! Сколько угодно, вперед...

— Особенной надобности нет! — ответил я.

— Нет, нет, пожалуйста, прошу вас... Да вот самое лучшее, без разговоров...— Он быстро подбежал к ящику стола, моментально выдвинул его и выхватил оттуда две сторублевки. Я вообще заметил, что у него была страсть платить сторублевками.— Вот вам и Рапидову... Я сам тружусь, поэтому умею ценить чужой труд.

Решительно он был в этот день в восторженном состоянии. Он ежеминутно жал мне обе руки, брал меня за талию и вообще выражал трогательное расположение. Видно было, что в душе у него зашевелилось нечто такое,

что грозило разорвать цепь, приковывающую его к дубовому креслу.

Когда я передал Рапидову принадлежавшую ему сторублевку, он сказал, довольно, впрочем, угрюмо:

— Нет, что ж, видно, что он порядочный человек!

Рапидову очень нужны были деньги.

IV

Здыбаевские жили на Кирочной, недалеко от Литейного, в третьем этаже огромного коричневого дома. Ход был без швейцара, лестница гранитная, неширокая, но чистая, с высокими окнами, которые пропускали много света. Квартира в пять больших комнат; обстановка уютная, изящная и приличная, но без излишеств. Здыбаевские держали две прислуги и ездили на извозчиках. Одним словом, тайный советник Федор Михайлович Здыбаевский, прослуживший во всевозможных должностях около пятидесяти лет, жил исключительно жалованьем, потому что больше ничего не имел.

Я пришел в девять часов и застал за чайным столом хозяев и Антона Петровича. Погонкин еще не приехал. Но через пять минут после моего прихода явился и он.

С первой же минуты он поразил меня и всех своим необычайным оживлением. Он был до того возбужден, что казался пьяным. Щеки его были румяны, в глазах горели искры, он не мог одной минуты усидеть на месте. Стоило только задать ему вопрос, чтоб он без остановки ответил на десять. Он никому не давал говорить, и о чем только он не говорил!

— Как поживает Константин Александрович? — спросил Федор Михайлович, который знал Чербышева по службе, но в частной жизни не встречался с ним.

— О, он отлично поживает, делает успехи, пожинает лавры на всех поприщах: и по службе, и в ученых обществах, и в благотворительных комитетах. Богатство его растет не по дням, а по часам. Константин Александрович вполне счастливый человек и вполне доволен своей судьбой и... своим секретарем, ха, ха, ха!.. Но я сегодня бросил все, и если бы мне сейчас сказали, что все три дома, мною управляемые, горят,— клянусь честью, я продолжал бы допивать этот стакан чаю... Ах, Федор Михайлович, если бы вы знали, какая у нас теперь идет статистика! Антон

Петрович творил удивительные вещи, но Владимир Сергеич творит просто чудеса... Он с своим Рапидовым... Вы не знаете Рапидова? О, это страшный человек, которого я побаиваюсь. Эти два разбойника с Выборгской стороны грабят наши шкапы, вытаскивают оттуда цифры и строят из них целые дворцы...

При этом он почти залпом пил горячий чай, не глядя брал печенье и бессознательно пихал их в стакан и в рот. Мы все смотрели на него с тревогой, потому что его волнение казалось неестественным. Федор Михайлович подошел к нему и нежно взял его за талию.

— Кстати, чтобы не забыть, у меня есть к вам маленькое дельце. Пойдемте в кабинет...

Николай Алексеевич на мгновение отшатнулся, но потом сейчас же согласился и пошел. Федор Михайлович просто хотел занять его внимание чем-нибудь деловым и сухим и таким образом успокоить его. Вероятно, это ему удалось, потому что через полчаса мы нашли их в маленькой зале, и при этом Николай Алексеевич сидел спокойно и вел с хозяином какой-то деловой разговор.

В зале стоял коротенький рояль и несколько соломенных стульев у стен. Другой мебели здесь не допускалось, потому что Здыбаевские ценили хороший резонанс. Все они были порядочные музыканты и страстно любили музыку. На рояле лежала скрипка такая же старая, как и ее владелец, Федор Михайлович. Этот величественный старик, с длинной, совершенно седой бородой, с густыми усами, закрывавшими не сходившую с его губ умную, чуть-чуть насмешливую, но не злую улыбку, высокого роста, крупный, но не жирный, умел извлекать из своего инструмента горячие звуки. В молодости он останавливал на себе внимание заправских артистов, которые гнали его на артистическую дорогу; но он слишком мало верил в свои силы и остался любителем. В углу стоял огромный футляр, в котором обитала виолончель, инструмент, как думали очень многие, погубивший карьеру Сереженьки. Сергею Федоровичу было всего девятнадцать лет. Он кончил гимназию, но вместо того, чтобы продолжать ученье, занялся музыкой, которую любил. Старик не одобрял этого шага, тем не менее не мог не сознаться, что у Сереженьки есть талант и что он взялся как раз за свое дело. Таким образом, юноша напоминал старика не только ростом, сложением и чертами лица, но и вкусами и способностями, только у него было больше артистической уверенности. Он

твердо сказал себе: «Буду выдающимся артистом!» — и бросил все остальное.

Антон Петрович подошел к старику Здыбаевскому.

— Федор Михайлович! — сказал он своим обычным тоном публичной речи, играя пенсне, как настоящий адвокат.— Дабы окончательно привязать к нашему греховному миру сего пришельца из мира иного, безгрешного и бесплодного,— сыграйте ему одну из ваших чудных мелодий!

— Да, да, я жажду, жажду послушать вас, Федор Михайлович! — поспешил подтвердить Николай Алексеевич.

— Что ж, господа, я готов, только предупреждаю, что мои старые пальцы уже дрожат! — ответил Федор Михайлович.

— Я хотел бы, чтобы мои молодые так бегали по струнам, как твои старые! — сказал Сергей.

— Ну, ладно, ладно! Садись, Лиза! Что вам?

— Конечно, элегию Эрнста! Это само собой разумеется! — заявил за всех Антон Петрович.

Он принадлежал к тем пристрастным любителям музыки, которые с упоением слушают то, что они почему-либо часто слышали, и совсем не признают всего остального. Антон Петрович признавал для скрипки две вещи: элегию Эрнста и легенду Венявского;[6] когда же начинали играть что-нибудь другое, хотя бы это был сам Бетховен, он зевал и говорил:

— Ну, это уже началось что-то запутанное!

Лизавета Федоровна села за рояль, старик взял в руки и настроил скрипку. Через минуту раздались звуки элегии. Федор Михайлович играл уверенно, с хорошей выдержкой и с большим чувством. Годы его отражались только на технике, которая кое-где заметно хромала; но это видели его дети, обладавшие тонким музыкальным слухом, и не замечали ни Антон Петрович, ни Николай Алексеевич. Они сидели рядом и молча. Сергей стоял за спиной сестры и переворачивал страницы нот. Когда старик кончил и обернулся, чтобы узнать мнение своих гостей, он увидел Николая Алексеевича, сидящего неподвижно с опущенной на грудь головой, с нахмуренными бровями и с напряженно-сосредоточенным выражением бледного лица. Федор Михайлович подошел к нему и прикоснулся к его руке.

— Ну, что, дружище, тронула вас стариковская игра?

Николай Алексеевич вздрогнул, как от прикосновения электрической искры, и поднял на него глаза, полные слез.

— Играйте, играйте же! Что ж вы остановились? — промолвил он дрожащим голосом, крепко сжимая руку старика.

— Эге, брат, ты совсем плох, как я погляжу! — шутливым тоном сказал ему Федор Михайлович.— У тебя секретарское отравление. Это особая болезнь. Человек мало-помалу отравляет свою кровь ядом докладов, рефератов, всяких поручений, внушений и т. п. Все это в высшей степени ядовитые вещи.

Все рассмеялись, в том числе и Николай Алексеевич. Этого только и нужно было Федору Михайловичу. Он хотел рассеять глубокое впечатление, произведенное на Погонкина элегией, впечатление, которое, очевидно, было ему не впрок.

— Играйте, пожалуйста! — сказал Николай Алексеевич,— я должен сделать большой запас приятных впечатлений!..

— Так-то оно так, да не следовало бы! — возразил Федор Михайлович.— Для вас эти впечатления нездоровы.

— Нет, нет, я только наслаждаюсь! Нет, пожалуйста, играйте!

— Ну, пускай Сергей играет. У него выйдет полегче.

Сергей сейчас же вытащил из угла виолончель и принялся настраивать ее.

— Ты что-нибудь этакое... Из салонных... Ну, там какой-нибудь романс без слов! — сказал ему Федор Михайлович.

— Ладно!

Лизавета Федоровна начала ритурнель, что-то легкое, игривое, на верхних октавах. Николай Алексеевич оживился и поднял голову. Они, в самом деле, выбрали легкую вещицу, которая произвела на гостя освежающее впечатление. Но Куницын все время кривился и не одобрял, так как пьеса была ему незнакома.

— Нет, это что-то такое... не то! — говорил он мне вполголоса.— Вот Поппера [7] сочинения — это я понимаю, это музыка!..

Он слышал где-то в концерте какое-то сочинение Поппера и очень ценил его.

— Браво, браво, Сереженька! Позвольте вас расцеловать! Ах, какой вы талант! — восторженно кричал Николай Алексеевич, оживленный, наэлектризованный.

— С удовольствием! — ответил молодой человек, и они поцеловались. Федор Михайлович смотрел на своего редкого гостя и качал головой.

— Знаете что,— тихо говорил он Антону Петровичу и мне,— он дурно кончит... Ведь это нерв, прямо-таки обнаженный нерв! Посмотрите, что с ним делается! Грустная музыка — он плачет, веселая — он уже смеется; он совсем не владеет собой!..

Между тем Николай Алексеевич стоял у фортепьяно и в самых изысканных выражениях обращался к Лизавете Федоровне.

— Я имел удовольствие слышать ваше превосходное пение полгода тому назад и помню, что оно доставило мне высокое наслаждение! — говорил он, нагибаясь слегка вперед.— Я надеюсь, что и на этот раз вы не решитесь лишить меня удовольствия, которое, к моему глубокому сожалению, так редко выпадает на мою долю!..

Лизавета Федоровна хохотала.

— Боже, как длинно и красиво! Сказали бы просто: спойте!.. и я спела бы!..

— Ну, просто: спойте!

— Извольте!..

Она ударила по клавишам и запела. Это была песенка Кармен о любви. Николай Алексеевич отошел и сел на свое прежнее место. Он слушал и не спускал с нее глаз.

Он не считал ее красивой, но она была стройна, изящна и мила с своим детским личиком, с золотистыми локонами, с веселыми, ясными и добрыми глазками. Что-то притягивало его к ней, а в ее небольшом, но чистом и свежем голосе, в ее манере петь просто, толково и скромно было для него что-то неотразимо-влекущее. И когда она кончила, ему тоже хотелось сказать: «О, как мне хочется расцеловать вас!», но он вместо этого сказал:

— Merci! Божественно! Неподражаемо!

И чувствовал он, что сердце его усиленно бьется и както болезненно ноет. Поговорив еще без всякого интереса о чем-то минут десять, он стал прощаться. Это удивило всех. Было только около одиннадцати часов.

— Что с вами, голубчик? Мы еще закусим, поболтаем! — сказал ему Федор Михайлович.

— Нет, не могу! — промолвил Погонкин каким-то взволнованным, прерывистым голосом.— Я получил такую массу приятных и сильных впечатлений, что больше не в силах... У меня сердце разорвется!..

Федор Михайлович нежно обнял его за талию и прошелся с ним по комнате.

— Дорогой Николай Алексеевич! Я говорю вам как человек, проживший на свете около семидесяти лет, и как искренний друг ваш: бросьте вы это проклятое секретарство! Оно вас губит! Вы человек способный, живой, интеллигентный, симпатичный, и все это уходит на глупое и чужое дело! Бросьте, ей-богу, бросьте!..

Николай Алексеевич сочувственно пожал ему руку и стал прощаться со всеми. Я сказал, что поеду с ним, так как нам было по дороге. Он как-то нервно торопился, говорил неподходящие фразы, не попадал в рукава пальто и в калоши. Мы вышли на улицу.

— Ах! — воскликнул он, схватив почему-то мою руку и сильно тряся ее.— Все разумное, симпатичное и здоровое мне вредно! Вот голова кружится и сердце ноет. А долго ли я был в обществе живых людей? Каких-нибудь два часа, и это уже меня отравило!..

Мы сели в извозчичью пролетку. Он продолжал:

— Вот Федор Михайлович говорит: бросьте! А я не могу!..

— Почему же? — спросил я.

Он промолчал и долго молчал, а затем сам уже начал пониженным голосом:

— Нет, не могу! Двенадцать лет тому назад я поступил на службу. Не для пользы же родины я это сделал! ибо моя служба никакой пользы родине принести не может. Служба бумажная! Служба входящих и исходящих! Служба дел за нумером и соображений по вопросу об!.. Поверьте, что если бы мы, петербургские чиновники, частным образом не узнавали, что в провинции люди ходят на двух ногах и имеют душу живу, мы могли бы смело всю жизнь думать, что они ходят на четырех ногах и делают жвачку... От этого течение наших дел за нумером не изменилось бы!.. Я вступил для того, чтобы добиться самостоятельного положения, да-с! Добиться и успокоиться на лаврах. Теперь возьмите: ежели я оставлю его превосходительство, я добьюсь своего еще через пятнадцать лет, и то ежели не забудут (ибо многих, яростно служивших, на моих глазах забыли!), а с его превосходительством, который силен и могуч, мне, быть может, осталось лямку тянуть всего пять лет. Мне уж и то два раза дали отличие, которое следовало другим, да-с! Чиновник — это тот же подмастерье, который сперва служит «мальчиком»,

и бьют его тогда, мучают, а он думает: ладно, мучайте, бейте, а вот стану подмастерьем, а там и мастером, и сам буду мучить и бить... Не могу оставить, не могу! Добьюсь самостоятельного положения и почию на лаврах. Вот тогда и дам волю своим вкусам и склонностям! Вот когда я заroюсь в книги, съем свою библиотеку... Да-с, а вы говорите: оставить!.. Без самостоятельного положения я — нуль; а этого мне не добиться без его превосходительства, следовательно — я нуль без его превосходительства...

Когда мы подъезжали к его квартире, он сказал:

— Но какая прелесть эти Здыбаевские! Что за восхитительное существо Лизавета Федоровна!

— Вот бы вам жениться на ней! Она бы вас переделала! — сказал я почти машинально, не подумавши.

Мой патрон вдруг сильно заерзал на месте и в то же время рассмеялся каким-то странным, неопределенным смехом. Мы остановились и вышли из экипажа.

— Слушайте, голубчик, зайдемте ко мне, поболтаем еще! — сказал он, взяв меня за руку и таща во двор. Я согласился. Мы вошли в ворота, прошли длинный и широкий, хорошо вымощенный гладкими плитами первый двор и взобрались во второй этаж. На лестнице было тихо. Газовый рожок горел еще в ожидании господина управляющего.

— Я думаю, Иван Иваныч теперь закатился спать. Я рад, что и он отдохнет вечерок... Ведь, в сущности, это ломовая лошадь, которую я душу страшной поклажей...

Вот мы в кабинете. Николай Алексеевич остался в черном сюртуке и пригласил меня сесть. Сам же он не садился, а нервными шагами с взволнованным лицом стал ходить по комнате.

— Да, сознайтесь, Владимир Сергеич, сознайтесь... Такая девица, как Лизавета Федоровна, могла бы составить счастье любого человека... Сознайтесь!

— В том числе и ваше?

Он опять рассмеялся, как на улице.

— Мое... Мое счастье!.. Что же, от счастья никто не отказывается... Знаете ли что? Я сегодня ничего не могу держать в душе, я вам все скажу...

Но тут он остановился и вздрогнул, потому что в передней раздался звонок.

— Какого это дьявола несет в двенадцать часов ночи?.. Если это Иван Иваныч с каким-нибудь делом, я его убью!..

Через минуту Иван Иваныч стоял перед ним.

— Вы, вероятно, пришли узнать, как мое здоровье? — ядовито спросил его Николай Алексеевич.— Благодарю вас, очень хорошо!..

— Нет, не в том-с, Николай Алексеич!

— Ну, уж конечно, тараканщик приходил, а?

— Нет, хуже-с...

— Хуже?

— Гораздо хуже!.. Как только вы ушли, сию минуту телефон зазвонил, да как! Я думал, что треснет... Подбегаю: кто там? «Дома Николай Алексеевич?» Кто такой? Нету дома!.. А оказывается, что это его превосходительство, Константин Александрыч.

На лице Николая Алексеевича появилась кислая мина крайнего недовольства.

— Через полчаса опять и уже сердитым голосом: «Дома?» Нету! А потом и курьера с письмом прислали. Вот-с!..

Иван Иваныч подал письмо.

— Извольте видеть,— говорил Николай Алексеевич, рассматривая конверт на свечку,— у меня нет своего времени, у меня не может быть своих дел, желаний, потребностей, вкусов...

И он сердито разорвал конверт. Записка была очень коротка. Николай Алексеевич пробежал ее в одну секунду, потом скомкал, бросил на стол и заметался.

— Сейчас, сию минуту, во всякое время дня и ночи!.. Голубчик, вы меня подождите. Что-то чрезвычайно важное, может быть, касающееся вашей работы... Я в полчаса справлюсь. Он тут близко живет... Шляпу, калоши!.. Аннушка, кто там?

Он оправлял сюртук, причесывал волосы и вообще мало-помалу принимал чиновничью осанку и выражение. Иван Иваныч подал ему пальто, Аннушка принесла калоши, закутали ему шею белым платком, и он, кивнув мне головой, исчез.

Иван Иваныч проводил его, потом вернулся в кабинет.

— Ну, будет катавасия! — выразительно промолвил он.— Страсть как не любит его превосходительство, когда Николая Алексеевича дома нет.

— Что бы это могло быть за дело? — спросил я.

— Ха, ха, ха!.. Дело! Сам завтра на охоту едет, а ему какой-нибудь доклад срочный сдает; это уже так всегда!.. А вот посмотрим, что он ему пишет,— прибавил он, рас-

правляя скомканную записку.— «Никогда вас дома нет, когда очень нужно!» Никогда! Это Николая-то Алексеевича! Ха, ха, ха, ха!.. Ну, правда, нечего сказать! «Дело нетерпящее: приезжайте хоть в три часа ночи». Н-да! Надо полагать, на охоту завтра рано едет. Потому что же может быть для его превосходительства нетерпящее более этого?

Николай Алексеевич действительно вернулся через полчаса, но что у него было за выражение! Куда девался его строго чиновничий вид, который он приготовил для его превосходительства! Он был какой-то встрепанный, на лице выражалось тревожное волнение; снявши сюртук и оставшись в жилетке, он, в противность своим правилам, даже не извинился и мелкой, но бурной походкой забегал по комнате.

— Понимаете? Понимаете? — лепетал он, подергивая плечами и делая руками отрывочные и короткие жесты.— Прежде всего изволили внушение сделать... Да-с... Внушение... Любезнейший, мол, Николай Алексеевич, ценю, уважаю, доверяю и прочее, но... Извольте видеть... Понимаете... Ну, да черт... Не в этом дело... Через две недели возобновляются заседания комиссии... Понимаете? Материал, отчет... Хоть кровь из носа — приготовьте ему отчет!.. Я говорю: нет возможности! А он говорит: «Знать ничего не хочу, это ваше дело! Возьмите, говорит, еще помощников, возьмите их, сколько вам угодно, денег не жалею, только бы не оскандалиться...» Понимаете? Теперь за две недели денег не жалеет, а раньше едва на одного выканючил... Ну, да черт с ним, не в этом дело! Владимир Сергеич! Теперь вся надежда на вас! Вы один можете нас спасти! Берите себе помощников, два, три, четыре, пять, десять, сколько надо! Я плачу, его превосходительство платит! Вы работайте, а я завтра же засяду за отчет!.. Брр!.. Так меня всего и дергает... Брр...— Эта фраза «Я завтра же засяду за отчет!» была великолепна в устах Николая Алексеевича, который, по его же собственному признанию, понимал в деле меньше, чем мизинец Антона Петровича.

Николай Алексеевич между тем делал распоряжения Ивану Иванычу: выворотить из шкапов дела, подобрать по городам, приготовить бумагу, чернила, ручки, перья, известить всех обойщиков, тараканщиков и т. п., чтобы две недели на глаза не показывались,— все это сегодня, сейчас, сию минуту...

Иван Иваныч сперва делал большие глаза и выражал на лице ужас, но потом, вероятно, решил в душе напле-

вать на все эти приказания и лечь спать. Под конец речи Николая Алексеевича лицо Ивана Иваныча уже улыбалось.

— Так уж пожалуйста, Владимир Сергеич! Делайте что хотите! Все в ваших руках, все!..— повторил он мне еще раз...— Берите кого хотите; за вознаграждением не постою!..

Я оставил его буквально в диком состоянии. Я решительно не был способен верить в благой результат предстоящей нам двухнедельной работы. Тем не менее я радовался тому, что еще с полдесятка порядочных людей без определенных занятий найдут себе кратковременное питание.

V

Вот уже неделя, как в нашей «канцелярии» идет невообразимая горячка. Всюду валяются кучи «дел», графленой бумаги, просто бумаги, «черновых», «чистовых» ведомостей и всякого бумажного хлама. Эти кучи занимают все столы, все стулья, на которых не сидят, почти весь пол, оставляя только узкие полоски в разных направлениях для прохода. «Канцелярия» живет и дышит. За длинным столом сидят четверо, за столиком у окна — двое. Иван Иваныч ежеминутно выбегает и вбегает, его тормошат просьбами, и он старается всех удовлетворить.

Из четырех, сидящих за длинным столом, двое не представляют ничего нового. Это — я и Рапидов. Другие двое сидят здесь только четыре дня. Очень естественно, что мы с Рапидовым оказываемся господами положения. Новички то и дело обращаются к нам с вопросами, и мы разъясняем. Нет ничего удивительного в том, что я разъясняю, но разъясняет также и Рапидов. Он уже не церемонится с мещанами и купцами и, в случае их недостачи в какой-нибудь графе, создает их целыми полдюжинами.

Двое сидящих за нашим столом отличаются друг от друга бородами. У одного борода рыжая, длинная, но узкая и редкая. Сам он — коренастый, плечистый, с толстой шеей и длинным носом и по фамилии Чапликов. Цифры произвели на него удручающее действие. В первые два дня он до того ошалел, что сбивался на сложении и вычитании, позабыл таблицу умножения и постоянно спрашивал у нас, сколько семью восемь и восемью девять. Это произошло оттого, что он уже лет шесть, то есть с тех пор,

как вышел из седьмого класса гимназии, не имел дела с цифрами выше сотни. Он был ветеринарный врач, сидел в Петербурге в томительном ожидании места, практики не имел никакой и жил чем придется, давал уроки, переписывал, пел в каком-то церковном хоре — одним словом, брал все то, что посылал ему бог.

У другого не борода, а бородка, черная, тщательно подстриженная, волосы на голове длинные, вьющиеся, взгляд проницательный, с искрой. Зовут его Аркадием Спицыным, взят он прямо из консерватории, где обучается пению, обладая хорошим баритоном. В будущем его ожидала слава, но теперь он ел очень плохо, что, без сомнения, неблагоприятно отражалось на искусстве. Малый он веселый и то и дело смешит нас своими музыкальными сопоставлениями.

— Иван Иваныч! — шепчет он,— позвольте-ка мне каватину из оперы «Неплюйские мещане в думе»!

Иван Иваныч таращит на него глаза:

— Это что же, собственно, позвольте узнать?

— Прошу вас, Иван Иваныч, хор купцов из оперы «Тихоструйские думцы»!

Иван Иваныч опять в недоумении. Впрочем, это было только в первые дни. На четвертый день необычайно толковый и восприимчивый Иван Иваныч усвоил себе всю терминологию Спицына и на его требования с улыбкой отвечал ведомостями.

Барышню достал Рапидов.

— Это, брат, замечательная личность! — рекомендовал он ее.— Она училась на педагогических, но тамошняя наука ее не удовлетворяет. Теперь она хочет перебраться на высшие курсы... Характер, я тебе скажу, железный... Отказалась от богатого жениха, бросила провинцию и приехала без копейки сюда искать знаний. Вот ты сам увидишь...

«Замечательная личность», однако, производила на нас самое неблагоприятное впечатление. Она была довольно миловидна, и к ней шел ее небрежный и несложный костюм — черная прямая юбка и черная рубашка с ременным поясом. Но сидеть все время с сдвинутыми бровями и с сомкнутыми губами — это очень скучно. Притом она всякий раз усиленно морщилась, когда Спицын пускал в ход одну из своих музыкальных шуток. Очевидно, этих шуток она не признавала и стояла выше их. Разговаривала она только с Рапидовым, который, по всем видимостям, сильно ее побаивался.

Мне ужасно хотелось чем-нибудь «осадить» ее, и я очень был рад, когда она сама дала к этому повод. Она кончила свою первую ведомость и предложила ее мне для просмотра. Я взглянул и ахнул. Купцы у нее составляли семьсот пятьдесят процентов всего числа гласных, а мещане — девятьсот с лишним. Каким образом это выходило, я никак не мог понять. Но я не сказал ни слова и молча положил ведомость перед Рапидовым. Мой приятель взглянул и покраснел до ушей.

— Тут есть некоторые ошибки,— не очень смело пробормотал он, обращаясь только отчасти ко мне и главным образом к барышне.— Но их можно исправить...

— Ну, так исправьте! — небрежно промолвила она и принялась деятельно ходить по комнате, заложив руки за спину. Она расправляла члены с видом человека, в течение двенадцати часов не разгибавшего спины, хотя работала не больше полутора часа.

Рапидов начал исправлять и провозился над ведомостью добрых три часа, переделав ее всю заново. Барышня приняла это как должное.

— Однако, это двойная работа! — заметил я.— Этак мы далеко не уйдем!..

Барышня остановилась и довольно воинственным тоном спросила:

— Что же вы хотите этим сказать?

— Ничего особенного... Я хотел бы только немножко больше внимания! — ответил я мягко и даже с любезной улыбкой.

— Если вам не годится моя работа, так я могу оставить... Я не намерена навязываться!..

— О, что вы, что вы, Ольга Николаевна! Напротив, я очень доволен, рад, мне чрезвычайно приятно! — Это я сказал ради Рапидова, который сидел как на иголках, упорно глядя в ведомость и, конечно, ничего в ней не видя. Но мне, разумеется, хотелось сказать не то. Я с удовольствием воспользовался бы этим случаем, чтобы отделаться от ее строгих взглядов.

Человек, сидящий за одним столом с Ольгой Николаевной, медицинский студент, по фамилии Криницкий. Одет он совсем по-нищенски и обладает бледным, изможденным лицом, кажущимся необычайно широким по причине сильно разросшихся и плохо содержимых бакенбард мочального цвета. Криницкий — мой давний приятель и земляк; он известен в академии по двум обстоятельствам: пер-

вое — у него большая склонность к философии, и второе — отвращение к медицине. В академию попал он случайно, просто потому, что извозчик с вокзала привез его не на Васильевский остров, а на Выборгскую, в дешевые и грязные меблированные комнаты. Но, обучаясь медицине четыре года, он всюду, где только представляется случай, объявляет и доказывает, что эта наука гроша медного не стоит и что нет ничего выше математики. Математикой он, однако, не занимается, потому что некогда. Он круглый бедняк, он «нищий-студент» в буквальном смысле этих слов. Вся его жизнь, все его время, все помыслы — идут на добывание рубля. Костюм его невероятно поношен, лицо — худосочно, со всеми признаками недоедания, влияния холодной квартиры, дурного воздуха.

Криницкий уже четыре дня сидел над своей дебютной ведомостью. Хотя это было до очевидности долго, но я не беспокоил его, потому что дал ему работу неспешную. Изредка я позволял себе заглянуть в его выкладки, и то как-нибудь через плечо или хорошенько перекосив глаза. Я видел невероятно длинные столбцы, целые кучи цифр, которыми он исписывал лист за листом, и я никак не мог понять, для чего все это. Наконец он объявил:

— Ну, я кончил! Можете подвергнуть критике!

Я взглянул, и с первого раза у меня зарябило в глазах.

— Что за чертовщина! — воскликнул я, пристально всматриваясь в цифры.— Гласных всех шестьдесят, а в том числе мещан один миллион триста тридцать четыре тысячи семьсот восемнадцать... Это вы подшутить хотели, Аполлон Сергеич? а?

— Да, в самом деле, это странно! — согласился он со мной.— А я этого и не заметил!..

— Но каким образом вы получили эти цифры?

— Видите ли, я употребил особый метод... Как бы вам это объяснить... Ну, одним словом, из высшей математики...

Я взглянул в густые столбцы цифр и разглядел в них и иксы, и игреки, и зеты, и квадратные корни, и бесконечные дроби, и чуть ли даже не логарифмы. Криницкий был смущен неожиданными результатами своего метода, который он считал непогрешимым. Мы рекомендовали ему первые четыре правила арифметики, которых было совершенно достаточно для осуществления нашей грандиозной

задачи. Он принял совет скромно и с сознанием своего заблуждения.

Между тем Николай Алексеевич писал отчет. В течение этой недели я виделся с ним каждый день урывками. Он забегал (именно забегал, а не заходил) в канцелярию, наскоро пожимал всем нам руки, спрашивал, как идет дело, и, не дождавшись даже ответа, удирал к себе. Я был совершенно уверен, что у него написана целая гора страниц.

Однажды я спросил Ивана Иваныча:

— Ну что, как подвигается работа Николая Алексеевича?

— Какая работа?

— А он же пишет отчет?

Иван Иваныч прыснул и залился смехом.

— Отчет? Не знаю, что у него выйдет за отчет! К нему каждую минуту лезут по делам. А доклады? а рефераты?..

— Да ведь он все это бросил на время!

— Как же, дожидайтесь, бросит он! Он хочет все поспеть! Не слышал я что-то про ваш отчет!..

Это было для меня новостью. Ведь до комиссии оставалось меньше недели. Я зашел к Николаю Алексеевичу. Он в сильном нервном напряжении бегал по комнате.

— Что с вами? — спросил я.

— Ах, голубчик, что мне делать? научите! Я сел наконец за этот дурацкий отчет. Вот посмотрите, написал десять строчек и дальше ни шагу. Ничего нет в голове, решительно ничего... Только обмакну перо в чернильницу и приставлю его к бумаге — сейчас в голове мелькает мысль: коломенский дом уже два дня без дворника — как тут быть? Ах, вы не можете себе представить, что делается в моей голове! Прочитайте, пожалуйста, вступление.

Я прочитал: «Прежде чем приступить к детальному изложению данных, добытых ревизией, я считаю своим долгом предпослать общие положения, характеризующие то состояние, в котором, по мнению моему, в настоящее время обретается дело, составляющее предмет настоящего отчета...»

— Дальше ничего не могу написать. Извольте высечь меня — ни слова не напишу... Ни общих положений, ни детального изложения, ни данных, никакого черта в голове моей нет... Голубчик, не можете ли вы?..

— Я? Что же я могу?

— Написать отчет!..

Он смотрел на меня, я на него. Ему достаточно было моего согласия, чтобы он поверил в мою способность. Мне же это показалось невозможным. Выполнял я на своем веку всякие работы, но не считал себя способным подъять это бремя. Ведь там, в комиссии, заседают все солидные государственные мужи, сановники, привыкшие к основательным докладам, написанным точным языком, и вдруг им преподнесут нечто, изображенное легкомысленным и неопытным пером человека без определенных занятий.

Впрочем, минуты через две мне показалось, что хотя это и не легкое дело, но мыслимое и взяться за него можно. Николай Алексеевич между тем продолжал умолять:

— Возьмитесь, вы сможете, вы отлично напишете!.. Вы приспособитесь, недаром же вы гений приспособляемости!..

Надо было еще только две минуты, чтобы эта работа показалась мне сущими пустяками. «Почему же нет? — подумал я.— Если бы Николай Алексеевич писал сам на основании нашей статистической чепухи, то правда от этого ничего не выиграла бы».

— Хорошо, я согласен! — объявил я.

Погонкин бросился ко мне, схватил мои руки и принялся бешено трясти их.

— Ах, вы не поверите, как я вам благодарен! Ведь у меня сил не хватает, просто нет физической возможности! Да еще в последнее время как-то так скверно работается... Такое состояние духа неподходящее.

— Что же с вами?

— Право, я сам не могу определить! Нервы, знаете... По ночам не спится, аппетит скверный, на все злость берет, все противно. Иной раз мне кажется, что я вот сейчас с ума сойду. Нет, не то — а словно сию минуту голова развалится на части. Мысли, чуждые одна другой, распирают ее во все стороны. Ах, боже мой, боже мой! Сколько я дал бы, чтобы избавиться от этой жизни и устроить другую!.. Скажите, вы давно были у Здыбаевских?

Он действительно в последние дни стал еще беспокойнее, лицо сделалось дряблым и зеленым, только глаза постоянно горели и светились блеском. Я сообщил ему, что у Здыбаевских был накануне, что у них все по-старому, вспоминали о нем, занимались музыкой.

— Что за прелестные люди! — восторженно воскликнул он.— Что за чудная девушка Лизавета Федоровна!..

Этот восторженный отзыв, повторявшийся слишком часто, начал наводить меня на подозрения: неужели он имеет виды? Но достаточно мне было взглянуть на его непрезентабельную фигуру, вспомнить, чему посвящает этот человек свою жизнь, чтобы всякие подозрения рассеялись. Где ему!

С следующего дня управление «канцелярией» было передано Рапидову, я же поместился в кабинете Погонкина и там писал отчет. Первые две-три страницы шли у меня туго, но я очень скоро освоился, и дело пошло как по маслу. Я вполне проникся ролью государственного человека, вдавался в важные рассуждения, цитировал цифры и заполнял ведомостями целые страницы.

Приближался день заседания комиссии. Я оканчивал первую часть. В квартире Погонкина кипела страшная горячка. В канцелярии с неимоверной быстротой фабриковались ведомости. Когда мне их приносили, в качестве материала, я только разводил руками. Рапидов, очевидно, не успевал проверять барышню, а медицинский студент Криницкий деятельно применял свой метод из высшей математики. Но так как все это приводилось, в конце концов, к *ста* процентам, то можно было примириться.

Я пачкал страницу за страницей; отчет вырастал. Перед моими глазами ежеминутно мелькали неугомонные клиенты Николая Алексеевича, с которыми он торговался, внушал, платил. Иногда он садился на краю стола и набрасывал какой-нибудь доклад. Но тут явилась новая забота: надо было сыскать переписчиков для моего произведения.

— Я могу вам порекомендовать переписчика! — сказал я, вспомнив еще об одном приятеле без определенных занятий, которому тоже не мешало дать пищу.

— А кто он такой?

— Кто? Да так себе... Гражданин Российской империи!..

Николай Алексеевич улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Нет, это невозможно. Подобные вещи должны быть переписываемы специалистами.

Последовало надавливание кнопки и появление Ивана Иваныча.

— Сходите к Мусину и Паршикову и передайте им от моего имени покорнейшую просьбу пожаловать сюда для переписки отчета!..

Вечером того же дня я увидел обоих «специалистов», Мусина и Паршикова. Это были в высшей степени приличные люди, которых по внешнему виду можно было принять, по крайней мере, за начальников отделений. У обоих были великолепные бороды — у Мусина черная на манер перевернутой пирамиды, у Паршикова посветлее — в форме четырехугольника, обе тщательно расчесанные. У Мусина к тому же еще водились густые кудрявые волосы, а у Паршикова просвечивала лысина. Оба они были примерно в подсорокалетнем возрасте и имели чин коллежского советника. Весь их талисман заключался в необычайно красивом почерке, за который им платили весьма солидное жалованье и давали чины. Они с полною уверенностью рассчитывали умереть статскими советниками с пенсией.

— Садитесь, господа, пожалуйста, прошу вас, очень рад вас видеть! Очень, очень рад! — рассыпался перед ними Николай Алексеевич, и они принимали это с солидной любезностью, садились в позах вежливых, но далеко не робких, и вообще вели себя хотя и сдержанно, но самостоятельно. Николай Алексеевич познакомил их с моей работой и объяснил, для какой важной цели она предназначается.

Они посмотрели на меня крайне недоверчиво, очевидно, чутьем угадав, что я, с канцелярской точки зрения, в высшей степени несовершенное существо.

— Очень мы заняты, Николай Алексеевич! — говорили они.— Не знаем, как и быть...

— Уж как там хотите, господа... Как-нибудь уж постарайтесь для его превосходительства...— Одно только напоминание о его превосходительстве совершенно излечило их от нерешительности; они приняли работу и даже обещали ночей не спать.

Таким образом моему сомнительному отчету предстояло вступить в очень важный фазис: перенесение на слоновую бумагу руками «специалистов», коллежских советников, существующих для экстренно важных бумаг, Мусина и Паршикова.

Настал и канун заседания комиссии.

VI

В одиннадцать часов вечера, когда мы напрягали все силы, чтобы привести весь материал первой части в порядок, подбирая подходящие ведомости, в виде приложения к отчету, и еще раз зорко следя за тем, чтобы везде цифры говорили одно и то же, а главное, чтобы проценты составляли *сто*, Николай Алексеевич был экстренно вызван к его превосходительству. В ожидании его мы отдыхали и пили чай. Иван Иваныч по каким-то неуловимым признакам, вроде особого оттенка телефонного звонка, которым был вызван Погонкин, предсказывал какую-нибудь катастрофу.

— Уж это непременно что-нибудь этакое... особенное, неожиданное!.. Уж это, поверьте, у меня предчувствие...

И действительно, когда Николай Алексеевич вернулся, то по первым его приемам можно было догадаться о какой-нибудь неприятности. Крайне впечатлительный, не умевший ни минуты таить то, что у него было в душе, он, в случае неприятности, тотчас же разражался негодованием, которое, в конце концов, переходило в покорность судьбе. Но на этот раз он молча переоделся, сказал мне каких-то не относящихся к делу два слова, сел в кресло, закурил папиросу и погрузился в думы.

Так он сидел добрых десять минут, и это его необычайное молчание сильно интриговало меня. Должно быть, что-нибудь очень уж сильное преподнес ему его превосходительство, если он сделался способным так долго сидеть на одном месте и молчать.

— Как вы думаете, Николай Алексеевич,— начал я для того, чтобы напомнить ему о себе,— если купцы составляют одну пятую всего состава думы...

Вдруг мой патрон вскочил с своего места и замахал на меня руками.

— Бросьте, пожалуйста, ваших купцов! Я совсем забыл вам сказать: комиссии завтра не будет...

— Как не будет?

— Так, не будет, да и только... Это обыкновенная судьба всех комиссий. Они семь раз отменяются и только на восьмой заседают... Она отсрочена на шесть недель...

— Однако!.. А как же мы-то все будем?

— О, это пустяки! Все останутся по-прежнему... Работа найдется. Теперь мы имеем возможность еще более тщательно обработать материал...

И он с мрачно опущенной головой заходил по комнате.

— Странно, однако, что это в сущности приятное известие так опечалило вас! — сказал я.

Он остановился и горько усмехнулся.

— Вы думаете: это? Нет, не это...

— А что же?

Он молча раза три прошелся по комнате.

— Послушайте, Владимир Сергеич, я вам скажу... Надо же мне кому-нибудь сказать это... Только, прошу вас, никому не передавайте... Это пакость и мерзость!.. Да, пакость и мерзость!

Это он сказал чрезвычайно выразительно и сел против меня с совершенно подавленным видом.

— Я не могу отказаться... Что ж, это значило бы отказаться от всего... Но вы не можете себе представить, как это меня мучит, как это мне несвойственно, противно... А впрочем, — прибавил он с саркастической усмешкой, — на практическом языке это называется коммерческой сделкой... Можно на этом успокоиться...

— В чем же дело?

— Ах, дело в том, дело в том... Одним словом, пакость... Видите ли, его превосходительство изволил облюбовать одно именьице в Тульской губернии... Именьице недурненькое, тысяч восемьсот стоит... Но при известной обстановке его можно купить за пятьсот... С одной стороны, умеючи дать тому, другому, третьему отступного, а с другой — требуются подставные лица, которые будут торговаться якобы от своего имени... Но вы понимаете, что для всего этого необходимо соглашение с некоторыми местными деятелями. Словом сказать, для всего этого надобно затратить такую массу мерзости, какой не у всякого хватит...

— Да что же вам-то от всего этого?

— Мне? Да ведь я же секретарь!.. Следовательно, на моей обязанности лежит обделать все это дело, для каковой цели я завтра же должен ехать в Тульскую губернию... Да-с, завтра. Я еще не знаю, чем я буду: подставным лицом или покупателем по доверенности... Это решится на месте. Но не все ли равно? Черт возьми!.. Я, с своими идеально-благородными стремлениями, я, интеллигентный человек, министерский чиновник не без видной карьеры, я — подставное лицо на торгах! Можно ли этому поверить? Но послушайте, Владимир Сергеич, я прошу

вас, не говорите об этом никому, никому, особенно Здыбаевским... Ведь это загрязнит мою репутацию. Ведь никому нет охоты вникать в мое положение...

— Откровенно говоря,— заметил я,— я в вашем положении не вижу ничего, вынуждающего вас так поступать...

— Как-с! Отказаться? Бросить секретарство? Да меня тогда сейчас же забудут, затрут, забросят, а может быть, и выбросят. Нет, уж если я выбрал служебную линию и протянул на ней двенадцать лет, то надо добраться до ступени, дающей самостоятельность. Это уж как хотите! Двенадцать лет не такая малая величина, чтобы ее не принимать в расчет. Я их потратил и имею право что-нибудь получить за них. Нет-с, я поеду, буду смеяться над собой, негодовать на себя, но поеду и стану деятельно хлопотать о выгодной покупке имения... Мне иначе нельзя...

На другой день он заехал на пять минут к Здыбаевским и сказал, что едет по какому-то министерскому поручению. Вечером он уехал на вокзал, прихватив с собой Ивана Иваныча; я провожал их, и когда вошел в вагон, то, к удивлению моему, нашел там Паршикова и Мусина, которые занимали свои места в купе солидно и с достоинством. Они привстали и раскланялись чинно и без смущения. Очевидно, они ехали тоже по поручению его превосходительства.

Пожимая мне на прощанье руку, Николай Алексеевич сказал:

— Знаете ли, я много думал и решил: сделаю это дело его превосходительству и скажу: до свидания!

Сказал он это тоном глубокого убеждения, но я все-таки не поверил. Ведь сказать «до свидания» гораздо удобнее было теперь, когда был для этого такой хороший повод.

Я побывал у Здыбаевских. Федор Михайлович отвел меня в сторону и спросил:

— Это министерское поручение ведь миф, не правда ли? А в сущности нашего невинного младенца послали торговаться?

— Почем вы знаете? — невольно вырвалось у меня, и таким образом я, может быть, выдал тайну Погонкина.

— Знаю. Это он по своей наивности думает, что носит в груди тайну, а в министерстве вся канцелярия знает, куда и зачем его командировали.

— Не может быть! Кто же рассказал?

— Кто? Да прежде всего сам его патрон. Это особого рода невинное генеральское хвастовство. Дескать, вот как я с секретарем обращаюсь... Что хочу, то и сделаю с ним... Ах, Николай Алексеевич, как он мало себя ценит и уважает!.. Вы не можете себе представить, как я был взбешен, когда узнал эту историю!.. Я даже своим не сказал, и вы не говорите. Только Антон Петрович знает...

Я распустил свою канцелярию на отдых, и все наши статистики, не исключая и меня, завалились на три дня спать. Ведь в последние дни, поспешая к открытию комиссии, мы почти не смыкали глаз. Через пять дней вернулся Николай Алексеевич с своей свитой.

Он прямо с вокзала поехал к его превосходительству; благодаря этому обстоятельству первые путевые сведения я получил от Ивана Иваныча.

— Ну и ловок же наш Николай Алексеевич! Прямо даже не ожидал! — восклицал он конфиденциальным тоном, когда мы оказались одни в кабинете.— Так дело обделал, что самому настоящему адвокату впору!..

— Купили?

— Как же! За четыреста семьдесят пять тысяч! А имение стоит целых восемьсот! И все он, все он! Просто чудеса! Как старался! Словно для себя самого!.. А скупердяга какой! Тут своими собственными швыряет, а там каждую копейку считал. Обо всем, говорит, отчет потребуется. Поверите ли, ни разу даже покушать хорошенько не удалось; нас троих — меня, Мусина и Паршикова — в одном паскудном нумере держал! Вот уж не понимаю. Сказать бы — свои деньги, а то чужие, да еще такого богача...

Николай Алексеевич приехал от своего патрона необычайно оживленный и довольный. Он весело рассказывал разные путевые эпизоды, но о подробностях покупки имения да и о самой покупке умалчивал.

— Его превосходительство очень, очень доволен!.. Представьте себе, не успел я войти к нему, как он: «Поздравляю вас с производством!» Понимаете? В следующий чин! Так быстро! Ведь я в прошлом году только произведен... Вот что значит секретарство!.. Да-с...

Он самым искренним образом тешился этой радостью и, казалось, лучшей награды за свой подвиг не желал.

— Он чрезвычайно доволен. Имение действительно роскошное и куплено за грош!.. Паршикову и Муссину выдается по пятисот рублей, Ивану Иванычу триста... Я получил право расширить квартиру на счет смежной... Сделаю себе большой зал и поставлю там рояль... Позову Здыбаевских, и пойдет у меня музыка... Всю нашу статистическую канцелярию на радостях велено оставить, и даже можно еще пригласить... Одним словом — результат блестящий!..

Он, как ребенок, одинаково упивался и повышением в чине, и постановкой рояля в предполагаемом зале, и тем, что у него будет музыка. Хотел я напомнить ему о намерении, по окончании дела с покупкой имения, бросить секретарство, но решил, что это будет бесполезно. Его настроение ясно доказывало, что об этом не может быть и речи.

— Ну-с, теперь займемся нашим отчетом... Надо, чтобы он вышел потрясающим, подавляющим... Что бы такое придумать еще? а? Что-нибудь такое, что никому больше не могло бы прийти в голову?! Какое-нибудь приложение, дополнение... Как вы думаете?..

— Можно! — сказал я.— Очень эффектная штука...

— Ну? Что же это?

— А вот что: те самые сведения, которые мы даем в ведомостях, изобразить графически!..

— Графически? Это что же означает в данном случае?

— Это значит наглядно, при помощи чертежей... Можно пустить в красках, если вам не жаль денег.

— А в самом деле! Я понял, понял — это идея! Это, знаете, может прямо в лоск положить членов комиссии... Раскрывают отчет — и вдруг такая штука... Все как на ладони!.. Великолепно! А вы и это умеете?

— Почему же нет?

— Ну, знаете, вы... вы действительно гений приспособляемости!.. Уж вы меня извините, а я не могу вам платить сто рублей, отныне вам даю двести... Уж извините.

— Охотно извиню вам это. Только я могу лишь вчерне, а беловая работа должна быть исполнена мастером своего дела.

— Послушайте! Вот идея! Мы пригласим Сереженьку Здыбаевского! Он отлично умеет чертить!.. Ведь ему делать нечего, и отчего не заработать карманных денег!

Великолепно! Приступим!.. А его превосходительство как приятно будет поражен, когда мы ему преподнесем эту штуку! Браво, ей-ей, браво!..

Сереженька охотно согласился, так как его артистические занятия оставляли ему достаточно свободного времени. Этот живой, веселый юноша сразу установил в нашей канцелярии юмористический тон. Консерваторский ученик Спицын обрадовался ему, как находке, зато серьезная барышня окончательно сдвинула брови и приобрела вид оскорбленной женщины. Вследствие этого и Рапидов начал дуться, и эти два обстоятельства стесняли нас.

— Слушайте, Николай Алексеевич,— сказал однажды Сережа, когда мы были втроем в кабинете,— нельзя ли се, эту строгую особу, взять на полную пенсию?

— Каким образом?

— Да так, чтобы платить ей жалованье, а она сидела бы дома!

— Она на это не согласится, обидится... А вот что я могу для вас сделать. Я предложу ей заняться приведением в порядок моей библиотеки. Пусть себе роется в шкапах.

— И вы обрекаете себя на подвиг совместного пребывания с нею?

— Нет, боже сохрани!.. Я ей предоставлю те два шкапа, что у меня в гостиной.

Барышня охотно согласилась. Она нашла, что это интеллигентное занятие к ней больше подходит. В нашей канцелярии полились шутки, остроты, анекдоты, не всегда целомудренные, и неподдельный смех. Рапидов совсем переменился, перестал дуться и сделался милым статистиком.

В то время, как мы с Сереженькой деятельно чертили графические изображения статистических величин, Николай Алексеевич с увлечением занимался расширением своей квартиры, насколько позволяли ему многосложные секретарские обязанности и служба. Работа шла быстро. В какие-нибудь две недели квартиры были уже соединены, образовался зал, действительно большой и высокий, оклеивались обоями стены.

Пришел Антон Петрович, похохотал над нашими рисунками, назвал их «до дерзости смелым шагом» и, побывав в новом зале, сказал нам тихонько:

— Готов держать пари, что он замышляет жениться! помяните мое слово!

Николай Алексеевич вечно говорил о своем зале, о предполагаемой отделке его, обстановке. Он тешился этим, как ребенок куклой, и забывал в это время о статистике и о своем секретарстве. Мы заметили, что даже вид у него сделался лучше — ясный и здоровый. Мы завтракали все вместе. В большой столовой накрывался длинный стол, ставилось вино и закуски. Среди этих закусок важную роль играла лосина — результат недавней охоты его превосходительства,— которую мы ели уже три недели и которая нам смертельно надоела. Но Николай Алексеевич всякий раз торжественно рекомендовал нам ее как замечательное блюдо и прибавлял:

— Это мне преподнес его превосходительство в знак своего расположения!

Эту фразу он произносил с иронией, но видно было, что он очень ценил этот знак расположения его превосходительства.

Прошло около пяти недель с того времени, как было отменено заседание комиссии. Мы наделали кучу новых ведомостей и такую же кучу графических изображений. Отделка зала была окончена, и рабочие ушли. Николай Алексеевич сиял от восторга и уже поручил Сереженьке, как музыканту, выбрать ему рояль у Беккера. Но тут произошло одно обстоятельство, которое поставило меня в тупик.

VII

Я пришел вместе с Рапидовым в одиннадцать часов. Медицинский студент и ветеринар были уже в канцелярии, а барышня возилась около книжного шкапа в гостиной. Минут через десять пришел консерватор, начал шутить, и все смеялись. Недоставало только Сереженьки. Он не пришел и в двенадцать часов. Это меня удивило. Когда к нам забежал Иван Иваныч, я спросил у него:

— Сергей Федорыч не приходил еще?

— Не приходил! — ответил тот необычайно мрачным и даже почти сердитым голосом. Тут я обратил внимание на его внешний вид. Волосы у него были растрепаны, лицо помятое, глаза красные.

— А есть кто-нибудь у Николая Алексеевича?

— Никого нет! — таким же решительным тоном ответил он мне, взял какую-то бумажку и исчез.

«Тут что-то есть,— подумал я,— Иван Иваныч — верное отражение Николая Алексеевича». Я зашел в кабинет.

Николай Алексеевич сидел в своем дубовом кресле и, облокотившись обоими локтями на стол, по-видимому, был углублен в работу. Я нечаянно стукнул дверью, и вдруг он поднял голову и подскочил на месте.

— Ах! — нервным голосом произнес он, весь вздрогнув, как человек, внезапно разбуженный по первому сну. Лицо у него было синевато-желтое и злое. Глаза как-то уменьшились и ушли в глубь орбит. Лоб был обвязан мокрым полотенцем, и в комнате пахло уксусом.— Точно нельзя не стучать!..

— Извините,— сказал я, совершенно подавленный этим необъяснимым приемом.— Вы не знаете, отчего это до сих пор нет Сереженьки?

Он опять вздрогнул, и рот его скосился в неприятную мину.

— Почем я могу знать побуждения Сергея Федорыча? — злобно произнес он.

Производство Сереженьки в Сергея Федорыча было для меня обстоятельством еще более значительным, чем тон речи и цвет лица Николая Алексеевича. Я сейчас же понял, что в сфере его отношений к Здыбаевским что-то произошло и что Сереженька больше сюда не придет.

Я взглянул на Николая Алексеевича. Он опять твердо облокотился на стол обеими руками и, уложив голову на ладони, весь ушел в лежавшую перед ним бумагу. Я понял это так, что мне надо уходить, и направился к двери.

Но в тот момент, когда я взялся за ручку двери, меня поразил и даже испугал странный звук — словно что-то довольно громоздкое со всего размаха полетело в угол. Я оглянулся и увидел, что толстое «дело», сию минуту лежавшее перед Погонкиным, действительно лежало уже в углу и как-то жалостно корчилось, точно и в самом деле было ушиблено; сам же Николай Алексеевич откинулся на спинку кресла, сильно закинул голову назад, крепко зажмурил глаза и прижал правую руку к сердцу.

— Что с вами? — осторожно спросил я, подойдя к столу.

Он раскрыл глаза и выпрямился.

— Ничего... Чепуха какая-то!.. Чепуха, чепуха и чепуха!.. Зачем и почему и для какой великой цели — неизвестно, совершенно неизвестно!.. А главное — сердце болит, сердце, Владимир Сергеич, не выдуманное, а настоя-

щее, физиологическое сердце!.. Да-с!.. И я умру от сердца! Вот увидите! Оно лопнет, оно должно лопнуть, оно непременно, непременно лопнет!..

— Что за пессимистическое настроение!

— Нет, вовсе не пессимистическое и не настроение, а факты, таковы факты! — Он встал и начал ходить по комнате.— Что же в самом деле приятного в жизни? Что в ней такого, что могло бы меня особенно привязать к ней? Ничего-с! Умственная жизнь? Она доступна только богачам, а у таких людей, как я, вся жизнь идет на добывание средств. Женщины? Пускай они морочат голову кому хотят, только не мне... Я не из тех, что способны убивать время на созерцание их прекрасных, но лицемерных глаз...

— Вы еще вчера были другого мнения о женщинах, или, по крайней мере, об одной из них...

— Не знаю-с... Не думаю-с! — с едкой экспрессией перебил он меня. Он перестал ходить, сел на диван и опять приложил руку к сердцу. Я посоветовал ему позвать доктора.

— Ха!.. Удивляюсь! Какой доктор может вылечить меня от моей жизни, от моих обстоятельств?

— Вы сами навязали себе эти обстоятельства. Вы могли бы обойтись без них...

— Очень может быть... У всякого свое мнение, и каждый имеет право свободно высказывать его и жить по нем. Я это и делаю...

Разговор в таком тоне не доставлял мне удовольствия, и я воспользовался первым поводом уйти, оставив Николая Алексеевича с рукой, приложенной к сердцу, и с закрытыми глазами.

Сереженька не пришел. Вечером я был у них. Я нашел всех в угнетенном настроении. Молодой человек валялся на диване в своей комнате, в которой было почти темно.

— Отчего вы не велите зажечь лампу? — спросил я.

— Не стоит! — мрачно ответил Сереженька.

— А почему вы не пришли сегодня к Погонкину?

— По весьма дурацкой причине.

— А именно?

— А именно — не скажу, ибо не уверен, что это не тайна. Нынче у нас что ни шаг, то тайна. Подите к папочке, он вам расскажет.

Сергей Федорыч, кажется, первый раз в жизни был в таком настроении. Обыкновенно он бывал весел, добродушен, остроумен и смешлив, никогда не злился и не дул-

ся. Я прошел в кабинет. Старик Здыбаевский сидел за письменным столом и с сосредоточенным видом медленно разрезал и перелистывал страницы «Русской старины».

— А! Садитесь, голубчик, садитесь... Что нового?

— Новое-то у вас,— заметил я,— Николай Алексеевич в небывалом настроении, у вас здесь какое-то мрачное затишье, и мне кажется, что между тем и другим есть тесная связь...

— К сожалению, есть!.. Да, представьте, голубчик, есть...— промолвил Федор Михайлович, отодвигая от себя книгу.— Ужасно мне это больно,— продолжал он, помолчав,— но, право же, я тут ни при чем и поправить дела не могу... Не могу!..

Он опять помолчал. По-видимому, ему было не легко изложить самое дело.

— Николай Алексеевич человек хороший,— снова заговорил старик,— я уважаю его. Умный, сердечный... Но это проклятое секретарство сводит всего его на нуль. Ну, а все-таки я его уважаю, да и мои тоже уважают его — и Сергей, и Лиза. Но одного этого мало, нужно кое-что другое. Он как-то это внезапно, неожиданно вдруг налетел и сделал Лизе предложение, а она отказала... Вот и все. Я, разумеется, ничего не могу поделать. Но вы не поверите, как мне горько... А что, скажите, как он?

Я не сразу ответил. Новость, которую я узнал, собственно говоря, для меня не была неожиданностью; я подозревал, я почти знал это. И тем не менее она меня решительно поразила — до такой степени это мало шло к Николаю Алексеевичу.

— Он? Он очень изменился. Осунулся, позеленел, обвязал голову мокрым полотенцем, жалуется на сердечную боль,— наконец ответил я.

— Да, у него сердце ненадежное... Жаль мне этого человека, ужасно жаль!.. Он изуродовал свои нервы и свою жизнь. А за что и ради чего? Ведь этот его патрон помыкает им, как пешкой, заставляет его унижаться до гадостей, вроде покупки имения при посредстве подставных лиц... Очень все это печально! И знаете, ведь все это может кончиться черт знает чем. Мне достоверно известно... ну, или почти достоверно, что особа эта стоит теперь непрочно, положение ее поколеблено... Вы представьте, что он слетит,— куда денется вся эта каторжная служба Николая Алексеевича? Ведь его затрут, мусором засыплют... Ах, ах, ах!..

За чаем я видел Лизавету Федоровну. Она была бледна и молчалива. Разговор ни разу не коснулся щекотливого предмета, вертелся на каком-то концерте и шел вяло. После чаю Сергей вышел со мной на улицу. Он сказал, что ему дома скучно и не по себе.

— Я не понимаю Лизу. Какого ей еще мужа надо? — с досадой говорил он мне.— Человек симпатичный, обеспеченный, с хорошим положением в будущем. Чем не муж?

— Не любит, что поделаете!

— Еще бы! Мал ростом, одутловат, не умеет любезничать и говорить гражданских фраз... Одним словом, не герой! А его-то это совсем скрутило. Я видел, как он выходил от нас. Совершенно точно его прищемили с трех сторон... Бедняга Николай Алексеевич!

На другой день утром, едва я взял в руки газету, как должен был вскочить и налетел на моего сожителя Рапидова.

— Нет, ты прочитай, прочитай, пожалуйста! Комиссия — это наша-то комиссия, для которой мы писали, чертили — закрывает свои действия!.. А вот это-то еще лучше: его превосходительство, наш-то его превосходительство, могущественный покровитель Николая Алексеевича — в отставку по прошению! Каково? Что же теперь будет с Николаем Алексеевичем?

Рапидов, как человек, мало посвященный в суть дела и не успевший сблизиться с Погонкиным, не мог достаточно глубоко прочувствовать это известие. Я побежал к Антону Петровичу.

— Да, представьте! Я сам поражен! Нечего и говорить, что вся ваша статистика, со всеми выкладками и чертежами, к черту пошла! Но в этом, я полагаю, нет большой беды, ибо она достигла своей цели, прокормив в течение многих недель добрую компанию хороших людей. Но Николай Алексеевич — это другое дело! Два удара сразу!

Мы отправились к Здыбаевским. Федор Михайлович только что отпил чай и ходил по своему кабинету в жестоком волнении.

— Совпадение проклятое! — восклицал он.— Чего доброго, он подумает, что ему и отказали-то неспроста. Дескать, нам уже было известно про его падение — вот мы и разочли, что он перестал быть выгодным женихом, и отказали... Понимаете? При одной мысли, что он может

таким образом подумать, меня бросает в лихорадку!.. Знаете что, господа? Поедемте сейчас к нему, выразим ему сочувствие, поддержим его, ободрим!.. Ведь, собственно говоря, это для него счастье. Он еще молод, может работать и до чего-нибудь доработается. Это избавляет его от кабалы. Поедемте, господа!

Мы взяли экипаж и поехали вчетвером, прихватив Сергея. Увидев издали коричневый дом его превосходительства, где обитал Николай Алексеевич, мы почему-то все вдруг впали в уныние. У всех явилось предчувствие чего-то необычайно грустного и тяжелого.

— Фу-ты, какой скверный день! как отвратительно начат! — сердито ворчал Федор Михайлович.— Кажется, у меня крепкие нервы, а так и ходят ходуном! На душе такая гадость, точно обокрал кого-нибудь!

Мы молчали, чувствуя то же самое.

Экипаж остановился у железных ворот коричневого дома. В обширном дворе какие-то неизвестные люди медленно сновали из одного конца в другой, по-видимому, без всякого дела и заглядывали в окна квартир первого этажа. Во второй подворотне появились силуэты Мусина и Паршикова и в тот же миг исчезли, как тени.

Поднимаясь по лестнице, мы встретили пожилого господина в сером пальто, из-под которого виднелся синий фрак, а потом даму в черном. Оба они спускались медленно и задумчиво. Наконец мы позвонили. Очень скоро вышел Иван Иваныч и открыл перед нами дверь, которая оказалась отпертой. Лицо его было бледно и хмуро. Без сомнения, это происходило оттого, что и он, в качестве необходимого придатка, летел вниз вместе с его превосходительством и Погонкиным. Он тоже, как и спускавшаяся по лестнице дама, был весь в черном.

— Пожалуйте, господа! — промолвил он хриплым, усталым голосом.

— Николай Алексеевич дома? — спросил его Антон Петрович.

— Николай Алексеич? Да-с... Николай Алексеич... Они... Да они ведь скончались!..

— Что такое?!

— Скончались в эту ночь... Да-с!.. Внезапно... Позвали их по телефону его превосходительство... Побыли там один час, а оттуда приехали бледные, расстроенные... Стали раздеваться, да вдруг пошатнулись, крикнули и упали...

Сердце, значит, разорвалось... Так и доктор сказал... Пожалуйте, господа!

Но мы не двигались с места, чувствуя себя таким образом, будто в нас неожиданно выпустили залп картечи. Это невозможно, это походило на сказку, на сон! Можно было ожидать всего, чего угодно, но не этого же, в самом деле, потому что это было слишком.

— Пожалуйте, господа! — твердил нам Иван Иваныч, и мы бессознательно шли за ним, прошли коридор, столовую и очутились в обширном зале, том самом, который Николай Алексеевич с такой любовью отделывал, очевидно, уже и тогда лелея мечту о семейном счастье. Да, это была правда! Он лежал тут, на длинном столе, и около него были все признаки того, что он был покойник: парча, восковые свечи, две родственницы, запах ладана, смешанный с запахом трупа...

Николай Алексеевич умер — это было очевидно до последней степени. Он лежал с сложенными на груди руками, вытянувшись, и казался как бы немного длиннее самого себя. Лицо его было совершенно желтое, на губах застыло выражение страшной муки, которую он испытал в момент смерти.

Мы стояли, потупившись и позабыв даже перекреститься. Одна из внезапно отыскавшихся родственниц всхлипывала, очевидно, неискренно, и терла платком совершенно сухие красные глаза. Дьякон громко читал Псалтырь. Федор Михайлович долго крепился, но не выдержал и заморгал веками, из-под которых полились слезы. Сереженька тоже плакал, да и я почувствовал, что глаза мои горячи и влажны. Один только Антон Петрович выдержал характер и стоял твердо, изо всех сил стараясь придать своему лицу каменное выражение.

На другой день Николая Алексеевича Погонкина свезли на Волково кладбище. Похороны были чрезвычайно приличные; было немало знакомых, сочувствующих, и много карет. Мы шли все вместе, сгруппировавшись вокруг Здыбаевских. Лизавета Федоровна была бледна и как-то подавлена. Тут были налицо все статистики: Рапидов, ветеринар, консерватор, медик и барышня. Мусин и Паршиков шли приподняв воротники и потупив взоры. Иван Иваныч руководил похоронами. На дворе стоял мартовский день, теплый и сыроватый.

— Одно только мне неясно в судьбе этого человека,— сдержанным и слегка взволнованным басом говорил мне

Антон Петрович, который шел рядом со мной.— Что по преимуществу сразило его: отказ ли любимой девушки или крушение его превосходительства?.. Как вы думаете?

Я не ответил, потому что для меня это было тоже неясно.

ШЕСТЕРО

Рассказ

I

— Ох, мученица я, мученица-страстотерпица, да и только! И вот же к другим господь милосерд! У перекопского дьяка прошлым летом двоих в одну неделю прибрал... Да чего ты раздираешься? Ну, чего, скажи, бога ради, чего-о?

— Натонька, Натонька, Христос с тобою, что ты говоришь? Грех даже думать такими мыслями, а ты слова говоришь... Ах ты, боже мой!

Натонька лежала, свернувшись в клубок, на коротеньком неуклюжем диванчике, обитом зеленым трипом, с желтыми пятнами в различных местах. В крепко натопленной комнате с низким и слегка покатым потолком, с маленькими окнами, зеленоватые неровные стекла которых придавали пропускаемому ими свету печальный сероватый оттенок, было душно и пахло дымком, но, несмотря на это, Натонька вздрагивала и плотнее прикрывалась старою касторовою рясой отца Антония. В комнате стоял невообразимый гвалт, производимый шестью ребятишками, из коих старшему было семь лет, а самый младший еще только пытался ползать по дырявому ряденцу, разостланному на полу. Вся эта компания играла и шумела, причем старший, Тимошка, изображал священника, подражая в манерах и интонации местному настоятелю, отцу Панкратию, а прочие выполняли обязанности причетников, «тытаря» [1] и прихожан. Но именно «тытарь», роль которого досталась четырехлетней Паше, в чем-то сбился, за что получил от пятилетнего разбойника Васьки тяжеловесную затрещину. За Пашу заступилась шестилетняя Маринка, бледная девочка с серьезным, задумчивым выражением глаз, на Маринку наступал Тимошка, подымался

общий рев, и все это тянулось к коротенькому дивану за утешением. Натонька, у которой трещала голова и разламывало кости, должна была каждую минуту вставать и чинить суд и расправу. Понятно, что это ее раздражало и доводило до бешенства. А отец Антоний сидел за небольшим четыреугольным столиком, спиной к Натоньке и к детям, и, широко разложив на столе свои локти в обе стороны и наклонившись всем туловищем вперед, усердно писал метрическую книгу. Со дня на день в село ожидался благочинный, у которого во всякое время может явиться желание проревизовать книги, а отец Антоний, из-за болезни Натоньки, запустил это дело. Между тем для него очень важно, чтобы благочинный нашел все в исправности.

И он ужасно торопился, до такой степени торопился о. Антоний, что предоставил Натоньке жаться от лихорадочной дрожи под его касторовою рясой и не расспрашивал, что у нее болит и как она себя чувствует.

В оконце видна была церковь, площадь около церкви и часть замерзшей реки. На площади, и на церковной крыше, и на низком берегу речки, и на самом льду лежало ровное, гладкое и блещущее на солнце белое покрывало из свежего, выпавшего ночью снега. Мужик в кожухе с заплатами, в сивой шапке и в высоких сапогах, оставлявших на мягком снегу полуаршинные следы, вез по льду свежесжатый камыш. Худая лошаденка ступала по гладкой дороге легко, а деревянные полозья с загнутыми кверху передами, казалось, катились за нею сами собой.

— Ты бы пустила, Натонька, ребят на улицу. Пусть бы снежком поиграли. Славно так на улице! — сказал о. Антоний, не переменяя позы и продолжая писать метрическую книгу.

— Ах, да пускай бегут! Пускай хоть сквозь землю провалятся! Дай ты мне минуту покоя! — надрывающимся голосом воскликнула Натонька и с шумом повернулась на другой бок, лицом к спинке дивана.

Отец Антоний покачал головой, но ничего не сказал. «Ох ты, господи, господи! Какие слова! — думал он.— Это болезнь в ней говорит, а сама-то она не чувствует так, сама-то добрая Натонька... Ах, бедняжечка!»

И стал он думать о том, как бы выгнать из Натоньки эту болезнь, которая бог знает с чего привязалась к ней. Фельдшер смотрел ее и сказал, что лихорадка. И два

года уже тянется эта лихорадка. Походит Натонька, походит денька три, а там и сляжет да неделю и валяется. А то и на ногах ходя перемогается, жмется и охает. И на грудь жалуется, и кости ей ломит; бог ее знает, что за болезнь. Советовался о. Антоний с одним знакомым доктором в городе. Доктору-то приехать в село нельзя, времени нет, а город далеко, сорок верст,— где тут зимой тащить больную? Да и сама Натонька не хочет, никак не уговоришь ее. Это, говорит, так, легкая простуда,— весна придет, солнышко пригреет, и сама пройдет. Фельдшер порошки хинные давал, но от них только пуще в голове шумит, а помощи никакой. Одна тут баба есть, Метеличиха, коренья какие-то давала, настой велела делать и по понедельникам да по пятницам натощак пить,— тоже ничего не помогает. Может, оно и в самом деле, как весна придет, солнышко вылечит. Ребятишки вот очень раздражают ее. Ей бы полежать да соснуть хорошенько, а они тормошат ее. Вот она и из себя выходит, и слова говорит такие, которых в сердце у ней вовсе нет. А заменить ее некому. Сестра его, о. Антония, изредка наезжает. Живет у братьев по очереди. Не выписать ли ее теперь из Тягинки? Что-то на этот раз Натонька крепко залегла. А все от бедности. Приход небогатый, а у него еще дьячковская вакансия, потому что дьякона в приходе совсем по штату не полагается. Получает двадцать копеек с рубля. Вот и живи, как хочешь. Шутка ли, за восемь лет супружества шестерых ребят наплодили! А ему-то всех 28, да Натоньке 26, сколько это еще у них детишек может быть и чем их кормить, да одевать, да обувать? Вот ежели бы архиерей смилостивился да во священника рукоположил, другая бы жизнь пошла. Натонька себе в помощь какую-нибудь женщину взяла бы и поправилась бы, детей бы воспитать можно, в люди вывести; а то ведь, пожалуй, придется без науки оставить, а уж это, по нынешним временам, такая беда, что хуже не надо. Да, если бы владыка смилостивился, хорошо было бы!

Перед самыми оконцами прокатили городские аккуратные нарядные сани, запряженные парой, и проехали мимо. Отец Антоний сейчас узнал их и того, кто в них сидел.

— Гм... А вот и благочинный приехал. Сейчас к отцу Панкратию прокатил,— вслух сказал он.— Эх, а метрические-то книги не готовы. Но авось не потребует. Пойти спросить — не было ли чего по моей части...

И он встал из-за стола, аккуратно посыпал свое писанье песочком, высыпал песок обратно в стеклянную баночку и, бережно закрыв книгу, отложил ее к стене.

— Ну, детвора, одевайся! Сейчас на улицу выпущу. Ну, ну, Тимошка, одевай Пелагею, Васька — Аксютку, а Маринка Сашу в саночках повезет. Живей!

— Ох, боюсь, как бы они Сашу не уронили! — больным голосом промолвила Натонька.

«Ишь ты, ишь ты,— подумал о. Антоний,— слова-то какие страшные говорит, а сама боится за детей, самой жалко. То-то!»

— Нет, ничего, Маринка у меня умница! Ты, Натонька, не тово... не тревожься. Уж я сам все устрою. Ты поспи, поспи... Оно к вечеру и здоровехонька будешь.

Ребятишки между тем бросили игру и принялись одевать друг друга. Жалобный писк сменился восторженным криком, потому что все были рады яркому солнцу и белому снегу. Через три минуты гвалт уже перешел на церковную площадь. Комья снега полетели в разные стороны. Потомство о. Антония резвилось с самым беспечным весельем, не обращая внимания на то, что на них была надета невозможнейшая рвань с дырьями и заплатами.

— Ишь ты, как кувыркаются! Радые какие! — воскликнул о. Антоний, глядя в окошко и в то же время надевая поверх кафтана зимнюю рясу.

— Ты прикажи им на лед не бегать, а то там ополонка есть, того и гляди влетят в ополонку,— сказала Натонька.

— Да уж ладно, уж ты не беспокойся, ты спи себе, голубка, спи... Э, ничего, поправимся. Даст бог, владыка смилуется, ну, и тово... желание наше... тово... сбудется. Тогда и поправимся! Спи себе, Натонька, а я к отцу Панкратию сбегаю, может, благочинный что знает...— Отец Антоний нагнулся и поцеловал Натоньку в лоб.

— Марья пускай на ребят поглядывает,— промолвила Натонька, провожая его глазами.

Дьякон сделал ей рукой успокоительный жест и вышел в сени, осторожно притворив за собою дверь. В темных сенях он нащупал другую дверь и заглянул в миниатюрную кухоньку. Марья с подтыканною спидницей * толкла в небольшом горшочке сало для засмажки ** борща. Это

* юбкой *(укр.)*.
** приправы *(укр.)*.

была молодая, здоровая, краснощекая девка с необычайно живым и веселым лицом. Эта Марья, у которой отец был горький пьяница, а мать вечно лежала с им же переломанною ногой, благодаря чему в хате у них было пусто и холодно, всегда была весела и ни минуты не оставалась без песни; и не было такого парня в селе, который, проходя мимо нее, удержался бы, чтоб не ущипнуть ее за мясистую руку или не смазать всею ладонью по спине. А она в ответ на это визжала и заливалась смехом. Марья и теперь, помешивая засмажку, мурлыкала какую-то песню.

— Слушай, Марья, ты на детей поглядывай, чтобы на речку не ходили,— сказал ей дьякон и прибавил вполголоса: — А ежели какой заплачет либо озябнет или что другое, возьми в кухню, а в горницу не пускай,— матушке отдохнуть надо. Слышала?

— А вже ж слышала, хиба ж я глухая! — скаля зубы, ответила Марья.

Дьякон опять очутился в темных сенях и, нащупав уже третью дверь, вышел на улицу. Глубокий снег закрыл и дорогу к церкви, и тропинку к дому о. Панкратия. Только мелкие следы детских ног да две параллельные полосы от саней благочинного портили эту белоснежную гладь, отражавшую своими бесчисленными кристаллами яркие лучи солнца. Мороз стоял изрядный, но тем приятнее было чувствовать на своем лице и на руках как бы чуть-чуть пробивающуюся сквозь морозный воздух солнечную теплоту.

О. Антоний, глубоко ступая сапогами в снег, повернул направо и пошел прямо к дому настоятеля.

О. Панкратий Шептушенко жил в церковном доме, который сам для себя построил, и, надо отдать ему справедливость, построил крепко и удобно. С внешней стороны этот дом не блистал архитектурными красотами, но зато он был длинен и широк, вдвое выше любой мужицкой хаты, с железною крышей и, главное, каменный, тогда как все население деревни ютилось большею частью в землянках и только «богачи» возводили свои замки из желтой глины, смешанной с кизяком. К дому были и службы подходящие: конюшня, скотный загон, поместительный амбар, множество сараев и сарайчиков и, вдобавок ко всему, целая десятина сада, по преимуществу вишневого, но не без яблони и не без груши. Все это было построено на земле церковной, т. е. отведенной обществом в вечное

владение причта, и на деньги церковные, т. е. пожертвованные опять-таки теми же самыми прихожанами, и некогда, лет пятнадцать тому назад, предназначалось для всего причта, но о. Панкратий нашел, что по его обширному хозяйству весь этот дом, со всеми принадлежностями, как раз будет впору ему одному, и предоставил остальному причту жить в наемных хатах, не возбраняя, впрочем, строить и собственные. Причт сначала подумывал было о том, чтобы жаловаться по начальству, но, приняв во внимание дюжину жирных стогов хлеба и четыре огромнейших скирды сена, стоявших на току у о. Панкратия, две полные засеки еще прошлогоднего зерна, пятерку шустрых и крепких лошадей, чуть не целое стадо коров, тысячу овец, «дилижан» * крытый и «дилижан» простой, да еще одноколку,— приняв все это во внимание, а также и то, что о. Панкратий находился в добрых отношениях со всею консисторией, причт пришел к заключению, что о. Панкратию действительно как раз под стать занимать весь церковный дом.

О. Панкратий Шептушенко среди губернского духовенства был один из очень немногих. Это был священник-помещик или, лучше сказать, арендатор, потому что церковной земли было у него немного, каких-нибудь полсотни десятин. Попав в небогатый приход, о. Панкратий обратил свое внимание на землю и вот уже лет двадцать как он вел обширнейшее хозяйство, засевая ежегодно не менее двух тысяч десятин земли, а в последние годы он даже держал в долгосрочной аренде целое имение соседнего помещика Антюхина, который сошел с ума и оставил дела в неопределенном положении.

Особенно деятельно о. Панкратий занялся землей после того, как похоронил еще в цветущем возрасте жену, оставившую ему сына и дочку. От скуки ли, или по врожденному влечению, он весь погрузился в хозяйство. Он вел обширные связи с городскими торговцами; купцы из русских и евреев бывали у него запросто, осматривая его засеки, ощупывая овечью шерсть и пробуя творог да сметану. О. Панкратия можно было видеть в городе на ярмарке торгующим или меняющим лошадей, договаривающим целую партию косарей с громадильницами [2], ссыпающим зерно из своих мешков в хлебные склады.

---

* Особого рода повозка, перенятая зажиточными поселянами у немцев-колонистов. *(Примеч. И. Н. Потапенко.)*

Все он любил делать сам, и на все у него хватало энергии и здоровья. Теперь ему было уже под шестьдесят, но старческие болезни еще не пришли к этому бодрому, цветущему старику, у которого и седых волос-то было немного. Скинув рясу и каким-то особенным способом пришпилив кверху полы кафтана, о. Панкратий властно ходил по городскому базару в своих высоких сапогах и меховой шапке, переходя от торговца к торговцу, разузнавая цены и заключая сделки. В таком виде можно было застать его и в самой задней комнате трактира, куда он прошел через хозяйское помещение («чтобы не было соблазна»), в компании хлебного, молочного или шерстяного торговца, где уговаривались и писали условия. И никто не дивился его духовному кафтану в столь неподходящей обстановке, потому что к этому все привыкли давно.

О. Антоний вошел в обширный двор о. Панкратия. Сани благочинного стояли посреди двора, лошадей не было видно — их отвели в конюшню. По двору, с середины которого снег был сметен в одну кучу, бродили куры, гуси, утки и вместе с ними свиньи; два огромных пса, при виде его, гневно зарычали и с лаем кинулись к нему, но тотчас узнали в нем своего человека и принялись вилять хвостами и лизать ему руки. Дом выходил во двор широким и длинным закрытым крыльцом. Сюда вошел о. Антоний. Здесь, на небольшом дубовом столике, приготовляла закуску старая экономка о. Панкратия, какая-то дальняя его родственница. Рыбец — розовый, мясистый и жирный — лежал уже на тарелке готовый; нарезывался балык, чистился лук, и тут же лежали крупные маслины.

— Доброго здоровья, Аксинья Мелентьевна! — сказал о. Антоний, кивнув ей несколько раз головой, и начал выделывать трепака на постланной у входа рогоже, стараясь отряхнуть снег от сапог.

— Гу-у-мм...— кисло протянула Аксинья Мелентьевна и, бросив на стол вилку и нож, обеими руками ухватилась за левую щеку.— Затворяйте двери, отец Антоний, а то холодом так и несет... У меня зубы!..

О. Антоний поспешил притворить дверь.

— Отца благочинного можно повидать? — спросил он ласковым голосом.

— Вы не поверите, как я страдаю зубами! — сказала ему в ответ Аксинья Мелентьевна.— И что ни делала, ничего не помогает! Такое страдание! Иной раз думаешь, если б только не грех, руки на себя наложила бы! Ей-богу!

— А вы бы ладану положили. Вы не пробовали ладану? Очень помогает! — посоветовал о. Антоний.

— От ладану зуб крошится, я пробовала. А как здоровье вашей супруги, отец Антоний, Натальи Парфентьевны? все хворает, а?

— Хворает, бедняга, уж не знаю, чем и облегчить ее...

— Ах, отец Антоний, это не приведи бог, когда хозяйка в постели! Не приведи бог. У вас ведь детей куча!.. А как она, на грудь не жалуется?

— Бывает... Ломит у нее в груди и тоже задышка бывает...

— Гм... Знаете, что я думаю, отец Антоний? Вы не обидьтесь, а только я думаю, что у нее чахотка... У меня муж от чахотки помер и тоже вот так все маялся — года три.

О. Антоний посмотрел на нее большими, испуганными глазами.

— Что это вы, господь с вами, какое слово сказали? И как это у вас язык повернулся... Господи ты боже мой!..— И он даже перекрестился.— Можно, что ли, в комнаты, к отцу благочинному?

— Идите, идите!.. Они там с отцом Панкратием.

И Аксинья Мелентьевна вытерла рукавом слезы, которые были вызваны едким запахом лука, но о. Антония этот жест потряс еще больше,— ему показалось, что она уже оплакивает его бедную Натоньку.

О. Антоний вошел в залу, в которой не оказалось ни души, и прошел в гостиную. Здесь, в мягких креслах, за круглым столом, сидели две характерные духовные фигуры, к которым теперь прибавилась не менее характерная третья фигура о. Антония.

С первого же взгляда о. Панкратий производил впечатление человека крепкого, энергичного, подвижного и самостоятельного. Среднего роста, коренастый, он далеко не был худ,— у него было даже маленькое брюшко и слегка раздутые щеки, но по всем признакам эти придатки, обозначавшие хорошее питание, довольную и спокойную жизнь, нисколько не обременяли его. Большие и в то же время быстрые глаза с острым, проницательным взглядом смотрели уверенно, без малейшей тени беспокойства и заискиванья перед начальством; движения его были просты, спокойны, как у тороватого хозяина, которому приятно принять почтенного гостя в тепле, в хорошей обстановке, с приличною закуской и выпивкой. Своим видом, ма-

нерой говорить и держаться он как бы ежеминутно повторял: я тебя принимаю с уважением, это так, потому что ты благочинный и, следовательно, некоторая спица в колеснице, но помни, что я в тебе не особенно нуждаюсь, и ежели чуть что, мне наплевать, потому что у меня своих сто тысяч в банке!

Лицо у о. Панкратия было волосатое, суровое и смуглое, да вдобавок еще от постоянного нахождения среди хозяйства сильно загорелое. На голове тоже было много волос, но волосы эти лежали смирно, не топорщились и спокойно ниспадали до плеч, а когда о. Панкратию надо было хлопотать по делам, заплетались в косу и прятались под шапку. О. Панкратий принимал гостя в кафтане, не считая нужным облачаться в рясу.

Совсем другое впечатление производил благочинный. Состоя в родстве с самим архиереем, он получил это назначение, так сказать, не по летам. Совсем еще молоденький, с маленькою бородкой и недлинными, но кудрявыми волосами, он был одет необыкновенно чистенько и складно; узкие рукава его светленького кафтана так аккуратно охватывали белую, некрупную руку, точно созданную для того, чтоб ее целовали, и пуговицы на этих рукавах и на шее были такие миниатюрные, голубенькие, и так умеренно мягко скрипели его сапоги, и сам он был такой мягкий, деликатный и, если можно так сказать, ко всему и ко всем любовный. Казалось, что этот человек с добрыми голубыми глазами, с ясным симпатичным лицом, обрамленным золотисто-русою, как бы еще молодою растительностью, не способен никого обидеть, да, может быть, это так и было. Говорил он хорошим литературным языком, который звучал очень странно наряду с тою смесью литературного, славянского и малороссийского, посредством которой выражал свои мысли о. Панкратий. Все знали, что молодой благочинный, приехавший вместе с архиереем из какой-то северной губернии, имеет непосредственный доступ к владыке, и, разумеется, ценили это.

— А, отец дьякон! — с приятельскою улыбкой встретил он о. Антония,— а я собирался было к вам завернуть. Очень рад с вами повидаться!

Он подал о. Антонию руку и светским образом пожал его руку. Он вообще считал себя светским человеком и говорил, что только благодаря настойчивому требованию архиерея сделался духовным.

— Садись-ка, отче Антоние! — сказал о. Панкратий, ногой подвигая ему стул.

Он всегда называл дьякона на «ты», за исключением только тех случаев, когда был недоволен им. На это ему давала право разность возрастов, да еще и то, что он очень доброжелательно относился к о. Антонию и знал его еще мальчишкой.

Оба они смотрели на о. Антония снизу вверх, потому что наш герой отличался необыкновенно большим ростом. Если принять во внимание, что он был при этом чрезвычайно тонок, держался всегда прямо и что на его тонкой и длинной шее была посажена маленькая головка с целою кучей темных, густых кудрей, торчавших как-то кверху, да взять еще безусое и безбородое лицо с мелкими, почти детскими чертами, то станет ясно, что о. Антоний в самом деле представлял своеобразную фигуру.

Он сел, откашлялся и сказал своим нежным тенорком:

— А я увидал, как вы мимо наших окон проехали, ну, и тово... взял да и пришел вот... Не усидел... Беспокоюсь очень!

— Это вы по поводу вашей просьбы?

— Да, уж конечно... Насчет чего больше, отец благочинный?

— Я виделся с преосвященным и говорил с ним... Не могу сказать, чтоб он был очень расположен...

— Не расположен? — каким-то беззвучным голосом спросил о. Антоний.— Так, значит, не расположен...— повторил он уже для самого себя.

— У него, у преосвященного, странный характер,— продолжал благочинный,— вообразите, что он вас любит!

— Любит?! — тоном горького скептицизма промолвил о. Антоний.

— Да, представьте себе, какой странный характер! Когда я сказал ему о вашем желании и доложил ваше прошение, он промолвил: «А, этот длинный? Знаю, знаю, он славный малый и небезграмотный человек! Знаю».— «Как же, говорю, ваше преосвященство, он школой церковно-приходской занимается, сам все устроил и отлично, говорю, дело ведет, за недосугом настоятеля!» Я должен был это сказать,— прибавил благочинный, обратившись к о. Панкратию, на что тот кивнул головой в знак того, что ничего не имеет против.— Да-с, так это я говорю. А он: «Вот видишь, видишь? Я всегда на него надеялся... Этот длинный всегда мне нравился...» Ну, я думаю, значит,

дело в шляпе! Ан не тут-то было. «А все-таки,— говорит,— я его священником не сделаю...»

— Что же так? — спросил о. Антоний все с тою же горечью в голосе, так как от объяснения ему никак не могло сделаться легче.

— Да представьте себе, в чем причина. Он, говорит, в тон попадать не умеет. Когда, говорит, я служил в Предтеченском монастыре и он, то есть вы, отец Антоний, был вторым дьяконом, так он,— говорит преосвященный,— никак в тон не попадал. Певчие в фа, а он в соль-бемоль, и такая, говорит, резня выходила, что хоть уши затыкай... Было это или нет, скажите, пожалуйста?

— Это было, отец благочинный! Но разве я виноват? Я никогда не служил с архиереем, а меня поставили прямо вторым дьяконом, и хоть бы репетицию какую-нибудь сделали, а то прямо — одевай стихарь и служи. Понятно, я оробел. Где ж тут в тон попадать! Так это ж совсем особь статья. А так вообще устав я знаю как свои пять пальцев, и сам владыка меня экзаменовал...

— Вот, вот, он и вспомнил. Он, говорит, и устав хорошо знает, и вообще владыка вас любит, и священником сделает, только надо повременить. Вот он и сказал: «Пускай,— говорит,— в тон попадать научится. Он еще молодой человек»...

— Эх, эх, эх, эх! — вставил до сих пор молчавший о. Панкратий.— Хорошо ему рассуждать, коли у него детей нет, а вот как у отца Антония их шестеро, так не то что в тон не попадешь, а и рясу наизнанку иной раз наденешь.

— Да, если бы не дети! — со вздохом промолвил о. Антоний,— если бы не дети!..

Разговор на этом оборвался. Принесли закуску и водку. О. Панкратий сейчас же вошел в роль хозяина и начал предлагать благочинному и дьякону выпить и закусить. Благочинный объявил, что голоден, и принялся за рыбца, а о. Антоний отказался и с какою-то грустью следил за челюстями благочинного, теми самыми челюстями, которые только что сообщили ему такую неприятную весть, а теперь работают над рыбцом.

— Знаете, что я вам скажу? — обратился о. Панкратий к обоим.— По-моему, все это чепуха, ей-богу — чепуха! Я так полагаю, что если бы секретарь консистории[3] захотел, да шепнул бы архиерею то, другое, третье, так все это дымом разлетелось бы. Так я полагаю.

— Н-не думаю! — сказал благочинный, но таким неуверенным тоном, что очевидно, он именно так и думал.

— А я так даже уверен. Вы меня извините, отец благочинный, вы человек еще молодой и этого знать не можете. А я-то знаю, и даже очень хорошо знаю! Необходимо надо к секретарю съездить, но, разумеется, съездить умеючи...

— Чего не знаю, о том умолчу,— дипломатически заметил благочинный и, выпив третью рюмку, сделал естественный переход от рыбца к сардинам.

— А я вам прямо говорю и не скрываю, что вот так точно я маялся, когда просил для сына место в Духовке [4]. Чего только не говорил архиерей: и молод, и неопытен, и легкомыслен — это сынок-то мой... А я взял да поехал к секретарю. Так и так, мол, рассказал дело, к вашему влиянию прибегаю, а чтобы вы как-нибудь не позабыли, изложил в письменной форме и вот в сем конверте имею честь представить. Он не дурак и сейчас же понял, и конверта при мне не распечатал. Хорошо,— говорит,— мы посмотрим. Ну, ладно, думаю, мне только и надо, чтобы ты посмотрел, а уж там что дальше будет — известно. И что же вы думаете? Послезавтра прихожу: уж доклад сделан и резолюция готова: назначить!

Благочинный считал своим долгом не поддерживать подобный разговор и до сих пор делал вид, что даже не слушает. Но как раз в это время выпил четвертую, и язык его сам, против его воли, завертелся и спросил:

— А много дали?

— Этого не скажу. Всякий по своим средствам дает. Одно могу сказать, что я переплатил. Он за дешевле это сделал бы. Ведь ловкий человек этот секретарь! У, ловкий, я вам скажу! Вот я двадцать лет бьюсь, собственными руками, ногами и головой работаю, а в результате каких-нибудь шестьдесят тысчонок (о. Панкратий никогда никому не объявлял действительной суммы), а он, секретарь, за двенадцать лет двеститысячный дом нажил! Разве не ловкий?

— Да, я вам доложу, отец Панкратий, я лучше знаю! — вдруг заговорил благочинный, утративший всякую волю над своим языком.— Два студента семинарии метили на одно место — хорошее место. Пришел один к нему и оставил пакет, а через час пришел другой и также оставил пакет. Он принял оба, а место-то дал, разумеется, одному. А штука-то в том, что один дал двести, а другой триста; ну, этому последнему и место досталось.

— А двести возвратил?

— И не думал! Ха, ха, ха, ха! Даже и не подумал!

— Да чего же архиерей смотрит?

— Архиерей? — продолжал благочинный уже веселым тоном.— Архиерей много ли может видеть? Тоже ведь надо войти в его положение! Он наблюдает наш мир греховный или у себя в приемной, когда сей мир является в качестве просителя, и уж конечно в самом благочестивом виде, или из окна кареты, когда мир мелькает перед ним, а он его благословляет, или на парадном обеде, когда мир является во фраке и большею частью со звездою, или, наконец, когда он по епархии ездит и его встречают чистенькие, припарядившиеся духовные лица... А жизнь-то настоящую, мирскую жизнь, архиереям трудно видеть.

— Правда, отец благочинный, истинная правда! — с убеждением сказал о. Панкратий, а дьякон только глубоко вздохнул.

— Да, разумеется, правда! Да знаете ли, кто мне это сказал? Сам архиерей, ей-богу, сам сказал. Он так именно думает. «И ничего, говорит, мы не можем против этого зла поделать, потому такое наше положение. Когда бы мы,— говорит,— были мирские люди, то и мир могли бы знать»,— вот что он сказал, архиерей-то!..

Тут о. благочинный почувствовал, что он начинает говорить лишнее, и мгновенно замолчал. Как ни упрашивал его о. Панкратий выпить пятую рюмку, он не согласился.

О. Антоний поднялся.

— Что же, отец благочинный, по вашему мнению, мне теперь делать? — спросил он, кротко смотря со своей высоты в веселые глаза благочинного. Тот ничего не ответил, а только развел руками и сделал мину недоумения и неведения.

— Да что же делать? — ответил за него о. Панкратий.— Одно — ехать в город и побывать у секретаря. Так и сделайте, отец Антоний!

О. Антоний не выразил своего мнения по поводу этого совета, попрощался и вышел. «Вот она справедливость-то! — думал он дорогой.— Школу, говорит, устроил и устав знает, и все такое, а только в тон не попадает... Шестеро детей, ведь господи ты, боже мой! Ваше преосвященство, вонмите!

Гм... Поезжай к секретарю! Да с чем же ехать? Разве он поймет, ежели я ему скажу, что у меня шестеро

детей и жена больная? Где там! Ведь он, наверное, каменный, все они там каменные.

А что я Натоньке скажу? Ведь она ждет, бедняжечка, не дождется, чтобы радостную весть получить, а тут на тебе! Ох, горе мое, горе, что я ей скажу, бедняжке? Правду сказать невозможно — расстроится, заплачет, жизнь проклинать начнет...

Грубая баба эта Аксинья, без всякой деликатности. Что ей в голову пришло? У Натоньки чахотка!.. С чего? Господи боже мой, как людям ничего не стоит жестокое слово сказать! И как прямо! Грубая баба, и только».

Он решил во всяком случае правды не говорить Натоньке.

Ребятишки вертелись около самой церковной ограды. Они возвели из снега огромнейшую бабу, и Василько, чтобы укрепить голову на плечах, взбирался на табурет, вынесенный из дому. Только Маринка отсутствовала; оказалось, что она в кухне укачивает Сашу.

О. Антоний снял рясу в кухне и, стряхнув сапоги, подошел к печке, в которой лениво горел кизяковый кирпич домашнего изготовления. Здесь он хорошенько обогрелся и только тогда решился войти в комнату.

Натонька дремала, но сейчас же при его входе открыла глаза.

— Что же сказал благочинный? — спросила она. Очевидно, все это время она только об этом и думала.

— Да ничего, Натонька, ничего такого... Архиерей, говорит, к вам благосклонен.

— Значит, сделает?

— А разумеется, сделает... Только, говорит, чуточку повременить надобно... Ну... тово... чтобы, то есть, сам себя ему лично показал... Повидать желает...

— Архиерей-то?

— Ну, да, архиерей, а то кто же больше?

— Экие чудеса! Что он, не видал тебя, что ли, не нагляделся?

— Должно быть, что не нагляделся, Натонька... Да пускай смотрит, коли ему хочется, не убудет меня от этого...

И о. Антоний, чтобы окончательно развеселить Натоньку, рассыпался мелким смешком доброй, дружеской шутки. А на душе у него в это время была страшная горечь. С чем поедет он? Ни занять негде, ни продать нечего. Разве клячу свою единственную да корову? Что же

за них дадут! В конце зимы, когда корм у всех на исходе и вдвое вздорожал, дадут гроши. Да и как оставить семейство без молока и лошаденки? Нет, из этого ничего не выйдет, и он только напрасно обнадеживает Натоньку.

Но Натонька торопилась.

— Коли надо показаться, то поезжай немедля. Надо ковать железо, пока горячо.

— Ладно, ладно, Натонька, я и поеду! Вот только из Тягинки сестру Дуню вытребую.

И он, решительно не зная, с какими шансами поедет и что будет делать в городе, сел и написал Дуне, чтобы скорее приезжала. Больше всего на свете он боялся теперь, чтобы Натонька не раздражалась, не начала бы проклинать жизнь и говорить жестокие слова.

II

Село Бутищево было большое, но бестолковое село. Люди здесь размножались быстро и лепили хату к хате, а больше землянку к землянке, но почему они именно здесь селились, а не на другом, более удобном месте, этого они и сами не знали. Земли у бутищевцев было мало, раздробили ее на кусочки, и никого уже не могла она прокормить. В прежние времена речка кормила, бутищевцы забрасывали сети и ловили окуней, судаков и карпов, но лет пятнадцать тому назад, когда имение от коренного владельца Бутищева перешло к купившему его мещанину Скрыдлову, вдруг оказалось, что речка, со всею ее рыбой и с окружающими ее камышами, принадлежит ему, Скрыдлову, и стал он за право поймать окуня и срезать сноп камыша брать страшные деньги. Тогда мужики сжались на своих раздробленных наделах, живя впроголодь и расширяя пределы Бутищевки новыми землянками. Довольно сказать, что даже кабатчик Иесей нашел для себя невыгодным пускать дальнейшие корни в Бутищевке и, по здравым размышлениям, перенес свое «заведение» за десять верст, на хутор Чиркин, где было всего десятка три хат, но зато хат богатых, где жили мужички хлебосольные, пьющие водку большими порциями. Таким образом, ко всем бедам бутищевцев прибавилась еще новая: надо было бегать за водкой десять верст, что, разумеется, нисколько не отрезвило бутищевцев. Некоторые даже находили, что так лучше. «Оно даже довольно приятно — с проходкой!»

Но большинство сожалело о перенесении «заведения» на Чиркин хутор. Ведь это было единственное веселое место в Бутищевке, и без него как-то сумрачно жить стало. Многие даже вступали в переговоры с Иесеем, уговаривая его вернуться, но из этого никакой пользы не вышло, ибо Иесей действовал не зря, а на основании политико-экономического закона — спроса и предложения. В Чиркине хуторе был большой спрос на водку, вот он и понес туда свое предложение. При таком положении дела, само собою разумеется, в Бутищевке не было ни одного благодетеля, у которого о. Антоний мог бы перехватить что-нибудь для своего путешествия. О новом помещике, мещанине Скрыдлове, нельзя было и думать. Он только и делал, что ходил да придумывал, что бы еще превратить в копейки, и очень скорбел, что все уже, до последней камышинки, превращено и больше превращать нечего. Оставалось о. Антонию одно: пойти к о. Панкратию и просить у него взаймы. Ведь все-таки о. Панкратий знает его и должен иметь к нему доверие.

Это было дня через четыре после свидания с благочинным. Снег стаял, и по всему видно было, что больше уж его не выпадет. Река покрылась водой поверх льда, и обыватели не решались не только ездить, но и ходить по ней,— лед стал хрупок. Конец февраля принес с собою теплые лучи почти весеннего солнца. Кое-где из-под земли вылезла ранняя травка, птицы защебетали бойчей. О. Антоний сказал Натоньке, что понесет метрическую книгу настоятелю, но в действительности дело было не в книге, и он чувствовал, что совершает великий шаг. Ежели о. Панкратий откажет, то и все дело пропало: больше не у кого просить. Были, однако ж, некоторые предзнаменования, которые он считал для себя благоприятными.

Вчера только у о. Панкратия был хлебный скупщик Авдей Дракин и закупил у него всю прошлогоднюю пшеницу. О. Панкратий должен быть рад и тому, что продал хлеб, и тому, что стойко выдержал и дождался хорошей цены. А главное — он получил задаток и, следовательно, никак не может сказать, что денег при себе нет.

Ввиду таких добрых предзнаменований о. Антоний и отправился к настоятелю. Это было в воскресенье, после обедни. О. Панкратий пил чай и принял его ласково.

— Чайку не хочешь ли, отец дьякон?

— Нет, пил уже, спасибо! Я к вам по делу, отец Панкратий.

— По делу, так дело и говори, а я буду слушать.

— Да все о том же, отец Панкратий, о моей судьбе...

— Гм... что же я могу поделать в твоей судьбе? Когда бы я был архиерей, так верь, что я тебя соборным протопопом сделал бы.

— Нет, я насчет вот чего: вы тогда сказали: поезжай к секретарю! А к секретарю с пустыми руками ехать нельзя...

— А это уж само собою разумеется. Что ж, ему визит твой нужен, что ли?

— Я ж это самое и говорю. А у меня ничего нет...

— А коли ничего нет, тогда и таскаться нечего! — чрезвычайно резонным тоном заключил о. Панкратий.

«Не понимает»,— подумал дьякон, и в эту минуту он уже, собственно говоря, почувствовал, что толку от о. Панкратия никакого не добьется. Но надо было идти до конца.

— А я думал...— начал было о. Антоний, но ему показалось, что он не так начал, и он остановился.

— Что же ты думал, отец Антоний? — спросил хозяин, но и в этом вопросе, и в лице, и глазах его дьякон опять-таки не прочитал ничего, подающего надежду. А о. Панкратий взял да еще прибавил: — Ты думал, должно быть, что деньги тебе с неба свалятся? Так на небе, брат, и денег-то вовсе нет...

— Нет, я хотел попросить вас... Может, вы смилостивились бы и дали бы мне заимообразно... А я бы постом великим поправился и отдал бы...

— Нету, брат, у меня денег! — коротко сказал о. Панкратий и больше никаких объяснений этому обстоятельству не дал.

— Нету? — печально переспросил о. Антоний и тоже замолк. Его всегда поражало и он никак понять не мог, как это люди умеют просто отказывать.

Деньги у него в кармане лежат, вчера только получил, свеженькие, и все это знают, и сам он этого не скрывает, даже хвастался перед церковным старостой: вот, мол, денежки получил; покрепился зиму с хлебом и целую тысячу на том выиграл, а он, нимало не смущаясь, говорит: нету денег. Будь у него, у о. Антония, в кармане деньги и попроси у него кто-нибудь, и, положим, он почему-либо не хотел бы дать, так он путался бы полчаса, деликатно извиняясь, объясняясь, а, в конце концов, надо полагать, все-таки дал бы. Но что скажешь на «нет»? — ничего. На-

дежда, значит, разлетелась, как дым. И теперь о. Антоний ясно видел, что надеяться не имел никакого основания. Разве он не знал, что у о. Панкратия правило — никому взаймы не давать? Бывали случаи, что мужик перед ним в ноги падал, плакал, прося дать ему тридцать рублей на лошадь,— ему пахать было нечем,— обещал отработать, но о. Панкратий отвечал одно: нету денег! Это у него был такой принцип. Дело в том, что о. Панкратий, при своем обширном деле, которое во всяком случае было некоторым уклонением от церковнослужительских обычаев, избегал всего, что могло набросить на него дурную тень. Его богатство доставило ему множество завистников и врагов. Малейший повод раздули бы и сделали бы из него ростовщика и кулака. Поэтому он поставил себе за правило раз навсегда: никому денег ни под каким видом не давать, а отвозить их в банк, где им спокойнее лежать.

О. Антоний знал все это, но думал, что для него, как для сослуживца, о. Панкратий сделает исключение. После довольно продолжительного молчания о. Панкратий сказал:

— Ты вот что, дьякон, обратись ты к моей дочке, Марьяне Панкратьевне, у нее подчас случаются деньги... может, и даст!..

— Марьяна Панкратьевна? — спросил о. Антоний.— Крутые они очень, Марьяна Панкратьевна.

— Ну, уж это, брат, не мое дело... Это уж там как знаешь... может, она для тебя помягчее будет... Попробуй! Да вот, коли хочешь, и сейчас можно. Она как раз идет сюда.

Действительно, из залы вошла в столовую Марьяна Панкратьевна. На ней был клетчатый длинный капот, сильно заношенный и засаленный, и сидел-то он на ней как чужой или словно был сшит, когда она была потолще и поокругленнее. Может быть, это так и было, потому что Марьяна Панкратьевна, проводившая скучную одинокую жизнь при отце, знала лучшие дни, когда она и телом, должно быть, была поплотней, и лицом веселей. На вид ей можно было дать все сорок, тогда как в действительности ей было на целых пять лет меньше. Это была то, что называется — сухая женщина. С своими длинными руками, болтавшимися в широких рукавах, с тонкими пальцами, со впалою грудью, со скуластым смугло-желтым лицом, с жидкими подстриженными волосами, она действительно производила впечатление высохшей. Марьяна Панкратьевна была вдова; муж ее, священник, умер, прожив с нею

три года и не оставив ей детей. Со смертью его она стала быстро стареть и сохнуть. Конечно, она ничего не имела против того, чтобы еще раз выйти замуж, и ей, разумеется, ради богатства о. Панкратия, делали не одно предложение. Но идеалом ее, прочно засевшим в ее голове, был священник. «Нет уж,— говорила она искателям ее руки,— чтобы я после попадьи да стала чиновницей либо купчихой? Это все одно, как ежели б генерала в солдаты разжаловать». Такого высокого мнения была она о своем звании. Между тем кандидатам в священники, как известно, на вдовах жениться нельзя. И Марьяна Панкратьевна отказывала всем искателям. Очень может быть, что теперь она была бы менее разборчивою и решилась бы изменить своему идеалу. Но к ней уже не сватались, и она привыкла считать себя вечною вдовицей. Жила она совсем особняком, в отдельном флигеле, и в дела о. Панкратия вовсе не вмешивалась.

У нее было свое собственное дело, именно три тысячи рублей, оставшихся после смерти мужа из приданого: она их деятельно развивала и теперь владела уже капитальцем тысяч в пятнадцать. Дорогу к ее флигелю хорошо знали бутищевские мужики, которые очень редко уходили от нее обиженными.

— Вот, Марьяна, отец дьякон имеет к тебе какое-то дело! — сказал о. Панкратий.— Я не успел расспросить его, да он тебе объяснит...

Сказав это, о. Панкратий вышел, прошел залу, и затем шаги его замолкли в кабинете.

О. Антоний поклонился, и так как ему не протянули руки, то этим и ограничился. Марьяна свысока смотрела на причетников и не подавала руки состоящим в сане ниже священнического.

— Что вам? — сурово спросила она.

— Мне? мне... тово... денег бы достать надо бы... Случай такой, Марьяна Панкратьевна... очень трудный случай...

— Денег? у меня? А что ж вы у отца не взяли?

— Отец Панкратий говорит, что у них нету!

— Ну, у меня, положим, есть...

— Есть? — радостно спросил о. Антоний, как будто это было все равно, что ему дали.

— Есть, да только вам невыгодно будет.

— Мое такое положение, что всяко будет выгодно... очень трудное положение.

— А сколько бы вы хотели?

— Да я бы... тово... рубликов полтораста всего! — О. Антоний до сих пор о цифре еще не думал и сказал эту сумму нечаянно, но он тут же определил: «Сто рублей секретарю суну, а пятьдесят на расходы. Еще Натоньке шелковый платок куплю, а ребятам гостинцы».

— Невыгодно вам будет, отец Антоний! Даже жалко мне вас, так невыгодно!

— Да сколько же, Марьяна Панкратьевна? — Он уже весь проникся нетерпением и в душе решил: «Сколько бы ни содрала — возьму! Ежели священником сделают, легко будет отдать!»

— Нынче у нас двадцать восьмой февраль? Так двадцать восьмого марта отдадите. Возьмете полтораста, а принесете двести. А кроме того запродажную на озимый хлеб...

— Как на озимый хлеб? — воскликнул о. Антоний.

— Да вы сеяли озимую?

— Сеял, семь десятин посеял.

— Ну, вот вы мне такую бумажку напишите, будто вы мне запродали жатву, что, значит, вырастет. Это на всякий случай... Мне оно не нужно. Сами знаете, я хлебом не занимаюсь.

Смотрел на нее о. Антоний и дивился, что могут на свете существовать такие женщины. «И это еще попадья и священническая дочь! — думал он.— В епархиальном училище образование получила. Господи ты, боже мой!» Впрочем, удивление о. Антония происходило больше оттого, что это случилось с ним. Он поневоле вникнул в это явление. Но и раньше он знал, что Марьяна мужикам не даром раздавала деньги. Даст одному десять карбованцев весной, а на Покрову двадцать берет. Но мужик, как обладатель собственной земли, казался ей более прочным, поэтому она не требовала у него обеспечения. А дьякона каждую минуту могут согнать с места, перевести в другой приход, и поминай, как звали.

Недолго думал о. Антоний. Да что и думать, коли нужно до зарезу? И он сказал:

— Так позвольте уж сейчас получить, Марьяна Панкратьевна.

— Значит, вы согласны?

— Согласен!

— Тяженько вам будет! Жаль мне вас!

— Что делать? Случай трудный, очень трудный случай, Марьяна Панкратьевна.

Как ни безобразны были условия этого займа, все-таки о. Антоний боялся, чтобы она не раздумала и не отказала бы, поэтому страшно торопился. Ведь от этих денег зависела его судьба.

Но Марьяна не имела в виду мучить его. Через четверть часа он был уже дома. Натонька встала с постели. В этот день она чувствовала себя хорошо. О. Антоний старался говорить с нею спокойно и резонно, но в груди его клокотала радость, которой так и хотелось вырваться наружу. Полтораста рублей были у него в кармане, и он чувствовал себя так, как будто его сделали уже священником и дали ему самостоятельный приход.

— Когда б скорее Дуняша приезжала! Надо в город ехать! — повторял он и в самом деле часто выходил на дорогу и смотрел, не едет ли Дуняша. Но вот по грязной дороге, по которой ручьями лились весенние воды, показалась мужицкая повозка, вся забрызганная жидкою грязью. В передке, свесив ноги на воздух, так что они поминутно касались задних ног лошади, сидел мужик, а за его спиной, на сиденье из соломы, покрытой ряденцем, помещалась Дуняша. Это была рослая и стройная девушка с молодым, цветущим лицом, с звонким голосом и живыми движениями. Приехав, она тотчас же начала приводить в порядок хозяйство о. Антония. Лишенная всякого образования, эта девушка отлично постигла хозяйство и не могла ни минуты просидеть без дела.

Братья,— их было четверо и все неудачники, не выше дьякона,— считали счастьем, когда она к ним приезжала. Она и с детьми возилась, и на кухне орудовала, и коров доила, и шила,— словом, это была «золотая девушка»,— таков был единодушный отзыв о ней всех четверых братьев. Ей было всего двадцать лет, случалось немало женихов, но она не спешила замуж, зная себе цену и ценя также девическую свободу. «Я себе вольная пташка,— говорила она,— от брата к брату, словно мотылек, порхаю; а там пойдут дети, придут болезни, и прощай веселье. Насмотрелась я довольно на эту жизнь. Успеется еще». С ее приездом дом о. Антония оживился, повеселел, и даже Натонька как будто снисходительнее стала смотреть на мир божий.

— Вот спасибо тебе, Дуняша, что приехала,— говорил о. Антоний,— я сегодня же укачу в город.

— Сделай милость! Без тебя обойдемся! — шутила Дуняша.

О. Антоний действительно в тот же день собрался и укатил в город. Дорога была прескверная. Худая кляча то и дело спотыкалась и падала в глубокие свежеразмытые лужи. О. Антоний был весь серый от грязи. Ехалось больше шагом, и пришлось прошлепать всю ночь. Места те таковы, что на расстоянии сорока верст не встретишь ни одной хаты. Только под городом, когда уже зарозовела заря, начались поселки и пошли все гуще и гуще, пока не слились с самым городом. Город был велик и буквально плавал в грязи. Улицы, скверно вымощенные каким-то каменным сбродом, были сплошь покрыты жидкою грязью, которая блестела, как сталь, и маскировала щедро рассыпанные по мостовой рытвины и ухабы, благодаря которым на каждом шагу экипажи неожиданно принимали почти вертикальное положение, а лошади становились на дыбы. Пешеходы, когда собирались перейти улицу, примерялись с таким видом и делали такие ухищрения, будто хотели броситься вплавь. Все было мокро, сыро и грязно, и люди, деятельно копошившиеся в этом болоте, казались терпеливо несущими какое-то наказание.

О. Антоний заехал сперва на постоялый двор. Было еще рано по городскому счету — семь часов. Притом надо было почиститься и привести себя в порядок. Секретарь встает, вероятно, часов в восемь, а в десять идет на службу. Вот между этими часами и можно посетить его. О. Антоний напился чаю, который после ночной поездки показался ему необыкновенно вкусным, и достал бумагу и конверт. На бумаге он написал прошение о производстве его в священники и, бережно сложив ее, втиснул в самую середину цельную сторублевку и все это вместе положил в конверт. Все это он делал удивительно смело и уверенно, вероятно потому, что был в номере постоялого двора и один. При этом он еще вспомнил рассказ о. Панкратия и благочинного, и это ободрило его. Ему казалось теперь это простым делом, и он ни на минуту не сомневался, что сделает все как следует, т. е. как рассказал о. Панкратий. В девять часов он уже был в передней секретаря.

— Как же сказать об вас, батюшка? — спрашивала его какая-то старуха, не то экономка, не то монашенка, не то сама секретарша.

— Да как-нибудь... Все одно... они меня не знают! По своему делу, скажите!

— Известно, не по чужому! — сказала старуха и ушла куда-то в мрак длинного и узкого коридора.

Но о. Антоний ее даже не слышал. Он слышал только собственный голос, который показался ему чужим — до такой степени этот голос был робок и тонок. И ничего такого пугающего он не встретил здесь. Передняя была как у всех: два стула, стол, вешалка, зеркало. В полураскрытую дверь он видел в зале мягкую мебель в серых чехлах, угол какого-то инструмента вроде фисгармонии. Старуха тоже не представляла ничего необыкновенного,— словом, все было так, как у людей. Но о. Антония охватила робость невероятная. Должно быть, это происходило оттого, что в кармане у него лежал большой конверт с прошением, в котором была сторублевка. Какова-то еще будет судьба этой сторублевки? Может, вывезет, а может, и навеки погубит. Старуха опять появилась из мрака и пригласила его за собой. Ему тоже пришлось пройти мрачный коридор, затем повернуть налево, открыть дверь и вдруг совершенно неожиданно очутиться в кабинете секретаря. Кабинет был очень мал, с низеньким потолком, с небольшими двумя окнами, выходившими на двор, с неуклюжим письменным столом, зеленое сукно которого истерлось и было покрыто чернильными пятнами. В углу на низеньком столике стояло множество образов, и перед самым большим из них теплилась лампада. В комнате пахло гарью от лампады, которая мигала и трещала. Квартира была наемная, и ничто не свидетельствовало, что у секретаря есть дом в двести тысяч. Да, это был он. О. Антоний видел его раза два в консистории и сейчас же узнал. Громадная фигура с большою, седою головой, лицо совсем бритое и все, не исключая лба и ушей, красное, как у человека, только что выдержавшего хорошую баню; в длинном черном сюртуке, широкоплечий, порядочно сутуловатый, он всегда обдавал просителей каким-то холодом, сухостью, неприветливостью. Казалось, что ему было все равно до всех людей на свете, и он скорбел только об одном, что его потревожили. Он стоял неподалеку от двери и как-то вполоборота, точно собираясь плюнуть куда-то в сторону. Из-под густых нависших бровей смотрели большие бычачьи, совершенно холодные глаза. О. Антоний поклонился по-монашески, т. е. в пояс.

— Как ваша фамилия? — спросил хозяин каким-то мальчишеским голосом, совсем не соответствовавшим его внешности. От такой крупной фигуры ожидалось нечто

вроде грома. А он еще гнусил, растягивая слова, произнося гласные немного на *э* и в нос. Губы его сложились в презрительную мину, словно он заранее уже презирал ту фамилию, которую ему скажут.

— Дьякон села Бутищевки, Антоний...

— Бубырко! — закончил за него хозяин и свободным жестом указал ему на стул, а сам тяжелыми шагами подошел к креслу и сел. Сел и о. Антоний.

— Точно... Бубырко! Я... отец благочинный... то есть... тово... Подавал уже один раз... тово...

— Знаю! — прогнусил хозяин.

— А владыко написал... рано, мол, написал владыко...

— Знаю! — повторил хозяин и все время смотрел на о. Антония в упор своими неподвижными глазами.

— А у меня шестеро детишек... И школу я... тово... устроил школу... и устав...

— Знаю! — еще раз подтвердил хозяин.

О. Антоний перевел дух и издал глубокий вздох. Этот упорный взгляд, как бы подстерегавший его, следивший за каждым его движением, просто потрясал его. О. Антонию казалось, что рука его не осмелится залезть в карман и вынуть оттуда заветный конверт.

— Теперь я к вашей помощи прибегаю... Одна надежда на вас,— продолжал он, и рука его вдруг очутилась около кармана. Но, поигравши там пальцами, она вдруг ушла обратно и легла на колене.

— Что ж, ежели владыко...— начал было секретарь, но о. Антоний перебил его:

— Прошение вам я приготовил и осмелюсь подать...

— Прошение? Это пожалуй... Не мешает!..

Рука, контролируемая упорным взглядом хозяина, точно боявшегося, чтобы она не ошиблась, быстро всунулась в карман и вытащила оттуда конверт, который своим измятым и скомканным видом навел ужас на о. Антония.

— Конверт... тово... измялся! — сказал он, судорожно сжимая конверт дрожащею рукой. Шаг, который он должен был сейчас сделать, был именно такого рода шаг, что мог и осчастливить, и погубить. А что, если о. Панкратий и благочинный рассказали ему сказки, подшутили над ним?

— Ничего, разгладим! — ответил хозяин, сосредоточивая свой взгляд на конверте.

— Так вот... благоволите... тово... принять... прошение.

Он положил конверт на письменный стол и сейчас же быстро поднялся и начал кланяться. Секретарь между тем

взял конверт и как-то небрежно, точно ненужную вещь, отстранил его на середину стола. Но о. Антоний уже был в передней. Никогда еще в жизни он не торопился так, как теперь. Ему мерещилось, что там, в кабинете, секретарь открыл конверт, из которого вывалилась сторублевка. Секретарь побледнел и весь затрясся. Он ринулся в переднюю и кричит ужасным прерывающимся голосом: «Как ты смел? Мне? Секретарю? Ты? Дьякон? А? Оскорбление? Владыке, в синод! [5] Рясу долой! В монастырь, на эпитимию!» [6]

«О господи, спаси и помилуй! — мысленно воскликнул о. Антоний, залезая правою ногой в левую калошу.— Что я наделал! Что я наделал! Погубил детей, Натоньку погубил!»

Ему казалось это неизбежным: секретарь должен обидеться. Как это можно? Такое лицо, такой пост, и вдруг ему — взятку. Да это ужасно! Зачем ему? У него хорошее жалованье.

Вот он на лестнице, уже внизу, отворяет дверь, но никакой погони за ним нет. Вдохнув полною грудью свежий влажный воздух, он немного успокоился и даже решил подождать минуты две: уж ежели погибать, так сию минуту. Чего ждать? Пусть уж разом. Он оглянулся на дверь секретарской квартиры; она была неподвижна и молчалива.

Наконец, совершенно придя в себя, он понял, что никакой погони за ним не будет, что конверт с его содержимым пришелся как нельзя более по душе секретарю и что, по всей вероятности, надо так считать, что его дело в шляпе. Придя к такому приятному убеждению, он решил, что весь этот день ему следует как можно дальше держаться и от консистории, и от архиерейского дома. Не ровен час, попадешься на глаза архиерею и все дело испортишь. Но целый день надо было как-нибудь скоротать. Он побывал и на базаре, где нашел немало бутищевских мужиков, и на постоялом дворе, где пробовал заснуть, но не мог, потому что ему мешало волнение. В губернском городе у него немало было знакомых среди причта городских церквей, но он боялся даже встретиться с ними. Сейчас пойдут расспросы, зачем да почему, а он не выдержит, расскажет, что приехал проситься в священники; ну, разумеется, тот с насмешкой, другой с завистью, третий с предостережением. Бог с ними, лучше не нарушать мирное течение жизни! Ему не спалось оттого, что грудь

его вся была наполнена ожиданием. Но за счастливый исход своего дела он не боялся. Секретарь — сила; ежели он принял и ничего не сказал, то, значит, сделает. Все-таки о. Антоний нашел нужным побывать у благочинного. Он не имел в виду ни о чем просить его, а только засвидетельствовать ему свое почтение. Благочинный к нему расположен, хлопотал за него у архиерея, надо же человеку показать, что помнишь это и ценишь.

Благочинный о. Иоанн Велелепов жил таким же весеньким домком, каков был и сам. Все у него глядело приветливо — и чистенькая лестница, и просторный стеклянный коридор с массою растений, и небольшие, уютные, залитые светом комнаты с веселыми светлыми обоями, и множество мягкой мебели, обитой розовым и голубым атласом, и хорошенькая горничная, и приветливая жена, и ласковые дети,— словом, приятно было войти в этот дом и провести здесь час-другой. По-видимому, здесь не делали разницы между гостем важным и простым.

— А! отец Антоний приехал! Милости просим! Жена, Анюта, отец Антоний приехал! Знаешь, из Бутищевки дьякон! А ну-ка, чаю там, что ли! Хотите чаю, отец Антоний, с вареньицем? Ну, как здоровье вашей супруги? Отец Панкратий как поживает? Все делами занимается, а? А вот это моя старшая дочь! Не бойся, Нюра, подойди, это отец Антоний из Бутищевки; он добрый, он не кусается...

И вышла матушка, вышли дети, дали чай, варенье, и о. Антоний чувствовал себя как в своем кругу. О. Иоанн жил как светский человек. Ничто в его обстановке не напоминало о том, что он духовное лицо, да притом еще стоящее на такой стезе, что недалеко и от кафедрального протоиерея. В кабинете на стенах не красовались виды афонской горы [7] или доморощенные гравюры; висели только географические карты и какой-то маленький пейзаж в черной рамке. В стеклянном шкапу стояли солидные переплеты с надписями: «Шлоссер», «Бокль» [8], «Шиллер», «Пушкин», «Тургенев» и тому подобными надписями, значения которых о. Антоний не понимал. В зале стояло фортепиано, матушка играла вальс, дети вертелись.

О. Антония оставили обедать. Стесняемый присутствием матушки и детей, он никак не мог улучить минуту, чтобы рассказать благочинному о своем визите секретарю. Между тем ему ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своею удачей. Но после обеда выпала такая минута. Они сидели в кабинете. Благочинный сладостно протянул ноги

на мягкой кушетке и потягивал сигару. О. Антонию тоже была предложена сигара, но он отказался. Он не умел курить сигары, а курил претолстые папиросы, которые крутил собственноручно и вставлял в длинный мундштук из обыкновенного бутищевского камыша.

— А я, отец благочинный, был у секретаря! — сказал о. Антоний.

— Ага, все по тому же делу?

— Все по тому же... Просил о содействии, и он обещал. Суровый человек он... Видно, очень строг в своей должности.

— Не знаю; я консистории не касаюсь. Владыко хотел назначить меня членом, но я отклонил! Бог с ними! Там интриги всякие...

— А я таки, отец благочинный, конверт ему оставил... с прошением, хе, хе, хе!..— промолвил о. Антоний, понизив голос и даже оглянувшись на дверь.

— Представьте себе, что если я после обеда не выкурю сигары, так все равно что и не обедал!..— сказал благочинный.

— Привычка! — заметил гость и в то же время не без тревожного удивления подумал: «Я ему про конверт, а он про сигару!»

В это время в зале раздались звуки фортепиано. О. Антоний продолжал:

— Дал это я ему, а он этак рукой отстранил на средину стола и говорит: «Это, говорит, хорошо...»

— Ты бы, Анюта, что-нибудь из Мендельсона сыграла,— крикнул благочинный жене и сейчас же обратился к гостю: — Я очень люблю Мендельсона; это мой любимый композитор. Вот слушайте, слушайте... Романс без слов... [9]

О. Антоний должен был слушать и, уж конечно, больше не возобновлял разговора ни о секретаре, ни о конверте.

Он ушел на постоялый двор, когда уже стемнело и на улицах губернского города смрадно горели «фотоженные» фонари [10].

Он думал, разумеется, о том, как приятно будет завтра узнать в консистории радостную весть. Чего доброго, может быть, все совершится в этот приезд и он, к невыразимому восторгу Натоньки и Дуняши, приедет в Бутищево священником.

Думал он также о том, какие на свете бывают странные люди. Секретарь, например, если правда, что о нем го-

ворят, владеет домом в двести тысяч, а берет с бедного человека сто рублей. А вот благочинный так даже слушать об этом не хочет! Противно ему, что ли, или из политичности вмешиваться не хочет? Кто их разберет? А как они живут! Какая разница! У одного все мрачно, тяжело, неприветливо, а у другого все так приятно, радостно, уютно. Хорошо, однако, быть секретарем, недурно также быть и благочинным. И тот, и другой по-своему отлично живут. Скверно только быть дьяконом в плохом приходе, да еще на дьячковской вакансии, с шестью душами детей и с больною женой.

На другой день, в двенадцать часов дня, о. Антоний прогуливался по аллеям архиерейского сада. Они были посыпаны песком и плотно утрамбованы, и ходить по ним было хорошо. О. Антоний знал, что именно в это время секретарь бывает с докладом у архиерея, и выжидал, когда доклад кончится. Он мысленно переживал все перипетии этого доклада. Вот секретарь развернул его прошение и читает. «А! — говорит архиерей,— это тот, что в тон попадать не умеет? Я же сказал, что ему еще рано!» — «Ваше преосвященство! — отвечает секретарь,— если он тогда не попадал в тон, то это единственно потому, что ему не было дано репетиции, но вообще он человек достойный и способный! У него шестеро детей, ваше преосвященство, и позволю себе поставить на вид вашему преосвященству...» И долго, долго говорит секретарь, говорит он страсть как умно, как о. Антонию, конечно, и не вообразить, а архиерей все слушает. И чувствует он, архиерей, что секретарь его убедил и что дьякона Антония Бубырко нельзя не сделать священником, его непременно надо сделать священником. И говорит архиерей: «Ну, делать нечего! не хотел, а вижу, что надо! Ты убедил меня, секретарь! Давай перо!» — и берет архиерей перо и пишет: «Благословляю диакона Антония Бубырко рукоположить в сан священника». Секретарь складывает бумагу, кладет ее в портфель и идет в консисторию. На соборных часах пробило час дня. Надо дать время секретарю передать бумаги столоначальнику. Столоначальника он знает. Это древний человек, очень-очень древний, чуть ли не с основания консистории служит. Он такой же бритый, как и секретарь, только маленький и лысый и не мрачный, а, напротив, любезный и льстивый. Когда много лет тому назад был другой секретарь, который носил бакенбарды, то и он носил бакенбарды. Пожалуй, и ему придется что-нибудь дать.

На тех же соборных часах пробило половину второго. О. Антоний рассчитал, что теперь все формальности кончены, и пошел в консисторию. Столоначальник был углублен в сличение какой-то копии с подлинным.

— Я сейчас, сейчас, повремените минутку, батюшка,— сказал он с улыбкой. Улыбка у него была некрасивая, потому что не было зубов. О. Антоний ждал совершенно спокойно. Никакого дурного предчувствия у него не было.

— Дьякон Антоний Бубырко? — спросил столоначальник.— Есть, есть. Вот ваше прошение-с!

Он взял со стола развернутое прошение и поднес его к самому носу о. Антония. Дьякон Антоний Бубырко прочитал написанное синим карандашом рукою архиерея: «В тон попадать не научился, а посему несвоевременно». А ниже стояло уже написанное рукою секретаря и чернилами: «Отказать».

— И больше ничего-с! — прибавил все с тою же улыбкой столоначальник и положил прошение обратно на стол.

Как-то в одно мгновение все спуталось в голове о. Антония. Глаза заволоклись туманом, и он не видел ни столоначальника, ни писцов, ни стоявшего тут же какого-то дьячка, униженно кланявшегося и о чем-то слезно просившего. Что такое случилось? Натонька плачет. Дуняша ходит мрачная, как туча, чего даже никогда не бывало; Марьяна Панкратьевна требует деньги и говорит: «Тяжеленько вам, отец Антоний, жаль мне вас, отец Антоний», а веселый благочинный стоит где-то наверху, как бы в облаках, курит сигару и посмеивается! Но это был один только миг. О. Антоний сейчас же опомнился и подумал: «Мало!» И у него явилась дерзкая мысль — зайти к секретарю и при всех — при чиновниках, при членах консистории, при просителях спросить его: «Сколько вам надо доплатить, господин секретарь?» Но опять же от смелых мыслей, порой зарождающихся в голове деревенского дьякона, состоящего на дьячковской вакансии, до смелых поступков очень далеко. К секретарю он не пошел, а вышел вон и отправился на свой постоялый двор. И шел он, и выкатывал повозку, и запрягал в нее лошадь, и расплачивался с хозяином как-то бесчувственно. Ему даже было досадно, что он как будто не скорбит, не убивается, не думает о Натоньке, о детях. Это было отчаяние выше меры. У него не было силы скорбеть. Только поздним вечером, когда уже до Бутищева оставалось верст десять, он вдруг воспрянул и шибко погнал лошаденку.

Неизвестно почему у него заболело сердце, забилось тревожно и что-то подгоняло его спешить.

Он приехал домой около полуночи, и прежде всего его поразило то, что в такую позднюю пору в доме светились огни.

III

Натонька лежала в жару. У нее был бред.

Дуняша встретила его с заплаканными глазами. Детишки спали в другой комнате, но бледная Маринка в одной рубашоночке сидела у ног больной на постели и не сводила с нее испуганных глаз.

— Что с нею? — спросил о. Антоний.

— Тс... Иди сюда.

Дуняша схватила его за рукав рясы и потащила за собой в кухню. Здесь она положила руки и голову на стол и зарыдала.

— Антоша, Антоша, какой ты несчастный! — воскликнула она сквозь слезы.

— Несчастный по всем статьям!..— прошептал отец Антоний.

Он предчувствовал то, что ему скажут, и это было до такой степени ужасно, что он не спрашивал.

— Сейчас, как ты уехал, она слегла,— говорила Дуняша, стараясь сдержать слезы.— Голову ей ломило, грудь камнем сдавливало, кашель, кашель, такой страшный кашель, и вдруг кровь пошла горлом... Мы испугались, боже мой, как испугались!.. Ну, хоть за фершалом послали... Пришел, посмотрел... Господи ты боже мой! Отвел это он меня и говорит: «А знаете... а ведь у нее, у матушки, чахотка, и в очень большом градусе... Так похоже на то, как бы в последнем... И навряд, говорит, она больше нескольких дней проживет...» Антоша, Антоша!..

У о. Антония подкосились колени, и он как-то непроизвольно опустился на лавку. Он был бледен, как стена, но не плакал, а только нижняя губа его как-то бессильно вздрагивала, а глаза уставились на Дуняшу и пугали ее своим бессмысленным видом.

— А знаешь,— говорил он слабеньким, детским голосом и, чего никогда с ним не было, заикаясь,— и там не удалось... Сто рублей дал секретарю... У Марьяны взял... И ничего... В тон не попадает... в то-о-он...

Тут пришли слезы, и о. Антоний зарыдал страшно, громко и некрасиво, как баба. Дуняша подошла к нему и старалась утешить его, говорила, что еще неизвестно, что фельдшер ничего не понимает, но это не помогло. О. Антоний рыдал и безжалостно стучал головой об стол.

— Ты ее потревожишь,— сказала Дуняша. Тогда он встал и начал ходить по земляному полу кухни, держась обеими руками за голову.

— Дуняша, Дуняша, что же это такое? Как же это... тово... как же мы будем? Детишки... шестеро... мал мала меньше... Господи, помилуй!..— лепетал о. Антоний, бросая косые взгляды на темный, закоптелый образ, висевший в углу, как бы именно оттуда ожидая решения своего вопроса. Дуняша прислонилась головой к холодной стене и тихонько плакала.

Скрипнула дверь, и вошла Марья. Веселая и беззаботная, Марья теперь была бледна, и глаза ее тоже были красны.

— Вас, батюшка, просят, матушка просят вас!..

— Меня?!

О. Антоний снял рясу, всю забрызганную грязью, вымыл лицо, особенно тщательно промывая глаза, чтобы скрыть следы слез, причесал волосы и тихонько, на цыпочках, пошел в комнату. Всю свою небольшую силу воли он употребил на то, чтобы сделать свой голос ровным, а лицо спокойным и даже веселым.

— Натонька! И что это ты вздумала, господи боже мой? Взяла да и тово... слегла...— любовным голосом промолвил он, целуя ее в горячий лоб.

— Умирать вздумала, Антоша. Видно, бог за грехи...— Она закашлялась и выплюнула кровь.

— Что ты, что ты, Натонька? Эк выдумала что! Еще поживем! Вот солнышко пригреет, встанешь...

Но о. Антоний чувствовал, что голос его говорил совсем не то, что говорили слова! Всего ужаснее было то, что он заикался и никак не мог избавиться от этого. Это его приводило в отчаяние, потому что выдавало его с головой.

— Пригреет, да не меня,— медленно покачивая головой, сказала Натонька.— Хоть бы детей-то моих оно ласково пригрело! Я уже это чувствую... И фершала видела, и Дуняшины слезы, и слышала, как ты сейчас голосил в кухне... Чувствую, Антоша, чувствую!.. Хочу поговорить с тобой. Как бы ты Маринку спать унес, не место ей тут, не идет слушать...

— Мариночка, пойдем спатки! — промолвил о. Антоний, обращаясь к девочке.

Но Маринка крепко обеими ручонками ухватилась за ноги матери.

— Нет, не пойду от мамы! Никуда не пойду... И в могилку с нею! — проговорила она каким-то необычайно убежденным, вразумительным голосом.

Из глаз Натоньки выкатились две слезы.

— Пускай останется! — прошептала она.— Присядь, Антоша, возьми стул и присядь.

О. Антоний покорно взял стул и присел у изголовья.

— Что в городе? Архиерей как? — спросила Натонька.

— Архиерей... ничего!.. Ничего, Натонька!..

— Антоша, ты не обманывай! Меня, может, завтра на свете не будет. Говори правду,— отказал?

— Отказал, Натонька! — совершенно убитым голосом проговорил о. Антоний и опустил голову.

— То-то! И как же он, совсем или так, на время? — продолжала допытывать она.

— На время, Натонька! Написал: несвоевременно, потому в тон не попадает. В тон-то, господи помилуй!

— Правду говоришь, Антоша?

— Правду, Натонька, как на исповеди!..

— А у нас шестеро, Антоша! Подрастут, чем ты обучишь их? Шестеро!..

— Шестеро, Натонька!.. Шестеро!..

— Антон! — совсем тихо промолвила она, чтоб не слышала Маринка, но девочка была вся слух и не пропускала ни одного слова.— А ежели я умру, ты вдовцом будешь?

— Господи ты, боже мой! — прошептал о. Антоний.

— Вдовцом будешь, Антоша... А вдовца священником сейчас не сделают... Нельзя... Закон такой... До сорока лет ждать, а там еще захотят ли... Это ведь за особые заслуги только... А какие у тебя, Антоша, заслуги?

О. Антоний встал, тяжело вздохнул, провел рукой по лбу и опять сел.

— Да что же это, господи, господи? — шептали его губы, а рука сама поднималась и делала крестное знамение.

— Малодушествовать нельзя, Антоша, а обсудить надо!.. Шестеро ведь!.. Коли ты на всю жизнь дьяконом останешься, да и в такой бедности, как наша, детишки нищими будут... А за что? Чем они, бедные, виноваты?

— Что же поделаешь, коли воля господня?..

— А ежели я умру, ты на всю жизнь дьякон!

— Что же останется нам? Не придумаю, Натонька, нет... не могу придумать!

Голова о. Антония была действительно слишком слаба для того, чтобы разобраться во всей этой громадной куче горя. Он совсем потерял способность рассуждать, и ему казалось, что выхода нет и остается только примириться с судьбой. Натонька кашляла, и это еще больше потрясало его.

— Слушай, Антоша, не теряй времени... Пока я жива, ты еще не вдовец... Поезжай к преосвященному... Поезжай сейчас, сию минуту поезжай... Пади ему в ноги, облейся слезами и скажи все, как есть... скажи, что умираю, и тогда всему конец... Сердце-то есть у архиерея... Поезжай...

Опять кашель, и еще раз говорит она задыхающимся голосом:

— Поезжай... Пади к ногам... А то завтра умру... Навеки дьякон...

— Натонька, Натонька!.. Что ты?.. Господи боже мой! Что ты говоришь?..

— Говорю — поезжай... Поезжай, Антоша!.. Шестеро их... Поезжай!..

— Как же я поеду, коли ты... Натонька, как же я поеду?..

— Поезжай... Умереть-то я и без тебя умру, коли бог прикажет. Поезжай сейчас!

— Натонька, не могу я, не могу!..

— Антон! Иди сюда!.. Ближе, ближе!.. Дай мне руку свою... Вот так! Жили мы с тобой восемь лет согласно, любовно, и ты меня слушался... А мне теперь умереть надо, а ты... ты не слушаешься... Ну, я же господом богом молю тебя: послушайся, поезжай... Антоша, голубчик мой! Последняя это моя просьба... Поезжай!.. Сердце мое чувствует, что сжалится архиерей... Непременно сжалится... Смотри, Маринка наша славная девочка, добрая, умная головка, так неужели ей без образования расти и по людям шататься?.. А все другие, все шестеро... Ну, перекрести меня... Поцелуй меня хорошенько и поезжай... Может, бог даст, я дождусь тебя, и как отрадно мне будет умереть, коли все исполнится... Поезжай, Антон, голубчик...

О. Антоний с глубоким религиозным чувством, какого еще никогда в жизни не ощущал в груди своей, осенил ее три раза большим, медленным, вдумчивым крестом и поцеловал ее в губы. Потом он взял на руки Маринку и

тоже перекрестил ее и поцеловал. Затем он повернулся к комнате, где спали дети, и осенил ее всю таким же большим крестом...

— Поеду,— сказал он глухим, но твердым голосом,— коли ты требуешь и сердце твое чувствует... Поеду! Горько мне будет... нестерпимо горько, а поеду, коли ты велишь, Натонька!..

Шаги его сделались твердыми и взгляд уверенным. Он весь проникся сознанием, что исполняет, быть может, последнюю волю Натоньки.

Он вышел в сени, потом во двор. Дуняша сидела на завалинке с поникшею головой. Марья возилась с коровой. Звезды уже погасли, и над селом расстилался бледный свет раннего утра. О. Антоний прошел в сарай, где стояла лошаденка. Она была худа и имела понурый вид. «Не довезет, куда ей! Сейчас сорок верст сделала!» — подумал о. Антоний. Притом он сознавал, что ехать надо быстро. Сегодня суббота. Если архиерей смилуется, то завтра и рукоположит, а ежели опоздать, так придется ждать неделю, до следующей службы, а мало ли что может случиться за неделю? Он вышел обратно во двор.

— Марья,— сказал он,— беги сейчас к почтарю и чтоб сию минуту пара лошадей мне была и дилижан... В город! Да только скажи, чтобы не привязывал колокольчика...

— Ты в город? — спросила Дуняша.

— В город, Дуняша; сама посылает...

— За доктором?

— Эх, Дуняша, что доктор? Доктор ничего не поможет... Фершал правду сказал. За один этот день она так подалась, бедняга, что на смерть похожа. И сама говорит — умру!..

— А в город зачем же?

— Такое дело, Дуняша, что и сам не знаю, как будет... Уж лучше не спрашивай... Может, Натонька тебе скажет... Приказала ехать... Смотри, Дуняша, на тебя вся надежда... Береги ее... А в случае чего, не приведи господи... Завтра я приеду... Эх, горе мое, горе!..

Он ходил по двору, заглядывал в сарай, прошел к реке. Почтарь медлил. Уже совсем рассвело, когда к хате дьякона подъехал «дилижан», запряженный парой.

О. Антоний вошел в комнату, ударил три земных поклона к образам, стал на колени и прошептал молитву, потом обернулся к Натоньке и сказал:

— Еду, Натонька! Пусть будет по-твоему!

Она только одобрительно покачала головой. Он нагнулся, Натонька обвила его шею ослабевшими, холодными руками, прижала его голову к щеке и прошептала:

— Прощай, Антоша! Уж до твоего приезда я проживу! Силы есть!.. Так и знай...

Он вышел, шатаясь, влез в «дилижан» и быстро покатил по мягкой, влажной дороге.

Сорок верст пути, когда у человека на душе столько горя, сомнений и недоумений,— это бесконечно долгая дорога.

Если бы он был один, он просто рыдал, и ему было бы легче. Но впереди сидел ямщик, бутищевский мужик Макар, хорошо знакомый о. Антонию. Макар был любопытен и в начале путешествия допытывался:

— Что это вам так приспичило, отец дьякон? Видно, дело какое важное! Прежде все на своей ездили, а тут вдруг на почтовых...

— Значит, надо! — отвечал о. Антоний.

— Мабуть, по службе что-нибудь? Архиерей требует? — приставал Макар.

— Замолчи ты ради бога!.. Чего пристал? Не до тебя мне...

Макар почесал затылок и замолчал. А дьякону действительно было не до него и не до его вопросов. В голове его копошился целый рой мыслей, которые то углублялись куда-то в далекое прошедшее, то забегали в туманное и неизвестное будущее, то парили над диваном, на котором лежала больная Натонька. Припомнил он свою жизнь, припомнил и повторил ее всю с чувством и разумением, словно собирался принять великую исповедь.

Давнее то было время, и смутно помнится оно. Отец его был дьячком в селе, и множество у него было сыновей и дочерей. До десяти лет бегали они гурьбой в одних рубашонках, босиком по грязи и по солнцу, никто за ними не смотрел, делали что хотели, знали то, что подмечали пытливым детским оком, знали многое, чего детям знать не следует и чего другие дети не знают. Отец сам учил их грамоте: «аз, буки, веди, глаголь, добро, зело»; старик он был и учил по-старинному: букварь, часослов и, как высшая мудрость, Псалтырь — вот и вся наука. Сначала псалмы читались, потом псалмы учились наизусть,— дальше этого не могла пойти изобретательность старого дьячка, который сам ничего иного не знал, кроме книг церков-

ного обихода. А в десять лет вдруг свезли в город и забросили в школу.

Школа эта была бурса, настоящая дореформенная бурса, которую Антоша застал при последнем издыхании, но тем не менее могучею и сильною всеми своими особенностями [11]. Вдруг ни с того ни с сего засадили его за латынь и греческий, втиснули в сложную махинацию авдиторов, секуторов [12] , розог, линеек и т. п. страшных вещей, которые сразу запугали воображение дикого мальчика, привыкшего к свободе, к солнцу и простору деревенской улицы. Он ничего не понимал: ни требований бурсацкой дисциплины, ни правил латинской грамматики, и его за это секли, драли за уши, за чуб, сажали в карцер, лупили линейками и корешками розог по ладоням — одним словом, «учили» разными способами, какие были в распоряжении старой бурсы. Когда Антоша вспоминает это время, он ничего не ощущает, кроме какой-то дикой боли, тупой, совершенно дурацкой, ни на чем не основанной обиды. Почему? за что? за какую вину? Ведь все били его, слабого, все — от инспектора до последнего лентяя, у которого были здоровые кулаки. На битье была основана вся наука и все воспитание. Но ему пришлось терпеть это только два года. Вдруг все от верху до низу переменилось. Все стали вежливы, деликатны, приехали новые учителя, которые говорили даже «вы», розги уничтожены, никого не бьют, никто не плачет. Но Антоша уже запуган, забит, огорошен, учится плохо и еле-еле перелезает из класса в класс, засиживаясь в каждом классе по два года и прочно присвоив себе кличку «осла». Кое-как дотянул он до семинарии, побыл в ней год, но дальше уже совсем пойти не мог и оставил это, по-видимому, несвойственное ему занятие.

Старый дьяк был тогда еще жив. Антоше пошел двадцатый год. Был он уже вполне зрелый юноша, и нужно было думать, что с ним делать. Одна дорога — поступить в пономари, а потом в дьяки, да этим и закончить карьеру. Так многие и делали. Но тут помогло одно обстоятельство. В губернии не так давно умер некий протопресвитер, важное лицо, бывший благочинный и член консистории. Протопресвитер оставил весьма изрядное состояние и, между прочим, по духовному завещанию, учредил приют для сирот-девушек духовного звания. В приюте этом обучали грамоте, рукоделию и хозяйству,— одним словом, готовили жен для младшего причта, но так как

основатель его был лицо почтенное, то приют сейчас же получил привилегию. Было объявлено, что всякий причетник, взявший себе в жены «приютку», тем самым приобретает право на немедленное производство в дьяконы. И Антоше пришлось воспользоваться этою привилегией. Вот как о. Антоний, когда его спрашивали об этом и когда он был в хорошем расположении духа, рассказывал о своем сватовстве:

— Говорит мне батько: «Ну, сыночек, доучился, кончил курс, видно, что не хотел умнее своего родителя быть. Едем-ка в приют жениться, все же таки дьяконом будешь, дьяконский-то хлеб не бог знает как бел, а все же белее дьячковского». А я... мне что? Мне все одно. Ничего не понимал я тогда толком. Жениться так жениться... с женой что делать, известно, я понимал... Вот и повезли меня туда. Приехали это мы: я, мои родные и еще сват — один знакомый дьякон. Приехали и прямо в класс. Уж, конечно, они, то есть девицы-приютки, знали, что это жених приехал, вырядились в чистенькие платья, белые передники надели и сидят рядышком, душ их восемь было, иная шьет, иная вышивает... Входим мы; я, разумеется, позади семеню, потому, как хотите, странно как-то... Пришел человек неизвестно откуда и должен себе подругу на всю жизнь выбрать. Я был тогда такой же высокий, как теперь. Прошлись мы по комнате раза два, а я все смотрю им в лица... Ну, как бы вам сказать, совершенно как товар в лавке либо на базаре. Однако нельзя же даром так-то ходить, надо, чтобы какой-нибудь толк был. Вот мать моя и подходит ко мне и говорит: «Мой совет тебе, Антоша, вон ту взять, которая с русою косой за вышиваньем сидит». Но скажу я вам, что не нравилась мне русая коса, вот не знаю, почему, а не нравилась. А сидела этак в уголку смугленькая такая, худенькая да бледненькая; взглянул я на нее, и так мне жалко сделалось, что она такая себе заморенная, и сердце так и застучало... Ну, думаю, должно быть, это и есть судьба моя! И говорю матери: «Нет, говорю, не русая, а черная коса, вон та!» — и показал пальцем. А мать говорит: «Что ж, это твое дело, не мне с ней жить, а тебе». С тем мы и вышли. Сейчас пошли к отцу Исидору на закуску,— отец Исидор — тамошний священник и начальник приюта,— гляжу, и моя черная коса здесь, чай разливает: раскраснелась вся, вижу, в волнении. Нас познакомили. Тут я узнал, что зовут ее Натальей Парфентьевной, и сию же минуту в душе своей в

Натоньку ее перекрестил. Только пили это все чай, вдруг, смотрю, никого в комнате нет, все куда-то исчезли, остался только я да Натонька, то есть тогда еще Наталья Парфентьевна. Сидит она на диване и в окошко глядит, словно и не обо мне думает. Понял я, что нас нарочно оставили, чтобы, значит, объясниться... Никогда в жизни этого со мной еще не бывало, чтобы я оставался с девушкой глаз на глаз, а чтобы еще объясняться — так об этом я даже понятия не имел. И трепетало мое сердце, струсил я, то есть, как следует быть. Однако что же делать-то? Все одно — надо. Приехал жениться, так надо жениться. Подошел и говорю: «Наталья Парфентьевна! вам ведь все хорошо известно, и объясняться тут нечего. Желаю, говорю, иметь вас женою своей, и в дьяконский сан, говорю, преосвященнейший владыка меня рукоположить обещал, и даже место есть в селе Бутищевом, хотя на дьячковской вакансии». А она глаза опустила: «Мне, говорит, известно... я согласна!» Тут я даже ручку у ней поцеловал. На другой день обвенчались, а там и во дьякона производство получил.

Так рассказывал о. Антоний, когда бывал в хорошем расположении духа, но теперь, разумеется, он вспоминал это иначе. Вспоминал он с нежностью, но горечью полна была его душа. Пришлись они с Натонькой друг другу по душе, словно и в самом деле были друг для друга созданы. Пошли у них дети один за другим, «без удержу», как говорила сама Натонька, и с каждым новым ребенком росла их бедность. Натонька всегда была хилая, болезненная, но все была на ногах, а только в последние два года стала сваливаться. О. Антоний был образцовым причетником, и архиерей благоволил к нему, и у него были все шансы на то, чтобы быть произведенным в священники. Тут опять-таки должно было помочь то обстоятельство, что Натонька была «приютка». Но вдруг случилась эта история с непопаданием в тон, и надежда его осеклась. Вспомнил о. Антоний, какую хорошую жизнь прожил он с Натонькой, как лелеял мечту, что вот, наконец, придет время, когда он получит священнический приход, Натонька поправится и заживут они на славу. И вдруг нежданно-негаданно такое горе.

Едет он в город, Натонька послала его. Может быть, выпадет счастье, архиерей сжалится, но какое же это счастье, когда Натоньке оно не достанется? Да и сам он,— что он такое будет без Натоньки? Ведь жизнь-то еще дол-

га: ему только 28 лет. И эта долгая предстоящая жизнь показалась ему какою-то темною, холодною могилой.

Когда он думал о том, что делается теперь там, дома, то сердце его обливалось кровью и холод сковывал все его тело. Что же это он делает? Натонька умирает там, и в самом деле умирает, он в этом убедился, а он едет хлопотать о каком-то повышении. Да ведь это ужасно — думать о повышении в такие минуты, когда любимый, самый дорогой человек умирает...

А шестеро? Ведь шестеро их... Ведь стоит только пропустить момент, и вдруг, по воле божией, сделаешься вдовцом, и на всю жизнь бедняк, и дети — нищие.

Вот и город, опять этот грязный город, который вчера выгнал его своею черствостью, своею несправедливостью. Опять он въезжает в него в качестве смиренного просителя, но совсем с другими чувствами. О. Антоний вынул часы и взглянул: около двенадцати. Как раз в это время у архиерея прием просителей.

— Живо, живо поезжай к архиерейскому дому! — крикнул он Макару.

Макар хлестнул по лошадям. Они въехали в глубокую грязь городской улицы, и жидкие брызги посыпались на них от лошадиных ног. Когда дилижан остановился у ворот архиерейского дома и о. Антоний сошел на землю, Макар сказал ему:

— Э, отец дьякон, как же вы пойдете к архиерею, коли вы весь серый от грязи?.. И ряса, и лицо, и волосы, все в грязи!..

Но о. Антоний не обратил внимания на это замечание. Он только провел рукавом по лбу и размазал грязь на лице и почти бегом пустился к заветной двери, которая вела в архиерейские покои.

IV

В обширной приемной архиерея, с несколькими твердыми стульями у стен, с портретами митрополитов и важных чинов духовного ведомства на стенах, было душ десять народу. Большею частью это были духовные особы разных рангов; все они принарядились, каждый по мере своих сил, примазали волосы елеем, опять-таки различного достоинства — кто с запахом розового масла, а кто прямо от лампадки,— причесались и стояли посреди приемной полукругом. Архиерей еще не выходил, но ожидался с ми-

нуты на минуту. Уже молодой, краснощекий келейник выглянул раза три и подсчитал просителей. У архиерея был с докладом кто-то из более почтенных особ, допускаемых во внутренние покои. Просители уже давно подтянулись и придали своим лицам смиренно-благочестивое выражение. В это время в передней послышался странный разговор, никогда, может быть, не бывалый в этих молчаливых покоях, привыкших к хождению на цыпочках и к беседе вполголоса.

— Позвольте, батюшка, так невозможно!.. Сперва надо келейнику сказать...— говорил швейцар.

— Нет, нет, мне прямо преосвященного надо, самого преосвященного...— отвечал с дрожью и заиканием взволнованный тенорок.

— Да притом надобно сапоги вытереть, батюшка, и опять же пообчиститься... этак невозможно... все полы загадите! — убедительно заявил швейцар.

— Нет, нет, ничего, ничего... Я так, мне не до того... я так!..

Слышно было даже, как будто кто-то кому-то оказывал сопротивление.

— Нельзя же, батюшка!

— Отойди!

— Да вам же хуже будет!

— Мне и так худо, хуже не будет... Пусти!..

— Как угодно.

И благочестивое выражение лиц просителей вдруг сменилось крайним недоумением. В приемную, вырвавшись от швейцара, вбежал о. Антоний, таща на огромных сапогах по фунту грязи, с замазанным лицом, с растрепанными волосами.

— Преосвященнейший владыко не выходил еще? — спросил о. Антоний опять-таки громче, чем это полагается.

— Нет, не выходил! — ответили присутствовавшие, с изумлением и вместе со страхом осматривая просителя, осмелившегося войти в таком небрежном виде.

На шум вышел келейник и, увидев о. Антония, подбежал к нему:

— Что вы, что вы, батюшка? Разве можно в таком виде?

О. Антоний посмотрел на него с своей высоты глубоко презрительным взглядом.

— Отойди, бога ради! — промолвил он таким голосом и с таким выражением, что келейник действительно ото-

шел, даже отскочил от него и только пожал плечами. В это время из внутренних покоев вышел благочинный, о. Иоанн, с бумагами в руках. Он-то и был на докладе. Увидев о. Антония, он подошел к нему.

— Отец дьякон? Как вы решились?

— Решился, отец благочинный!

— Вы навеки испортите свое дело.

— Ах, отец благочинный, хуже не будет, хуже не будет...— пролепетал о. Антоний.

Благочинный отвел его в сторону и тихонько сказал:

— Надеюсь, что вы никаких посторонних личностей не замешаете.

О. Антоний понял, в чем дело. Благочинный вообразил, что он пришел жаловаться на секретаря за взятку.

— Ах, не о том, отец благочинный, не о том! Вот какое горе! — промолвил он, прижимая кулак к груди.

— О чем же?

Но в это время вышел сам преосвященный. Высокий, плотный старик, в темно-синей шелковой рясе, с длинною круглою бородой, с шелковистыми седыми волосами, с строгим выражением лица, он производил внушительное впечатление. На докладе он почти не говорил, а только выслушивал и принимал к сведению. Он обладал удивительною памятью, все запоминал и потом решал в своем кабинете.

— Кто здесь шумел? — спросил прежде всего архиерей. Но вместо ответа послышался стук бегущих ног, и кто-то со всего размаха бросился ему в ноги и схватил его колени.

— Ваше преосвященство, ваше преосвященство! Это я... это горе, горе мое шумело!.. Великое горе, ваше преосвященство...

Первое движение архиерея было — отступить. Лицо его покраснело и сделалось гневным. Но когда он увидел, что человек, испачканный грязью, есть не кто иной, как дьякон Антоний Бубырко, когда он услышал его надорванный голос и заикающуюся, прерывистую речь, он смягчился и промолвил:

— В чем же твое горе? Встань, диакон!

— Горе небывалое!.. Горе... ваше преосвященство... жена у меня... Господи, боже ты мой!.. Уми-рает... Умирает, ваше преосвященство...

Но тут уже ничего нельзя было разобрать из того, что говорил о. Антоний, потому что он начал горько рыдать.

Архиерей сначала подумал, что ему делать с этим человеком, а потом, видя, что он ничего от него не добьется, обратился к благочинному:

— Отец благочинный! допроси, пожалуйста! Чего он хочет от меня?

— Пойдемте, отец дьякон! — сказал благочинный, взяв его за рукав рясы.

О. Антоний поднялся с пола и покорно пошел за благочинным. Они вошли в маленькую, низенькую дверь и остановились в миниатюрной комнате, где стояли мраморный умывальник и зеркало. Благочинный начал с того, что покачал головой:

— Как можно так, отец дьякон? Трудно ли разгневать преосвященного?

— Себя не помню, отец благочинный... Такое горе, такое горе!.. Натонька, жена моя, в чахотке умирает... Господи ты, боже мой! Не сегодня-завтра я вдовец, и тогда уже все пропало... Вечный дьякон, отец благочинный!.. А у меня шестеро... Что я с ними буду делать? Сама послала, бедняжечка... умирает, а послала... Ради детей, говорит... я, говорит, и без тебя умру... а может, преосвященный сжалится... Подумайте, отец благочинный, какое мое положение!.. Жена умирает, а я здесь... Может, умерла уже, а я... я тут... отец благочинный!

И вдруг, неожиданно для благочинного, он упал на колени и, рыдая, умоляюще протянул к нему руки. Благочинный всячески успокаивал его и утешал.

— Погодите, вот владыко кончит прием, мы ему доложим! Посидите здесь смирно, а я уже сам ему объясню. Будете сидеть смирно?

— Буду, отец благочинный! — твердо сказал о. Антоний и сел на стул с высокою спинкой. Он сидел так минут двадцать и ни о чем в это время не думал. Уже прием у архиерея кончился, и благочинный доложил ему, что мог, про о. Антония. Архиерей велел позвать его к себе.

Когда о. Антоний шел обратно в приемную, он чувствовал, что в груди его как бы остыло что-то, еще недавно сжигавшее его пламенем. Ноги его как-то деревянно шагали, руки висели беспомощно, голова была пуста, и никаких слов не находил он, чтобы сказать архиерею. «Перегорело,— думал он,— все горе во мне перегорело!» И теперь он боялся архиерея, как всегда, как боялись его и те десять душ, что стояли раньше в приемной.

В приемной были только архиерей, благочинный и келейник. О. Антоний стоял перед лицом владыки и дрожал.

— А что,— сказал архиерей,— ежели жена твоя умерла, и ты уже вдовец?

— На все воля божья,— покорно ответил о. Антоний.

— Так-то так, но ты просишь священства, а священство, как сам знаешь, вдовцам до сорокалетнего возраста не дается...

— Знаю, ваше преосвященство!

— Так как же с этим быть? Ведь отвечать перед богом придется!

— Ваше преосвященство! Ответим! Шестеро детишек!.. Они вымолят!..

Архиерей задумался и несколько раз прошелся по комнате взад и вперед.

— А может, жена твоя еще и проживет!..— говорил он, как бы рассуждая вслух.— Действительно жаль мне тебя, жаль... Ты достоин. И шестеро, говоришь, шестеро? Все маленькие, а? каша? а? Гм... И как это вы торопитесь детей плодить... Ну, диакон,— промолвил он, остановившись,— уж ради шестерых-то твоих примем грех! Готовься на завтра.

— Ваше преосвященство! — вырвалось из груди о. Антония; он хотел было протянуть руки, но в этот момент у него закружилась голова и силы его оставили. Благочинный и келейник едва успели поддержать его.

— Ишь, какой бедненький,— сочувственно сказал архиерей и покачал головой.— Надо его ободрить. Насчет жены-то его... Что ж, может, бог и продлит ее дни, а не то... Ну, что ж... На все его воля! — прибавил он, обратившись к благочинному и келейнику, и ушел к себе в кабинет очень расстроенный. «Ведь вот жизнь-то какова и какие дает коллизии,— думал архиерей, с волнением прохаживаясь по кабинету и нервно шевеля четками,— а мы-то, власть над этою серою массой имущие, сидим в своих покоях и ничего этого не знаем. О жизни судим по докладам, да по прошениям, да по представлениям консистории. Я его промучить захотел за то, что в тон попадать не умеет, это был мой каприз, а у него вон какое грандиозное горе и какая тягостная задача». И в эту минуту архиерею, потрясенному только что происшедшею сценой и настроенному на добрые чувства, захотелось воочию увидеть, как живет подчиненное ему духовенство, что чувствует и какое горе переживает каждый из этих смиренных дьяконов,

дьячков и пономарей, обремененных семействами и всю жизнь мечтающих о повышении.

О. Антония привели в чувство, и он медленно побрел с архиерейского двора. Он не в силах был теперь ни радоваться, ни скорбеть. Его несильный ум никак не мог сколько-нибудь привести в систему все те разнообразные ощущения, которые пришлось испытать ему в течение последних суток. Страх перед подачей пакета секретарю, светлая надежда после принятия этого пакета, ласковый прием у благочинного, разочарование в консистории, отчаяние при виде умирающей Натоньки, борьба между любовью к ней и необходимостью уехать ради детей, сцена у архиерея и это счастье, которое должно совершиться завтра,— все это следовало одно за другим, нисколько одно из другого не вытекая, спутывало его мысли и чувства. Страшное горе — потерю жены — он должен был переживать вместе с величайшим счастьем — достижением священнического сана. В самом деле это было какое-то почти сверхъестественное совмещение двух противоположных чувств. Нет большего горя для лица, носящего духовный сан, как потеря жены, да еще любимой, какою была Натонька для о. Антония. Ведь это — вечное одиночество, вечный холод холостой жизни среди живущего полною жизнью мира, среди житейских соблазнов и требований строгой морали, сопряженных с званием. С другой стороны, священничество — это высший идеал, к какому может стремиться причетник, и, следовательно, высшее счастье. И вот и то, и другое разом упало на голову о. Антония. Одно только он ясно чувствовал — что он в этот момент преступник перед Натонькой. Она умирает, и так еще самоотверженно, думая лишь о будущем его и детей, она, быть может, теперь переживает страшные мучения, а он здесь делает карьеру, готовится к повышению. И как ни старался о. Антоний, никак не мог он примирить в душе своей эти разнообразные ощущения. Поэтому во всю остальную часть этого дня, весь вечер, который он провел в церкви, безуспешно стараясь слушать вечерню, так как нужно было готовиться к завтрашнему событию, всю ночь, совершенно бессонную, утро следующего дня и даже во время обедни, когда совершалось его рукоположение, он находился в каком-то тупом состоянии безразличия, бесчувственности. Сердце у него нестерпимо болело, лицо было бледно, и глаза, глубоко впавшие в орбиты, горели тусклым огнем. Даже архиерей обратил внимание на его не-

добрую внешность и, стоя в алтаре, сказал ему тихо: «Ободрись, Антоний, не думай о земном! Помни, какой сан принимаешь!»

Но о. Антоний не ободрился, а все так же бесчувственно и угрюмо достоял всю обедню до конца. По окончании обедни он улучил минуту и подошел к архиерею.

— Ваше преосвященство! — сказал он, скрестив ладони и этим самым прося благословения,— благословите отправиться домой! А вам за ваше благодеяние отплатит бог!

Тон, которым он говорил, дышал глубокою печалью и какою-то безнадежною покорностью судьбе.

— Поезжай, отец Антоний, поезжай! Твое дело особенное! — сказал архиерей, благословляя его большим крестом.

О. Антоний поспешно снимал облачение, это новое для него священническое облачение, одно ощущение которого, при других обстоятельствах, доставило бы ему массу счастья.

Теперь было не до того. Он торопился, его тянуло, толкало вон из церкви на почтовую станцию, где он неотступно требовал лошадей сейчас, сию минуту, да чтобы были быстрые и сильные, чтобы мчались без остановки и без отдыха. Ничего не видя перед собой и не слыша того, что говорили ему почтарь и ямщик, он садился в дилижан и умолял ямщика ехать скорее. Ямщик попался бравый, о. Антоний не пожалел ему двух рублей на водку, и он безжалостно хлестал лошадей, а лошади были горячи и мчались напропалую, не обращая внимания на грязь и ямы по дороге.

Вот уже вдали виднеется узкая полоса бутищевской речки, потом начинает вырисовываться церковь, дом нового помещика Скрыдлова; выплывают одна за другой хаты и землянки. О. Антоний старается разглядеть свою хату, но не видит ее, а между тем ему кажется, что если бы он увидел хоть один угол своей хаты, то понял бы все. Мысли его начинают быстро перегонять одна другую. То ему мерещится мрачная картина смерти: Натонька лежит на столе, худая, желтая и холодная; детишки прячутся по углам и испуганно молчат, только одна Маринка, бледная умница, Натонькина любимица, с бесконечно грустною задумчивостью смотрит на мать своими большими глазами... Дуняша плачет и поглядывает в оконце, не едет ли он... Сердце его разрывается на части. То вдруг

ему все это кажется невозможным, неестественным, диким. С какой стати? Почему так скоро? Натонька еще может поправиться и прожить многие годы. И какова же будет ее радость, когда она узнает, что он вернулся священником! И он уже совершенно уверен, что это именно так и есть, что иначе и быть не может, и торопит ямщика единственно для того, чтобы поскорее обрадовать Натоньку. Да, если она жива, то одна эта радость может вылечить ее от самой тяжкой болезни! Ведь священник он, приход дадут, достаток будет, детей воспитают они, боже мой, боже мой!..

Они поравнялись с домом помещика Скрыдлова, минули сад, ряд землянок. Уже он видит свой ток; из-за стога соломы выглядывает камышовая крыша хаты. Дуняша бежит ему навстречу... С чем она? С какою вестью? Не выдержит он, сердце разорвется.

— Стой!

Лошади с разгону остановились; он выскочил из дилижана. Дуняша припала головой к его груди и рыдает...

— Натонька? — спрашивает он диким, плачущим голосом.

— Кончилась, Антоша!.. В эту ночь!.. Как ты уехал, лучше стало... Думала, полегчало... А вдруг как хлынет кровь горлом-то... ничем не удержать... задушило ее, бедняжечку... А перед этим тебя вспоминала... Последнее ее слово было: помоги ему бог достигнуть священства!..

— И бог помог мне... Помог... А ей-то, ей, голубушке, нет, не помог... Его святая воля! — бормотал о. Антоний, ломая руки от отчаяния и глядя на Дуняшу совершенно потерянным взором.

Он вошел в дом медленною, неровною походкой человека, разбитого вконец. Увидев Натоньку, лежащую на столе, прикрытую до половины парчой, с венком из помертвевших цветов, с четырьмя свечами у изголовья, желтую и высохшую от муки, он припал к холодным рукам, сложенным на груди, и долго-долго безмолвно и без слез молил ее простить его за то, что он мало о ней думал, и за то, что он теперь без нее будет пользоваться преимуществом только сегодня полученного сана.

В комнате было душ двадцать народу, больше деревенские бабы, но были тут и Марьяна Панкратьевна, и Аксинья Мелентьевна, и пономарша, а когда о. Антоний поднял голову, которая казалась ему свинцовой, в хату вошел

о. Панкратий и с ним старый пономарь, неся в руках облачение и кадило.

— Совершим литию соборне! [13] — каким-то торжественным голосом промолвил о. Антоний.

— Совершим! — сказал о. Панкратий и начал облачаться в ризу.

Пономарь подал о. Антонию стихарь, но тот отрицательно покачал головой.

— Ризу... Нынче рукоположен... Ох, Натонька, только тебе и досталось, что лития моя! — проговорил он сквозь слезы глубоко убитым голосом.

Дети пугливо выглядывали из другой комнаты, а Маринка в самом деле стояла около матери и с бесконечною, недетскою грустью смотрела на нее своими большими глазами.

Сторож сбегал в церковь и принес о. Антонию ризу. Все с удивлением смотрели на то, как он надевал ее. Из кадила поднялся дым ладана. Началась лития...



А. Н. Маслов-Бежецкий



ТИФ

Эпизод из блокады Эрзерума

I

Уже несколько дней, как в селении О*, близ Эрзерума[1], стояли две роты Н-го пехотного полка. Эрзерум лежит в юго-восточном углу горной котловины; Гяур-даг на севере и низкие отроги Коурма-Чухура на западе отстоят в двенадцати верстах от города; на юге же и на востоке, верстах в трех, тянутся под разными названиями хребты Палан-тэкен-дага. В этой котловине берет начало река Евфрат, библейская река, с названием которой соединено представление о земном рае, то есть о голубом небе, теплом воздухе, наполненном благоуханием вечно зеленеющих лесов, о тиграх и львах, питающихся одними только фруктами и нежно ласкающих телят и баранов, и тому подобных прелестях и чарах, которыми беззаботно наслаждались наши прародители в костюмах из собственной кожи. Но, увы! этот рай исчез, и, вероятно, с тех пор истоки Евфрата называются здесь «черными» (Кара-су). Неприветлив этот черный Евфрат, и так же неприветливо смотрят кругом крутые громады гор, достигающие одиннадцати тысяч фут высоты над уровнем моря. Напрасно утомленный однообразием взор тоскливо ищет хотя небольшой горный лесок, осеняющий своими тенистыми ветвями холодный поток! Не найдет он здесь ни одного дерева: только мрачные обрывы, только крутые, холодные балки с торчащими каменными глыбами и каменистая земля, твердеющая как свинец от зимних морозов.

О*, как и прочие пригородные селения, оказалось несколько приличнее на вид, чем те, которые попадались

прежде на дороге. В нем было даже два двухэтажных дома с плоскими крышами, принадлежавшие двум местным мухтарам, или старшинам,— турецкому и армянскому. Население состояло наполовину из турок, наполовину из армян, причем турки ходили молиться в город, а армяне — в соседний монастырь Сурп-Оганеса (Иоанна Крестителя). Верхний этаж дома армянина был занят офицерами и их денщиками, а в доме турецкого бека помещался священник и лазарет, чем, конечно, хозяин не мог быть доволен. Впрочем, почтенный Гуссейн-эфенди переносил терпеливо постигшую его невзгоду и, как истый мусульманин, решил, что это так и надо, и в разговоре с отцом Андреем — так звали священника — даже высказал философскую мысль, что, «если б аллах не вооружал народов друг против друга, то на земле не было бы толку». Он был очень предупредителен с отцом Андреем, беседовал иногда с ним через переводчика о религии и политике и старался аккуратно доставлять требуемые через него довольствие, повозки и прочее.

Оба дома были сложены из неправильно обтесанного камня на гипсе, и верхние этажи домов несколько выдавались вперед, так что видны были потолочные балки. Тяжелая дубовая дверь с железною оковкою, с резными фигурами, вела в нижний этаж; к ней был приделан молоток с небольшой наковальней, заменявший звонок. Остальные постройки в селении были заняты солдатами. Это были одноэтажные и длинные сакли, сложенные из очень скверно обтесанного камня и имевшие, вследствие отсутствия окон, вид пещер, вымазанных кизяком. Над плоскими крышами, засыпанными землей, стлался едкий кизячий дым, выходивший из плохо устроенного камина. Внутри было темно, сыро и пахло буйволами и баранами, которых, по приходе солдат, хозяева перевели в другие хлева и амбары.

В некоторых ближайших селениях были базары, состоявшие из грязных лавчонок, по опрятности и наружному виду напоминавших жидовские будочки, какие встречаются на базарных площадях в небольших городах юго-западной России. Благодаря блокаде Эрзерума и занятию трапезондской дороги, приход русских войск не оживил торговли. Артельщики и денщики в один день раскупили запасы кислоты и сухих фруктов, коленкору и ситцу; то же сталось и с табаком. В О* такой роскоши, как базар, не было, и небольшая площадка между домами старшин

служила местом для свалки нечистот. По ночам это пустое место оживлялось огромным количеством желтых собак, которые кучами жались к навозу или длинными вереницами предпринимали отсюда загадочные вылазки в окрестности. Эти несчастные псы поистине были подобны, как выразился отец Андрей, тому псу, который лизал раны прокаженного Иова [2]. Турки считали их погаными животными, а армяне колотили. Как те, так и другие окончательно перестали их кормить, и у эрзерумских собак, надо полагать, составилось весьма невыгодное мнение о человечестве.

Это были стаи, огромные стаи одичалых и обезумевших от голода животных, которые только сохранили наружно вид собаки; на самом же деле они разучились даже изъясняться по-собачьи, и в их лае и вое не было ни одного собачьего звука. Никогда они не возвышали голос, чтобы объявить своему хозяину, что идет чужой, ибо хозяев у них не было, а были все чужие и враги. При дневном свете эти животные куда-то разбегались, и если и попадалась на глаза одна или другая собака, то вид она имела жалкий и страшный: длинная, на коротких лапах, худая-прехудая, с совершенно втянутым в себя животом, с шерстью, висевшею клочьями, подобно волосам на голове горячечного или сумасшедшего, и с хвостом, всегда поджатым и похожим на грязную, истрепанную и узловатую веревку.

При встрече с жителем они издавали какое-то рокотание и бросались бежать с такою скоростью, как будто у них было восемь ног; при встрече с солдатом распластывались и старались укрыться в снегу; несмотря на жалкий вид, глаза у этих несчастных горели мрачной злобой, и все они были желтые; всякое различие по старшинству и внешнему виду между ними исчезло, и прирожденная собакам отвага утратилась. По ночам, как я говорил, они разыскивали более теплые места и, облепив промерзлую мусорную кучу, жались друг к другу, воображая, что греются; в те же ночные часы они отправлялись разыскивать что-нибудь такое, что можно проглотить и не подавиться; напав на какую-нибудь дохлятину, с ожесточением бросались друг на друга, и если кто-нибудь погибал в этой свалке, то, по обычаю дикарей, был тут же немедленно съедаем. Отец Андрей, придерживаясь изречения, что «всякое дыхание да хвалит господа», переходя однажды вечером улицу, попробовал приласкать одного пса, но тот, скорее

от страха, чем от злости, оторвал у него кусок рясы и затем обратился в бегство. Кроме священника, никто такого опыта не повторял.

Из офицеров в селении О* налицо были только капитан Иловлин и прапорщик Чирков, временно командовавший ротою поручика Вьюшина, который был отозван на несколько дней к полковому штабу. Таким образом, общество состояло всего из четырех лиц, если прибавить сюда отца Андрея. Иногда заезжал сюда есаул Заелов, стоявший поблизости с сотней, на обязанности которой лежало прикрытие дороги.

II

Великолепная квартира, которую отвели себе офицеры, состояла из трех комнат; в первой разместились Иловлин и Вьюшин.

Эта комната была до того мала, что в нее с трудом влезли две кровати, тем более что Вьюшин спал на «верблюде» — так называлась собственного изобретения кровать, имевшая вид складного деревянного козла, который обтягивался веревками каждый раз, когда его приходилось устанавливать. «Верблюд» был предметом отчаяния денщика, которому с потом на лице постоянно приходилось изобретать новые способы для удержания этого ужасного животного на ногах. То деревянная ось, на которой держалась вся система, ломалась, вследствие чего кровать приходилось укорачивать, и с течением времени она грозила обратиться в прокрустово ложе; то изгнившие и вязаные-перевязаные веревки лопались, и их не хватало на переплет. Владелец этой великолепной мебели не раз просыпался от треска лопающейся оснастки; при этом какая-нибудь часть тела провалилась вниз и как бы любопытствовала, что там такое делается под кроватью. Тот же «верблюд» был ненавидим обозными солдатами, представляя им всегда множество затруднений при нагрузке фургона.

— Что же вы не трогаетесь, черти! — кричит, бывало, обозный унтер-офицер при выступлении с бивуака.

— Помилуйте, Иван Митрич, сладу нет с этой музыкой! Ты его суешь так, а вин ногой в зад коню лезет, а то офицерский узел прочь выпирает... Просто вот ты хоть что!..

Кроме того, «верблюд» не позволял обозному разлечься на возу, ибо сейчас же напоминал ему о своем существовании своей ногой, и той же ногой, мотаясь на ухабах из стороны в сторону, погонял кучеров.

Офицерская комната была выложена алебастром и аршина на полтора обшита снизу сосновыми досками и отапливалась маленькой железной печкой, которая больше дымила, чем грела; поэтому офицеры нередко выбегали греться на мороз. Пол состоял из одного ряда досок, сквозь щели которого видны были темные и низкие покои, в которых жил хозяин. Оконные переплеты были покрыты снаружи мелкими решетками из драни и вместо стекол оклеены промасленной бумагой, через которую падал матовый свет на жесткие офицерские кровати. Стены были увешаны священными гравюрами марсельской работы. В другой крошечной комнате, вроде ублиетты *, помещался Чирков; здесь же обедали, и сундук Чиркова, а также некоторые вещи всегда выносились перед обедом в коридор. Вследствие малых размеров столовой Вьюшин не советовал заказывать много блюд. Этот совет звучал едкой иронией, так как в селении ничего нельзя было достать. Из коридора крутая лестница спускалась в большую темную комнату с земляным полом. Комната эта была высотою в два этажа и освещалась через отверстие в потолке, над которым был устроен для тепла четырехугольный колпак, похожий на парник. Падавшая сверху волна света придавала внутренности тот характер, который любят фламандские и всякие другие живописцы, рисующие сцены в погребах и подвалах. Здесь помещались ротные писаря и денщики, из которых всегда кто-нибудь спал; поэтому из полутьмы целый день раздавался храп, как будто бы там находился один из кругов дантовского ада [3]. Только один писарь Иловлина бодрствовал днем и в свободные часы занимался сочинением стихов. Это был человек мечтательный, с блуждающим взглядом и всегда выпивши. Его поэтические сочинения никакого отношения к действительности не имели. Казалось, душа поэта насильно отрывала его от грозной действительности и переносила в родную деревню. Только раз, когда пришло известие о падении Плевны [4], он настроился на воинственный лад и написал оду, которая мне неизвестна. Большинство же его стихов

---

* Подземная тюрьма, «каменный мешок» (от *фр.* oubliette).

имело юмористический оттенок, хотя он писал их с печальным видом и чуть не со слезами на глазах. Одно стихотворение, под названием «Рыбак», кончалось так:

Рыбак роет червячка,
Надевает на крючка,
И потом, что было маху,
В пол-аршина черепаху
Тащит на берег сухой
Он счастливою рукой.
Он уж этую уроду
Не пускает больше в воду,
А садит ее в мешок,—
Будет женке гребешок.

В углу людской комнаты были вкопаны, с разными приспособлениями, два огромных глиняных горшка, наполненных горячими угольями. Около этой кухни постоянно суетилась хозяйка дома с своею служанкой, пекла лаваши и жарила на разные манеры баранину. Денщики объяснялись с ними резкими телодвижениями, а также по-русски, прибавляя несколько турецких и грузинских слов, считая, что все басурманы говорят на одном языке; Самойлов, денщик Иловлина, даже в шутку утверждал, что они обязаны понимать по-русски, так как у них самих «настоящего» языка и нет и они только притворяются, что говорят; иногда заходил в гости солдат-татарин, который служил переводчиком.

Хозяйскую дочь звали Мариам, или Майро. Она была стройна, как кипарис, и гибка, как змея. По странной игре природы она напоминала своим лицом женщину тропического климата. Костюм, в котором преобладал красный цвет, несмотря на свою будничную скромность, так красиво окутывал ее стройное тело, что его некоторое неряшество совершенно не бросалось в глаза. Движения ее были живописны и переменчивы; то она быстро двигалась, то, наоборот, вдруг задумывалась и как бы каменела над печью, и красный свет угольев ложился светлыми пятнами на ее смуглое лицо, на ее смуглую шею и руки, придавая ей вид молодой колдуньи. Взгляд ее огромных черных глаз на первый раз казался странным, потому что редко приходится встречать такой взгляд: он был то тускло мрачен, то вкрадчиво ласков, но не жесток и не нагл.

Ротный писарь, сочинивший в нетрезвом виде стихи, всегда старался столкнуться с ней и осветить свое грустное лицо кокетливой улыбкой.

Самойлов, в день прибытия, когда командир, ложась на только что приготовленную постель, вздохнув, сказал: «Э-хе-хе! Скука», возразил: «Теперь, ваше благородие, от скуки развлечение есть; хозяйская дочь...»

— А ты уж подъехал?

— Где нам с грязным носом в золотую табатерку. Только глазами пострадал...

Вечером Иловлин пошел посмотреть Майро и, столкнувшись с ней в дверях, невольно дал дорогу красивой девушке. Сделав несколько шагов, он обернулся, чтобы еще раз на нее взглянуть; она тоже обернулась...

Красивый офицер, в свою очередь, произвел на нее впечатление. Так часто бывает, что незнакомые между собою мужчина и женщина оборачиваются друг к другу и в то же время у обоих пробегает мысль, что это их первое и последнее свидание. Майро не покраснела и не потупилась. Как был великолепен этот взгляд и как много любезностей мог бы наговорить Иловлин по поводу ее глаз! Но вся беда была в том, что он не говорил на известных ей языках, а она ни слова не знала по-русски. Впоследствии она выучила слова — «здравствуй» и «хорошо», а Иловлин несколько фраз по-турецки.

Раз он ей сказал: «Бен сизи пек северим (я тебя очень люблю)» — и, считая, что исполнил свой долг, хотел ее схватить и поцеловать; она увернулась и, сказав: «Хорошо... здравствуй!», убежала от него в дом.

III

Жизнь в О* текла спокойно и однообразно. Что было вчера, то было и сегодня. Солдаты чистили и приводили в более подходящий вид свои помещения и занимались между собой разговорами о родине, штаб-квартире, вкусных щах и «замирении». Иногда роты совершали, по распоряжению штаба, военные прогулки в сторону соседних селений, чтобы показать туркам, что нас много. Самойлов, исполнявший роль повара при офицерах, измышлял, как бы издобыть что-нибудь для офицерского стола, кроме баранины и кислой капусты, и соперничал в шутках с денщиком Вьюшина. Офицеры делали то же, что и солдаты, но их беседы о мире и прочем отличались более глубокими соображениями.

Они были очень рады, что попали в отдел, потому что за последний период кампании все в полку изнервничались и надоели друг другу до тошноты.

Общая участь, связующая военное общество на войне, в то же время служит и причиною их раздоров. Честолюбие в хорошей армии особенно сильно в начале кампании, когда люди еще свежи, и после войны, когда самый главный вопрос, о жизни и смерти, исчезает; оно порождает зависть и служит первым источником вражды. Люди стараются отличиться один перед другим, хотя никто не желает быть убитым. Втайне каждый хочет остаться жив, и часто, сидя где-нибудь в общей походной столовой, офицеры смотрят друг на друга и думают: «Кого раньше убьют, тебя или меня?» Если вы связаны с вашим товарищем чувством дружбы, то думаете про себя: «Сохрани его господь! Я не желаю его смерти, но, конечно, сам не хочу быть убитым или потерять ногу или руку...» Нет правила без исключения, и есть люди, которые жертвуют своею жизнью за другого, но такие герои редки. Война тянется; сегодня убьют одного, завтра ранят другого, и мало-помалу общество полковых офицеров редеет. «Сегодня я остался цел, в следующем деле может быть то же, да наконец и меня щелкнут...» — думает каждый про себя. Эти мысли становятся общи, и, вследствие такого однообразия, все становятся друг другу скучны и даже противны.

Что касается Иловлина, то уже на третий день ему казалось, что он давно живет в О*, как это всегда кажется людям, привыкшим в течение года чуть не ежедневно сменять места по барабанному бою. После всех пережитых им треволнений он впал в какую-то апатию и был не прочь пробыть здесь долго, пока какое-нибудь новое событие или весть издалека не пробудили бы в нем новых желаний.

Из селения О* открывался вид на всю эрзерумскую долину, окаймленную обнаженными горами, на вершинах и пологих скатах которых лежал серебряный снег. Глубокий снег лежал и во всей долине; тот же снег лежал и в селениях, и только дым и черные, закоптелые буйволятники темными пятнами обозначали жилье. Истоки Евфрата тоже замерзли; вьюга, налетая иногда на реку, сдувала снег, и тогда обнажался лед; снег и холод царствовали повсюду. Водяные мельницы замерзли. Под снегом укрылись и эрзерумские бастионы, и в их сверкающей одежде трудно было отличить пушечные дула. Над Эрзе-

румом днем вился мирный дым из труб, а ночью стояло слабое желтоватое зарево ночных огней. Только звонкий скрип гибкого дощатого пола и громкое шуршание бумаги в окнах напоминали ему, что он живет в азиатском доме.

И всюду, кругом, царствовала тишина, но не благодатная, а тишина кладбища и изнурения. Только горы с их серебряным снегом глядели бесстрастно и строго; как сердитые морщины, темнели их балки, круто вившиеся кверху все уже и уже и кончавшиеся огромными обледенелыми камнями. Над вершинами стоял будто белый туман; это снег, точно прозрачный саван, вился и носился, подхваченный вьюгой, с вершины на вершину гор. Ветер иногда спускался в долину и шумел по ночам в селении, заглушая редкие возгласы сторожей и вой собак. Это был сердитый и мрачный ветер. Он облетел госпиталь в тылу отряда, пробежал вершины деве-бойнской позиции [5], надышался около трупов лошадей и забытых турецких солдат, везде видел страдания и смерть и, сам отравленный, летел далее и всем, не спавшим от печали или болезней, шептал на ухо: «Смерть, смерть и холод!»

IV

Однообразие стоянки в О* было нарушено, на четвертый день после прихода рот, проездом генерала Геймана [6]. Иловлин был предупрежден, и так как генерал хотел видеть солдат, то перед его прибытием роты выстроились у дороги. Солдаты кое-как старались привести себя в парадный вид. Все вышли в шинелях; впрочем, полушубки еще не были подвезены, так что выбора и не было. Можно себе вообразить, в каком печальном состоянии находилась солдатская одежда: штаны с прорехами, мундиры совершенно канареечного цвета и с чем-то вроде разоренных гнезд под мышками от частых и безуспешных починок; все, впрочем, прикрывалось серыми шинелями. Шинели носили яркие следы от походных случайностей; они были покрыты всевозможными разводами и пятнами; полы стали обрамляться бахромой, и самая шинель закорузла и сбилась в складки от намокания, высыхания, промерзания и других причин. У многих солдат при выступлении в бой, 3-го октября, под Авлиаром [7], было взято с собой по одной смене белья, и очевидно теперь они донашивали

одни швы. Не у всех были и сапоги, и рядом с сапогами виднелись самодельные поршни[8] и лапти. Только амуниция и винтовки были в исправности и отточенные штыки сверкали. Изможденные и исхудалые лица поросли бородой, и глаза ввалились и глядели сурово. Тем не менее, когда махальный крикнул «едет», солдаты стали живо разбирать ружья, подшучивали друг над другом и делали разные предположения по случаю приезда Геймана.

— Старик попросту не едет! Сначала по-нашему обругается, а потом сейчас в битву...

По команде «становись» и «равняйся» роты стройно выравнялись, и лица как бы застыли в ожидании.

Наконец на левом фланге послышались звонкие удары копыт о мерзлую землю, и Гейман подъехал верхом, в сопровождении одного адъютанта и небольшого казачьего конвоя. На генерале было форменное пальто с барашком и между длинными седыми бакенбардами белелся Георгиевский крест 2-го класса, полученный им за Деве-Бойну; легкая черкесская шашка висела сбоку. Левую руку, вследствие старой раны в плечо, он держал на широкой черной повязке. На ногах были надеты валенки, обшитые наполовину черной кожей.

Поздоровавшись с ротами, Гейман улыбнулся и спросил:

— Хорошо ли вам живется тут? Вкусны ли пироги турецкие?

Солдаты что-то такое крикнули в ответ, и эти ответы перепутались в общем отрывистом говоре, перебиваясь хриплым смехом.

Затем Василий Александрович слез с лошади и, надвинув слегка шапку на затылок, окинул взглядом офицеров, приподняв слегка вверх свои дугообразные брови, подернутые частой сединой. Потом, слегка нагнувшись вперед и помахивая здоровой рукой, небольшими шагами пошел вдоль фронта, задавая по временам короткие вопросы. Он говорил несколько бася и отрубал слова, точно командовал «на плечо!» или «рота, пли!». Вследствие долголетней боевой службы и жизни между солдатами он никогда не задумывался над тем, что и о чем говорить, за словом в карман не лез и для убедительности приправлял свою речь крепкими русскими выражениями. Солдаты провожали глазами его высокую худощавую фигуру.

— Ну, вы тут не отъелись, молодцы... И рожи вытянулись... Тебя как зовут?

— Яков Дмитриев, ваше превосходительство,— отвечал стройный солдат с ястребиным взглядом, выпячивая грудь колесом.

— Какой губернии родом?

— Симбирской.

— Значит, к морозу привык... Отчего у тебя Егория нет?

— Не заслужил, ваше превосходительство!

— А ты там,— обратился генерал к черненькому худому солдату в задней шеренге,— что шею вытянул, точно петух?.. Поди сюда! Не ты, не ты! Вот этот: лопоухий!.. Ты не из жидов ли?

— Никак нет,— отвечал обиженным тоном солдат.

— Ну, виноват... Э! да у тебя крест на груди? За что получил?

— За сра-же-ни-е двадцатого сентября на турецких высотах,— отвечал тот, точно повторяя заученный урок.

— На турецких? да тут, брат, все турецкие, да только теперь наши стали... Ну, молодец! Дайте ему рубль...

Потом, выйдя опять на середину, генерал поблагодарил солдат за службу и сказал:

— Теперь отдыхайте спокойно, только не очень! А придет время, вот этот самый Эрзерум штурмовать будем! — И Гейман протянул руку по направлению к Эрзеруму.— Знаю, что вам тяжело, мои молодцы! И мне, старику, тяжело! Что делать? Будем терпеть. Я надеюсь на вас. Вы герои. Мы победили, и эту крепость возьмем и победим! И вперед пойдем — опять турецкие морды бить будем! Смотрите же, поддержите честь кавказской армии!

Кто-то крикнул «ура», и резкое «ура» несколько раз прокатилось по рядам. Веселые глаза Геймана как будто затуманились, он был доволен и, повернувшись к Иловлину, сказал: «Дайте им по чарке водки», и отпустил солдат, повторив, что «теперь они могут отдыхать спокойно и поправляться». Слушая Геймана, Иловлин невольно вспомнил последние слова его приказа, отданного за четыре дня до деве-бойнского сражения: «Теперь, боевые товарищи, мы поистине завоевали себе спокойные зимние квартиры в сердце Анатолии...» [9]

— Ну, что, как вы кормите солдат? — спросил его Гейман.

Иловлин приложил руку к козырьку и что-то промычал.

— Опустите руку... Покупаете у жителей?..

— Так точно, ваше превосходительство; только здесь муки почти нет, большею частью все выдаем в зерне.

Генерал нахмурился.

— Да, да, да... Ручные жернова вам прислали? Нет? Так пришлют на днях,— продолжал он, как будто сконфуженным тоном,— раздавайте в роты и мелите, мелите; понимаете? Это мой интендант придумал... Раздайте и заставляйте скорее молоть... Понимаете?

— Понимаю, ваше превосходительство!

— Где у вас тут отогреться можно? Ведите меня в ваши апартаменты...

Гейман зашел в офицерскую комнату, от чая отказался, выпил своего вина, которое вез за ним казак, посидел немного, обошел госпиталь и уехал.

V

Вскоре после проезда генерала в О* дошел слух, что в тылу отряда тиф сильно увеличился и что кое-где он уже появился и в блокадных войсках. Этого только и недоставало! В О* было десятка два больных, но не тифозных, и ожидание неприятного гостя производило на всех нехорошее впечатление. Заелов, Чирков и отец Андрей каждый раз, сидя вместе за обедом, среди общих разговоров и шуток, вспоминали об эпидемии. Есаул Заелов, для поддержания бодрого духа, подправлял себя водкой; Чирков спал восемнадцать часов в сутки, а отец Андрей вздыхал и говорил: «На все божье изволение, и ему надо покоряться...»

Иловлин не говорил о болезнях, и разговоры о них товарищей его раздражали. Перемена жизни и переход от движения к бездействию на нем сильно отразились: то у него проявлялась сильная впечатлительность, то он погружался в болезненную апатию. В последнем случае он становился мрачен, молчалив и, подражая Чиркову, по целым часам валялся на постели, после каждой еды. Он чувствовал себя как будто разбитым, война казалась ему злодеянием, все было гадко, все страсти ничтожны, тоска хватала за сердце, и вся долина Евфрата казалась одним огромным кладбищем, покрытым серебряным покровом... Тиф представлялся невидимым, воздушным чудовищем, безжалостно опускавшимся над этим кладбищем еще живых людей... Как бы хорошо было перенестись, по щучь-

ему веленью, куда-нибудь подальше, в родной деревенский дом, и там жить и отдыхать среди здоровых русских снегов... Но, увы! Это невозможно... Судьба решила жить здесь и умереть, когда смерти это будет угодно... И что такое смерть и какое это странное слово? Придет, и никакая борьба с ней невозможна; начнет косить направо и налево. Все умрут: Чирков умрет, и денщики умрут, и он умрет; отец Андрей отслужит над ним панихиду и тоже умрет; и всех их здесь похоронят как-нибудь, навалят одного на другого в мерзлую яму и засыпят. Когда настанет мир, все живые уйдут отсюда с музыкой и с песнями и останутся только они одни — Чирков, денщики, он и отец Андрей — под твердой землей, без движения и света, вдали от родины...

Тяжка и безотрадна такая смерть! И все эти желтые, голодные собаки, которых такое множество, будут по ночам выть на их могилах и скресть лапами землю. Только Мариам, может быть, вспомнит и, пройдя мимо, скажет «хорошо» и «здравствуй». «А уж какой тут здравствуй, когда я не только не буду здравствовать, а просто буду мертв... Черт побери! Тогда я непременно явлюсь майору Порошину и сделаю ему такую рожу, что он с ума сойдет от страха... Собачья жизнь!»

Такому мрачному и мечтательному настроению духа много способствовало общество священника и Заелова. Заелов был действительно странный человек, как по характеру, так и по своему прошлому. Он имел довольно хорошие средства, получил хорошее образование, но после какой-то романтической истории бросил Россию и поступил в линейные казаки на Кавказ.

Все в нем казалось Иловлину странным и необыкновенным. Он редко улыбался, и даже когда улыбался, то только губами. Остальные черты его бледного лица сохраняли по-прежнему строгое и неподвижное выражение. Его острые, цвета стали, глаза хотя смотрели прямо и смело, но взгляд их редко искал встретиться с взглядом собеседника. Казалось, Заелов искал в воздухе видимую ему одну какую-то личность или смотрел только потому, что у него были глаза на месте; видел же только мыслью, которая, помимо участия в разговорах, была еще занята беспрерывно чем-то тайным и, может быть, не разгаданным самим владельцем этих глаз. Таким представлялся он Иловлину. Вьюшин же, после первого знакомства с есаулом, сказал: «Веселый человечина этот Заелов! (хотя тот ни

разу не засмеялся). Но кабак ему открывать не советую: сам все выпьет и пойдет по миру».

Заелов был человек образованный и прежде много читал. Поэтому его суждения и рассказы были интересны, хотя и дики. Иногда он любил рассказывать странные истории, совершенно невероятные, и во всех этих историях он так или иначе участвовал. Можно было предположить, что он выдумывает из прирожденной любви к этому занятию или смеется над своими слушателями; но он рассказывал свои истории, несмотря на их небывалость, всегда как сущую правду, и в самых сомнительных местах его рассеянный взор становился многознаменательным.

— Вы,— говорил он Иловлину,— счастливее меня... Когда к нам подберется тиф, то, пожалуй, вас раньше всех хватит, потому что вы водки не пьете...

— Черт вас подери, Сергей Иванович! уж умирайте вы раньше, коли у вас есть охота...

— Да это пустяки... Поверьте, что умереть — это все равно что ничего!..

— Как ничего?! Может быть, вам ничего, а мне очень чего... Я не хочу сдыхать в этом кладбище.

Тогда Заелов начинал, как бы в утешение, развивать перед своим собеседником свою мистическую теорию о второй жизни, следующей непосредственно за смертью тела, приправляя ее разными необыкновенными историями.

— Вы наденете светлую оболочку и будете гулять по земле, где и как вам угодно. Все будет тогда представляться в другом виде и все желания, не сбывшиеся при жизни, сбудутся тогда как наяву и еще лучше...

Подобные разговоры хотя и были иногда интересны, но не способствовали поддержанию веселого и беззаботного настроения.

Наконец общество оживилось вследствие возвращения из полкового штаба Вьюшина.

В первых числах января к офицерскому дому подкатил фургон, и из него вылез веселый поручик. Самойлов, увидав его, широко улыбнулся и сказал: «Сюда пожалуйте, ваше благородие!»

Вьюшин поправил очки на носу, поздоровался с Самойловым и сказал: «Смирно!» Самойлов комически выпятил грудь, протянул руки по швам и, подняв голову кверху, сказал:

— Не дышу, ваше благородие...

— Что от тебя водкой не пахнет? Неужели в этом доме водки нет?!

— Второй день на монастырском положении.

— Да не может быть! Экое несчастие! На обед что будет?

— Суп без кореньев, сухари-мухари, битки на жаркое, а на кондитерское пирожное — что сами привезти изволите.

— Ох, битки, битки! Где же господа-то? Возьми полушубок!

Самойлов снял с Вьюшина полушубок и указал ему на лестницу. Приезду его все обрадовались.

— А, «танцмейстер»! здравствуй! — сказал Иловлин.

— Здравствуй, моя радость! И мороз же сегодня — страсть! Все внутренности застудил...— говорил Вьюшин, хлопая красными, как морковь, руками.— Что же, водки нет?

— Да вот всю выпили... Тут один казачий есаул...

— Не говори! Я понимаю все теперь! Это он сожрал всю водку; говорил я тебе сто раз, красота ты моя неописанная, не связываться с казаками, потому они верхом, и за ними не угонишься... Ну, угощай чаем, когда так!

— Стремглав самовар подаю! — раздался голос Самойлова из соседней комнаты.

Вьюшину было лет около тридцати; он был небольшого роста, скорее худой, чем полный, и ходил с перевалом. Рыжеватые усы имели вид подстриженных, а остальная растительность на лице росла кустами. Обыкновенно он говорил сиплым тенорком, в самом тоне которого слышалось добродушие; иногда он менял тон и переходил в искусственный бас. Офицеры любили Вьюшина за то, что он был добросердечный, хороший товарищ и веселый парень, обладавший счастливою природною способностью одним видом рассмешить общество. На последнем полковом празднике, под влиянием спиртных напитков, он протанцевал какой-то дикий танец, уверяя всех, что это канкан, за что и получил название «танцмейстера». Он никогда ничего не домогался, никому не завидовал, сердился очень редко и душевное равновесие поддерживал, еще в большей мере чем есаул, крепкими напитками. Он пил с одинаковым удовольствием и водку, и вино, и пиво, но находил, что пиво сравнительно неудобно. «Водка компактнее,— говорил он,— а для пивных бутылок надо держать особое помещение».

VI

Поздоровавшись со всеми, Вьюшин уселся на свою кровать и позвал денщика снимать с себя сапоги, намокшие от снега. Операция эта сопровождалась разными затруднениями; кровать ездила вслед за сапогом и становилась на дыбы; денщик кряхтел, хватался то за подъем, то за каблук, плевал на руки и, срываясь несколько раз, приговаривал: «Ишь, окаянные! Прилипли!»

На вопрос Иловлина, отчего у него опухло несколько лицо, Вьюшин объяснил, что четвертого дня он целую ночь не спал, встречая Новый год у воинского начальника в К*.

— Ральницкий... ты его, кажется, знаешь? Он, так же как и я, ненавидит хлебное вино...

— Ну, что у нас в полковом штабе делается?

— В карты играют и от скуки бесятся... Кажется, скоро дойдет до того, что кусаться начнут... А тут еще представления пошли за последние дела...

— Ах, голубчик! К чему меня представили?

— Тебя?.. кажется, к Станиславу на шею... [10]

— Это несправедливо; могли бы золотую саблю дать...

— Боже праведный! — воскликнул Вьюшин, затыкая уши.— И ты туда же лезешь? Избавь ты меня, сделай такую милость, от этих наградных разговоров! Людям жрать нечего; изорвались, измучились, а тут награды да кресты! Отчего мне золотую саблю не дали? Отчего мне Владимира не дали? [11] Погоди, может быть, все получим кресты, только деревянные... Ах, как я рад, что уезжаю из этой ямы! Уж так рад, что если б была водка, опять бы выпил...

— Ты говоришь, что ты уезжаешь? Куда уезжаешь?

— А меня посылают за годовыми вещами в Александрополь...[12] А ротой будет пока заведывать Чирков...

— Вот счастливец-то!

— Опять завидуешь!.. Да я, может быть, на дороге десять раз шею вывихну.

— Поручение можно тебе дать?

— Поручение давай... У меня этих поручений целая записная книга... Одному Порошину десять фунтов пиленого сахару и десять фунтов свечей. И на кой черт ему столько свечей, когда он в карты не играет и, кроме приказов, ничего по вечерам не читает? Должно быть, есть их будет... Больше всех надавал поручений Леман, немецкая душа; всего понемножку: свечей три фунта, подтяжки (зачем ему

подтяжки?), чаю полфунта, монпансье три коробки, сапоги взять у сапожника, четыре лимона, ваксы коробку и так далее... Что с этими лимонами станется, когда их довезу? Я тоже торопиться не буду, а уж покучу в Александрополе — страсть! Там теперь много разных дам наехало... Всех буду уверять, что я Эрзерум взял... Из одной гостиницы в другую, пока все буфеты не выпью... Какому-нибудь подрядчику сделаю неприятность на лице... На всех извозчиках переезжу... А уж отдыхать буду до бесконечности: сначала на одном боку полежу, потом на другом, а потом в баню, в баню!..

— Счастливец!

— Ну, вот, ты опять...

— Кто это счастливец? Покажите мне его! — сказал есаул Заелов, входя в комнату.— А, это вы, господин Вьюшин? С приездом вас!

— А что отец Андрей? — спросил Иловлин.— Обедать пора...

— А он сейчас сюда идет,— сказал есаул,— я только что от него. Опять встретился с женой Гуссейна. Да толку что-то мало... Я, собственно, не особенно ею интересуюсь; это по вашей части, молодые люди; но больше из упорства... И что за проклятая страна! Женщин почти нет, да и эта дрянь, точно волк, все в лес глядит... В конце концов — нехорошо!

— А хороша была ваша турчанка?

— Кажется, неважная... она все внизу шмыгает; там темно, так что и не разглядишь; но, в конце концов, полногрудая и талия тонкая.

— Как вы с ней объяснялись?

— По путеводителю; у меня есть старый турецкий путеводитель, составленный каким-то мудрецом. Там все, что вам необходимо в путешествии, разделено на отделы, например: «в ресторане», «в дороге», «в магазине» и так далее. По всем важным делам можете найти вопросы. Только вот беда: ответов я не понимаю, потому что турецкого языка не знаю... Например, скажешь ей: «совук-дур» (холодно), а что она отвечает, я уж не понимаю; быть может, ей тоже холодно, а может быть, и тепло... Сегодня неудачно; целое ведро помоев мне на сапоги выплеснула.

— А вы не приставайте к замужней женщине, господин есаул,— сказал отец Андрей, входя и расправляя бороду.— Зачем беспорядки у меня заводите?.. А еще степенным прикидываетесь; об отшельниках да столпни-

ках [13] беседуете... не похвально... Всей компании наше почтение!

— Здравствуйте, батюшка,— сказал Вьюшин,— ну, что, у вас в доме много больных?

— Пока, слава господу, было ничего... Человек пятнадцать разными болезнями, больше простудой и на желудок жалуются... А вчера сразу поступило трое, и все теперь в жару находятся. Кажется, сильная лихорадка... а может быть, и тиф.

Никто не ответил на это предположение...

— Будем надеяться, что бог помилует наше селение, и будем мы продолжать проживание в здравии и благоденствии; хотя какое же благоденствие, когда люди в такой печальной стране живут и холодают и все еще не предвидится надежды на скорое окончание войны. Тоже вот насчет питания: уж и мы едим — не ведаем что и как, а нижние чины пшеничное зерно вместо хлеба отваривают... Ведь тяжести в нем сколько? Ведь его, с позволения сказать, слон не переварит. Вот вы изволите в фургоне разъезжать! не поведаете ли нам что-нибудь утешительное?

— А вот интендант линию объезжает и нашел, что запасов по деревням сколько угодно, только пользоваться не умеют... Хочет магазины какие-то учредить. Вот тогда будет не житье, а масленица...

Все уселись обедать, и за столом начали толковать о разных злобах дня.

— Вчера мы одного турка поймали,— сказал Заелов,— который из города пробирался... Говорит, что он из окрестных поселян, а его деревня на трапезондской дороге... Может быть, врет, а может быть, и правду говорит... Если б захотел пройти незаметно, то, конечно, мог бы: валяй вон через те горы почью, если только не замерзнешь... Судя по его словам, в Эрзеруме дьявольский тиф. Каждый день по несколько сот человек мрет! Это что-то уж на чуму похоже... Во многих домах неубранные покойники валяются: хоронить не успевают... Насильно заставляют хоронить, да и то больше по ночам... Уныние страшное. А зарывают как попало: ковырнут раз, другой заступом, отроют ямку да кое-как землей засыпят, так что, в конце концов, у кого нога из земли торчит, у кого рука... Запах скверный...

— Тьфу ты гадость! — сказал Иловлин,— охота вам эти вещи за обедом рассказывать...

— Пожалуй, и до нас доберется...— заметил Чирков.

— Да уж чего добираться, когда добрался,— сказал Вьюшин,— в некоторых селениях уже такой тиф, что мое почтение... а вы думали что?..

— Одначе все ж не такой, как в городе? — спросил священник.

— Такой ли, не такой, а в Г* каждый день по пятку умирает. Да вот не далее как вчера ротный командир в К* в постель слег, а еще накануне мы с ним в ночное дело ходили...

— Какое дело? Ты-то зачем сунулся?..

— А я волонтером... Дело в том, что приказано было саперам какие-то турецкие работы уничтожить на Евфрате... Сапер послали взвод, а из К* велено дать роту в прикрытие... Вот, как наступила ночь, взяли они армяшку-проводника и пошли... и я пошел... Дороги никакой нет, все снегом завалено, так что без проводника идти и не думай... Представь себе: все канавы да канавы, вместо дорог-то, одна вдоль другой... Проводник эту местность очень хорошо знал и все по гребням шел... А мы за ним гуськом да потихоньку; скоро-то и идти было невозможно. Направо ступишь — провалишься; налево — тоже по шею в снег уйдешь. Чем дальше идем, тем больше наш проводник страху набирается; идет да возьмет и сядет на землю. «Чего он сел?» — «Иохтур иол!»; «Дороги, говорит, нет!» — «Дай ему!».

— Это что же дать-то? — спросил священник.

— Ну, понятно — в шею. Ну, дадут в шею, он сейчас — «вар, вар!» и опять идет... Ему-то в чужом пиру — похмелье... Дошли мы до переправы. Ночь чистая, ясная, луна светит во все лопатки... И представь себе — чертовщина! В каких-нибудь много полутора верстах, около ихнего селения, черкесы ездят, и пехота, так человек двести, куда-то идет... И все это видно как на ладони и нас видно!.. То есть до такой степени опасно, что даже не страшно стало!.. Начали саперы работать... Рота развернулась и присела кое-как... А ротный командир здорово заложил перед выступлением; все пристает к саперным офицерам: «Господа инженеры! позвольте огонь открыть!.. Перестрелку затеем и нам ее за дело сочтут!» Хорошо, что не согласились. Затей мы перестрелку, всех бы нас тут положили, потому что отступления никакого: одни канавы... И только мы убрались из этого «канавного похода» восвояси, как этот самый ротный командир заболел и теперь в тифе лежит...

— Должно быть, простудился в снегу,— заметил священник,— возможно, что и вовсе распахнувшись шел, так как вы изволили заметить, что он...

— Заложил слегка? Возможно...

— А сгоряча-то его и прохватило морозом... Тоже вот теперь сапожонки были, должно быть, худые; снега-то и наглотались... Вот к чему ведет употребление вина, да еще неумеренное. Ему бы выйти на бой со врагом тверезым, а с морозу как пришел — одну, две рюмки разрешил; ничего... Даже благо... то-то вот и есть!

— Да уж что говорить, отец Андрей, когда он теперь, быть может, к праведникам сопричтен...

— Сопричтен ли?

По этому поводу офицеры опять, благодаря Заелову, стали рассуждать о будущей жизни и затем незаметно перешли на награды. Посыпались чины и кресты, точно из рога изобилия. На улице между тем догорал день, и бумага в окнах из белой сделалась светло-серой; собеседники перешли в комнату Иловлина, где было посветлее. Неожиданный сюрприз, поданный Самойловым в виде тарелки с кишмишем и орехами, опять повернул разговор совсем в другую сторону.

Общество развеселилось. Вьюшин рассказал несколько не совсем скромных анекдотов, которые будто с ним случились; перешли на любовь, причем Заелов говорил, что любовь — это вещь удивительная и страшная, а Вьюшин — что ничего в ней удивительного нет. «Я как выпью, так сейчас и влюблен».

Между прочим, все удивлялись, как в такой грязной деревушке открылась такая красивая девушка, как Мариам. Один только Вьюшин, который был маленького роста и худощав, не одобрял ее красоты, находя, что она недостаточно толста, потому что женщина чем толще, тем лучше. Заелов находил в ней что-то фатальное и таинственное и подшучивал над Иловлиным.

— Уж вы не скрывайтесь! Я все вижу... Вы к ней неравнодушны... Если б я был помоложе, то непременно ее бы похитил отсюда... А вы только смотрите!

Затем Заелов нарисовал на двери довольно неумело женскую фигуру без ног и подписал «Мариам — будущая супруга капитана Иловлина». Лицо вышло кривое и ни капли не похоже на оригинал, но когда он намазал ей большие глаза, то лицо приняло сразу такое неприятное выражение, что Вьюшин воскликнул: «Экая ведьма! Толь-

ко метлы недостает...» В одном только Иловлине шутки о Мариам не вызывали смеха. С наступлением вечера офицеры надели полушубки и пошли немного прогуляться с отцом Андреем.

VII

В воздухе было морозно и тихо. Слежавшийся на дороге снег скрипел под сапогами. По направлению к Эрзеруму тянулась долина, покрытая белым, нетронутым снегом, матовая поверхность которого случайно искрилась от лучей луны; только в нескольких направлениях извивались и чернелись глубокие следы чьих-то ног. Нежные и округленные тени, точно воздушные берега, окаймляли вдали это серебряное озеро, а там, далее, было уже совсем темно... К этой картине больше всего шло безмолвие... Небо было чисто, и тысячи звезд светили дрожащими, холодными огнями в его темном пространстве. Над Эрзерумом держалось слабое зарево от вечерних огней, и в одном месте что-то то сверкало, то тухло.

— Эко небо какое чистое! — сказал отец Андрей.— Мир на небе, да на земле его нет.

— Да,— заметил Вьюшин,— пора бы в Россию...

— То-то вот и есть, господа вояки! Воюете, воюете, а потом и видите, что мир лучше... Кажется, чего лучше мира и спокойствия, а вы кровь проливаете. Оттого и болезни идут, ибо поднявший меч от него и погибнет [14].

— Теперь ведь святки, господа,— заметил Заелов,— деревенские девки в зеркало смотрят, воск льют... имена спрашивают у прохожих. А тут вместо красной девицы на буйвола наткнешься или на стаю собак.

— Это хорошо еще,— возразил Вьюшин,— если на буйвола... А если на турок? Вдруг им придет фантазия вылазку да ночное нападение. Вот тебе и будет суженый да ряженый...

— Ну, прощайте, господа! Девять часов, пора и домой, а то застынете...— сказал отец Андрей...

— А мы вас проводим, батюшка...

И вся компания, за исключением Вьюшина, который сослался на усталость, потянулась в дом бека...

В этом доме все было тихо. Только в одном слабо освещенном окне мелькали чьи-то тени. Все вошли в комнату к отцу Андрею.

— Милости просим,— сказал священник, зажигая свечу,— я сейчас пойду распорядиться кое о чем...

Заелов закурил папироску, а Иловлин сел и задумался. Он чувствовал какую-то тяжесть во всем теле, и в голове его беспорядочно пробегали отрывистые мысли: «десять фунтов свечей Порошину», «голова болит», «мир и звезды», «отец Андрей», «кладбище»...

В соседней комнате, где помещался фельдшер и прислуга, кто-то вполголоса, мерно и однообразно рассказывал сказку про несчастного Ивана.

— Пришел он к одному богатому мужику и спрашивает: не наймет ли кто меня на работу? — «Что тебе в год за работу?» — «За три года — полтора гроша...» Удивился хозяин и говорит: «Оставайся». Остался Иван и работал усердно; так три года и миновали. Хозяин и говорит: «На тебе, Иван, что заработал,— полтора гроша». Взял несчастный Иван полтора гроша и пошел куда глаза глядят. Шел, шел; лесом шел; полем шел; аж устал. Устал Иван, и захотелось ему напиться. Видит курган, а на том кургане верба стоит. И говорит он сам себе: «Взойду я на тот курган, потому где верба — там и вода, стало быть...» И взошел только, братцы мои, на курган — и видит глубокий колодец, и в колодце том глубоко, глубоко вода блещет. Как тут быть? Пить хочется, а припаса того, чтобы воду добыть, нет. И сказал себе Иван: «Брошу я эти полтора гроша в колодец. Если хозяин меня рассчитал за труды мои по милости божией, то должны они, гроши те, выскочить назад; а если не рассчитал он меня по милости божией, то гроши так там и останутся...» Бросил он гроши в воду, а они как пошли ко дну, так назад и не возвращались. И решил тогда Иван, что мало он служил своему хозяину, и пошел опять к нему. «Возьми, говорит, опять меня в работники...» А хозяин ухватился за него, потому работник хороший. «Что тебе, говорит, за год?» — «За два года — грош».— «Хорошо, говорит, оставайся». И стал жить Иван опять в работниках. Два года верно служил, грош получил и попрощался. Попрощался и к этому самому колодцу пошел и как кинул он туда грош, так оттуда как плеснуло, так обе дачи и выкинуло. И взял несчастный Иван свои два с половиной гроша и решил, что...

— Вот так-то и нам воздастся, быть может, за всю нашу службу,— перебил отец Андрей... и потом, постучав в перегородку, прибавил: — Эй, господин рассказчик! поставь-ка нам самоварчик, да поживее!..

VIII

Тем временем, как гости отца Андрея расселись, сам хозяин хлопотал около кипящего самовара.

— Значит, опять чай пить будем? — спросил Заелов.

— А что ж? — возразил отец Андрей,— с холоду да с морозу и согреться не мешает. Чай — дело доброе. Я, когда в семинарии обучался, до страсти любил чай: бывало, в компании стаканов десять проглотишь, так что от тебя от самого жаром, как от самовара, пышет; при этом с полсотни сухарей заешь, да и больше бы десяти стаканов выпил, да сахару жаль. Вот ароматные чаи пить не советую, потому от них сон пропадает... Я раз желтого чаю у одного купца напился, да потом такие чудеса видел, что не приведи господи...

— Что ж такое видели?

— А уж и рассказать не сумею... Явления разные и непонятные, и все это кружит, вертит в глазах и присмотреться не дает: словно будто бы хаос...

— Я это все испытал,— заметил Заелов,— от желтого чая действительно одуреть можно ночью...

— А что, батюшка, вы бы пошли один ночью на кладбище? — спросил Иловлин.

— В моем сане непристойно мертвецов беспокоить, а когда я еще в обучении находился, так, что греха таить, случалось. Бегал однажды на могилы и синеватые огни заприметил и в ту пору, стыдно сказать, испугался; а, конечно, эти огни имеют естественное происхождение...

— А в привидения вы верите?

— Религия не допускает суеверия и всякого прочего... а дьявольские наваждения изгоняются крестом и молитвою. Случается во сне неподходящие вещи видеть: это от сомнения, которое имеет происхождение недоброе. Впрочем, сон — то же, что газ: ничего от него не остается.

— Э, полноте! — заметил есаул,— разве сон не та же жизнь? Со мной во сне случалось столько интересных историй, что мое почтение; целые похождения! И сколько я видел во сне замечательных людей, которых, может быть, никогда не существовало и не существует... С одним господином я даже близко познакомился: отличный и добрейший человек! Как-то раз мне сто миллионов подарил! И совершенно шутя; вынул из кармана и говорит: «Вот тут сто миллионов, возьми себе». А я его всего раза три видел во сне, и вот уже пять лет, как он не является. Тоже была

история с одной знакомой дамой: наяву мы много, много что семь слов сказали друг другу, а во сне сама пришла ко мне и объяснилась в любви, и я сам в нее влюбился, и мы долго, долго были верны друг другу... пока я не проснулся... Так что и выходит, в конце концов, что жизнь есть сон, а сон есть воображение, а воображение — жизнь, и, в конце концов, все идет крýгом, в котором нет ни конца, ни начала...

— Ну, уж это что-то мудрено, господин есаул! По-нашему, жизнь — это явь, а сон статья особая. От сна ничего не остается, а от жизни-то спина болит. Вот вы, вместо философии-то, расскажите нам что-нибудь страшное; вы мастер выдумывать...

— Я ничего не выдумываю,— несколько холодно отвечал Заелов,— и верить никого не принуждаю... А вы вот, батюшка, расскажите нам лучше историю, которую еще третьего дня обещали, а уж я после вас...

— Это про старуху-то?.. Ну, извольте; отчего не рассказать; времени здесь не жалко... Изволите видеть, это было лет тридцать тому назад; одиннадцатый год шел мне тогда. Родитель мой был священником при храме святого чудотворца Николая, в городе П *. Городишка маленький, вроде деревни, но древний; народ равнодушный, так что на церковной крыше даже рябина выросла. Одначе приход был доходный; жили мы в двухэтажном деревянном доме, и жили хоть не богато, а достаточно. Я в те поры в приходской школе обучался и страсть любил с мальчишками в бабки играть в церковном саду... А к той церкви каждую всенощную приходила одна старуха, согбенная старуха, с клюкой и маленькая... во какая! Сама одета бедно, и на голове черный платок наворочен; как есть колдунья... Мы, мальчики, известно,— озорники, пристанем, бывало, к ней, когда она на паперть идет, и дразним: «Бабушка! почем песок продаешь?..», но рукой никто к ней не прикасался. И никто не знал, не ведал, где эта старуха жила... И к обедне никогда она не ходила, а только ко всенощной. Кто-то из нас возьми да и выдумай, что она у самого черта на болоте живет; на болоте да на болоте... Вот, подите, какая у детей фантазия явилась. Как-то раз после вечерни играли мы в пятнашки... Дело было уже в сумерки... Я куда-то убег. Бегу, бегу и как раз на эту самую старуху и наскочил. Точно меня кто подтолкнул: «Бабушка, говорю, правда, что ты на чертовом болоте живешь?» А она как вспыхнет, палкой мне загрозила и говорит: «Я тебе, поповский

сын! Я тебе дам! Попомнишь ты меня!» И так злобно она это сказала, что я от нее поскорее тягу да домой. Дома, конечно, успокоился, но все же после ужина рассказал старшему брату. «Так и так, говорю, страшная!» А он мне в ответ: «Глупый ты, глупый! спать ложись, «Богородицу» прочитай, вот и все»... Мы с братом в одной комнате наверху помещались; он, примерно, у этой стены, а я насупротив его. Ну, хорошо-с!.. Брат свечу потушил и вскоре заснул, а мне не спится, сам не знаю почему: не то чтобы я о старухе думал, а так что-то... Ночь была тихая, теплая, и луна так ярко светила в окно, что казалось, будто пол кто мелом натер... Ветер чуть ворошил деревьями у окна, и тени на полу качались и будто плясали... А в саду-то — благодать ночная, аромат и все что-то стрекочет, тихо, тихо посвистывает и шелестит... Вот я лежу и думаю себе: «Отчего так ярко луна светит, как будто «перед чем-то»... и отчего я так чутко слышу все, что в саду происходит?» То есть ветка в самом конце сада чуть треснет — а я и это слышу... Что за притча? И обо всем этом думаю, а в саду все стрекочет, все посвистывает, а ветки-то по полу качаются из стороны в сторону, лениво так качаются... Думать-то думаю, а лоб перекрестить забыл... Вдруг собака завыла... Я встрепенулся, а в окне тень появилась, уж иная тень-то... Что такое?! Собака воет глухо, протяжно, как будто меня одного предупреждает... Завыла и умолкла... И в саду все притихло... И стало мне страшно... А брат мой лежит, не шевельнется и так крепко спит, что будто не дышит, и от луны бледно-зеленый выказывается... «Ваня, говорю, а Ваня! ты спишь?..» А он не ответствует, потому громко не могу выговорить: грудь захватило. Мне бы молитву сотворить, а я о ней будто бы позабыл; позабыл о молитве-то... Все замолкло кругом; тишина вдруг стала такая, будто я куда в воду нырнул... И пуще мне стало страшно, потому для малолеток страшнее безмолвия, да еще ночного, ничего невозможно придумать. Вот я лежу, и страх и ужас меня разбирает, а от окна глаз отвести не могу. Кажется, куда-куда, а туда бы не смотрел, а глаза сами направляются против воли...

— Как это странно все...— заметил Иловлин, слегка побледнев и устремив неестественно блестящие глаза на Заелова.

— Все случается; мало ли тайн в природе?..— сказал Заелов, значительно взглянув на него.

— Что вы на меня так странно смотрите?..

— Никак я на вас не смотрю; это вам мерещится,— отвечал с удивлением Заелов.

— Что вы говорите... Майро?

— Какая Майро?.. Я говорю — мерещится, а вы — Майро. Перекреститесь! Верно, у вас эта девица из головы не выходит?.. Я и не думал о ней...

— Извините... У меня просто в ушах шумит...— сказал Иловлин,— продолжайте, батюшка, не обращайте на меня внимания... мне что-то не совсем хорошо...

И он украдкой, как будто желая скрыть от присутствующих, взглянул в угол, откуда чей-то тихий и неотчетливый шепот скороговоркой повторял: «Тебе нехорошо, мне нехорошо, ему нехорошо... Майро тебя ждет, Майро тебя ждет...»

IX

— Продолжайте, отец Андрей! — сказал Заелов.

Отец Андрей откашлялся, хлебнул из стакана чаю и продолжал:

— ...И вижу я, что липовые ветки расступаются и подымается в окне та самая старуха, что у черта на болоте живет; поднялась во весь рост и стала в окне. Господи, твоя воля! Обомлел я совсем, души не чувствую... И брата Ивана не вижу, как будто он с кроватью своею вон куда уехал. Хочу крикнуть, а она мне: «Тс-с» и, как кошка, на потолок прыснула и надо мной повисла... Тут уж я не выдержал и как крикну благим матом... Она сейчас на окно и в липу, и вижу — уж около меня брат стоит, точно он из мглы какой вынырнул. «Что, говорит, с тобой?» — «Ты разве не видел?» — «Не видел...», а сам трясется, а уж я — и говорить нечего... Одначе вы, капитан, кажется, почивать хотите? — прервал свой рассказ священник, поглядев на Иловлина.

— А?.. Я?..— встрепенулся Иловлин, как будто пробуждаясь от сна,— голова у меня что-то болит и шею ломит... Не пойти ли прилечь?..

— Да, самое лучшее, идите спокойно почивать, а то на вас лица нет... Вы уж не простудились ли?..— участливо спросил отец Андрей.

— Нет, ничего... Это пройдет...— И в глазах у Иловлина отразился какой-то животный ужас. Он наскоро простился со всеми и пошел к выходу...

Отпирая дверь, он услышал, что Заелов спросил вполголоса: «Уж не схватил ли он тиф?», а священник сказал: «Тс-с-с». Это его рассердило. «Как он смеет думать, что у меня тиф? болван эдакий!» Лестница была темна; он оступился и едва не полетел... «Черт возьми!» — воскликнул он с невыразимым раздражением и чуть не заплакал... «Да я серьезно нездоров; я нездоров серьезно...»

— Не ушиблись ли вы, капитан? — спросил священник, появляясь с фонарем, который он поспешно зажег, чтобы посветить гостю. Ступени крутой лестницы скрипели под ногами... Иловлин не отвечал.

— Не хотите ли взять с собой фонарь? Со светом-то лучше; собаки не пристанут...

— Что? Вы ужасно тихо говорите, батюшка!..

— Фонарь возьмите... Вы, бедненький, кажется, нездоровы... Полушубок запахните...

Иловлин взял фонарь, вышел на улицу и тихо пошел домой.

«Я серьезно нездоров,— говорил он про себя,— я, вероятно, простудился?.. Где я простудился? У себя в комнате... А может быть, я заразился тифом?»

И снег, скрипя под ногами, казалось, шептал: «Тиф, тиф!»

«Это уж не Вьюшин ли привез с собой заразу? черт его подери! Нет, нет! это пустяки! я не желаю болеть, не жела-ю...»

Мысли невольно перешли на Вьюшина и на покупки, которые он должен был сделать в Александрополе для офицеров. «Для Порошина десять фунтов свечей... И на что ему столько свечей? десять фунтов, десять фунтов? По полтиннику фунт, итого, итого... ах, боже мой, нехорошо...»

— Нехорошо! — сказал кто-то из-за угла, и какая-то прозрачная тень скользнула по поверхности снега и исчезла в воздухе.

Снег гораздо сильнее искрился теперь, чем тогда, когда он шел к священнику. Отдельные снежинки как будто вспыхивали то там, то здесь, в особенности когда их переносило ветром с места на место; тусклая мгла носилась кругом, и Иловлину чудилось, что он идет по огромной мрачной зале, освещенной блуждающими искрами. Черные следы от сапогов казались чернее и гораздо глубже... На половине пути Иловлин наткнулся на огромную стаю со-

бак, которые заворчали, завидев огонь, и одна за другой извивающейся вереницей скрылись во тьме ночи.

Иловлин дошел до своих дверей. Изнутри доносилось тихое, заунывное пение: это пела Майро свою обычную песню.

Ты пряди, моя прялка, пряди,
Сладкий сон на меня навевай!
Но, я слышу, мой милый подходит:
У ворот он стоит и стучит.
Что мне делать: уснуть ли глубоко
Или милому дверь отворить?
Сон придет, и пройдет, и вернется,
А мой милый уйдет навсегда...

В тихом пении Мариам слышались страстные, грудные ноты, а от оригинального восточного мотива веяло чем-то загадочным и волшебным. Странное чувство вспыхнуло в груди Иловлина, его сердце забилось скорее, и ему казалось, что он влюблен в какую-то волшебницу из арабских сказок.

Он открыл дверь и нервным голосом крикнул:

— Самойлов!

— Я не сплю, ваше благородие!

— Молчи, пожалуйста; не рассуждай! Давай спать ложиться; скорее давай!

— Да вы, ваше благородие, фонарь-то оставьте... Там свет есть наверху.

— Что? фонарь... возьми фонарь... Я, брат, болен, Самойлов.

— Спаси господи! К утру здоровы будете...

Вьюшин так крепко спал, что не слышал, как раздевался Иловлин и как он охал; как нарочно, только что последний улегся, он почмокал во сне губами, точно ел что-нибудь очень вкусное, и затем адски захрапел на всевозможные лады. Иловлину это показалось невыносимым, и он громко откашлялся.

Вьюшин проснулся и спросил:

— Что такое?

— Ты ужасно храпишь!

— Черт тебя возьми! разбудил на самом интересном месте...

И Вьюшин так неосторожно повернулся на своей постели, что она провалилась.

— Так! — раздражительно сказал он и сердито вскочил поправлять кровать...

У Иловлина быстро усиливался жар в голове...

— Ну, что вы там делали у попа? — спросил Вьюшин, снова укладываясь.

— Что?.. Заелов говорит, что при тифе за покупками надо с фонарем... А Майро я не могу так оставить; не могу...

— Что ты там такое городишь? — И Вьюшин, приподнявшись на локте, озабоченно взглянул на Иловлина.

— Заговоришь тут,— отвечал Иловлин, лениво поворачиваясь,— когда голова трещит и горит... Я болен...

— Что у тебя, голубчик?

— Голова болит... Постой, тс-с-с... кажется, стреляют? — И Иловлин насторожился: — Слышишь, слышишь?..

— Ничего не стреляют... Это внизу лошадь кашляет... Тебе кажется...

— Ей-богу, мне кажется... честное слово, мне кажется, что стреляют!.. Не поднять ли роты в ружье? А? Что ж ты молчишь? Господи! — И Иловлин тяжело откинулся назад и ударился головой о стену.

Затем он чувствовал, что ему кладут холодное полотенце на голову, кутают ему плечи, чувствовал, что это его освежило, и несколько минут как будто спал...

Но скоро полотенце согрелось, опять зашумело в ушах, мысли стали путаться, и шум быстро обратился в правильное музыкальное созвучие, как будто играли прелюдию к какой-то огромной драме, которую он давно, давно ждал, а может быть, и видел. Эти звуки были в одно время и торжественны, и печальны, и жалки, как будто играло множество маленьких дребезжащих труб...

X

Иловлин широко раскрыл глаза и увидел в блестящем розоватом тумане женскую фигуру. Это была Мариам, но не та молчаливая Мариам, которая пекла внизу лаваши и баранину, а совершенно преображенная, хотя определенно нельзя сказать, что в ней было нового. Первое, что в ней было удивительно,— это то, что она заговорила по-русски. Но сначала она говорила отрывисто, с большими промежутками и неправильно, потом все лучше и лучше и, наконец, совсем хорошо; только голос ее был металличен, звуки гортанные и страстные, южные...

— Что ж ты не подойдешь, Мариам? Милая Мариам, я люблю тебя! — сказал Иловлин.

— Я сама хочу подойти... я не могу... я нарисована и у меня красные глаза и нет ног... Я хочу к тебе подойти, но у меня нет ног; я нарисована...

Ему стало страшно оттого, что она нарисована: ведь это была злейшая казнь, какой не придумал бы сам Иван Грозный. Но вместе со страхом в его груди бушевала страсть. «Я тебе не верю,— говорил он,— глаза твои черные, а не красные... Подойди, Мариам! Подойди, Мариам!»

Чудно прекрасна была издали эта девушка — видение, потому что ничто не может с видением сравниться. Ее черные и извивающиеся волосы, то падавшие на плечи, то свивавшиеся в косы, имели сверкающий оттенок, и концы их сливались с мраком; матовое лицо освещалось блеском великолепных глаз, то диких от ужаса, то страдающих, то сладострастных; ноздри раздувались, а красные, как кровь, губы были полуоткрыты. Иловлин видел черты ее лица так ясно, как будто оно было у самых его глаз. От головы ее вниз, подобно хитону, падали легкие складки одежды и, волнуясь, принимали медленно мягкие формы. Как будто сверхъестественный огонь освещал изнутри голову Мариам. Чудно прекрасно было это лицо с его молящим и страдальчески страстным выражением!.. «Приди же!» Все потемнело и исчезло...

Опять озарилась комната слабо-голубоватым светом, который будто вливался из окна, подобно бешеному потоку, и все ярче заполнял комнату. В круговороте этого странного света носились отдельные, тонкие и легкие, как эфир, то лоб с глазами, то розовые щеки и глаза, то нос, один глаз и густые волосы, стоящие дыбом. Жара была невыносимая. Из-под пола подымались горячие ароматы. Около постели стояло что-то высокое, белое. Складки зашевелились, и упругое, стройное колено, точно покрытое нежно-золотистым атласом, оперлось на постель. У Иловлина страшно ныли ноги, руки и грудь, будто из нее тянули все ребра, и знойный жар жег ему кожу.

— Вот я и пришла,— шептала Мариам,— я больше не нарисована... Это ты меня вызвал... Ты сказал такое слово, которое меня освободило... Я тебя люблю, мой милый!.. Ты мой, и я твоя, потому что ты и я — это одно и то же. У меня теперь есть ноги... Ужасно красивые ноги...

Она поднялась на воздух, и он увидал стройное, точно изваянное великим художником, обнаженное тело Мариам.

Иловлин смотрел и не мог шевельнуться. Потом вдруг ее голова наклонилась, и она впилась губами в его шею...

— Мне душно... мне жарко...— сказал он.

Тогда она положила ему холодную руку на голову. Сладостное чувство пробежало по всем его членам, и он закрыл глаза.

— Что ж ты не смотришь? — со стоном говорила Мариам,— вся сила в твоем взгляде... смотри же!..

Но Иловлин, как ни силился, не мог поднять век...

— Открой глаза! — говорил умирающий голос Мариам... «Открой!» — доносилось откуда-то издалека. «Смотри»,— шептало что-то, и все тише и тише. «Смотри... три... три...» — и все затихло совершенно, все исчезло и все забылось.

XI

Товарищи Иловлина были очень озабочены его болезнью и все искренне его жалели. Вьюшин, хотя и торопился в Александрополь и вовсе не желал последовать примеру своего приятеля, тем не менее решил прождать до приезда доктора. Самойлов ухаживал за своим барином как настоящая сиделка, спал очень мало и поспевал в то же время готовить обед. На другой день, вечером, к больному пришла Мариам. Она вошла в комнату робко и нерешительно. На столе горела свеча, прикрытая чем-то от глаз больного, а на полу, примостившись кое-как, дремал Самойлов. Доски скрипнули, и Самойлов встрепенулся.

— Что, черноглазая? Пришла за нашим командиром ходить? Сиди, сиди! дело доброе.

Мариам грустно улыбнулась, сверкнув своими белыми зубами, и осторожно протянула свою узкую, смуглую руку к голове Иловлина. Затем между денщиком и девушкой произошел разговор на непонятных для каждого в отдельности языках, и Самойлов, одобрительно погладив ее по плечу, прибавил: «Смотри, примочку почаще меняй и не спи... А я пойду с горя-веселья выпью; и туда, и сюда... вар бельмес?» *

Заключив, таким образом, двумя иноземными словами свою речь, Самойлов вздохнул и спустился вниз. «Ежели, чего боже оборони, барин мой скончается,— говорил он, крутя цигарку из бумаги,— так меня сейчас из командир-

* понимаешь? *(тюрк.)*

ских денщиков в рядовые разжалуют... Вот тебе и коврижка!..»

— Да-а! — сказал, зевая, денщик Вьюшина,— а мы с барином в Рассею едем за провизией...

— Дураки вы оба, как погляжу я на вас,— с презрением сказал писарь-поэт.— На войне находитесь не для того, чтобы в Россию кататься, а чтобы в человеческой крови быть. Нет в вас проку, нет и толку; вам уже начешут холку!

Оставшись одна, Мариам села у изголовья Иловлина и устремила свой загадочный взгляд в его исхудалое лицо. Иловлин тяжело и быстро дышал, разбрасывал иногда в стороны руками и бредил, а Мариам, склонившись к его лицу, продолжала на него смотреть своим глубоким взглядом.

В О* не было доктора, и только дня через два приехал молодой врач из расположенного по соседству казачьего полка.

Первый, кто его встретил, был Вьюшин. Доктор вышел из фургона и, притронувшись к козырьку, рекомендовался: «Доктор Гусенков!» Голос у него звучал как надтреснутая винная бочка, и это сходство казалось еще более поразительным вследствие того, что от Гусенкова даже на морозе пахло спиртом. По странной игре случая, в таком положении находился и Вьюшин.

— Что, господа, и вас забирать начало? — сказал доктор,— а у нас, в казачьем полку, так косит, что мое почтение...

— Капитан Иловлин у нас болен, так вот мы за вами и послали... Пожалуйте с визитом!

— И визит сделаем, и больного посмотрим...— возразил доктор и потом стыдливо шепнул на ухо Вьюшину: — Спиритус вини водится?

— Найдем, дяденька! Вчера целое ведро достали... Вот насчет закусу — швах!

Гусенков повеселел и заметил, что в такое печальное время не до еды.

Затем, войдя в комнату и взглянув на Иловлина, он воскликнул:

— Хорош! нечего сказать... э-э-э!.. да я этого капитана знаю... Я его перевязывал... перевязывал; позвольте, дай бог память... когда?.. Он куда ранен?

— В ногу...— отвечал Вьюшин.

— Так, так... Именно в ногу... Пониже колена? В икру, не правда ли?

— Ну, нет! — И Вьюшин засмеялся: — Подымайте выше.

— Так, так... теперь я помню... В наружно-бедренную часть; я ему и повязку накладывал.

Вьюшин отлично помнил, что Гусенков никогда не перевязывал Иловлина, но не хотел его лишать удовольствия соврать лишний раз и промолчал.

Между тем доктор, подойдя к больному, откинул ему одеяло, пощупал пульс, измерил температуру и, отвернув рубашку, подавил в нескольких местах тело.

— Ну, что у него?

— Конечно, тиф... typhus exanthematicus *.

— Это что за птица такая?

— Пятнистый тиф.

— Вроде попугая, значит... А какие еще тифы бывают?..

— Мало ли какие бывают: бывают — typhus abdominalis, то есть брюшной, амбулаторная форма, как теперь везде распространена; наконец — typhus recurrens... **

— Так-с... А чем же этот сорт, что у Иловлина, лечить прикажете?

— Лед на голову кладите и температуру измеряйте... Если жар будет, мозговые явления заметите — лед; ванны недурно бы... А если пульс упадет, коньяку давайте...

— Этого льду у нас сколько угодно... Целую арбу на голову положим... Ну, а насчет измерения температуры — это, я думаю, лишнее... Не все ли равно? Допустим, что у него под мышками яйца сварить можно; температура, значит, высокая... Чем же мы-то тут поможем? Денщика на помощь звать? «Опускай температуру! Морозь его благородие!..» Вот вы нам лучше лекарств каких-нибудь пришлите... Олеум рицини или там ацидум муриатикум и разных этих «умов»; а мы ему и начпем в рот пихать для спасения души. Ведь у вас, чай, в кухмистерской-то вашей этих отрав достаточно?

— Пустяки вы, сударь мой, говорите... Вы вот лучше мне перехватить что-нибудь дайте! Заеду в ваш лазарет, да и домой спешить надо.

---

* сыпной тиф *(лат.)*.

** возвратный тиф *(лат.)*.

После этого разговора новые знакомые пошли закусывать, и Гусенков только на следующий день уехал в свое селение в фургоне Вьюшина, который направился в Александрополь выполнять предположенную им программу развлечений.

...Иловлин находился в полузабытьи, когда к нему подходил доктор, и слышал только некоторые слова, которые раздавались около него. Впрочем, он не давал себе отчета в значении этих слов, не знал, из какого мира они доносятся до его слуха, и оставался к ним безучастен. Он даже открыл глаза после ухода врача и видел не только комнату, в которой лежал, но и коридор, и часть следующей за ним темной комнаты. Но все эти помещения утратили в его глазах определенные размеры и казались то меньше и ниже, то, наоборот, гораздо больше. Тех, кто входил и уходил из его комнаты, он скорее угадывал, чем видел. Казалось, то были не люди, а блуждающие тени. Он отчетливо видел только Мариам, склонившуюся у его изголовья; это продолжалось всего несколько мгновений, но он успел уловить озабоченный и как будто суровый взгляд девушки и...

XII

...Он встал и подошел к окну. Окно было необыкновенно широкое, с одним огромным стеклом, до того тонким и прозрачным, что через него не только все было слышно и видно, но даже свободно проникал воздух. Иловлин чувствовал страшную жажду, тяжесть во всем теле и глубокую сердечную тоску. Это понятно, потому что он столько пережил; в недавнем прошлом произошло столько драм, и еще каких драм! Он жил, увлекался, забывался, свершал разные хорошие и дурные дела, стремился к добру и славе, но вдруг встретился с ней и влюбился... Все то, что было до того, не было настоящим чувством: то были обманы крови и воображения. Было суждено, что он встретит на таинственном пути жизни свою собственную мечту, тот идеал, который с первым сознательным взглядом на божий свет, с первым вздохом зарождается в душе и чувствах наших. Можно отогнать мечту, но если она воплощается перед вами, тогда никакие силы не могут противиться ее могуществу... Отказаться от нее — значит погибнуть... Но он не отказался и полюбил. Что такое затем произошло? Он никак не мог вспомнить. Не объяснит ли кто-нибудь, что такое произошло?

Окно выходило на пустынную улицу, покрытую снегом, ярко залитым светом, и было непонятно, откуда падал этот свет, потому что небо было черное. По ту сторону улицы стоял довольно высокий одноэтажный дом с закрытыми ставнями и плоской крышей. Цвет всего дома был темно-бурый, как будто его сделали из старого, прогнившего дерева. Над домом свешивались толстые потолочные бревна, от которых падали продолговатые тени. Кругом ничего не было и висел серый, густой туман, закрывавший все остальное от взоров. Как между цветами предметов, так и между светом и тенью все время сохранялся резкий, неприятный контраст, и тени ни на волос не изменяли свою темноту, а свет ни капли не слабел, не усиливался; туман не колыхался, точно был нарисован, и вообще все отличалось мертвенным отсутствием какого-либо движения и жизни. Ах, как скучно и тяжело было стоять у окна и смотреть на этот дом! В то же время Иловлин чувствовал, что на него направлены отовсюду невидимые взоры, озлобленно-ликующие взоры, как бы застывшие в ожидании того, что должно было свершиться.

Но вот вдоль крыши прошла человеческая фигура — медленно, беззвучно и осторожно, как будто бы боясь нарушить неподвижность света и тени; человеческая фигура прошла и села на одну из свешивавшихся над домом балок. На ней был надет длинный красный плащ, складки которого так быстро колебались, что казалось, были одарены жизнью и дрожали от страха. На голове у неизвестного был надет черный глухой капор, имевший со стороны лица форму маски. В стороне от красного плаща, верхом на бревне, сидел майор Порошин, притворявшийся совсем другим, чем он был, хотя было очевидно, что это он. Лицо его было сурово, и во время всего последующего он упорно молчал. Затем явилась еще какая-то личность, но ее трудно было разобрать: она говорила глухим и крайне неприятным голосом, точно из большой пустой бочки.

— Ну, подойди, преступник!.. подойди, арестант!..— сказал третий судья.

— Разве я арестант? — спросил Иловлин.

Третий судья захохотал и сказал иронически:

— Он не арестант? ха, ха, ха!

— Арестант! преступник! — сказало несколько озлобленных голосов.— Страшный преступник!

У Иловлина похолодело на сердце.

— Ты бежал в Александрополь... В А-лек-сан-дро-поль! Украл деньги, которые тебе дали на покупки, и растратил... Украл и растратил... Растратил, украл! Что? тысяча восемьсот семьдесят восемь рублей...

«Господи! — подумал Иловлин,— эдакая сумма! Ведь это от Рождества Христова прошло столько лет!»

— Я возвращу деньги,— сказал он вслух.

— Возвращу... ха, ха! Он возвратит?! Нет, брат! Тут уже возврата нет!

— Нет возврата! Нет возврата! — воскликнули те же голоса.

Он подумал, что все это дело затеяно майором Порошиным, которому он должен был купить десять фунтов свечей...

— Я возвращу свечи...

Но предложение это было отвергнуто, а Порошин выразил на своем лице удивление, как бы желая показать, что он даже не понимает, о каких это свечах идет речь.

— И все это произошло,— начал говорить тихим и грустным голосом красный плащ,— все это произошло от увлечений сердца... Ты влюбился в Мариам и погиб; не правда ли, что ты влюбился в Мариам?..

Сердце подсказывало Иловлину «да», но он покачал головой и сказал — «нет».

— Как нет?! — И в голосе красного плаща послышалась суровая нота. Красный плащ себя выдал. Под ним скрывалась Майро.

«Как же она меня судит за то, что я для нее сделал? — думал Иловлин,— надо признаться... Она тогда спасет меня».

— Да... я люблю ее...

— Вот видишь, какой ты негодяй, какой ты преступник! — сказала Мариам, но ее нежный голос противоречил словам.— Мало одной жизни, которую мы возьмем у тебя; за это надо тебя казнить два раза!..

Итак, предчувствие его не обманывало; его ждала казнь, и ужас все более и более охватывал его существо. Но и в эти последние минуты он испытывал болезненную сладость присутствия Мариам, хотя она была в числе тех, которые собирались отнять у него жизнь. «Какая она свирепая женщина! — думал он.— Как это чудно и странно!.. Я знаю, что она любит меня и сама тянет меня к погибели... И какой обман! Жестокий обман! А все же я люблю ее...» И все его мысли, казалось, немедленно же сообща-

лись Мариам, и в то время, как она увеличивала обвинения против него, звуки ее голоса становились все нежнее и мягче.

— Ну, защищайся, преступник! Говори что-нибудь, арестант! — грубо сказал третий судья.

И Иловлин торопливо, с необыкновенным волнением стал говорить все, что приходило на ум, сам не понимая ни одного слова из своей речи. Всякий раз, когда он останавливался, чтобы перевести дух, третий судья тотчас же погонял его словами: «Ну, говори! рассказывай, арестант!» А Порошин безнадежно мотал головой и презрительно улыбался, как будто желая сказать: «Знаем, знаем мы эти увертки! только они ни к чему не поведут...» Когда от нестерпимой жажды у Иловлина пересохло в горле и он не мог уже двигать более языком, явилась какая-то длинная личность и отвратительно-гнусавым голосом прокричала несколько раз: «Он знает по-французски! он знает по-французски!»

— Ну, говори по-французски, преступник!

Иловлин со страшным напряжением мысли стал говорить все французские слова, приходившие ему на память. Когда он умолк от усталости, защитник прокричал: «Он знает по-итальянски! Он знает по-татарски! Он знает по-армянски! Он знает по-александропольски!»

— Ну, говори по-александропольски, преступник!

Но преступник, вместо того чтобы показать свое необыкновенное знание даже александропольского языка, упал в изнеможении...

XIII

Затем начались разнообразные казни, которые, впрочем, не доводились до конца, а производились примерно. Иловлин всячески старался им противиться.

Дом, на котором сидели судьи, исчез, и вместо него явилось дымящееся пожарище. Догорал лес; густой дым обвивал ближайшие обгорелые деревья, но сквозь дым виднелись красные еще от жара, более отдаленные стволы. Оттуда, с большими усилиями и страшно медленно, тащили огромное бревно, чтобы раскачать его и задавить им Иловлина. Он в ужасе притаился за окном, в расчете, что его, может быть, не заметят. Но «они» как будто и не сомневались в том, что он их не избежит, и все их внимание было сосредоточено на огромном, тяжелом бревне... «Бо-

же! — думал он,— зачем такое огромное бревно? Ведь они меня раздавят им, как мышь!» «Ну, берись, что ли, разом! — кричали они,— разом берись!.. раз, два, три — бери!!» Хотя бревно было еще довольно далеко, но он уже чувствовал, как оно надавило ему на грудь, и... очнулся.

Тогда, по предложению кого-то, было решено заморить его молчанием, и в комнате наступило полнейшее безмолвие. Самойлов, Заелов, священник шевелили губами, но ничего не было слышно, и тщетно старался он сам извлечь малейший звук из своей груди. Тогда он стал молиться и услыхал биение своего сердца. В комнате раздался шум как бы прибывающей воды, сначала тихий, а потом все более и более громкий и, наконец, обратившийся в протяжный и свирепый рев. «Идут! Идут!» — раздался где-то вверху торжествующий голос, и вся стена исчезла. Перед Иловлиным открылся беспредельный океан, один вид которого может наполнить душу ужасом. Небо было серое и тусклое, а мутная вода моря казалась еще темнее. И все было мрачно и ужасно... Только где-то, в беспредельной дали, низко опустившаяся звезда отбрасывала вверх колеблющийся сноп света. Страшный ветер колебал этот бесконечный океан, и шумные волны, взлетая до неба, заворачивались в разные стороны, как исполинские водяные пещеры, а белая пена целыми облаками носилась под небом и исчезала в его тусклой беспредельности. По бушующим волнам, оглашавшим воздух протяжным воем, неслись прямо на Иловлина тысячи освирепелых собак, и на спасение не было никакой надежды. Последние минуты его настали...

Иловлин пронзительно вскрикнул, в отчаянии соскочил с постели и упал на руки к испуганной Мариам, входившей в это время в комнату. На этот крик прибежал Самойлов и уложил своего командира в постель.

— Ишь, даже с кровати соскочил! — говорил он, кутая больного одеялом.— Вот болезнь-то проклятая!..

XIV

Несколько дней Иловлин находился в отчаянном положении, но час его еще не пришел... Через две недели он начал поправляться. Тиф произвел в его памяти значительную перемену: он забыл, как он заболел, а также многое из того, что происходило в действительности до его

болезни; он только вспоминал одни за другими безобразные видения, которые его преследовали в бреду; по временам, в особенности вечером, ему казалось, что он действительно все это видел. Несколько ночей он с трепетом ожидал, что тиф вернется и опять ввергнет его в эту ужасную область призраков, но, к счастью, природа пересилила болезнь...

Тем временем эпидемия с страшной энергией опустошала войска блокадного корпуса. Сначала тиф свил себе гнездо в Эрзеруме. Бывали дни, что в городе умирало по триста человек. Среди населения и турецкого гарнизона царствовало уныние. В половине января тиф, значительно ослабев в городе, принялся опустошать наши войска.

В селении О* смерть безжалостно расстроила маленькое общество. Прапорщик Чирков, ожидавший производства в следующий чин «за отличие в делах против турок», заболел и умер через три дня. Отец Андрей, неутомимо ухаживавший за всеми, тоже слег. В двух ротах, стоявших в селении, ежедневно умирало по нескольку человек, и каждый день на ближайшем кладбище отрывались свежие могилы. Заодно умирали и мирные жители. Через неделю после того, как заболел Иловлин, Мариам заболела тоже. Какие видения посетили бедную девушку на ложе смерти — этого никто не знает, потому что она умерла, не сказав о том никому ни слова. Ее похоронили в тот день, когда Иловлин первый раз встал с постели и, с помощью Самойлова, мог сделать несколько шагов по комнате.

Через несколько дней, спустившись вниз, Иловлин встретился с отцом Мариам. Старик осунулся, постарел и, мрачно взглянув на капитана, ушел к себе, пробормотав какие-то слова.

— Это, кажется, хозяин? — спросил Иловлин...— Отчего у него такой странный вид? Разве он тоже был болен?

— По дочке горюет...— отвечал Самойлов.— Майро третьего дня хоронили.

При этом известии Иловлин пошатнулся и мгновенно вспомнил все, что до того будто туманом было затянуто в его памяти. Фея его призраков, прекрасная Майро, с ее кроткой улыбкой, с ее глубокими черными глазами, казалось, стояла еще перед его возбужденным воображением, как живая. Но в действительности ее уже не существовало. Несчастная девушка! Тот беспредельный океан, ко-

торый несся на Иловлина, поглотил ее, и возврата назад не было. Он вспомнил ее тихую песню, которая казалась ему таинственной, как она ухаживала за ним, вспомнил ее задушевный взгляд, когда она сидела у его изголовья, и мысль, что она, быть может, заразилась от него, наполняла его сердце тяжкою скорбью...

Он вспомнил свидание с ней в мире болезненных грез и ее страстные, жгучие поцелуи, и так как душа его еще не пришла в равновесие, то он и не отделял призраков от действительности. Напротив того, ему казалось, что он много пережил за время болезни и что между ним и Мариам произошла целая жизненная драма. Вечером, когда Иловлин остался один в своей комнате, им овладело уныние и страх; опять, казалось, кто-то нашептывает тихим голосом непонятные речи, и в случайных отблесках окутанных серою полутьмою окружающих предметов, казалось, и там и здесь сверкали черные глаза и потухали. Ему стало невыносимо, и он, надев полушубок, пошел потихоньку к отцу Андрею. Это было в первый раз, что Иловлин вышел на воздух... Вечер был довольно теплый, и местами подтаивало. По пути свет от фонаря случайно упал на большую стаю собак, которые что-то раскапывали в снегу. Это были единственные живые обитатели селения, которые не пострадали от тифа; вернее, они и теперь влачили свое жалкое существование, как и месяц тому назад. Они по-прежнему были мрачны, озлоблены, несообщительны и вид сохраняли облезлый и жалкий. Они поднялись и зарычали, увидав свет; Иловлин вспомнил свое последнее видение и в ужасе ускорил свои шаги...

Отец Андрей лежал в постели больной, исхудалый, но находился в памяти.

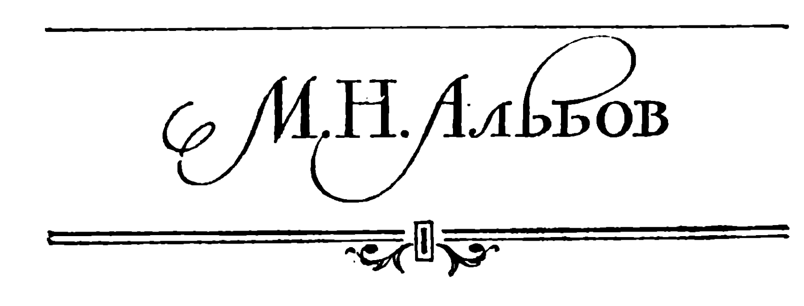
— А, капитан! это вы? Премного благодарен, что навестили... А больше рад, что вы уже ходите; благодарите бога, что остались живы...

— Ах, батюшка, бедная Майро умерла...

— Слышал, слышал... Уж так жаль, что и выразить не сумею... Да что я и вы: нам-то это с полугоря, а вот родитель, так тот единственную дочь потерял; нехорошо... И вот вам война: воины пришли, наели, натоптали, настрелялись друг в друга; ну, им за то и помирать... За то и кресты получают... А она-то за что жизни лишилась? Видно, на роду ей было написано умереть от солдатского тифа... Один господь это видит и судит...

На основании перемирия, в течение первой половины февраля, укрепления Эрзерума, одно за другим, были переданы нашим войскам. Крепостные казармы, при их занятии, оказались переполнены больными и умирающими. Свежие могилы, раскинутые кругом городской ограды, отравляли воздух отвратительным зловонием; и самый город, с вступлением в него русских войск, все более стал походить на огромный госпиталь. При сдаче крепости противники последний раз старались показаться друг другу в бодром и воинственном виде. Турецкие солдаты, насколько возможно, были приодеты и почищены, амуниции и оружию придали приличный вид; офицеры смотрели беззаботно и весело, когда их таборы потянулись по трапезондскому шоссе... Еще более лихой вид имели наши батальоны при занятии укреплений и при смене турецких караулов. Окончательное овладение Эрзерумом хотя и обошлось без выстрелов, но тысячи русских солдат, застигнутых тифом, заснули вечным сном в неприветливой долине черного Евфрата. Храбрый Гейман, мечтавший пожать новые лавры на штурме этой крепости, заболел сам на другой день после снятия блокады и умер 13-го апреля, в то самое число, которое из чувства суеверия наиболее недолюбливал... Блокадный корпус был последней могучей волной, которая, сокрушив Эрзерум, сама о него разбилась...





ДИССОНАНС

Эскиз

Невский проспект запружен народом. Как раз та пора дня, когда fine-fleure * Петербурга делает перед обедом свой моцион. Густая толпа нарядного люда движется по солнечной стороне, на всем протяжении от угла Литейной и Невского до Полицейского моста, в виде двух параллельных, одна другой навстречу, колонн, выступая истово, медленно, плавно... Озабоченного и делового совсем незаметно в этой толпе. Разве-разве кой-где, скромно и вместе внушительно, мелькнет своими медными скобками сафьянный портфель, полускрытый под меховым обшлагом скунсовой шубы какого-нибудь солидного канцелярского деятеля, рангом не ниже надворного советника и восходя до действительного статского. Не будь этого портфеля, кому бы могло прийти в голову, что этот самый субъект, принадлежащий, по-видимому, к числу легкомысленных старцев, судя по тому, как он игриво оскла-

* цвет *(фр.)*.

бился на болтовню подхватившего его под руку совсем еще безбородого уланского корнета, плотоядно впивающегося глазами в каждое недурное женское личико,— кому, говорю, придет мысль о том, что он, может быть, несет в эту минуту в своей голове целый ворох великих административных предначертаний? В эти часы Невский проспект выглядит весело, празднично и беззаботно. В эти часы можно здесь идти бок о бок с лицом, которое в другом месте и в другое время вы никогда, может, не встретите. Вот известный всему Петербургу двенадцативершковый певец, выступающий подобно статуе Командора в пушкинской пьесе [1]. Вот тоже известный литературному миру прихрамывающий гастроном, под руку с несущим вперед свой живот не менее известным творцом кровопролитных исторических драм, с жидкими прядями болтающихся на воротнике шубы длиннейших волос, в цилиндре и пенсне на загнутом книзу, подобно клюву попугая, носу... Вот совсем уже знаменитый, розовощекий и толстый, с наружностью commis-voyageur'a * автор тысячи корреспонденций, новелл, монографий из кавказского, скандинавского, эскимосского, алеутского, бразильского, полинезийского, готтентотского и прочего быта... Вот курьезная группа фигур с сморщенными бабьими лицами, в синих юбках и кофточках, с длиннейшими косами и с веерами в руках — посольских китайцев. Вот... но и не перечесть тут всех знаменитостей! Все это на миг вырисовывается и опять пропадает в пестром калейдоскопе интеллигентных физиономий, изящных затылков, щегольских бакенбард, офицерских погонов, восклицаний: «А, здравствуйте, вы куда?», подведенных бровей и женских улыбок... Там и сям раздается французская речь, гремит гвардейский палаш, скрещиваются взгляды и сияют приветственные улыбки двух разделенных толпою знакомых, причем военный околыш кивает, а блестящий цилиндр делает плавное движение в воздухе... Все чинно, сдержанно и благопристойно. Все дышит одною гармониею, объединяющею всю эту тысячную толпу приличных людей сознанием чувства собственного достоинства, дающегося обеспеченным положением, здоровым желудком и прекрасной погодой. И если найдется в этой толпе кто-либо такой, который жрет всякую дрянь, да еще и на это не всегда может рассчиты-

---

* коммивояжера *(фр.)*.

вать,— он стыдливо стушевывается, чувствуя себя диссонансом...

Тут как раз есть один такой человек... О, что до него, то он-то уж непременно должен чувствовать себя диссонансом!

Он идет со стороны Адмиралтейства, медленно подвигаясь вдоль стен, которых упорно придерживается, игнорируя окна магазинов, по временам останавливаясь и прижимаясь под крышей какого-нибудь подъезда, где людское течение встречается менее густо. Постояв, он трогается дальше, тем же медленным, плетущимся нога за ногу шагом. На перекрестках он идет торопливее, стараясь замешаться в толпу, обходя и сторожко ловя каждое движение завиденного вдали полицейского... Действительно, на фоне щеголеватой массы гуляющих он кажется неприличным пятном. За один уже костюм его можно отправить в участок. На плечах у него виднеется нечто такое, что дает намек на пиджак, бывший, вероятно, в свое время коричневым, но теперь представляющий одни только лохмотья. Не в лучшем положении и его панталоны, легкого летнего светло-серого трико, принадлежавшие, может быть, некогда какому-нибудь щеголю, причем на правой коленке ярко бросается в глаза совсем свежая, синяя заплата. На ногах — ботинки, разлезшиеся до последних пределов возможного, с мелькающими пальцами, а на голове фуражка, обратившаяся в замасленный блин. Словом, более негодной и отвратительной ветоши, служащей ему одеянием, вряд ли бы можно было придумать.

Физиономия этого оборванца принадлежит к тому неопределенному типу, который может предоставить обширное поле для предположений относительно социального его положения, начиная от бывшего лакея до отставного чиновника. Лет ему 30—40. На иззелена-бледном и испитом лице прорывается жидкая растительность, в виде усишек и бороденки телесного цвета. Маленькие глазки, кажущиеся еще меньше благодаря выдающимся скулам, глубоко прячутся в своих орбитах и глядят оттуда с беспокойным и хищным выражением голодного. Кончик носа посинел от озноба. Он часто передергивает плечами и подувает в свои огромные багровые руки, далеко высовывающиеся из-под коротких рукавов пиджака, откуда виднеются обшлага грязнейшей розовой ситцевой рубашки, или, часто хватаясь за грудь, с ниспадающими на нее кон-

цами ветхой гарусной косынки, обмотанной вокруг его шеи, он принимается давиться глухим, как из бочки, простуженным кашлем.

Еще вчера у него было пальто, правда, не лучше остального костюма, но все-таки оно могло держаться еще на плечах, а главное — грело. Вчера, за ранней обедней, на паперти у Спаса на Сенной, он набрал Христа ради около гривенника (встал он подалее от откупившей там свое место нищенской артели, и поэтому его не прогнали), да к полудню насбирал еще столько же от прохожих. Пообедал он ситником и печенкой, на три копейки с лотка, и зашел в грязный трактир на Обводном канале. Остальные деньги мгновенно же пропил — и охмелел. Ударило в голову, смерть — захотелось выпить еще; на улице же было морозно, а теплый воздух трактира сладостно грел иззябшее тело и разливал по всем членам истому... Пальто было скинуто с плеч и отправилось за стойку буфетчика, а взамен его на столе очутилась новая посудина с живительной влагой. Он пил и грелся, грелся и пил... А затем все смешалось в тумане, и он ничего уж не помнил... Помнил он только, будто сквозь сон, как буфетчиковы дюжие руки подняли его под микитки со стула и повели, а он колыхался и заплетался ногами, споткнулся и чуть не расшиб себе лицо о ступеньки, потом вдруг пахнула навстречу ему струя морозного воздуха, те же дюжие руки с силой вытолкнули его и захлопнули дверь, а он кубарем вылетел во мрак и безлюдие улицы... Он был уже без пальто, со свинцом в голове и ногах. Стоял уже вечер. Он мало-помалу трезвел, а вместе с тем и холод начал сильнее его пронимать. В карманах его не было опять ни копейки. Спать смертельно хотелось, и зубы отбивали барабанную дробь. Он стоял, прижавшись к забору, с час, если не больше, от времени до времени только переменяя разные пункты, и за все это время не перепало ему ничего. Улица была совершенно глухая, прохожих было мало, да и те, которые попадались, шли торопливо, подгоняемые холодом. Только раз запнулась перед ним толстая и короткая фигура человека в енотовой шубе, судя по медленной и нетвердой походке, должно быть, подвыпившего...

— На ночлег, Христа ради...

Шуба остановилась и воззрилась на него, распространив в окружающем воздухе тонкий букет алкоголя.

— На ночлег?.. Ан врешь! Ан пропьешь!

Но все-таки шуба полезла в карман и, колыхаясь, принялась тащить оттуда какую-то мелочь.

— Может, ты и мазурик какой али бо што... Ну, да шут с тобой, ладно! Н-на! Прими Христа ради! Выпей... Потому мы и сами теперича кажные...

Но он уж не слушал. В руке у него очутился целый пятак, отверзавший пред ним двери блаженства...

Эту ночь он провел в знакомом ему ночлежном приюте, довольно либеральном насчет паспортов, так как это было для него существенно важно; в нем он основался в эти последние дни, и поэтому там его знали.

Сегодня у него и крошки во рту еще не было, и в брюхе, как говорится, девятый вал перекатывается... Эх, если б пальто! Он чувствует, как влажная оттепель обволакивает его спину и грудь острым и в то же время каким-то липнущим холодом, и сырость от тротуара, нашедшая дорогу сквозь прорехи ботинок, все более пропитывает обвертывающее его ноги тряпье.

А солнце сияет...

У него рябит в глазах от мелькающей ему навстречу толпы. Жадным и вместе растерянным взором скользит он по всем этим безучастным, не обращающим на него внимания лицам, от времени до времени бросая кому-нибудь наудачу, вполголоса, свою заученную фразу: «На хлеб, Христа ради...» Но она пропадает в хоре уличных звуков

Вот он поравнялся с углом Невского и Михайловской улицы. Как раз на углу, только что выйдя из ближайшего подъезда, остановился какой-то господин, против извозчика, очевидно, намереваясь нанять. Полное румяное лицо и апатическое выражение больших серых глаз... Должно быть, предобрый!

— На хлеб, Христа ради...

Господин снисходительным взором окидывает отрепье обратившегося к нему оборванца и лезет пухлой рукой, с перстнями на пальцах, в жилетный карман.

Он чувствует, как в груди его ровно что потеплело. Даст непременно! Да и не медь, вероятно...

Тот переносит руку в другой жилетный карман.

«Что, если вдруг целый двугривенный?!» — думает с замирающим сердцем голодный.

Но господин в эту минуту застегивает пальто и кивает головою.

— Нет мелких, любезный... Извозчик! В «Малый Ярославец»! [2]

Сел и поехал.

Голодный смотрит вслед ему, как ошельмованный, пока тот совсем не скрывается из глаз. О, будь ты проклят! Небось закажет обед, сожрет его всласть, спросит вина, орган поставить велит, дорогую сигару закурит и будет себе слушать, курить и прихлебывать...

Он трогается дальше.

Господи, как хочется есть! Если бы рюмку водки теперь, другую бы, третью... Эх, так и прошло бы по всем суставам! А потом порцию чего-нибудь, щей, что ли, добрых, горячих... О!!

Он скрипнул зубами.

Ну, и что бы, и что бы, если бы каждый из этих прохожих дал хоть копейку... Господи, сколько бы было! Столько народу, и если бы каждый!.. И этот вот офицер, и эта нарядная дама с лакеем... А лакей-то важный какой! Сыт небось, бестия! Ишь, рожа-то, лопнет сейчас, да и здоров, колом не убьешь! Ха, вишь ты, господскую собачонку несет... Эх, взял бы ее, подлую, да башкой-то о тумбу!..

Он прижимается к подъезду. А нарядная толпа все движется-движется мимо него, без конца... Вон там два господина. Один — высокий худой старик, с белыми, как лунь, бакенбардами. Другой — пониже, черный, в золотых очках; пальто расстегнуто, и на жилете блестит толстая золотая цепочка. Подошли, поравнялись. Оба беседуют...

— ...жертвы все нашей общественной неурядицы! И если вы пересмотрите отчеты наших земских собраний...

— Подайте на хлеб, ради Христа...

Тот и другой взглядывают на оборванца, отвертываются и продолжают свой путь.

— Черт знает! — доносится до него.— Этих нищих не оберешься! даже здесь, на Невском! И что это только полиция смотрит?!

Дальше уже не слыхать.

— Прочь! Куда лезешь?! — осаживает его невесть откуда появившийся ливрейный лакей, с золотым галуном и таковой же кокардой на шляпе, бросаясь отворять

дверцы остановившейся у тротуара кареты, и затем мимо него, подобрав свое платье и брезгливо ступая по грязному тротуару малюсенькими ножками, обутыми в изящные, как конфетка, башмачки, проходит в подъезд статная молодая красавица, кутая личико в пушистый мех своей роскошной бархатной, вишневого цвета, ротонды. Полою ее она задевает растерявшегося перед ней оборванца, обдав его ароматной струею каких-то особенно нежных духов.

Все это дело одного только мгновения,— но в это мгновение в нем происходит вдруг некий душевный процесс.

Он давно уже привык к своим лохмотьям, ощущая неудобство от них только в смысле плохой защиты от холода. Но теперь, в это мгновение, он вдруг, внезапно, постигает, что он — гадкий, жалкий, оборванный нищий, вроде какого-то комка грязи, попавшего на барский ковер, что все это видят, но никто не обращает внимания только из снисходительности, что каждый, решительно каждый, не только из этой толпы приличных господ, но и этот раззолоченный холуй, мимоходом толкнувший его, очищая дорогу, даже этот сытый дворник, важно восседающий у ворот на скамейке,— все, все они, сейчас вот, в эту минуту, имеют право прогнать его прочь, как прогоняют какого-нибудь скверного, паршивого пса, который только благодаря недосмотру затесался в публичное место гулянья, где предписывается травы не мять и собак не водить и куда не возбраняется вход только прилично одетым; что одно уже самое его присутствие здесь, в этот час, на Невском проспекте наносит оскорбление всем, оскорбление даже этому самому солнцу, которое заливает праздничным светом и эти роскошные громады домов, и эти горящие золотом литеры вывесок, и эти ласкающие взор, сквозь зеркальные окна, груды серебра, драгоценных камней, и ярких материй, и весь этот поток блестящих цилиндров, военных фуражек и шапок, потому что все это может гордо, с полным сознанием права, выставлять себя навстречу лучам...

И все это тонет в ослепительном свете, блестит, горит и переливается радужною игрою на солнце: и крест на массивном куполе Казанского собора, и высокая точка на колокольне Владимирской церкви, и игла Адмиралтейства, и снег, и ледяные сосульки на крышах, и оконные стекла широких улиц и узких дворов, куда только может оно заглянуть...

НА ТОЧКЕ

Очерк одного исчезнувшего типа

На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Пушкин[1]

I

ФИЛИПП ФИЛИППЫЧ

Был душный майский полдень. По узенькой пыльной улице, где лепились по обеим сторонам маленькие одноэтажные домики, тротуаров не полагалось, и местами росла густая трава, шел мальчик лет тринадцати в гимназической форме.

Это была одна из отдаленных окраин южного города Пыльска, о чем свидетельствовал характер построек, состоявших сплошь из мазанок, крытых черепицей и даже просто соломой. На самой середине улицы, где в дождливое время стояло целое озеро грязной воды, а теперь блестела, как кусок разбитого зеркала, отражая в себе клочок бирюзового неба с таявшим неподвижно маленьким перламутровым облачком, длинная лужа, сладостно млела, выставив лучам облепленную черною лоснящейся грязью спину свою и томно похрюкивая, тучная и, вероятно, уже пожилая свинья... Стены мазанок резали глаз ослепительной своей белизною... Раскаленный воздух не шевелился... «Кукурику-у-у!» — неслось со всех дворов вперебой.

Гимназистик шел по теневой стороне, стараясь держаться ближе к стенам домов, в видах защиты от солнца. Ему было жарко. Новенький, синий, щеголевато сидевший мундирчик свой он расстегнул нараспашку и помахивал, как опахалом, снятою со стриженой головы фуражкою в белом чехле в свое розовое миловидное личико, на котором блестел крупными каплями пот, и черные волосы на висках слиплись в виде косичек.

Он был задумчив, даже уныл, и шел не поднимая глаз от земли, со сдвинутыми над переносьем густыми и тонкими, точно проведенными кисточкой, бровками, которым позавидовала бы любая девица. Вообще в нем было много женственного, начиная с невинного взгляда до грациозной несмелой походки,— все являло в нем признаки благовоспитанного и скромного мальчика, из тех, что называют «маменькиными сынками».

Дойдя до конца улицы, по которой лежал его путь, он надел фуражку и застегнулся. Теперь он стоял перед домом, скрытым в тени трех росших перед ним тополей, высоко реявших в небе своими пирамидальными маковками. Этот дом был поновее и пощеголеватее прочих, с черепитчатой крышей и раскрытыми настежь окошками, с горшками фуксий, герани и кактусов. Оттуда неслась, замирая в недвижимом воздухе, нежная мелодия флейты...

Этим домом заканчивалась улица. От него шел, под углом, высокий забор, и желтела на широком пространстве песчаная отмель, вдаваясь правильным мысом в широкую, но мелководную, знаменитую своими крупными раками речку Смородку. На том берегу волнистой каймою тянулась, купая в воде свои бледно-зеленые, как бы запорошенные пылью ветви, левада, перемежаясь веселыми стройными сосенками, а дальше, сливаясь с линией горизонта, дремал синий лес.

Мальчик толкнул скрипучую калитку, прошел чистенький, маленький дворик, поднялся на крыльцо, миновал прихожую (дверь в дом оказалась незапертой) и, очутившись в большой, с низким потолком, комнате, остановился на пороге.

Посреди этой комнаты, спиной к нему, стоял невысокий, плотный человек, в белых парусиновых штанах на одной подтяжке и ночной сорочке, из-за ворота которой виднелся багровый, напружившийся затылок, и, подавшись всем телом вперед, выводил затейливую руладу на флейте.

Он делал как раз в это время паузу, поэтому уловил ухом едва слышный скрип половицы под ногами вошедшего мальчика. Он крикнул, не оборачиваясь:

— Ты, Параска?

— Нет-с, это я, Филипп Филиппыч,— тоненьким голоском отозвался гимназист.

— А, птенец! — весело воскликнул плотный человек и обернул к нему медно-красное, без усов и бороды, пожилое лицо с крупным носом и целою копною нечесаных русых волос.

Он бережно положил свой инструмент на окошко, взмахнул высоко на воздух мясистой ладонью и стиснул в ней тоненькие пальчики гостя.

— Здорово, птенец!

Мальчик шаркнул ножкой и сказал, застыдившись:

— Извините, Филипп Филиппыч... Я вам помешал...

— Сие не суть важно! Как здоровье мамаши?

— Merci, она здорова.

Мальчик сел на диван и потупился, вертя в руках фуражку.

— Жарко! — воскликнул Филипп Филиппыч, садясь против гостя, и шлепнул по своей смуглой, с мохнатою шерстью груди, тяжело вздымавшейся под расстегнутым воротом грязноватой сорочки.— Вон и Фальстафке жарко! Жарко, Фальстаф?.. Мм, подлец!

Большой косматый пес, белый, с рыжими подпалинами, изнеможенно лежавший вдоль стенки, свесив на сторону длинный язык и коротко и быстро дыша, при своем имени сделал из вежливости слабое движение пушистым хвостом, лениво полуоткрыл на хозяина мутный желтый зрачок и снова закрыл, как бы желая сказать: «Ах, отстань, Христа ради; видишь, кажется, сам!»

Мальчик молчал, блуждая взором по обстановке.

Стены были обмазаны бледно-лиловою краской. В углу белелась вальяжная изразцовая печка. Стулья — старинные, красного дерева, с сиденьями из выцветшего ситца, с рисунками в виде крупных букетов и жесткими спинками — были расположены как попало. Вдоль стены, у окошек, помещался таковой же диван, а перед ним овальный стол со следами давно оконченного чаепития в виде потухшего самовара, крошек белого хлеба и остатков крепчайшего чая в стакане. Но что больше всего бросалось в глаза — это огромный старомодный письменный стол, возвышавшийся, как саркофаг, у противоположной стены и загроможденный ворохами каких-то тетрадей, книг и газет, представлявших собою самый живописный хаос. Это был священный угол во всей квартире Филиппа Филиппыча, ревниво оберегаемый им от дерзновенных вторжений щетки и тряпки полногрудой девы Параски, в качестве кухарки и домоправительницы владевшей неограниченной властью во всех пределах этого дома. Сверх груды томов «Словаря» Владимира Даля[2] ниспадал, держась одним уголком, нумер «Нового времени» (пачка этой и других газет, вероятно, была недавно получена с почты, сохранив по местам бандероль), придавленный свежими книжками толстых журналов, красиво пестревшими палевым и ярко-оранжевым цветом обложек своих и увенчиваясь сверху соломенной шляпой хозяина, рядом с которой попала и одна из подтяжек... Посредине стояла лампа

с колпаком в виде шара, прикрытым абажуром из зеленой бумаги, и тут же чернильница с песочницей, с бронзовыми крышечками, изображавшими оленей. Со стенки смотрела на всю эту картину коллекция фотографических портретов писателей, русских и иностранных. Рядом, занимая всю остальную часть стены, высились лестницей полки, плотно уставленные русскими, французскими и немецкими книгами, в переплетах и просто в обложках, всевозможных толщины и форматов. Тут были и Шлоссер, и Тьерри, и Гизо, и Соловьев с Костомаровым[3]. По критике виднелись полные собрания сочинений Белинского, Добролюбова и Аполлона Григорьева[4]; из французских — Тэн и Курье[5]. По отделу изящной словесности — русские корифеи были все налицо. Из английских — Вальтер Скотт, Диккенс и Теккерей имелись почти полностью; Шекспир занимал почетное место; Гейне, Гете — тоже присутствовали. Меньше всего замечалось по части французской беллетристики — и, за исключением только Гюго, которого все капитальные вещи имелись, на долю его соотечественников досталось не много места: по-видимому, литературу французскую хозяин не особенно жаловал...

Филипп Филиппыч много и прилежно читал, преимущественно по ночам, лежа в постели. Вот и теперь, через отворенную дверь в соседнюю комнату, имевшую назначение спальни, где виднелось изголовье кровати, с растянутым по стене красным дешевым ковром с изображением желтого льва, можно было заметить на круглом маленьком столике с полусгоревшею стеариновой свечкой в низеньком медном подсвечнике и графином с квасом, которого оставалось только немного на донышке, лежащую вверх корешком какую-то книгу, прикрытую четвертушкой писчей бумаги, с карандашом, надо полагать, для отметок.

Но иногда Филипп Филиппыч изменял этой привычке. Тогда он, раздевшись в обычный свой час и всунув босые ноги в мягкие шлепанцы-туфли, зажигал на письменном столе лампу, в соседстве с которой ставился и снятый с ночного столика графин, наполненный с вечера усердной Параской доверху квасом. Потом он делал тщательный осмотр комнаты. Убедившись, что дверь в прихожую притворена плотно и шторы на окнах спущены низко, он, в одном белье, садился за письменный стол и, выдвинув один из ящиков, доставал оттуда толстую тетрадь писчей

бумаги, сшитую в формате листа. Она была почти до половины исписана мелким и тщательным почерком. Разложив тетрадь перед собою, он принимался ее перелистывать, останавливаясь на некоторых местах, перечитывая и делая на полях заметки карандашом, пока не доходил до последней строки, откуда начинались пустые страницы. Там он прочитывал последний абзац, склонялся нахмуренным лбом к руке, упиравшейся локтем в колено, и погружался в сосредоточенную и глубокую думу... Просидев так минут с десять или с четверть часа, он вдруг откидывался на спинку кресла и, потерев руки одну о другую, приступал к работе...

Тихо, торжественно снималась крышка с изображением оленя с чернильницы, в которую погружалось перо, и на рукописи, под последней строкою, появлялось мелко и тщательно выписанное первое слово. Рядом с ним лепилось другое, еще и еще, выходила строка, под нею другая, третья, четвертая,— и медленно, плавно, без скачков и перерывов, двигалось перо Филиппа Филиппыча, нанизывая ровные, красивые строчки... По временам он откидывался на спинку кресла, свертывал и курил папиросу или, не покидая пера, брал со стола графин с квасом, делал, прямо из горлышка, несколько могучих глотков — и снова принимался строчить... Лицо его горело сосредоточенным вдохновением работы... Тихо вокруг, только разве Фальстаф, свернувшийся клубком на своей подстилке у печки, глухо пролает во сне, потревоженный какою-нибудь своею собачьею грезой... Но вот, внезапно, пронзительно прокукурикал петух на дворе... А перо Филиппа Филиппыча все знай себе непрерывно и однотонно поскрипывает... Вот и воробьи уже проснулись и подняли свое хлопотливое щебетанье за окнами, шторы порозовели в лучах восходящего солнца, и матовый ламповый шар все пуще и пуще краснеет, тускло светя на страницы рукописи Филиппа Филиппыча, как бы в смущении перед наступающим владычеством дневного светила, и петухи со всех уже дворов кричат вперебой — а Филипп Филиппыч все пишет и пишет...

Что он пишет, когда он начал эту работу и когда окончит ее?.. Об этом знали лишь грудь да подоплека Филиппа Филиппыча!.. В эту тайну он не посвящал никого, она касалась только его одного да тех самых портретов, которые неподвижно и безмолвно, в ночной тишине, смотрели со стенки на эту работу...

II

ГОРЕ ПТЕНЦА

— Ты откуда ж так рано, птенец? — задал Филипп Филиппыч вопрос своему молчаливому гостю. Тот уныло смотрел в это время на блестящие пятна, которые рисовал на полу солнечный свет, проникая сквозь окна с млевшими в них неподвижно цветами.

Мальчик вздрогнул слегка, скользнул робким взором мимо сидевшего против него на диване хозяина, как бы избегая взглянуть ему прямо в лицо, и с тем же убитым видом уставился в золотистый столб света, перерезывавший наискось комнату, с крутящимися в нем миллионами блестящих пылинок и неугомонно снующими мухами. Лицо его выражало страдание, намерение что-то сказать и нерешительность...

— Да ты что же это такой?.. Случилось, что ли, с тобой что-нибудь? — спросил с беспокойством Филипп Филиппыч, прочитавший в чертах гимназиста все эти чувства.

— Нет... ничего... То есть да... То есть я хотел... Гм... гм!..

Голос маленького гостя пресекся, он побагровел и сделал судорожное движение пальцами, которые держали фуражку, как бы в тщетном усилии ее разорвать. Глаза его были теперь полны слез...

— Да что ж это в самом деле, Саша? — совсем уж встревожился Филипп Филиппыч, кладя руку ему на плечо и пристально засматривая в глаза.— Да что же случилось-то? А? Да ну, говори же... Что с тобой? А?

Миловидное личико мальчика искривилось тою некрасивою гримасой, которая предшествует плачу. Действительно, в ту же минуту из глаз его хлынули слезы, и он пролепетал сквозь рыдания:

— Про-ва-лил-ся!

— Хм, вот оно что! — протянул Филипп Филиппыч.— Ты, значит, с экзамена... Да, теперь вспомнил: у тебя сегодня латынь... Так? Из латыни?

— Из... ла-ты-ни!

— Как же ты это так, братец, а?

Саша, сквозь слезы, принялся рассказывать.

В extemporale * было пять ошибок... Это «плевать»! За

---

* сочинение, литературная импровизация *(лат.)*.

extemporale он получил тройку... Подгадил устный ответ! Он хорошо проспрягал plusquamperfectum conjunctivi от глагола «facio» * в страдательном залоге (a verbo: fio, factus sum, fieri). Он перечислил, почти без ошибки, все имена существительные 3-го склонения, оканчивающиеся на is, по исключению мужеского рода: *Много есть имен на is masculini generis...* ** Он думал, что «чех» тут его и отпустит. Держи карман! «Чех» стал пробирать его из «оборотов». «Чех» нарочно придрался, чтобы его провалить, потому что не любит его. Во-первых, он спросил, что значит «accusativus cum infinitivo»? *** Как перевести фразу: «Я убежден, что душа моя бессмертна»?.. Саша знал, что после «persuasus sum» («я убежден») нужно поставить ut с сослагательным. Он сказал с ut. Он знал, что тут может быть употреблен и оборот accusativus cum infinitivo. «Чех» велел употребить accusativus cum infinitivo. Следовало сказать: Persuasus sum animam meam... **** а он перевел: «anima mea», потому что он постоянно смешивает accusativus cum infinitivo с оборотом ablativus absolutus ***** и никогда, никогда, во всю жизнь, не привыкнет к этим проклятым «оборотам», и «чех» это знает и нарочно спросил, чтобы срезать, а потом раскричался, стыдил и поставил ему двойку!

Мальчик рассказывал все это торопливо и с жаром, как то бывает при воспоминании недавно пережитого горя. Слезы его уже высохли, и лицо разгорелось. Филипп Филиппыч пристально и с участием слушал.

— Н-да, плохо дело! — сочувственно вздохнул он напоследок. — Значит, осенью у тебя две переэкзаменовки: из математики и латыни?..

Саша ничего не ответил, опустил низко голову, и оживленное выражение на лице его вдруг заменилось прежним видом тупого отчаяния. Филипп Филиппыч счел нужным пролить в его душу бальзам утешения.

— Ну, ну! Чего унывать! — хлопнул он по плечу своего юного гостя. — Эка беда! Лето велико... Успеем и погулять, и на лодке поездим, и в лесу пошляемся вдосталь... А там приналяжем на книжки как следует — и четвертый

---

* давно прошедшее сослагательное... делать *(лат.)*.
** мужского рода *(лат.)*.
*** винительный падеж с инфинитивом *(лат.)*.
**** Я убежден, что душа моя... *(лат.)*
***** абсолютный творительный падеж *(лат.)*.

класс от нас не уйдет!.. А ты уж и нюни сейчас распустил?.. Э-эх, птенец, птенец! Нужно быть молодцом!

Но быть молодцом, по крайней мере в данную минуту, оказывалось, по-видимому, свыше Сашиных сил. Отчаяние не покидало его, и в то же время казалось, будто в душе мальчика происходит борьба между необходимостью еще что-то поведать и бессилием на это решиться, что выражалось в его неимоверных стараниях оторвать козырек от фуражки...

— Да полно же, ну! Экий ты, братец! — продолжал убеждать Филипп Филиппыч, свертывая тем временем толстейшую папиросу.— Перейдешь, и все будет ладно!

— Не перейду!..— возопил вдруг гимназист таким отчаянным голосом, который бывает в тех случаях, когда одним геройским усилием сбрасывается с души долго и мучительно ее угнетавшая тайна.— Я не могу перейти, и... и... (тут слезы опять хлынули у него в три ручья) *я оставлен на второй год!!*

— Как?! — изумленно воскликнул Филипп Филиппыч, успевший уже окутать себя густой пеленой табачного дыма.

Широким взмахом руки он очистил вокруг себя воздух и уставил неподвижно вытаращенные глаза на уничтоженной фигуре «птенца».

Тот тяжко и прерывисто всхлипывал, вследствие чего в течение некоторого времени не мог вымолвить ни единого слова. Мало-помалу, однако, всхлипыванья заменились глубокими вздохами, и он, с запинкой и паузами, поведал наконец свое горе.

Суть была вот в чем. Экзамен из латыни оказался решающим. Саша раньше не выдержал из математики. Относительно экзамена из немецкого он давно еще беспокоился, так как не был уверен, поставил ли «немец» ему удовлетворительный балл, потому что он никогда не показывает, сколько поставил; поэтому Саша ни мамаше, ни Филиппу Филиппычу об этом ничего не сказал, а сам про себя только мучился, и вот лишь сегодня узнал в канцелярии, что «немец» поставил ему тоже двойку, а потому он оказался провалившимся из трех предметов... А главное — «чех»! Саша так был уверен, что должен выдержать из латинского! Он и в году занимался, и к экзамену зубрил с утра до ночи, и вот всю эту ночь сидел напролет! Он никак, никак не ожидал, что «чех» его срежет!

— Голубчик! Миленький! Добрый! — воскликнул в заключенье птенец, схватывая внимательно слушавшего его Филиппа Филиппыча за руку.— Пойдемте к нам! Ради бога! Вы расскажете мамаше! Я не могу ей так объяснить! Скажите ей, что это ничего, пустяки, что я на второй год остался, что я буду стараться! Она, я знаю, думает теперь, что я выдержал! Она вчера в церковь ходила богу молиться, и ночью я слышал, как она не спала и к дверям подходила, на цыпочках, пока я сидел и зубрил, и все что-то шептала,— и вдруг вот теперь я приду и скажу, что остался, и она будет плакать! А я не умею ей так сказать, чтоб она не плакала, и сам заплачу! А вы можете, добренький! Вы скажете так, что выйдет все хорошо!.. Голубчик!.. Пойдемте!.. Сейчас же, сию же минуту вот и пойдемте!

— Ну, ну, хорошо, хорошо, успокойся, птенец! — проговорил Филипп Филиппыч, вставая.— Пойдем к мамаше. Только сам-то ты не волнуйся! Все будет отлично!.. Ах, дети мои, дети, куда мне вас дети? — вздохнул он благодушно, остановясь против Саши, который, бледный, огасший и даже как будто вдруг постаревший, сидел с глазами, устремленными пристально в землю.— Ну, ну, нечего нос вешать на квинту! — прибавил он весело, взъерошивая на голове Саши волосы, и, снова вздохнув, отправился в спальню.

Он вышел оттуда, смотрясь в большое складное зеркало, которое держал обеими руками, и, остановившись в дверях, спросил сам себя:

— Побрыться чи нет?

(Как чистокровный «кацап», Филипп Филиппыч хохлов недолюбливал и, несмотря на свое довольно давнее проживание в Пыльске, говору их не научился, но приобрел зато привычку вставлять иногда в свою русскую речь малороссийские фразы, по большей части их беспощадно коверкая.)

После короткого, но пристального созерцания себя в зеркале он решил:

— Треба побрыться!

С этими словами Филипп Филиппыч поставил зеркало на стол с самоваром, принес и приготовил что нужно и, сев на диван перед зеркалом, сосредоточенно занялся бритьем.

— Добре! — воскликнул он наконец, затем встал и унес обратно в спальню бритвенные принадлежности.

Скоро оттуда послышались плесканье воды и фырканье Филиппа Филиппыча, совершавшего свое омовение. Спустя короткое время он предстал перед Сашей аккуратно причесанным, в чистом, только что из стирки, парусинном балахоне, широко сидевшем на его могучих плечах, таковом же жилете и вышитой малороссийской сорочке. Сняв со стола и нахлобучив на голову свою соломенную широкополую шляпу и вооружившись толстою палкой, он сказал гимназисту:

— Ну, птенец, трогаем!

Затем свистнул собаке:

— Фальстаф, фю-фю!

В темной прихожей Филипп Филиппыч крикнул куда-то в пространство:

— Параска! Дверь зачини! Обидать не буду!

Солнце палило еще свирепее. Филипп Филиппыч шел вперевалку, грузно опираясь на свой толстый посох, и молчал. Саша тоже молчал, идя понурившись бок о бок с Филиппом Филиппычем, и воспроизводил в своей памяти все роковые перипетии этого грустного утра... Фальстаф неохотно, лениво плелся позади, перекладывая с одной стороны на другую свой длинный, повисший как тряпка язык, и размышлял про себя:

«Экая жарища, господи!.. И чего, на кой ляд понесло их?.. Черт знает!..»

III

ИДИЛЛИЯ

— И прекрасно, и прекрасно, что так это вышло! Следует радоваться, что он провалился! Этого их латиниста положительно благодарить даже нужно... Ей-богу, уверяю вас, Анна Платоновна! Да знаете ли вы, коли на правду пошло, что я сам бы так поступил? Именно потому, что желаю Саше добра!.. Нет, положительно он, должно быть, человек не без смысла, даром что чех!

Так ораторствовал Филипп Филиппыч спустя полчаса, расположившись у окошка гостиной одноэтажного кирпичного дома, на одной из лучших улиц Пыльска, носившей поэтому общепринятое во всех городах название Московской. Вид он имел невозмутимый, что всего более действует в целях успокоения, и курил папиросу, по обычаю, толщиною чуть не с оглоблю. Речь свою вел он к худощавой, средних лет даме, помещавшейся против

него, с краю дивана. Лицо ее, бывшее, очевидно, в молодости очень приятным, с тонкими, правильными линиями, но как будто когда-то давно, вследствие каких-то причин, преждевременно вдруг постаревшее да так и застывшее раз навсегда в этих чертах, пристально впивалось в Филиппа Филиппыча темными, без блеску, глазами, которые от времени до времени с пытливой и затаенной тревогой перебегали на Сашу, в той же понуренной позе, как и давеча, когда он был у Филиппа Филиппыча, сидевшего на стуле, у стенки. Надо было думать, что незадолго перед этим Анна Платоновна была очень расстроена, может быть, даже поплакала, и вот теперь только оправилась и овладела собою. Но все-таки она, вероятно, еще не совсем успокоилась, потому что горячо и с негодованьем воскликнула:

— Нет, как хотите, Филипп Филиппыч, а это подлость со стороны учителя! Я уверена, что он это сделал нарочно, потому что Сашу не любит! Саша — вот спросите его — мне не раз жаловался, что он к нему несправедлив и всегда придирался...

— Он всегда ко мне придирался, мамаша! — встрепенулся на своем стуле птенец, готовый уже закипеть, но Филипп Филиппыч тотчас же на него оглянулся и спокойно заметил:

— Вот что, братец... Принеси-ка ты мне стакан воды да попроси у Варварушки кусочек льду... Будь такой добрый!

— Вот что в конце концов я скажу вам, Анна Платоновна,— продолжал он, лишь только Саша вышел из комнаты,— вы вооружены против учителя,— оставим его в покое... Но неужели вы не заметили, как наш мальчуган переменился за время экзаменов?

— Как? — испуганным шепотом переспросила Анна Платоновна.

— То есть я хочу сказать, как он похудел, побледнел... Он на себя не похож!.. Другим экзамены — как с гуся вода, а с ним посмотрите, что сделалось!.. Отчего? Оттого, что он слаб, и то, что для других мальчиков — трын-трава, для него, чтобы усвоить, требует огромных усилий...

— Вот уж это неправда! — запальчиво воскликнула Анна Платоновна.— У Саши блестящие способности, Саша быстро усвоивает, он умен не по летам! И вы, Филипп Филиппыч, напрасно...

— Хорошо, оставим это,— спокойно перебил ее собеседник,— но что для него будет полезно посидеть еще годик — тоже бесспорно! Ему нужно отдохнуть, сил новых набраться, воспользоваться летом вовсю!.. Да уж полно вам себя волновать-то, голубушка, поверьте, что все это к лучшему...

— Ах, все не то!.. Это, конечно, все пустяки, и не то меня мучит...

Анна Платоновна тяжко задумалась и, придвинувшись ближе к Филиппу Филиппычу, прибавила пониженным голосом:

— Знаете ли, чего я боюсь?

— Ну? Что такое?

— Я боюсь, что эта неудача сильно на него повлияла...

— То есть как «повлияла»?..

— Он убит! Потрясен! С его самолюбием... ведь это ужасно! Я понимаю его, потому что он — весь в меня... Он совсем не похож на других детей! О, как он самолюбив, если б вы знали!! Этот удар...

— Ха-ха-ха! Да полно вам! Какой там «удар», господи боже! Важность какая, что мальчика на второй год оставили! Тряпка он будет после того, если и это для него уж «удар»! Эх, да поверьте, что для него в сто раз приятнее воспользоваться летом как следует, чем корпеть за латынью... Гм... гм!.. Ну вот, спасибо, птенец! — весело перебил сам себя Филипп Филиппыч, принимая от Саши принесенный ему на блюдце стакан воды с плававшей в ней светлою льдинкой.

В то время как Филипп Филиппыч был занят утолением жажды, глаза сына и матери встретились... В эту минуту лица обоих были более чем когда-либо похожи одно на другое. Тревогой за сына и беззаветной материнской любовью светились глаза Анны Платоновны; тревогой за мать и глубокою детскою преданностью были проникнуты взоры птенца... Минута — и оба протянули вперед свои руки, упали друг другу в объятия и залились в три ручья.

— Мамаша... Голубушка... Вы не сердитесь? Нет? — лепетал чуть слышно птенец, утопая в слезах.

— Дорогой мой... Сашуточка... Да неужели ты думал?.. Я только за тебя ведь тревожилась... Красавец ты мой! — отвечала мать сквозь рыдания.

В течение нескольких минут в комнате слышались лишь всхлипыванья да поцелуи... Филипп Филиппыч без-

мятежно дымил своей самокруткой, глазея сквозь окно на вывеску противоположного дома с изображением какой-то пестрой лепешки и надписью: «И здесь делают гробы».

— Ну? Кончили, кажется? Или еще не наплакались? — спросил он наконец, терпеливо дождавшись, когда излияния чувств прекратились, и взглянул на мать и сына попеременно.

Оба, от избытка ощущений, безмолвствовали, утирали лица платками и улыбались...

— Слава богу!.. Теперь, кажется, можно обратиться и к обыденной действительности... Матушка Анна Платоновна! Совсем вы меня заморили, бог вам судья! Честное слово, в брюхе девятый вал перекатывается!

— Сейчас, сейчас, голубчик, Филипп Филиппыч... Простите! — встрепенулась хозяйка, хлопотливо вставая. В голосе ее еще слышались слезы, но он звучал умилением.

Когда мать вышла из комнаты, птенец бросился к Филиппу Филиппычу, обвил его шею руками, чмокнул в уста, потом отскочил, припрыгнул козлом и рассмеялся блаженнейшим образом.

— Ну, то-то, давно бы так следовало! — отозвался тот со своей ленивой и благодушной усмешкой, смотря на радостно-оживленное личико мальчика.— А то и нюни уже распустил... Ишь, нос даже распух! Поди-ка лучше умойся, да и мундирчик-то новый бы снял... Что даром трепать!

Гимназист сделал еще пируэт, показал дурашливо самому себе язык в зеркале и, тотчас же приняв чинный вид, вышел из комнаты.

— Кушать пожалуйте! — печально произнес в дверях женский голос.

В соседней комнате, за круглым обеденным столом, покрытым белоснежною скатертью, сидела на своем председательском месте, перэд дымящейся миской, Анна Платоновна и разливала в тарелки куриный борщ с помидорами. Филипп Филиппыч поместился за прибором, перед которым стояли графинчик с водкой и большая старинная рюмка. Он налил, выпил и крякнул, а закусил куском балыка. В ту же минуту явился и Саша, умывшийся и облеченный вместо мундирчика в коломянковый пиджачок и сорочку с изящно расшитою грудью — рукоделья мамаши.

Все погрузились в еду.

После борща Варварушка (высокая худощавая женщина, родом из Курска, обладавшая вышеупомянутым печальным голосом и не менее печальным лицом, обмотанным вдобавок вокруг, несмотря на жару, толстым платком, точно она только что вернулась из бани и опасалась простуды) убрала все лишнее, а вместо того принесла и поставила, широко взмахнув своими обнаженными локтями над головами обедающих, огромное блюдо, на котором были навалены высокою горкою раки... При этом зрелище Филипп Филиппыч, завесивший себя салфеткою под самые уши, даже загоготал плотоядно и с восхищением воскликнул:

— Раки!! Вот это добре!

И он тотчас же нагреб их себе на тарелку целую кучу.

Перегрызая с треском их скорлупу, он заметил, неодобрительно тряхнув головою:

— А признаться, неважны! не-е-важны!

Вот и все, что произнес Филипп Филиппыч во время обеда. Остальные пока и того не сказали. Обед происходил в благоговейном молчании. Слышался только треск разгрызаемых раков. Анна Платоновна отыскивала более крупных и подкладывала на тарелку птенца. Она замечала с тревогой, что Саша действительно побледнел и осунулся, и, выбирая ему лучший кусок, бросала на сына участливо-подозрительный взгляд, точно он и теперь должен был все больше хиреть у нее на глазах, и она предотвращала опасность...

После раков был подан жареный короп *. Филипп Филиппыч отдал честь и ему, потянув к себе на тарелку добрый кусок. Саша задумчиво ковырял свою порцию вилкой.

— Что ж ты не кушаешь? — тревожно спросила его Анна Платоновна, положившая сама ему кусочек получше.

— Не хочу, мамаша.

— Ну, скушай, дружочек!

— Право, не хочется. А что на последнее?

— Кисель с молоком...

— Ах, киселя вот поем! А коропа не буду!..

— Ну, скушай, душечка... А? Для меня! Я прошу!

Саша покорно принялся за коропа.

---

* карп *(укр.)*.

Наконец обед был окончен. При этом, по-старосветски, Филипп Филиппыч поблагодарил хозяйку «за хлеб за соль», на что Анна Платоновна отвечала ему: «Извините», а Саша поцеловал у ней ручку, та же его — в лобик и губки. Затем общество переместилось в гостиную.

Филипп Филиппыч, пылая и отдуваясь от обеденных подвигов, сел у окошка, на свое старое место, и занялся курением. Птенец возлег на диван и предался созерцанию голубой пелены табачного дыма, плавной струею несшейся через окошко в безветренный уличный воздух. Анна Платоновна расставляла посуду для кофе. Широкий столб лучей солнца перерезывал наискось комнату, задевая кончик носа Филиппа Филиппыча, угол рояля и обливая всю противоположную стену с висевшими на ней литографиями.

Показался наконец и Фальстаф, который все время где-то скрывался, но при первом звуке посуды проник на кухню, откуда теперь и явился, после довольно продолжительного там пребывания, облизываясь и в приятнейшем расположении духа, заблагорассудив почтить своим присутствием общество. Он томно брякнулся на пол, в освещенном солнцем пространстве, у ног Филиппа Филиппыча, на которого и устремил благосклонный свой взор. В этом взоре читалось:

«Ну, а ты как? Поел? Хорошо? А я, брат, а-атлично!..»

Затем, с блаженнейшим вздохом из всей глубины своей собачьей души, он спрятал голову в лапы и предался немедленно сладкой дремоте.

— Сашута! — сказала после кофе Анна Платоновна.— Принеси подушку Филиппу Филиппычу. Ложитесь, Филипп Филиппыч, мы вам не будем мешать! Спать небось хочется?

— Признаться! — всколыхнулся Филипп Филиппыч, который сидел истуканом, устремив пристальный взгляд себе под ноги и уподобляясь факиру, погруженному в созерцание нирваны.— Это точно. Не прочь подремать!

Спустя немного он уже лежал на диване в позе убитого воина, с наброшенным на лицо, в защиту от солнца, пестрым фуляром, и тихо посапывал. В комнате оставался один лишь Фальстаф, который спал крепким сном. Мать с сыном ушли, плотно притворив дверь за собою.

Анна Платоновна села у окна своей спальни и прилежно занялась извлечением ниток из канвовой работы. Саша лег на кушетку. Между обоими царило безмолвие.

— Сашута,— нарушила наконец тишину Анна Платоновна.— Ты, может, вареньица хочешь?

Птенец отвечал глубоким молчанием.

— Саша, а Саша,— окликнула опять его мать.

И тут он не издал ни единого звука.

Анна Платоновна встала и подошла. Мальчик спал безмятежно, подложив кулак под голову.

Анна Платоновна сняла с кровати одну из подушек, приблизилась к кушетке на цыпочках и, осторожно приподняв голову сына, подложила ему под затылок подушку. Потом она села на прежнее место и принялась за свою прерванную работу.

Совсем тихо стало в квартире. Только откуда-то издали слышался заглушенный расстоянием шум, который производила Варварушка, перемывая посуду.

Анна Платоновна зевнула, протерла глаза, свернула работу и положила ее на окно. Затем она встала, направилась к кровати и тихо легла.

Тут, у кровати, на стене висела акварель под стеклом, в позолоченной рамке. Она изображала прелестного мальчика с рассыпанными по плечам черными кудрями, в синей бархатной курточке и широком гофрированном воротнике с кружевами.

Это был портрет Саши, снятый с него, когда ему было пять лет.

Ложась спать и вставая, мать каждый раз машинально обращала свой взор на этот портрет. Вот и теперь, лежа недвижно, она его созерцала... Затем веки Анны Платоновны тихо смежились и не поднимались уж больше... Она крепко заснула.

Теперь весь дом точно вымер. Лишь один маятник неугомонно стукал в столовой да Варварушка, с печальным лицом, в своей кухне гремела посудой...

. . . .

Филипп Филиппыч все спал в своей позе убитого воина. Одна рука его была подложена под голову, другая ниспадала с дивана. Густой храп с переливами вылетал из его полуоткрытого рта. Фуляр с лица давно уж свалился, чем мухи и не преминули бесцеремонно воспользоваться. Одна бродила вокруг его рта, заглядывая в него точно в пропасть, другая сидела на самом кончике носа и заботливо чистилась.

Филиппу Филиппычу виделся сон.

Ему снилось, будто над ним делают пытку, про кото-

рую он сегодня ночью прочел в романе Гюго «Человек, который смеется». Там изображается, как на одного субъекта, который лежит на земле, кладут тяжелые камни, один за другим, вынуждая сознаться, в чем его обвиняют [6]. Вот теперь и на Филиппа Филиппыча положили такие же камни. Один лежал у него на груди, другой давил руку. Над ним стоял «чех» и делал допрос.

— Филипп Филиппыч, как будет futurum exactum от глагола «экватор»?

— Нет такого глагола! — твердо стоял на своем Филипп Филиппыч.

— Отвечайте, Филипп Филиппыч! — прозвучал опять голос «чеха».

— Нет такого глагола! Отстаньте! — простонал Филипп Филиппыч.

— Филипп Филиппыч! — настаивал голос.

— Отстаньте!

— Филипп Филиппыч, а Филипп Филиппыч! — совсем уже явственно звал его голос.

«Отстаньте»,— хотел было повторить Филипп Филиппыч, но открыл глаза и, вместо мрачного подземелья, которое описано в романе Гюго, увидел стены гостиной Анны Платоновны, на которые падал розовый отблеск заката, а вместо несносного своего вопрошателя — грациозную фигурку птенца, который тряс его за руку и повторял:

— Филипп Филиппыч! Вставайте! Чай пить! Вставайте!

— Фу-у-у! — сделал Филипп Филиппыч — и совсем уже пробудился.

— Чай пить идите! — повторил птенец.— Мамаша давно уже ждет... В саду!.. Приходите!

И затем он исчез.

Садом называлось пространство за домом, кончавшееся забором, который выходил в переулок. Тут росло несколько грушевых деревьев, лепетал своими разлатыми листьями клен, протягивая ветви к каштану, а вдоль забора смиренно жались друг к дружке несколько терновых кустов. Посредине была разбита цветочная клумба. Рядом с нею виднелась сквозная, из дранок, беседка.

Филипп Филиппыч туда и направился.

В беседке, на врытом в землю столе, окруженном по стенкам беседки скамейками, ярко блестел самовар, за которым сидела Анна Платоновна, наливая птенцу уже второй стакан чаю.

Филипп Филиппыч сел и воскликнул:

— Ну и чепуха же мне приснилась сейчас!

Он закурил свою самокрутку и рассказал только что виденный сон.

— Это желудок! — объяснила Анна Платоновна, пододвигая к Филиппу Филиппычу кувшинчик со сливками.

Наступило молчание, и все занялись чаепитием. Филипп Филиппыч пил жадно и с наслаждением.

Смеркалось. Зарево заходящего солнца, проникая сквозь чащу, бросало на землю золотистые пятна. Воздух был тепел. Деревья, казалось, погружались в дремоту.

Чай был уже отпит. Все члены этого маленького застольного общества сидели не двигаясь, как бы застыв, с глазами, устремленными в этот тихий, дремотный сумрак...

— Как славно! — вырвалось шепотом у Анны Платоновны.

— Вечер чудесный! — таким же шепотом ответил ей Филипп Филиппыч.

Все вздохнули, не исключая птенца, мечтательно созерцавшего какую-то точку в пространстве.

И снова водворилось молчание, как бывает в тех случаях, когда одна только фраза, слово, простой даже звук способны нарушить гармонию душ, слившихся в одном глубоком и тихом чувстве покоя...

Совсем уже смерклось. Варварушка убрала самовар и посуду и поставила на стол зажженную лампу.

— Ну что ж, Филипп Филиппыч, мы будем делать? — спросила Анна Платоновна.— Почитаем, может быть, вслух?

— Почитаем! Отлично! — встрепенулся Филипп Филиппыч.— Что же мы будем... Да, кстати! Начали «Анну Каренину»?

— Начала... Немного только, а потом бросила...

— Бросили? Почему же?

— Да как вам сказать...— Анна Платоновна немного замялась, а потом, с какой-то виноватой улыбкой, прибавила: — Скучно...

— Ка-ак?! — взвизгнул Филипп Филиппыч.— *Ску-учно?!* Это «Анна-то Каренина»?.. Граф Толстой — *скучен?!* Ну-у, сударыня... (он развел руками). Нет, черт возьми!.. Извините меня... Но только, знаете ли, ей-богу...

— Да вы не волнуйтесь, бога ради,— остановила, с благодушной усмешкой, поток его отрывочных воскли-

даний хозяйка.— Что с меня взять?.. Ведь вы знаете, какая я читательница?.. Мне больше сказочки нравятся... А там, у Толстого, все так обыкновенно... И люди такие простые, и все так известно...

— Помилуйте, да ведь это-то и есть... Эх, да уж ладно! Что тут говорить!

— Да что вы кипятитесь-то... Господи! Чем же я виновата? Ну вот, рассердился даже...

— Нисколько... Чего мне сердиться? — возразил Филипп Филиппыч со вздохом.

Он как будто весь даже померк, и на лице его залегло выражение горечи, как у человека, оскорбленного в самых дорогих своих чувствах.

— Ведь вот, право... Из-за чего вдруг расстроился...— с недоумевающим огорчением промолвила Анна Платоновна.— Да полно вам дуться-то! Что ж, значит, не будем читать?

— Отчего же? Извольте... Только, уж извините, «Рокамболя» [7] у меня с собой нет...

— Ишь! Ну, я не знала, что вы такой злой!.. Зачем же «Рокамболя»! У меня есть ваш Вальтер Скотт...

— Гм... Ну, это дело другое,— проворчал Филипп Филиппыч, смягчаясь, и спросил, подозрительно смотря на свою собеседницу: — Что ж, он вам тоже не нравится?..

— Нет... нравится...

— Гм... Действительно нравится?

— Да... интересно...

— Гм... Ну, хорошо, будем читать Вальтер Скотта,— соизволил наконец Филипп Филиппыч, по-видимому, совершенно уж умиротворенный.

— Сашута,— обратилась к птенцу Анна Платоновна,— сходи-ка за книжкой,— она, кажется, там у меня на комоде; да и работу мою захвати...

— Вот тоже гигант!.. Эта ширь, эта мощь, этот величаво-торжественный эпос...— тихим, проникнутым голосом произнес Филипп Филиппыч, как бы говоря сам с собою, с застывшим задумчиво взором...

Как думный дьяк, в приказе поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Не ведая ни жалости, ни гнева... [8] —

продекламировал он тем же проникнутым голосом, и воскликнул неожиданно, ударив кулаком по столу: — А все-таки она тоже будет классической вещью! Ее напечатано

только начало, но я предрекаю, что она будет классической вещью!

— Что это? — вскинула на него глаза его собеседница.

— «Анна Каренина».

«Опять!» — хотела было сказать Анна Платоновна, но только махнула рукою.

Явился Саша с книгой и работой мамаши.

— На чем же вы остановились? — спросил Филипп Филиппыч, раскрывая толстый том в переплете.

— А вот, погодите... Да, вспомнила!.. Когда этот рыцарь... Как его?.. Который вот еще на турнире-то... Фу, забыла!..

— Рыцарь-Лишенный-Наследства?

— Ну да... Так вот, в том месте, где король велел ему выбрать девицу, как царицу турнира, и он выбрал дочь этого помещика...

— Какого помещика?

— Да ну, как его... Имена там такие все трудные. Саксонца!

— А! Седрика-Саксонца? Знаю! И на этом вы кончили?

— На этом и кончила.

Филипп Филиппыч перекинул несколько страниц в середине и воскликнул:

— Ага!

Затем он торжественно и громогласно откашлялся, призывая тем к вниманию свою аудиторию. Анна Платоновна прибавила свету и погрузилась в свой канвовый узор. Птенец облокотился на стол и уставился глазами в рот Филиппу Филиппычу, тоже приготовившись слушать.

Филипп Филиппыч звучным и явственным голосом начал:

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Едва Рыцарь-Лишенный-Наследства вошел в шатер, как множество оруженосцев и пажей окружило его с своими услугами: одни снимали с него доспехи, другие несли новое платье и готовили освежительную ванну. Их ревность в этом случае, может быть, была подстрекаема любопытством, потому что каждый желал знать, кто был рыцарь, пожавший так много лавров, но отказавшийся ска-

зать свое имя и приподнять наличник даже по повелению Иоанна... [9]

Филипп Филиппыч читал мерно и плавно, оттеняя каждое слово и делая паузы на знаках препинания, как требуется по правилам: на запятой — короткую, на точке с запятой — подлиннее, на точке — еще подлиннее. Чтению своему он, по-видимому, придавал большое значение и внутренне им любовался... Анна Платоновна не подымала головы от работы, быстро мелькая иголкой; она внимательно слушала. Птенец наблюдал движение губ Филиппа Филиппыча, но мысль его витала совсем не в шатре, куда привели героя романа, а на речке Смородке... Ему представлялась Смородка залитою сиянием солнца, на ней будто движется лодка, а в лодке сидит он сам, Саша, и гребет... Раз-два, раз-два!.. Мамаша никогда не пускала его одного кататься на лодке, все уверяя, что он утонет, но только в это-то лето он ее непременно упросит... Он ведь не маленький!.. Итак, он едет на лодке... А вон там все ближе и ближе левада, и вот лодка привязана к дереву, а Саша вышел, разделся и погрузился в прохладные струи... Он знает там, у левады, одно такое чудесное место... Жаль только, что там водятся жабы... Он видел их много в прошлом году, одну убил даже камнем... Только вот лодку осмолить, пожалуй, придется... Завтра он скажет мамаше, а та велит это сделать Матвею...

А тем временем Рыцарь-Лишенный-Наследства успел уже благородно отвергнуть предложенные ему трофеи врагов и отправить оруженосца своего, под видом которого скрывался преданный ему свинопас Гурт, к жиду, с деньгами, для уплаты за доспехи и лошадь, которые были взяты у этого жида напрокат для турнира, каковое посольство оказалось совершенно излишним, так как Гурт, хотя и вручил корыстолюбивому Исааку долг своего господина, но тотчас же получил его обратно, благодаря тому что возвышенная дочь Исаака, Ревекка, влюблена была в Рыцаря и заставила оруженосца принять отданные деньги назад, а его самого наградила.

Беседу оруженосца, жида и Ревекки Филипп Филиппыч изобразил на разные голоса. Для Гурта, как свинопаса, он употребил густой бас, реплики прекрасной Ревекки, для нарочитого оттенения ее доброты и душевной возвышенности, он произнес нежным, вибрирующим голосом, а тип корыстолюбивого жида Исаака передан был с ужимками и лукавым подмигиваньем.

Окончив главу, он обвел глазами своих слушателей. По-видимому, удовлетворенный этим обзором, он закурил папиросу и погрузился в дальнейшие похождения Гурта.

Теперь тот одиноко шел по лесу и выражал некоторые основательные опасения относительно могущего быть нападения разбойников...

А между тем мысли Саши давно уже покинули речку Смородку и лодку и бродили тоже в лесу, между стволами дуба и клена, где стоял чудный таинственный сумрак и под зелеными сводами шел перекатами говор деревьев, как ропот какого-то отдаленного моря... А вон там, на прогалине, вся зелень пестреет белыми точками, словно обрызнутая молочными каплями... Ландыши! Ландыши!.. И Саша бросается туда со всех ног и в одну минуту набирает огромный букет для мамаши... Тут он вскидывает глаза на нее. Она сидит по-прежнему, не подымая головы от работы и быстро мелькая иголкой. Можно думать, что она внимательно слушает, но на самом деле мысли ее заняты совсем посторонним, и, несмотря на все свое сочувствие к судьбе верного Гурта, она на время о нем позабыла и размышляет о том, что следует переменить обои в столовой, так как она заметила давеча, во время обеда, что они уже сильно засалились...

— *«Обобрать! Обобрать!»* — раздалось вдруг в беседке, и мать с сыном вздрогнули вместе.

Это кричал Филипп Филиппыч, так как опасения Гурта сбылись, и он оказался окруженным разбойниками...

— *Обобрать! Обобрать! — закричали разбойники.— У Саксонца тридцать цехинов, и он трезвый возвращается из деревни! По всем правилам, следует обобрать все, что у него есть.*

— *Я берег их, чтобы выкупиться,— сказал Гурт.*

— *Осел! — отвечал один из разбойников...*

— Пожалуйте ужинать!

Это произнес печальный голос Варварушки, которая, как привидение, выступила из сумрака сада и тотчас же опять в нем пропала.

И так как Филипп Филиппыч, не внимая призыву, продолжал вести диалог отважного Гурта с разбойниками, добираясь до того эффектного момента, когда он должен, по ходу событий, вырвать из рук одного из них дубину и ошарашить ею самого предводителя, то Анна Платоновна сочла необходимым заметить:

— Вареники простынут!

Вследствие этого на дальнейшие подвиги Гурта тотчас же упала завеса таинственности — по крайней мере на сегодняшний вечер...

. . . .

Было уже поздно, когда Филипп Филиппыч направил стопы к своей тихой обители на окраине города.

Магазины на Московской улице были все уже заперты, и только литеры вывесок ярко вырисовывались при лунном сиянии.

Дойдя до перекрестка, он повернул направо, за угол, и пошел вдоль улицы, посредине которой тянулся бульвар в виде узкой аллеи из молодых дубков и каштанов. Он шел, держась ближе к стенам домов, изредка обращая взоры к бульвару, где еще виднелись гуляющие, то вырезываясь длинными силуэтами на фоне лунного света, то пропадая в черных тенях деревьев и островерхих киосков, в которых продаются сельтерская и фруктовая воды, в течение дня оживленных беспрестанно сменяющимися группами утоляющих жажду, а теперь безмолвных и мрачных, как мавзолеи... Гуляли все больше парами и даже шеренгами... Слышался смех... Кое-где вспыхивал красною точкою огонек папиросы...

Достигнув угла, Филипп Филиппыч поравнялся с двухэтажным каменным зданием, служившим помещением клуба. Он взглянул на окна. Ни в одном из них не виднелось огня. Он обогнул этот дом и очутился сразу на площади.

Он направился по самой средине ее, держа путь по направлению к городскому собору, который, со своими белыми, словно из мелу, стенами, рисовался в лунных лучах каким-то воздушным видением.

Филипп Филиппыч двигался медленно, опираясь на палку; рядом с ним двигалась тень его, в виде гиганта с огромною палицей, а вслед за гигантом, так же медленно, шагал некий апокалипсический зверь, который был не что иное, как отражение Фальстафа, выступавшего бок о бок со своим господином.

Пройдя мимо собора, он оставил в стороне дом губернатора с фронтоном и колоннадой, за которым виднелась каланча полицейского управления, и вступил в тихий пустырь...

Он сделал несколько шагов — и...

Дело в том, что тут произошло одно маленькое обстоя-

тельство, которое тем не менее следует изобразить подробно.

Это была другая часть площади, немощеная, служившая местом помещения для бывающей в Пыльске осенью ярмарки. Налево виднелась длинная галерея гостиного двора с черными зиявшими арками. На противоположной от него стороне, куда лежал путь Филиппа Филиппыча, возвышалась темная масса деревьев.

Судя по окружавшей ее железной решетке, на которой сияли, повторяясь на равных между собой расстояниях, в форме медальонов, бронзовые монограммы с дворянской короной, следовало считать это место границей какого-нибудь частного парка.

Это было владение лица с громким историческим именем, которое, однако, никогда не посещало своей резиденции, проживая, по слухам, то в Петербурге, то за границей, так что никто из обывателей Пыльска не мог похвалиться, что видел когда-либо своими глазами носителя этого имени, вследствие чего и самое представление о нем имело характер какого-то мифа. Каждый последний мальчишка знал дом его, представлявший собою одну из достопримечательностей города Пыльска и выходивший фасадом на Московскую улицу, с величественным, украшенным кариатидами подъездом, с резною дубовою дверью, не зажигающимися никогда фонарями и каменными изваяниями лежащих львов по бокам. Что скрывалось за всем этим дальше — входило уже в область таинственного, представляя широкое поле фантазии.

Огромные вековые деревья стояли недвижно, как спящие великаны, протянув к лунным лучам свои кудрявые головы, а в безмолвной толпе их гремела и рассыпалась мелкими трелями соловьиная песня...

Филипп Филиппыч, неслышно ступая, дошел до решетки, остановился и замер, как вкопанный...

Подражая движениям хозяина, Фальстаф тоже остановился и ждал. Филипп Филиппыч не трогался с места... Фальстаф с недоумением посмотрел на него. Тот все не двигался, опершись на палку, с лицом, устремленным к деревьям, и обратившись всем своим существом в один слух...

Ни единый звук не нарушал вокруг тишины, и каждый оттенок соловьиной мелодии раздавался отчетливо, подхватываемый эхом между деревьями.

Проникаясь впечатлением окружающей обстановки, Фальстаф сел на задние лапы и протяжно завыл...

— Пошел прочь, дурак! — вскинулся на него Филипп Филиппыч, топнул ногой и ткнул даже палкой.

Фальстаф шарахнулся в сторону, отошел и лег на почтительном расстоянии. Он был изумлен и обижен необычайной для него выходкой Филиппа Филиппыча и, издали его наблюдая, размышлял про себя:

«За что? Почему?.. Что я сделал такого?.. Черт его знает, совсем очумел!»

А Филипп Филиппыч подошел совсем близко к решетке, опустился на каменный фундамент ее и, обхватив рукою холодную железную полосу, приник головою.

Лунный свет дробился между деревьями, то скользя тонким лучом сквозь листву, то как бы обволакивая прозрачно-серебристою тканью сучья и зелень. В причудливых сочетаниях света и тени эта часть сада казалась уголком какого-то волшебного мира. Вон там, между стволами, которые похожи на колонны каких-то руин, яркий свет месяца озарил что-то белое... Это статуя. При сосредоточенном напряжении зрения можно различить грациозные контуры женского бюста... А вон там чернеется какое-то большое чудовище о многих ногах, как исполинский паук... Нет, это просто фонтан, а то, что кажется ногами чудовища — мраморные изваяния дельфинов, извергавших некогда из ртов своих журчащие струи... А дальше шла борьба между светом и мраком, и там, как бы прячась от нескромного взора, виднелись чьи-то две тени, слившиеся между собой в поцелуе... Это был тоже обман волшебника месяца.

И благодаря этому волшебнику месяцу дикий, безмолвный сад, со своими разбитыми статуями и засоренным фонтаном, печальный, заброшенный, каким он всегда представлялся из-за решетки взорам прохожих при дневном освещении, теперь дышал томительной негой... В этих прохладных аллеях мерещились любовные пары и слышались звуки лобзаний и шепот страстных речей... Он как бы весь трепетал и звучал мощною песнью любви, что гремела, лилась, замирала и снова подымалась, лилась, рассыпаясь серебристою трелью в потоках лунного света, гулким эхом рокоча в сумраке лиственных ниш,— и пела ее, эту песню, схоронившись где-то в невидимой чаще, влюбленная пташка...

Соловей сделал руладу и смолк...

Филипп Филиппыч пребывал недвижим, с головой, прислоненной к решетке... Он ждал...

Но сад был безмолвен.

Он медленно отклонился и, опершись на палку, встал на ноги.

Затем он осмотрелся по сторонам. Вокруг по-прежнему было безлюдно и тихо... В нескольких шагах, на земле, лежал, растянувшись и спрятав голову в лапы, Фальстаф.

Уловив намерение своего хозяина тронуться дальше, он тоже поднялся, но остался на прежнем почтительном расстоянии, не изменяя своего выражения оскорбленного достоинства.

— Фальстаф, иси! Ну, ну, дурак... Чего ты, дурак? — обратился к нему Филипп Филиппыч, потрепал по спине и погладил.

«То-то, давно бы так»,— подумал удовлетворенный Фальстаф, трогаясь вслед за хозяином.

Филипп Филиппыч шел прежним медленным, развалистым шагом, только теперь голова его была низко понурена и на лице залегло какое-то особенное, совсем еще не бывалое сегодня на нем выражение... Углы губ его были скорбно опущены книзу, а раскрытые широко глаза застыли в созерцании чего-то, видимого им только одним и не существующего во всем окружающем.

Он перешел несколько перекрестков и улиц, машинально обходя незасохшие лужи, ни разу не подняв понуренной своей головы, вырезываясь в своей белой паре и соломенной шляпе на темном фоне заборов, бросая черную тень на залитые луною стены мазанок, и очутился наконец пред знакомой калиткой.

Тут он будто проснулся, дернул ручку звонка, проведенного через двор в сени квартиры, и снова понурился.

Спустя несколько минут терпеливого ожидания калитка была отворена сонной Параской, которая, будучи в довольно соблазнительном неглиже, тотчас же отпрянула в тень от забора. Он перешагнул через порог, прошел медленно двор и медленно поднялся по ступенькам крыльца, все не поднимая понуренной своей головы и с раскрытыми широко глазами, созерцавшими что-то, видимое им только одним и не существующее во всем окружающем...

IV

О ТОМ, ПРО ЧТО ЗНАЛИ ЕГО ГРУДЬ ДА ПОДОПЛЕКА

Филипп Филиппыч вошел к себе.

Столб лунного света широкой полосой перерезывал комнату, выходя из дверей его спальни.

Он бросил шляпу, как всегда это делал, на письменный стол, палку поставил в угол и машинально прошелся по комнате несколько раз взад и вперед...

Спать ему совсем не хотелось, да и ложиться он привык всегда лишь под утро. Вдобавок он чувствовал теперь в себе что-то странное, какое-то особенное, непривычное чувство, которого он уже давно не испытывал...

Яркий, полный месяц, крикливо вырезываясь на безоблачном небе, глядел прямо в окно спальни, где штора не была спущена, и вся окрестность виднелась, утопая в бледном сиянии.

Он тихо прошел, в полосе лунного света, весь им облитый, в своей белой паре, как привидение, сел у окна и распахнул его настежь.

Речка Смородка, словно стальная, сияла ровным, нетрепетным блеском. За нею черной каймою тянулась левада. Далее — сосны стояли недвижно, как тени... А на лоне этого сонного царства гремел, перекатываясь, походя то на стон, то на хохот, невидимый хор голосов, исходивший от неисчислимого множества лягушечьих глоток...

Филипп Филиппыч облокотился руками на подоконник и, приникнув к нему головою, застыл в тихой думе.

В его памяти возникла утренняя сцена с птенцом и встал, как живой, сам птенец, в своем новом мундирчике, с волнением повествующий о неудачном экзамене...

И в душе Филиппа Филиппыча сказался такой монолог:

«Пришел ведь... пришел не домой... ко мне первому... Да!.. И как бы это могло случиться иначе?.. И допустить разве можно, чтобы это могло случиться иначе?.. Но почему это так?.. Что я для него, да и вообще для всей этой семьи, и что они для меня?.. А между тем вот люблю же я их, а его даже так, как если бы он был мой собственный сын!..»

Филипп Филиппыч все сидел, приникнув головою к рукам, и глаза на его неподвижном лице были устремлены прямо в диск месяца, к которому теперь подкрадывалось маленькое прозрачное облачко... А то давешнее, странное

чувство, которое вползло в его душу и разрасталось все пуще, пока он шел по тихим, пустынным улицам заснувшего города, до тех пор, как вступил в эти безмолвные стены своей холостой, одинокой квартиры, теперь держало его всего, целиком, в своей власти...

Впрочем, нет: это было не странное, даже не новое, а хорошо знакомое чувство. Оно и прежде не раз поднималось вдруг из самых глубоких тайников его существа, но он всегда гнал его прочь, не дозволяя себе поддаваться ему, и только раз, всего один раз, в прошлой жизни Филиппа Филиппыча оно дало ему испытать такую же мучительно-острую боль...

Но это было давно, очень давно!

Он был тогда еще совсем молодым человеком. И вот и тогда, как теперь, он сидел, облокотившись на подоконник открытого настежь окна, и тупо-пристальным взором смотрел перед собою в пространство...

А что тогда было похожего на это, теперешнее?.. Ровно как есть ничего! Он смотрел с высоты огромного дома, над которым висело мрачное, беззвездное небо,— даже луны тогда не было,— а внизу, под ним, словно в некой бездонной и огромной яме, с мерцающими сквозь мутную мглу, как светляки, фонарями, рокотал и роился чуждый, невиданный город.

То был Петербург, а комната, в которой сидел он,— номер Знаменской гостиницы, маленький, скверненький, с претензией казаться изящным, куда привез его с вокзала извозчик, содрав за это целый полтинник, хотя и езды-то всего было одна только площадь, лихо зато подкатив к широким подъездным дверям со швейцаром, а тут тотчас же осадил путешественника какой-то необыкновенно услужливый и юркий субъект, который подхватил его чемодан, а его самого повлек по широкой каменной лестнице, влек все выше и выше — пока он, измученный, оглушенный, растерянный, не очутился в стенах этой комнаты...

О чем он думал тогда, робкий, неуклюжий провинциал, покинувший родные поля глухого уезда Тамбовской губернии, оставшись один-одинехонек у растворенного настежь окошка?.. Всю дорогу, сперва трясясь на перекладных, а потом сидя в вагоне тогда еще новой Николаевской железной дороги, он мечтал о венце своего путешествия, об этой царице полуночных стран, как о чем-то неведомо-чудном, что должно преисполнить душу его неиз-

реченным восторгом и обратить всю дальнейшую жизнь в один вечно ликующий праздник... И вот наконец путешествие кончено... О, он помнит отлично свои тогдашние мысли, которые неожиданно посетили вдруг его голову, когда глаза созерцали вечернее петербургское небо, как созерцают теперь они, спустя много лет, лунный ландшафт этой южной благоухающей ночи...

Он думал о сцене, которая произошла у него с отцом, за несколько дней перед отъездом, и перед глазами его стоял, как живой, сам отец, в тех чертах, в каких тогда ему помнился, и в них же, в этих чертах, врезался в памяти навсегда, на всю жизнь... Он — вдовец, отставной кавалерист Караваев из мелкопоместных, но отличный хозяин, чтимый в целой округе как хлебосол, любит и псовую охоту, и от картишек и от прочего другого не прочь... Вот он, со своим характерным, николаевского типа, с оплывшими чертами, лицом и седыми усами, прокопченными жуковым [10], стоит среди комнаты и, размахивая чубуком с погасшею трубкой, держит речь. Тут же и брат, фамильными чертами — в отца, сидит в уголку и слушает молча... От старика немного отдает винным букетом... В комнате горит сальная свечка...

— Эй, Филька, выкинь из головы эту дурь!.. Какого тебе дьявола делать в Питере?.. Университет... На кой тебе черт?.. Ученый! Ха!.. Ну, марай здесь бумагу, коли тебе уж такая охота,— я разве мешаю?.. Умнее отца хочешь быть?.. Не-ет, брат, яйца курицу не учат, уж это поверь... да... шалишь! Ты посмотри на себя... Горько мне, отец ведь тебе, не чужой, но ты меня сам вынуждаешь! Ну, слушай... Ты кто? Фалалей, тюфяк, баба! Тебя теленок забодает! Ведь ты пр-ропад-дешь!! Ты думаешь, зачем это я все говорю? Ты думаешь, мне очень приятно?.. Ведь я люблю тебя, дубина ты этакая! Ведь я от сердца тебе говорю!.. Ну что ж, остаешься иль нет? Говори!

— Нет,— с усилием произносит молодой человек.

— Так едешь?

— Еду, папаша...

— Тьфу! Черт с тобой, коли так! — восклицает с гневом старик и уходит, хлопая дверью.

Брат поднимается из своего уголка и намеревается тоже уйти...

— Павел! Послушай! Скажи *ты* хоть слово...

— Что я скажу?.. Ты ведь не маленький... Тебе вот отцовские слова нипочем... А по-моему — он прав, извини!

— Так и по-твоему меня теленок забодает?

— Забодает, еще бы!

— И действительно я фалалей, тюфяк, баба?

— Конечно!

И с этим Павел уходит.

Мучительно, от слова до слова, припоминается ему весь разговор... О, неужели они оба правы?.. Неужели и то, что повлекло его из захолустья, была действительно одна только дурь, а он — жалкий, ничтожный мальчишка, растерявшийся на первых шагах в этом страшном, неведомом городе, потому что он действительно страшен ему, этот город, где все — и вот этот извозчик, который содрал с него так безбожно, и этот лакей, распорядившийся с ним словно с вещью,— все они увидали, что он за птица, так как он и в самом деле тюфяк, фалалей и каждый теленок его забодает... А там, впереди — еще целый ряд столкновений с разными лицами, из которых никому нет до него ни малейшего дела!..

Он зарыдал на всю комнату, стеная и всхлипывая уже впрямь как ребенок...

И если б тогда, в ту минуту, чья-нибудь рука любовно легла ему на плечо — только, не больше,— он бросился бы на грудь тому человеку и отдал бы ему всего себя, безвозвратно, и так бы излил свое сердце:

«Нет, нет, это не малодушие! Вздор! Я на себя клевещу! Я верю в себя, верю в силы, которые бьются во мне, потому что я их чувствую, да! Я верю во что-то, что выше и лучше всего, что я видел между людьми, чья целая жизнь — еда и покой... Только я ласки хочу, самой простой, маленькой ласки, которой я не знал никогда!..»

Но в комнате не было никого, кроме него, и он одиноко плакал на своем подоконнике, давая полную волю слезам, которыми выливалась вся мука его молодого несогретого сердца...

Он встал с сухими глазами. Стены номера, казалось ему, смотрели с насмешкой. Пара свечей на столе сонно подмигивали... Он взял ту и другую, подошел к длинному зеркалу, которое виднелось в простенке, и, встав против него, осветил себя с обеих сторон...

На него взглянула из рамы фигура здорового румяного малого, с распухшим носом и скривившимися в жалкую гримасу губами...

«Баба!» — прошептал он презрительно и показал язык своему отражению.

Затем он поставил свечи на прежнее место, запер окно, разделся, лег — и почти тотчас заснул, без грез и видений, крепким, здоровым сном утомленного путника.

Так ознаменовался его приезд в Петербург.

И вот университет... Все ужасы, которые рисовал молодой человек в своем представлении о чуждых и безучастно к нему относящихся лицах, разлетелись как дым с первых шагов его вступления в студенчество... Нашлись и земляки, объявились милые, душевные люди, лихие товарищи, от одного соприкосновения с которыми тотчас же исчезли его дикость и недоверчивость... С самозабвеньем и пылом молодых нерастраченных сил ринулся он с головою в новую бесшабашную жизнь... Слишком уж много было прельщений для его свежей, первобытной натуры, вскормленной в сонном приволье тамбовских степей, далеких от чар цивилизованной жизни.

Весь семестр промелькнул как один смутный сон, составленный из эпизодов беспорядочного труда и хмельного угара, вперемежку с отрывками разных сцен и событий: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus...» *, беснованье целою партией в театральном райке в честь любимой артистки, разбитые стекла в трактире, ночное шатанье толпою, при этом чьи-то окровавленные морды — и экзамен, после тяжелого ночного похмелья... Как бы то ни было, первый курс пройден... Весна... И опять громыханье вагона по рельсам, бегущие мимо полосатые верстовые столбы, беззаботная трель жаворонка, реющего чуть видною точкой в небесной лазури, и родные поля!

И вот он опять на своем пепелище... И отец и брат — оба такие же, не изменились нисколько с тех пор, как он с ними расстался, точно это случилось только вчера... Оба, кажется, рады ему, на глазах старика даже слезы... Но почему же сам-то он, про себя, чувствует какой-то разлад, который возник между ним и всем окружающим? Нет, он не вырос нисколько в глазах этих людей, и они смотрят на него с любопытствующим снисхождением, а самые стены, кажется, шепчут ему: «Ты не наш!»

А все-таки он, как ни на есть — интересный приезжий, видавший многие виды, и от него ждут рассказов... И он рассказывает — о Казанском соборе, Неве, Эрмитаже, театрах... Все это он видел своими глазами!.. А дальше-то что — самое главное, что вынес он из своих исканий света

---

* «Будем веселиться, пока мы молоды...» *(лат.)*.

и знания?.. Возникают в памяти, как отрывки кошмара, стычка с полицией по поводу одного скандала, чьи-то разбитые скулы, батарея бутылок, сидящие без сюртуков фигуры товарищей... И жгучая краска залила его щеки, на душе стало вдруг мрачно и скверно, и губы лепечут опять о Неве и Казанском соборе...

— Н-да, любопытно! — произносит не то насмешливо, не то равнодушно брат Павел, весь запыленный и мокрый от поту, вернувшийся с поля, и суетливо нахлобучивает на себя свой грязный картуз, чтобы опять ехать на мельницу...

А отец — тот не произносит даже и этого, а только молча отвертывается, чтобы выколотить свою погасшую трубку, но и спина его и затылок, кажется, говорят молодому человеку с сарказмом: «Э-э-эх!.. Фалалей, брат, ты, как и был, фалалеем ты и остался!»

Томительно-медленно для него тянется время вакаций... Но вот, слава богу, и август!.. Опять сборы, затем расставанье — как и тогда, год назад... Надолго ли? До весны? Он не знает... Он бросает прощальный взгляд на родные стены, в которых протекли его детство и юность, а те опять ему шепчут: «Нет, ты не наш!»

Совсем с другими мыслями и чувствами приехал он теперь в Петербург. В течение всей длинной дороги в нем зародился и вырос новый внутренний человек, с которым (да, это так, решено!) он вступит теперь на жизненный путь!..

— А, Караваев!.. Вот он, Караваев!.. Душка! Голубчик! Ну что? Ну как?.. А наших, брат, опять та же компания!.. Да обнимайся же, черт!!

Он жмет руки, переходит из объятий в объятия, среди шумных и радостных восклицаний своих покинутых на лето добрых товарищей, и он всем им рад, и они все ему рады — а внутренний его человек в это время шепчет ему: «Помни смотри и будь тверд!»

«Да уж это конечно, авось хватит характера!» — отвечает он ему про себя и, для начала, отказывается наотрез идти вместе с компанией отпраздновать свидание выпивкой.

Все за минуту веселые лица вокруг него становятся вмиг укоризненными и огорченными.

— Да ты это что же?.. С ума сошел? Вот те фунт! Это уж свинство! Товарищ!.. Не ожидали, брат, этого! — сыплются на него восклицания, а он молчит и внутренно стра-

дает, но непреклонен в решении и в конце концов остается один...

Да, он хочет и будет, он уже бесповоротно решил, что будет один!

И вот он один в своей комнате. Ломберный стол, который имеет назначение письменного, завален записками лекций и книгами разных форматов — все лексиконы да творения латинских и греческих классиков. Время у него распределено в строгом порядке. До обеда — на лекциях, а вечер — здесь, за этим столом... Он весь ушел в работу и за этой работой был счастлив... Все свои развлечения он ограничил театром, а с прежними товарищами совсем разорвал. Те сперва приставали, потом, при встречах, стали посматривать с тем пытливо-подозрительным выражением, какое бывает при виде человека, у которого, как говорится, на чердаке не все ладно, и наконец оставили его совершенно в покое. Ему только это и требовалось.

Как бы то ни было, у него все-таки оставались еще кое-какие знакомства (в Петербурге их нельзя избежать) — и он сперва появлялся в двух-трех семейных домах, по случаю тех или других фамильных торжеств. Там он страдал несказанно. Он был так застенчив, неловок, даже нелеп. Скольких усилий стоило ему хоть на время забыть, что у него существуют руки и ноги, с которыми он в этих случаях не знал, что ему делать, как это удается другим, чувствующим себя повсюду легко и свободно, а главное — он совсем, совсем не умел говорить! Во время общей беседы, когда все болтали, что вздумается, другие даже просто-напросто глупости, он пребывал безмолвен, как рыба, а когда, вооружившись вдруг храбростью, открывал было рот — в ту же минуту он с ужасом делал открытие, что мысли его, те самые мысли, которые он только сейчас имел в голове — вдруг исчезли куда-то, совсем, безвозвратно — и опять он смыкал уста свои печатью молчания... С барышнями, особливо хорошенькими, он чувствовал себя вполне уже несчастным... А эти проклятые фанты! О, вот где было истинное наказание божеское!! Участвуя в них, он становился совсем идиотом,— а между тем, как назло, волей судьбы ему выпадало играть в них самые дурацкие роли, как, например, «стоять в виде статуи», «быть зеркалом» и т. п., и он, глубоко страдающий, хотя и с насильственно-напряженной улыбкой, весь красный, в испарине, не находил в себе сил возмутиться...

«Фу-у!.. Черт бы побрал их!» — восклицал он, измученный, вернувшись домой, в свою одинокую комнату...

А здесь ждал его письменный стол, на нем же тетради и книги...

И тогда мало-помалу светлый покой нисходил в его смятенную будничной пошлостью душу, и все впечатления от этих пустых, банальных речей, глупых фантов и нелепого смеха, доставивших ему столько страдания, исчезали бесследно в лучах красоты, что лились с этих старых пожелтевших страниц, будя те тонкие незримые струны, которые жили в нем, молчаливом, смешном фалалее, сказавшись впервые в душе его еще там, далеко, среди степей провинциального его захолустья, в трелях поднебесного жаворонка и колыханье былинок — и звучат вот теперь постоянно во всем, что его окружает: и в красках петербургского неба, и в мелодии музыкальной пьесы, и в рифмованной строчке читаемой книги...

На лето он домой не поехал... Вместо того он нанял избу в одной из деревень, под Петербургом, и провел все вакации в одиноких прогулках по лесам и лугам, с палкой в руке и какою-нибудь книгой в кармане. Случалось, лежа под деревом, вынет он из-за пазухи записную тетрадь, карандаш и примется торопливою рукою нанизывать на чистых страницах короткие строчки... О существовании этой тетради не знала ни одна душа во вселенной. Она заключала в себе его первый авторский опыт, созревавший на летнем досуге,— большую поэму, в героическом духе, под заглавием «Кейстут»... [11]

К концу вакаций поэма поспела. Возвратившись в столицу, он переписал ее набело и, замирая, отнес в одну из редакций.

Спустя положенный для прочтения срок ему ее возвратили... Он стоически перенес неудачу и, не делая больше попыток пристроить свой труд, спрятал под спуд его, к прочим бумагам. «Терпение!» — решил он про себя и отдался усердному посещению лекций. А тем временем, между делом, наполнялась себе втихомолку другая тетрадь, посвященная стихам в антологическом роде...

Он работал усердно по-прежнему и по-прежнему много читал, замкнувшись в себе еще больше. Знакомства он прекратил и остался верным одному только театру.

Тетрадь стихотворений испытала участь «Кейстута». Отнесенная в редакцию, она возвращена была автору. Он присоединил ее, как и прежнюю рукопись, к прочим бу-

магам и принялся за повесть из современного быта, которую назвал «Недолгое счастье».

Он совсем отделил себя от всего, что существует вовне, словно вся эта видимая жизнь человечества, которое что-то делает, куда-то стремится и о чем-то хлопочет, было нечто совсем постороннее, случайное и преходящее, область каких-то фантомов, истинный же центр всей вселенной — тот мир стройных поэтических образов, которые всегда останутся вечными в созданиях великих художников.

А между тем временами чувство чего-то особенного, неудовлетворенного и не могущего быть замененным изучением созданий искусства, поднималось вдруг из недр его существа, заставляя его в эти минуты испытывать состояние глубокой и безысходной тоски... Образ женщины возникал перед ним в те минуты... Неуловимы и смутны были ее очертания, и ни одно из когда-либо виденных им женских лиц не походило на этот, живший в душе его образ, беспрестанно менявший свое выражение: то стыдливый и твердый в исполнении долга, как Татьяна из «Онегина», то нежный и самоотверженно любящий или гордый и негнущийся в бедствии, как диккенсовские Агнеса Викфильд из «Копперфильда» и Эсфирь из «Холодного дома»...[12] Неужели они — лишь создания фантазии? Нет, невозможно!.. Они жили и теперь существуют, *только онто* ни разу их не встречал и никогда, во всю жизнь, их не встретит, неуклюжий и смешной фалалей!..

А тем временем там, в действительной жизни, происходили события, занимавшие собою Европу. Настала эпоха крымской кампании...[13] Он все-таки не настолько себя обособил, чтобы не знать о войне: о ней говорили вокруг, он и сам читал об этом в газетах... Только и это, как и прочее все, шло мимо него, и он совсем мог бы остаться чуждым этим событиям, если бы не один неожиданный случай, который, будучи связанным с ними, врезался навсегда в его памяти.

Однажды утром он, к великому своему изумлению, вдруг увидел перед собою отца!.. Старый кавалерист точно с неба свалился. Сын протер глаза свои, в первую минуту подумав, не грезит ли он. Но нет, старик был тут, живой, воочию! Он тискал молодого человека в объятиях, обдавая его памятным запахом жукова, которым, как и всегда, были прокопчены его седые усы, смоченные теперь слезами свидания... А тем временем извозчик вносил

и расстанавливал в комнате чемодан и прочие вещи приезжего...

— Папаша! Да вы ли это? Какими судьбами? — вымолвил наконец насилу пришедший в себя от изумления сын.

— Я! Сам! Проездом! Проститься!.. Еду, брат!

— Как? Куда едете?

— Под Севастополь... В ополчении я!

— Вы?.. В ополчении?..

— Чего уставился?.. Ну да! Я!.. В ополчении! Что ж тебе удивительно?

— Господи боже мой! — нашелся только воскликнуть молодой человек.

А путешественник между тем возился со своими вещами и его тормошил, произнося скороговоркой:

— Вот что, брат, как бы насчет самоварчика?.. Да послать бы чего-нибудь закусить... Деньги-то есть ли? А не то вот, возьми... Да водицы бы мне... Рожу умою, а потом сейчас же и марш! Съездить надо в несколько мест... Теперь-то мне растабарывать некогда, а вот ужо, только управлюсь, поболтаем как следует.

Молодой человек чувствовал себя точно во сне, и отец, которого раньше он не мог себе представить иначе, как облеченным в халат и лениво слоняющимся с трубкою в руках, из угла в угол их деревенского дома, являлся теперь перед ним каким-то особенным, совершенно иным, незнаемым им до этой поры человеком. Это состояние не покидало его во все продолжение времени, которое тот провел в Петербурге, постоянно возбужденный, как в лихорадке, проникнутый одною идеей о Севастополе, и когда, наконец, на платформе вокзала старик в последний раз обнял его и вошел в двери вагона, а поезд свистнул, охнул и, тронувшись, мало-помалу скрылся из глаз,— он вернулся к себе под впечатлением какого-то смутного и беспокойного чувства, которое звучало резкою нотой в стройной гармонии привычных его ощущений, чуждых всегда тревожных волнений по поводу чего бы то ни было, что не касалось сферы его дорогого искусства...

Впрочем, впечатление это вскоре изгладилось под влиянием одного случившегося после того обстоятельства. А именно — повесть «Недолгое счастье», подобно всем предыдущим продуктам его литературного творчества, потерпела фиаско в редакции... Тогда, в первый раз, он предался раздумью по поводу своей авторской деятельности...

В результате получилось решение — не складывать рук, а потому он и начал тотчас же новый рассказ, с менее сложным, однако, сюжетом...

А время все шло своим чередом, и в мире действительной жизни события тоже шли своим чередом... Крымская кампания кончилась, и ему еще раз пришлось испытать отражение этой эпохи в обстоятельствах своей личной жизни.

На его имя пришло письмо с черной печатью, в котором брат Павел извещал о смерти отца... Старик был убит в деле 4 августа, на Черной реке...[14] Филипп Караваев приглашался домой, для участия в разделе наследства.

Два года он уже не был на родине. Короткое свидание с отцом в Петербурге, а затем это письмо, с вестью о нем, писанное знакомым почерком брата, явились отзвуком чего-то далекого, нравственные связи с которым навсегда уже порваны... Что было ему делать в деревне?.. Он ответил, с приложением формальной на имя брата доверенности, что вполне полагается на его добросовестность и считает поэтому свое личное присутствие во время раздела излишним.

Студенческие годы шли к окончанию... Вот и последний экзамен, а с ним — и рубеж новой жизни.

За все это время он так обособился, так сжился с своей раковиной, своим одиночеством, книгами, обычными, изо дня в день повторяющимися явлениями трудовой аскетической жизни, что теперь он почувствовал себя в положении человека, который все время плыл по тихим водам и вдруг очутился в бурном потоке... Положение было дико и странно... Оказывалось, что он совсем не сам по себе, а таков же, как все, тоже член общества, которое на него имеет права, ждет от него исполнения известных обязанностей, что ему предстоит теперь указать для себя одну из клеточек в общей таблице, так как вне какой-либо клеточки немыслим никто, не принадлежащий к числу паразитов на общественном теле, что, словом, он должен избрать для себя «род занятий»... Это было для него неприятным открытием.

Правда, и раньше не раз, в последние месяцы студенческой жизни, смущали ровное течение обычных мыслей его гаданья о будущем... Но это будущее почему-то казалось таким отдаленным, а главное, не имеющим никакого отношения к насущным заботам! Определенное решение совершенно не складывалось в его голове. Возникали, как

бы в тумане, планы о магистерской диссертации, мечтанья о кафедре — и расплывались, не оставив после себя впечатления. Теперь эти мысли возникли настойчивее, так как явилось неожиданно одно обстоятельство, требовавшее решения тотчас же. Дело касалось предложения вакантного места преподавателя русской словесности в одной из провинциальных гимназий.

Новоиспеченный кандидат филологии предался раздумью.

Магистерство... Кафедра... Пристань, в которой можно навсегда успокоиться,— и ведут к ней годы упорной, сухой и копотливой работы, в круге одной специальности, которую необходимо избрать и на всю жизнь в ней замкнуться. Опять эти безмолвные, одинокие стены, вороха книг и тетрадей, мерцание лампы... Вон там, за окном, неумолкаемый уличный грохот и лихорадочная сутолока мчащихся куда-то людей, среди этих бледных, словно болезненных, стен громадных каменных масс, унылых, как гробы... О, как все это надоело, противно!.. А запруженное клочьями разорванных туч суровое небо вдруг прояснилось улыбкой, бросив скупой, негреющий луч заходящего солнца, ласковая струя ветерка невесть откуда примчалась в окно, пошевелила полуопущенной шторой и, пробежав по столу, загроможденному ворохами книг и бумаг, шаловливо перевернула страницу раскрытой тетрадки... Как будто некий незримый посланец веселой весны заглянул в эту затхлую комнату, чтобы сказать о других небесах, где солнце расточает свои жаркие ласки, в душистой прохладе поет соловей и, глядясь в светлую гладь задремавшей реки и млея в истоме, шепчутся между собой камыши...

В душе кандидата сразу созрело решение, которое вырвалось в произнесенном вслух восклицании:

— Еду!

Он заявил о своем согласии принять место в провинции и стал собираться в дорогу.

Последний вечер своей петербургской жизни он провел в укладке вещей. В нем не было ни грусти о прошлых студенческих годах, ни мечтаний о будущем... Ничего дорогого, заветного, что приходилось покинуть, в памяти его не отыскивалось. Прожитое являлось в виде прямой, однообразной дороги, пройденной без усилий и утомления, и такая же прямая дорога простиралась перед ним впереди. Что могло на ней встретиться дальше — он о том не зага-

дывал, как не загадывает о случайностях своего путешествия всякий проезжий, который остановился на станции и ждет, пока подадут ему других лошадей. Он может торопиться и волноваться по поводу цели поездки, но это его не обязывает помнить о местности, которую он уже проехал, или замечать придорожные деревья и верстовые столбы в дальнейшем пути.

Разбирая бумаги, он наткнулся на свои забытые рукописи. Вот поэма «Кейстут», вот «Недолгое счастье»... Он машинально стал перечитывать и незаметно увлекся этим занятием. Вот эпизоды, сцены, отдельные фразы... Все это переживалось во время писанья, но теперь, после промежутка известного времени, казалось чем-то чужим, посторонним... И, одно за другим, перед ним возникали открытия. Все, что когда-либо им было прочитано у известных писателей и произвело впечатление, оказывалось воспроизведенным на этих страницах, в другой только форме... Вот, почти целиком, глава из «Гражины» Мицкевича, вот тут похоже на «Демона» Лермонтова, дальше не обошлось даже без Кукольника...[15] В повести «Недолгое счастье» Гоголь и Диккенс выглядывали из каждой строки...

Он оттолкнул от себя плоды своей музы и задумался долгою и тяжелою думой... Посидев так несколько времени, он поднялся со стула, сгреб все тетради в охапку, отнес в печку и предал сожжению.

Так он покончил со своею авторскою деятельностью.

И вот очутился он в Пыльске.

Длинная комната со светлыми стенами, увешанными ландкартами, с черною доскою в углу и параллельными рядами черных парт, унизанных юношами с красными воротниками и светлыми пуговицами. Поодаль, на стуле,— фигура длинного, худого мужчины в темно-синем форменном фраке министерства народного просвещения... Это — IV класс Пыльской гимназии, а длинный мужчина на стуле — директор.

Филипп Караваев читает свою первую лекцию по теории русской словесности.

Он выступал приготовленный. Программа предмета созревала у него в течение всего предыдущего лета. Краткое вступление и начало, посвященное древнему эпосу, стоили трудов целой недели. Накануне, с утра, он заперся в квартире, засел к столу, с пером и бумагой, и проработал до самого вечера. Плоды этой работы — вот эта тетрадка почтовой бумаги, исписанная красивым, тща-

тельным почерком, по которой он читает теперь своим слушателям.

Пронзительный звонок в коридоре возвещает окончание урока.

В тетрадке остается еще с десяток страниц. Ему досадно, что он не рассчитал объем первой лекции соответственно времени, но все же решается прочесть до конца. В коридоре топот и гам вырвавшихся иззаперти гимназистов. А он все читает... В окружающей его тишине все явственнее прорываются знаки сдержанного нетерпения. Сам директор ворошится на стуле... Но он все читает... Наконец директор встает и заявляет, что можно уже прекратить. Он умолкает, прячет тетрадку в карман и, отдав классу короткий поклон, направляется, пропуская вперед себя директора, к выходу.

— Прекрасно-с! — говорит ему тот, когда они пришли в канцелярию, где учителя курят и завтракают.— Только позвольте заметить вам: не лучше ли было бы и проще в устном рассказе, а не по тетрадке?

Разговор происходит среди группы преподавателей. Особенно внимательно прислушиваются: батюшка в фиолетовой ряске и с наперсным крестом, протоиерей из городского собора, состоящий в звании законоучителя, и рыженький человечек в синих очках — математик.

Он дает объяснение, откровенно заявляя, что этот способ удобнее для него потому, что он далеко не в той степени владеет языком, как пером. Он и впредь намерен составлять лекции письменно. Устное изложение у него неминуемо должно выйти бледным, сухим, между тем как самый предмет его имеет своею целью не одно только пичканье фактами. Имея дело с образцами поэтического творчества, он требует той красоты в передаче, которая должна способствовать духовной связи, устанавливающейся между поэтом и воспринимающей плоды его вдохновения массой, так как произведения поэтического творчества имеют дело с живым, непосредственным чувством.

— Так-с! — откликается вдруг математик.— Но я полагаю, что цель всякого преподавателя среднего учебного заведения, который передает сведения по известному предмету, есть развитие умственных способностей, в обширном смысле: памяти, логики и проч. Возьмем, например, математику. Она занимает, бесспорно, первое место в смысле науки, удовлетворяющей цели развития, и потому...

— Извините! — перебивает его Караваев, которому его собеседник, свысока и, как ему кажется, будто даже презрительно цедящий сквозь зубы слова, становится вдруг почему-то чрезвычайно противен.— Извините, я смотрю на свой предмет несколько шире. Математика приносит свою долю пользы как умственная гимнастика, что ли, но она ничего не дает от себя... Способность мыслить свойственна каждому, и мы знаем примеры многих знаменитых людей, которые были в свое время крайне плохими математиками... Даже вот скажу про себя: в гимназии я терпеть не мог математики и всегда ни бельмеса не смыслил во всех этих биномах Ньютона, синусах, тангенсах и всей этой штуке!..

— Да-а? — тянет, прищурившись поверх очков, человечек и как бы весь расплывается в ядовитой усмешке.— В таком случае интересно бы было, если бы вы потрудились разъяснить те широкие задачи, которые заключаются в преподавании благосклонно избранного вами предмета... Если не ошибаюсь, вы изволили выразиться, что таковые вы признаете в одной русской словесности? Кажется, так?

И рыженький человечек обводит присутствующих ироническим взглядом и потом останавливает его на своем оппоненте. В эту минуту он делается положительно уже ненавистным Филиппу Филиппычу.

— Можете иронизировать сколько угодно,— возражает Караваев, весь трясясь и пылая,— но навязывать мне слова, которых я не сказал, не имеете права! Кто говорил о широких задачах? Никто не говорил о широких задачах! Я хотел только сказать, что математика, как имеющая исключительной целью формальное развитие головы,— наука односторонняя. С одним этим далеко не уедешь! В человеке, кроме того, существуют способности творческие, существуют воображение, фантазия, наконец внутренний мир, стремления духа... Математика, как и все те науки, которые называются точными, не имеют целью воспитывать...

— Прекрасно-с! — запальчиво перебивает его человечек.— Следовательно, словесность — предмет воспитательный?..

— Да, воспитательный! — еще запальчивее перебивает его Караваев.

— Погодите! Воспитательный? — переспрашивает человечек.

— Воспитательный! — настаивает Караваев.

— Чудесно-с! В таком случае какое место вы отведете религии? — задает вопрос человечек, ехидно подмигивая в сторону батюшки... Тот откашливается, расправляет на груди цепочку креста и с значительным видом гладит бородку.

— Религия — дело другое... Входя в область веры...— начинает Караваев, но математик тотчас же его прерывает:

— Как? Как? Как вы сказали? Веры? Одной веры?

— Да, веры... Я сказал...

— Постойте. Вы сказали: одной только веры?

— Погодите...

— Нет, вы погодите...

Бог знает, к чему бы мог привести этот спор, но его прерывает звонок, возвещающий окончание большой перемены. Преподаватели поспешно хватают журналы, и антагонисты расходятся, приобретя с этой минуты друг в друге врага...

Так началась его учебная деятельность в Пыльске.

Он горячо принялся за дело. Он остался верен своей системе — письменного составления лекций, и на эту работу уходило у него все его время. Каждая была плодом самого добросовестного изучения необходимого для нее материала. Задаваньем уроков наизусть он не обременял своих слушателей. Все дело ограничивалось письменными работами в конце каждого месяца, отметки за которые выставлялись в журнале, в качестве «месячных» баллов.

В то же время он продолжал стоять особняком от всего окружающего.

Со своими товарищами — преподавателями он мало сошелся. Бывая на их вечеринках, с неизбежным преферансом и выпивкой, он чувствовал себя лишним гостем. В танцах он не участвовал, а чтобы не изображать из себя совершенно статуи молчания, прилеплялся к какому-нибудь из гостей, лишь только в нем замечал так же мало участия к предлагаемым развлечениям, и затевал с ним пространную беседу на какую-нибудь серьезную тему...

«Байбак!» — подслушал он раз, совершенно случайно, из одних дамских уст... Он знал, что это относилось к нему, и этого было достаточно, чтобы он совершенно уже отстранил себя от женского общества.

Вскоре, однако, произошел случай, который внес в его жизнь неожиданный для него элемент.

В числе его учеников из старшего класса был юноша, которому он постоянно ставил полные баллы за подаваемые им сочинения. Они всегда щеголяли литературностью изложения, местами даже изяществом. Любимцев между учениками у Филиппа Филиппыча не было, но в данном случае он не мог не обратить внимания на этого юношу. Это был тонкий и стройный блондин с большими карими глазами, обладавшими постоянно каким-то пристальным и вдумчивым взглядом. Он тотчас же сделался симпатичен Филиппу Филиппычу. Фамилия его была Хлебников.

Раз он отличился особенно, так что Филипп Филиппыч, придя в класс и раздав всем тетради, счел нужным сделать ему нечто вроде овации.

— Лучшая из всех работ,— заявил он,— и на этот раз, как всегда, Хлебникова. Я должен был поставить ему высший балл — пять с крестом!

И, передавая зарумянившемуся от польщенной гордости ученику тетрадь его, он прибавил:

— Прочитайте, пожалуйста, вслух свое сочинение.

Когда тот прочел, Филипп Филиппыч воскликнул:

— Превосходно! Вот как надо писать!

По окончании урока Хлебников остановил его в коридоре.

Краснея и конфузясь, он передал ему свою просьбу. Она заключалась в следующем. Хлебников писал стихи, их у него накопилась целая тетрадь, и ему очень хотелось, чтобы учитель прочел их и дал ему свои указания.

Филипп Филиппыч отвечал, как подобало, выражением полной готовности и пригласил его прийти к нему вечером...

Тот последовал приглашению, и затем между ними установились самые короткие отношения.

В одно из своих посещений, проходивших в беседах по поводу прочитанных юношей книжек, которые он брал у Филиппа Филиппыча, Хлебников открылся, что он издает в классе рукописный журнал, в котором несколько его товарищей принимают участие. Караваев живо заинтересовался и поручил ему привести с собой всю эту компанию, назначив для этого вечер.

В этот вечер квартира Филиппа Филиппыча представляла необычное зрелище.

Кабинет был чисто прибран, и все вещи стояли в строгом порядке. Кроме лампы на столе, перед диваном, горела

пара свечей. Там виднелся поднос с чайным прибором и десятком стаканов и тарелок с печеньем, сластями и фруктами. У стола теснились полукружием все собранные сюда наличные стулья. Сам хозяин, облеченный в свой лучший сюртук и причесанный волосок к волоску, стоял в дверях прихожей, тоже освещенной, против обыкновения, пожимая руки входившей со двора гурьбе гимназистов под предводительством Хлебникова.

Гости усаживались полукругом на стульях. Все сидели красные от смущенья, молчали и только покашливали. Хозяин «пробил лед» заявлением:

— Господа, будьте, пожалуйста, без церемоний. Кто курит — не стесняйтесь, курите!

Хлебников первый достал папиросу и закурил. Его примеру последовали кой-кто из гостей.

Подан был самовар, и мало-помалу завязалась беседа. Сперва говорил один только Хлебников, прочие же испускали лишь изредка членораздельные звуки, но затем понемногу разговор оживился. В нем отсутствовало все, что касалось гимназии. Вечер вышел литературным. Хлебников показал Филиппу Филиппычу пачку принесенных с собою нумеров «журнала». Он назывался: *«Звезда» — журнал литературный и юмористический*... Говорили о журнале, о том, кто что пишет в нем, как кто начал писать вообще и при каких обстоятельствах, что послужило первоначальным толчком... Беседа затянулась до полночи, и компания разошлась, когда все угощение было уж съедено, хотя тема беседы оказалась неисчерпаемою... Все были оживленны и болтали без умолку. На прощанье хозяин звал всех заходить к нему без стеснения и совершенно неожиданно вдруг для себя предложил:

— Знаете что, господа? Не завести ли нам у меня постоянные собрания, в определенные дни? Например, по субботам... Это самый удобный день, как канун воскресенья... Согласны?

Общество отвечало шумным согласием.

— Итак, до субботы,— повторил Филипп Филиппыч, после чего вся ватага, со смехом и шутками, вывалила из прихожей на улицу.

Этот вечер стал памятен ему навсегда! Он принадлежал к одному из самых светлых периодов жизни. Он сам был тогда так еще молод, столько еще наивной, младенческой веры оказалось в душе его, начинавшей уже, как мнилось ему, засыхать под влиянием нелюдимого его одино-

чества!.. И он думал тогда, что ему суждено воспрянуть и обновиться в юношу былого периода, когда он бродил по приволью тамбовских степей... Милое, славное время!

Вот эти субботы... На столе бурлит самовар, испуская струи белого пара, лампа кротко мерцает, играя алмазными искрами в ледяных узорах на окнах, а вокруг — молодой, раскатистый хохот, споры и крики... Кто-то какие-то стихи декламирует, беспрестанно прерываемый звуками других голосов, из которых один о чем-то взывает к Филиппу Филиппычу. А он шлепает своими мягкими туфлями, благодушно слоняясь по комнате. Гости его совсем позабыли о нем, а он рассеянно ловит тот или другой клочок фразы из раздающегося вокруг него шума речей, и такие мысли проносятся в его голове:

«Славно! Торжествуй, Филипп Караваев! Почем знать? Пройдут года, и на небосклоне нашей литературы засветится еще несколько звезд... Может быть, огонек, что теплится еще только пока в этих юношах, заблестит ярким пламенем, и если этому суждено совершиться, заслуга принадлежать будет тебе!»

Да, это было милое, славное время!

Теперь он смеется над своими минувшими думами, и непростительным чудаком рисуется ему тогдашний Филипп Караваев, в звании преподавателя русской словесности в казенной гимназии, а все-таки вот и теперь его сердце испытывает старую боль при воспоминании о разразившейся вскоре после того катастрофе.

В гимназии произошел великий скандал. У одного из учеников старшего класса найден был нумер рукописного журнала «Звезда»... Пожалуй, все это было не важно, и дело можно бы было объяснить юношеским легкомыслием, посадив главных зачинщиков в карцер,— но оно принимало совершенно другой оборот в силу того обстоятельства, что при дальнейшем расследовании оказалось прямое участие тут самого преподавателя русской словесности, потворствовавшего этой затее, вместо того, чтобы противодействовать ей, как требовала того его прямая обязанность...

Скандал вышел совсем беспримерный. Караваев погорячился и наговорил много лишнего. Произошла новая сцепка с учителем математики, которого он назвал тупицей...

Филипп Филиппыч подал в отставку.

Уныло и смутно встретил он следующий день. Это как раз была суббота. Неодетый, немытый, он просидел дома,

не выходя даже на улицу, не будучи в состоянии чем-либо заняться, даже чтением, слонялся бесцельно по комнате, бросался по временам на диван, где лежал, тупо смотря в потолок; вскакивал, снова слонялся — и ждал с нетерпением вечера...

Наконец настал вечер. По обыкновению, на столе перед диваном зажглась пара свечей, озаряя поднос со стаканами и тарелки с сластями и фруктами. Он ходил из угла в угол и беспрестанно смотрел на часы. Так медленно приближалась стрелка к римской цифре VIII, обозначавшей обычный час прибытия юных гостей!.. Вот наконец часы стали бить... Он остановился в своей прогулке по комнате и застыл в ожидании... Вот-вот звякнет сейчас колокольчик!.. Нет, тихо по-прежнему, и свечка уныло мигает в прихожей. Он снова принялся шагать. Вот четверть девятого, вот половина... Он шагал, останавливался, то прислушиваясь, не дрогнет ли звонок, то проницая сквозь стекла окошек в уличный мрак, и снова шагал... Часы медленно, плавно, словно издеваясь над его нетерпением, пробили девять... В квартире было по-прежнему тихо. «Что ж это значит? что их задержало? Непременно, непременно их что-нибудь задержало!» — шептал он, опять принимаясь шагать... Он не допускал даже мысли, что они не придут! Они *должны* прийти, именно *теперь-то, теперь-то* они и должны!.. А стрелка часов медленно, неумолимо продолжала свой путь вокруг циферблата... Он ходил, садился, вставал и снова ходил, тупо смотря себе под ноги... Часы пробили десять... В комнату заглянула кухарка с вопросом, не пора ли подавать самовар... Он бессмысленно посмотрел на нее и долго смотрел, стараясь уразуметь, о чем она его спрашивает, потом нетерпеливо махнул ей рукою. Тут только впервые ударила в его голову мысль, что он ждет напрасно, что они не придут, *совсем не придут!..* Он медленно, как бы весь ослабев, опустился в угол дивана, склонившись головою к рукам, и зацепенел, словно мертвый... Он теперь уж не ждал. Он знал, что они не придут. Он не думал о них, и ни о чем он не думал. В голове и душе было пусто, во всех членах усталость, и он все сидел, не шевелясь, истуканом, с головою, опущенной на руки... Наконец он встряхнулся, встал и взглянул на часы... Стрелка на циферблате приближалась к двенадцати... Свечи на столе догорали, освещая тарелки с приготовленным для гостей угощением. Огарок в прихожей потух, и там стоял мрак... Он задул свечи, в темноте направился в спаль-

ню, в темноте же разделся, лег ничком на постель и заснул тяжелым, похожим на оцепенение сном...

На другое утро он проснулся разбитым, однако тотчас же оделся и, не напившись даже чаю, отправился из дому. Он держал путь к гимназии.

По дороге ему попадались шедшие в одиночку и парами, в ту же сторону, как и он, гимназисты. Некоторые ему снимали фуражку.

Вон по той стороне идет юноша. Филипп Филиппыч узнал его и устремился навстречу, через перекресток. Только его одного, этого самого, он и хотел теперь видеть...

Это был Хлебников. Он шел медленно, опустив голову книзу и поддерживая рукою портфель. Случайно он взглянул на противоположную сторону улицы, и глаза его встретились с глазами Филиппа Филиппыча...

Лицо его вспыхнуло. Он торопливо приподнял фуражку — и в ту же минуту ускорил шаги.

Филипп Филиппыч остановился, как столб, смотря вслед удалявшемуся из глаз гимназисту. Он был потерян и уничтожен, как человек, которому нежданно-негаданно дали вдруг оплеуху...

В воздухе зарябил крупный снег... Над самым ухом Филиппа Филиппыча крикнул что-то мужик на шибко катившей телеге, чуть не сбив его с ног... Он тронулся с места и побрел восвояси... А снег все валил и валил тяжелыми хлопьями, погребая под своей пушистой пеленою предметы, и казалось Филиппу Филиппычу, будто он, этот снег, вместе с тем погребает и его самого, вместе со всем для него дорогим и заветным, что навсегда уже скрылось из глаз и больше никогда не вернется...

Придя домой, он тотчас же принялся укладывать свои книги и вещи и к вечеру очутился вот здесь, в этих стенах, на этой тихой окраине...

С тех пор прошли годы.

Вскрывалась, опять цепенела и снова вскрывалась, унося свои ледяные оковы в далекое море, речка Смородка... Переменяли и сбрасывали и вновь надевали зеленый убор свой деревья... Наступила и отошла в область забвения эпоха реформ... Прогремела и кончилась война франко-прусская... Люди рождались, любились, умирали и вновь нарождались... Много воды утекло!

Филипп Филиппыч постарел, потолстел и обрюзг. Во всем остальном он остался таким же. Такими же оста-

лись и самые стены тихой обители, которые видят, как спит, просыпается, ест, сидит и работает живущий в них старый байбак... Пусть там, где-то вдали, шумит и волнуется бурное житейское море! Ни им, ни ему нет до этого ни малейшего дела. Здесь, в тишине и безлюдии, вдалеке от всего, что терзает или радует суетный род человеческий, зреют идеи и планы, которые ведает один их носитель, а до всех остальных они отнюдь не касаются!

Счастлив ли он?

Да, он счастлив... Он счастлив этой, всегда интересной, разнообразной, таинственной, вечно юной и неизменной жизнью природы, грозной в сверкании молний и завываниях снежных метелей — и ласковой, любящей в лучах ясного солнца, животворящего и хлебный злак и лесную былинку. Он счастлив своим личным покоем, книгами и полной ни от кого независимостью... Да, он счастлив, счастлив, конечно!

Но что же значат эти приливы глубокой и безысходной тоски одиночества, которые по временам его посещают, так что все, чем полна его жизнь, становится ему вдруг ненавистным?.. В эти минуты ему хотелось бы лишь одного. Ему бы хотелось, чтобы все, что он когда-либо пережил, изучил, перечувствовал, оказалось одним смутным сном, а он проснулся бы вдруг тем давнишним, смешным фалалеем, который некогда плакал на подоконнике петербургской гостиницы... Что все эти планы, надежды, цели, упования? Вздор!.. Тихое, теплое пожатье женской руки... Нежный ласковый голос... Слова без значенья, звучащие лишь трепетной музыкой робкого чувства... Миг, только миг такого блаженства — и он упился бы им на всю жизнь! Миг, один только миг — он больше не требует, потому что ни одного такого он не изведал еще никогда!..

. . . .

«Фу, черт! Это еще что за новости?! Вот чепуха-то!»

И с этим восклицанием, раздавшимся громко в ночной тишине, Филипп Филиппыч провел рукой по лицу. Оно было мокро от слез...

«Еще разревелся... Ах ты, старый дурак! — шептал он, торопливо стирая с лица рукавом следы своего малодушия.— Отлично, если бы кто меня теперь увидал... Черт знает!.. Экое свинство!.. Это, ей-богу, потеха... Ха-ха!»

И это «ха-ха!» также громко раздалось в ночной тишине, но не весельем звучал этот смех, а злобой и горечью...

Чего он раскис, в самом деле, с глупейшим, сентимен-

тальным самоуслаждением разматывая этот клубок ненужных, бессмысленных воспоминаний?.. Соловей... Лунная ночь... Еще бы, расчувствовался!.. Вот уж к лицу-то, подумаешь!.. Что можно вообразить нелепее — сочинить себе какие-то пошлые, слащавые чувствица и их растравлять и размазывать?.. Добро бы еще, если бы юноша... Но он-то, он-то, старый толстый байбак!.. Ведь хотя б, наконец, даже из этих самых воспоминаний, над которыми так он расплылся, разве не достаточно явствует то заключение, что все для него давно уже кончено, решено и подписано?.. Даже в тех случаях, когда он испытывал тоску одиночества и эту малодушную жажду — кому-то что-то поведать и в чем-то излиться, разве не напоминал ему каждый раз спокойный голос рассудка о той прямой и ясной дороге, которую он сам себе выбрал? Он шел по ней до сих пор, не спотыкаясь и не уклоняясь в разные стороны, и будет идти до конца, потому что в ней одной заключается все — и цель и награда!

Он встал и запер окно. Месяц давно уже скрылся за лесом, и вся окрестность померкла. Полный мрак окружал Филиппа Филиппыча.

Он пащупал рукою графин, стоявший, как обыкновенно, на столике, выпил квасу и, все в темноте, принялся разоблачаться.

Оставшись в одном белье и всунув босые ноги в туфли, он зашлепал в свой кабинет. Привычной рукою нашарив на столе коробку со спичками, он добыл огня и засветил свою рабочую лампу. Затем он сделал обычный осмотр комнаты. Шторы на окнах были опущены аккуратно, как следует, устраняя тем всякую возможность какому-нибудь любопытному с улицы увидеть, что происходит в квартире... Наконец, он вернулся к столу, опустился в свое мягкое кресло и, откинувшись на спинку его, погрузился неопределенным взором в пространство.

Ровный свет лампы, на которую Филипп Филиппыч не надел абажура, озарил обложки и корешки переплетов книг его библиотеки, а со стены, над столом, взглянули на него портреты корифеев, и наших и иноземных, как мертвецов, так и здравствующих... И носатый, со своей характерною, свесившейся на лоб прядкою Гоголь, и кокетливо выглядывающий в щегольском пиджачке седовласый Тургенев, и Пушкин, и Лермонтов, и великие мировые таланты: и кутила-красавец Шекспир, и застывший в меланхолической думе юноша Шиллер, и горбоносый, с лицом уг-

рюмой старухи, увенчанный лаврами «божественный» Дант — все они как бы говорили созерцавшему их Филиппу Филиппычу:

«Вот мы все, которых ты собрал у себя, пред тобою... Уста наши уже сомкнулись навеки, и самые кости разрушились... Мы рождены были такими же смертными, с теми же слабостями и недостатками, как и прочие люди, обреченные стать добычей червей; но пройдут века, погибнут и опять народятся новые поколения людей и исчезнут в забвенье — этой общей участи всех, даже царей и героев, а мы все будем жить, лучшей частью нашей, на которую не простирается могильное тление... И оно, это самое, чего ничто не может разрушить, пришло в мир искони и жить будет вечно, подвигая и вдохновляя людей... Гибнут царства, мятутся народы, изобретаются и отбрасываются, как негодная ветошь, философские мнения, только оно одно — вечно и неизменно до скончания мира, то, что люди зовут Красотою. И пока мир не разрушился, ее всегда будут чтить, ей служить и к ней приближаться, потому что в ней одной — познание неба, седалища предвечного Духа!»

Филипп Филиппыч надел абажур, и группа портретов померкла.

Он достал ключ, отомкнул ящик стола, вытащил толстую рукопись, сшитую в формате листа, и положил перед собою.

Лучи лампы ярко осветили заглавие.

На первой странице крупно и четко было написано следующее:

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ

ИДЕАЛА

на основании произведений русских художников слова, во взаимодействии с образцами иностранного творчества

Историко-критическое исследование Филиппа Караваева

А сбоку значилось: *Пыльск, 5 марта 186* года...*

Он сидел, склонившись головою к столу, окованный вдруг какой-то тупой неподвижностью. Рука не протягивалась к чернильнице, и тетрадь не разворачивалась.

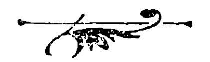
Он не мог сегодня работать. Он это почувствовал сразу, лишь только попробовал дать своим думам должное им направление. В голове было пусто, или, точнее, клочки каких-то вздорных, не идущих к делу мыслей медленно там выплывали без всякой последовательности, цеплялись и таяли в наплыве других, поселяя в душе чувство глухого недовольства собою, тоски и апатии...

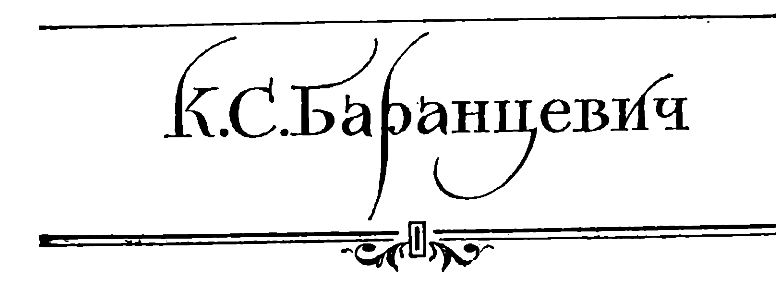
Выплывали назойливо облики разных людей из пережитого прошлого. Покойник отец с трубкой в руках... Хлебников, с смущеньем во взоре, мчащийся по улице Пыльска... Ехидно подмигивающий рыженький человечек в очках — математик... Тут же и Анна Платоновна вместе с птенцом... И все они путались, возникали и вновь пропадали в залитых светом луны аллеях старого сада, где рассыпалась серебристою трелью соловьиная песня...

Лампа горела с тихим шипением. Шторы мутно светились в отблеске наступавшего утра. На дворе хрипло, спросонья, прогорланил петух...

Филипп Филиппыч медленно потянулся и встал. Ленивым движением выдвинув ящик стола, он спрятал туда свою рукопись, завернул кран у лампы и, в сером сумраке, окутавшем в ту же минуту все предметы в квартире, потащился к постели.

Теперь уже со всех дворов спящей окраины перекликались между собой петухи. Воробьи щебетали. Речка Смородка дрогнула и зарябилась под дыханьем промчавшейся струи ветерка, а из-за вершин дальнего леса выплыл багровый шар восходящего солнца...





ГОРСТОЧКА РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Порывы ветра делались все сильнее и сильнее, по временам достигая степени урагана. Дорога к кладбищу была совершенно пустынна, и оголенные деревья, посаженные по краям канавы, шумом сталкивающихся сухих ветвей одни нарушали покой унылой окрестности. За нескончаемым покосившимся забором тянулись огороды с невозделанной землей, местами покрытой талым снегом. По темно-лиловому небу быстро проносились свинцовые, клочковатые тучи.

По дороге показалась фигура человека. Он шел быстро, сопротивляясь по возможности дувшему навстречу ветру, обходя грязь и перескакивая через лужи, покрытые тонким слоем льда. Распахнувшийся на минуту воротник пальто обнаружил мужественное, бесстрастное лицо, с длинной бородой и мрачно сдвинутыми густыми бровями. Высокая фигура прохожего была облечена в истертое драповое пальто, таковую же круглую шапку и сапоги до колен.

Подходя к воротам кладбища, прохожий замедлил шаг, снял шапку и платком вытер пот со лба с прилипшими к нему прядями начинавших седеть волос.

У самых ворот, на широкой скамейке, закутанный в овчинный тулуп, сидел сторож, низенький, седенький старичок, по-видимому, из отставных солдат, и, добродушно щурясь, с наслаждением посасывал носогрейку. Огромный черный пес вальяжно расположился у ног его; тут же гор-

деливо расхаживал петух, предводительствуя несколькими курами.

При приближении прохожего пес поднялся на ноги, потянул носом воздух и зарычал.

— Цыц, Буян! — прикрикнул сторож.

Собака отошла в сторону. Прохожий чуть дотронулся рукой до шапки и сел рядом с стариком. Тот искоса бросил на него недоверчивый взгляд и усиленно запыхтел трубкой.

— Устал! — произнес прохожий, вытянув ноги и посматривая на кончики загрязненных сапог.

Голос его был груб и отрывист.

— Надо быть, издалеча? — пробурчал сторож, все еще недоверчиво косясь на собеседника и испуская широкую струю дыма.

— Да, порядочно.

— На могилку?

— Что?

— На могилку, говорю, пришел-то?

— Да, на могилку. А ты сторож?

— Я-то? Сторож.

— Мертвых караулишь?

— Чего их караулить! Не разбегутся! Насчет вот чего другого...

Пара поросят с визгом выскочила из-под ворот. Сторож сорвался с лавки и, смешно переваливаясь в своей неуклюжей шубе, принялся загонять их во двор. Управившись с поросятами, он довольно дружелюбно на этот раз подсел к прохожему и даже протянул ему носогрейку.

Тот отказался движением руки.

— Не займуешься?

— Папиросы курю.

— Па-пи-росы? Трубка, брат, пользительней... Маркоту шибко отбивает. По утрам этта лезет-лезет из тебя, стра-асть!

— Гм! Поросята-то твои?

— Мои. Парочка всего. Одного вот свежевать надоть.

— К разговенью?

— А то как же? Нельзя, брат. Тоже говядинки захочется. Пост-то этот эвона какой!

— Сам будешь свежевать?

— Сам.

Разговор пресекся. Прохожий впал в раздумчивость; две-три складки обозначились на лбу, глаза бесцельно и тупо глядели в пространство.

— Гм! А любопытно, как ты это?

— Чего?

— Да вот поросят-то?

— Очень просто. Неужели не видал?

— Не видал. А может быть, и видал, да давно, не помню.

Вдруг тонкая усмешка искривила его губы.

— Я полагаю — *так!*

Он сделал быстрый, странный жест снизу вверх и рассмеялся сухим, злобным смехом.

Сторож пришел в ужас и негодование, выхватил изо рта трубку и, весь обернувшись, с презрением посмотрел на собеседника.

— Эх ты, брат! Да этак ты его всего распорешь!

— Гм!

— Всего, как есть, спортишь! Н-ну, брат, вот бы тебе дать! Ха-ха-ха! Нужно, милый ты мой, вот как... Взять, значит, его промеж ног, зажать да ножом хорошенько под лопатку — р-раз! И шабаш, готово дело! А потом за задние ножки повесь, чтобы, значит, черная кровь вытекла. Ну и все!.. Ты у меня спроси, я это дело во как знаю, я, может, кольки их переколол, может, десятка два аль три. Вот оно что, милый!

Сторож, очевидно, не прочь был распространиться об интересном предмете и, чиркая спичку, уже начал в поучительном тоне: «А теперича ежели, примерно, корова али бы...», но, занятый своими думами, собеседник не стал больше слушать, поднялся с лавки и молча направился во двор.

Прямо высилась ветхая деревянная церковь, окруженная густо разросшимся кустарником, среди которого там и сям выступали белые кресты и памятники. Спутанная сеть дорожек вела в различные направления кладбища.

Он остановился и внимательно огляделся.

— Какая перемена!

Пятнадцать лет тому назад тут было все голо, ни крестов, ни деревьев — один пустырь; только разве кое-где торчала рябина, осенявшая своими ветвями одинокую могилу.

— Да, жильцов набралось много... Еще лет пять — и некуда будет класть... Ну, что ж, положат друг на друга!

Усмехаясь, он пошел по дорожке в глубь кладбища. Холодный ветер сковал землю, и отпечатки следов ног, месивших грязь, так и остались, образовав бугристую поверхность. По краям дорожек торчали пучки серой вымороженной травы и протягивались сухие прутья кустов. Кругом не было ни души.

Он обошел почти все кладбище, сворачивая из одной аллеи в другую, кружа и напряженно отыскивая знакомое место. С каждой минутой шаг его становился медленнее, лицо словно просветлялось и складки лба постепенно разглаживались. Теперь это не было лицо того человека, что сидел на скамейке и разговаривал со сторожем: что-то мягкое, душевное появилось на нем и придало ему оттенок тихой, мечтательной грусти.

Вдруг бледность покрыла его щеки, глаза зорко устремились в пространство: он нашел искомое место.

В конце широкой аллеи, у самого почти забора, в ряду множества других могил, находилась одна, огороженная ветхой деревянной решеткой, с покосившимся крестом, на котором он отыскал знакомые полуистершиеся имена.

Ветер все шумел, качая сухими ветвями плакучих берез, шурша травой, завывая в щелях забора.

Он прислонился спиной к дереву, сложил руки и задумчиво смотрел на могилу.

Пятнадцать лет, как он схоронил их! Пятнадцать лет одиночества, борьбы, скитаний, и ни в ком ни слова любви, участия, ободрения. Невеселая жизнь!

Он качнул головой и сердито сдвинул брови.

Мечтатель!

Ну, к чему? Разве он сам не бежал от всего, чтобы остаться одному и закалить себя? Разве он сам нарочно не травил себя? Обстоятельства и люди довершили только то, чему он сам положил начало. Он хотел быть «суровым воином» — и стал... Кто упрекнет его в слабости, в малодушии, когда он так же холоден и непреклонен, как та сталь... Да, наконец, слишком много потрачено было времени, чтобы жалеть о чем-то, чего даже и не должно быть в его судьбе, что только стояло бы на дороге. И совсем не затем пришел он сюда, чтобы мечтать, предаваться сентиментальностям.

В день отъезда навсегда у него почему-то явилась блажная мысль поклониться *родной земле,* ну, и вот он здесь, но нет никакой надобности выкладывать перед безмолвной кучкой земли результаты своей бурной жизни.

Эка штука! Дело его поступков вовсе не дело суда *их*, даже не его самого. Он не остановится, не размякнет, не пойдет на сделку с совестью...

«А между тем странно, как иногда... вот так, вот как теперь, наедине... Удивительно, как умеет плакать ветер... плакать и стонать!..»

Он досадливо отодвинулся от ствола березы, сделал шаг вперед и потряс перекладину решетки.

— Сгнило! Ну, новую-то уж не придется делать, все равно, пусть догнивает. Это ведь ее была забота... на последние деньги... разыскала где-то плотника по дешевой цене, и как занята была, как хлопотала! Покуда сама не успокоилась навеки. Вот и дерн обвалился, расползся. Года через два ничего этого не будет, все сровняется, последнюю щепку сторож унесет жарить своих поросят, а еще через год сюда положат какого-нибудь коллежского советника и кавалера. Места-то ведь дорожают! Ну, пора идти, что ли? Побыл, посмотрел — и в путь!

Однако он не пошел, а, наоборот, сел на соседнюю могилу и облокотился на решетку.

— Посижу еще немного и уйду,— решил он.— *Посидеть на могилке* — славное народное выражение... «Посиди, посиди, голубчик ты мой милый, вот так, напротив, чтоб я могла наглядеться на тебя в последний раз. Ведь не увижу больше никогда!» Это она говорила в смертельных муках, с хрипотой в горле, и он не мог отказать ей в последней просьбе, остался, сидел *до конца*, хотя его ждало большое, важное дело. Он опоздал, и когда пришел, то, помнится, сообщил: «Извините, я опоздал на полчаса; у меня умерла мать!» Да, это был страшный удар; с отчаяния он готов был идти на что угодно! Но жребий выпал другому. Потом боль притупилась и, наконец, забылась вовсе. Рана зажила, только он сделался еще суровее.

Не отдавая себе отчета, он нагнулся, снял с могилы комочек промерзшей земли и, завернув в платок, сунул за пазуху. Начинавший стихать ветерок в щелях забора все еще пел свою монотонную песню. В вышине слабо шелестели сучья дерев. Откуда-то издалека чуть доносился колокольный звон...

Он все сидел, склонившись головой на руку.

Давно не испытанное чувство умиления невольно овладевало им. Теперь он не боролся и, сам не сознавая, постепенно, словно в каком забытьи, отдавался ему. Поток давнишних, полуутраченных воспоминаний проник ему в

душу, и близкие сердцу образы предстали перед ним, как живые.

Вот отец везет его в колясочке по какому-то длинному мосту. Грохочут экипажи, снуют пешеходы, и огромные фонари так ярко освещают лица, лошадиные морды и какие-то фантастические, блестящие фигуры на перилах моста. А ему отлично лежать и покачиваться на мягких подушках; он смотрит на широкую спину отца и среди сутолоки и мелькания незнакомых лиц чувствует себя совершенно безопасным за этой спиной. Странное дело, почему чаще всего вспоминается мост? Было, вероятно, еще что-нибудь, что соединялось с воспоминанием о нем, что-нибудь такое, что глубоко затронуло детскую душу, утвердило в ней горячую любовь к отцу; но оно стерлось, затерялось, а воспоминание о мосте и везущем колясочку отце — живо до сих пор и возбуждает какое-то милое, грустное чувство...

...Вот скромный домик в конце города, с покосившимся крыльцом и вросшими в землю окнами. На улице холод, вьюга, мокрый снег падает хлопьями, а у них тепло, уютно, топится печь, перед ней сидит мать, вяжет чулок, а он, пятилетний мальчуган, взобрался к отцу на плечи и гарцует с ним по комнате.

...Пасха! «Пасха, Христос-избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая!..» Они идут от заутрени, по темным улицам движется народ; многие с узелками. Горят плошки. Знакомые останавливаются, христосуются, и у всех радостные лица! Вот они пришли домой; в комнате пахнет окороком, куличами. На матери светлое платье, и такая она веселая, улыбающаяся. Садятся за стол. Отец берет нож и разрезывает яйцо; и у него торжественный вид... Еще бы! Яйцо-то ведь освященное. «Этот праздник,— говорит отец,— из праздников праздник и торжество торжеств».— «Почему, папа?» — спрашивает он. «А потому, что Христос пострадал за нас, был распят на кресте и в третий день воскрес из мертвых».

. . . .

Неужели глухая, кромешная тьма навсегда опустилась над миром, неужели голос правды, как тот «трубный звук», не разбудит спящих, не остановит ликующих, неужели истекающее кровью сердце обречено на вечную вражду?

Откуда ни взявшийся порыв ветра поднял с земли кучку сухих листьев и прутьев, закрутил и погнал далее по

дорожке. Становилось темно. Свинцовые тучи сплошь обложили небо. В мутном полусвете белая группа крестов походила на выходцев из могил, укоризненно протягивавших неподвижные бледные руки...

— Пора!

Он встал перед могилой на колени, отдавая земной поклон. Когда он поднялся, по его лицу катились крупные, безмолвные слезы...

Там, в вагоне, после нелепой, утомительной возни с билетом и багажом, обозленный, в поту, он почувствовал что-то влажное, прилипшее к голой груди. Засунув руку, он вынул завернутую в платок «горсточку родной земли». Злая усмешка перекосила его бледные губы.

Он вытряхнул землю на ладонь и, приподняв окно, выбросил на рельсы.

КЛЯЧА

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты свой жизненный путь,—
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Некрасов [1]

I

Знакомы ли вы, читатель, с теми отдаленными, укромными уголками столицы, вроде конца Песков, Коломны, набережной Обводного канала и проч., куда всесильный прогресс пока еще не мчится на всех парусах, а тащится себе потихоньку, постепенно, шаг за шагом, отвоевывая в свою власть и безлюдные, темные улицы, и кривые переулки? Смею думать, что нет. И если вам случится по делу, и притом вечером, отправляться в такие места, вы уже заранее, мысленно, населяете их всевозможными ужасами брынских лесов, созданными вашим напуганным воображением, а нанимая извозчика, наверно, пустите предварительно в ход все свои физиономические познания, с целью постичь, не смотрит ли этот простоватый парень, у которого, по народному выражению, «рождество шире масле-

ницы» [2], именно тем злодеем, которому надлежит подвести вас под нож или петлю.

Вот вы уселись в сани, внутренно призывая на себя милость божию, возница запахнул полость, взялся за вожжи и причмокнул. Кончено! Вы во власти судьбы. Лошадь трусит. Молчаливый парень сидит на облучке, и видно только, как подергивает локтями. Сквозь сизый туман зимних сумерек мелькают глухие переулки с масляными, далеко отстоящими друг от друга фонарями, какие-то псы яростно лают во мраке, тянутся бесконечные заборы с беспомощно приткнувшейся где-нибудь в углу фигуркой человека, и рисуются кое-где темные силуэты покривившихся деревянных домишек...

Какой контраст с тем, что вы только что видели! Широкие улицы ярко горели бесконечной двойной лентой газа, в бешеной езде по ним мчались кареты и сани, резкий звонок битком набитого вагона конножелезки неожиданно смешивался с мелодическим переливом бубенчиков нарядной, ухарской тройки, группы людей толклись на тротуарах, обгоняя друг друга, заглядывая под шляпки хорошеньких женщин, заходя в роскошно освещенные магазины и рестораны и толкаясь на ступеньках Пассажа, над гостеприимно открытыми дверями которого два огромных шара электрических фонарей бросали на мостовую широкие белые полосы света...

И вдруг холодный мрак зимней ночи, пустота и безлюдие. Какой ужас! Но вот вы увидели на углу улицы апатично стоящего городового, дальше вам встретился едущий шагом пикет казаков, и ваше робкое сердце начинает свободнее биться. «Слава богу,— думаете вы,— меры приняты, есть охрана. Извозчик, чего ты дремлешь? Пошел скорей!»

Но мне жаль вас, жаль за ваше трусливое неведение, ибо я вполне убежден, что бояться вам положительно нечего.

Бойтесь скорее дневного грабежа на ваших фешенебельных улицах, в какой-нибудь новоиспеченной, шикарно меблированной банкирской конторе, в дверях которой величественный швейцар ласково снимет с вас шубу, а еще более величественный «банкир» с еще большей ласковостью не задумается снять последнюю рубашку. Бойтесь этого испитого, юркого мальчишки, что вертится в уровень с вашим карманом в то время, когда вы, после сытного обеда, с сигарой в зубах, в благодушнейшем настроении

глазеете на картины и эстампы, красующиеся за зеркальными окнами магазинов Дациаро и Фельтепа[3], потому что этот мальчишка, в виде контрибуции за свою нищету и невежество, наверно, запустит ручонку к вам в карман. С этой целью он пришел оттуда, из недр темных улиц и пустынных переулков, где он живет, где вместе с ним живут все эти, быть может, грубые и дикие, но всегда сурово-честные мученики труда.

О, я не боюсь ни этих глухих улиц, ни кривых переулков, скажу больше,— я люблю их, потому что с многими из них я связан цепью отрадных воспоминаний беспечального детства.

Вот за углом забора, из-за которого далеко на улицу распространяет широкие ветви могучая береза, стоит городовой. Теперь он сед, угрюм, и новая форма придает ему чрезвычайно воинственную осанку. Но я помню его много лет тому назад: он был весел, услужлив, большой охотник до выпивки и женского пола и сквозь пальцы смотрел на проказы юного населения улицы. Но времена переменчивы. Я прохожу мимо, он не кланяется мне, даже делает вид, что не узнает. Конечно, уж не попросит на «стаканчик», ибо он теперь не просто городовой, а *наблюдатель.* А вон и сторож церковной часовни. Все такой же, как и двадцать лет тому назад, все в такой же кацавейке и не то скуфейке, не то какой-то странной шапке, маленький, небритый, подслеповатый, вечно вооруженный метлой, вечный, непримиримый враг собак, питающих, как известно, непреодолимую страсть ко всяким углам. Да, по наружности он не изменился, но в душе... как знать, может быть, и он тоже наблюдатель. И не переменилось тут только то, что по существу своему не могло так скоро перемениться. Так же, как и прежде, с другого угла церковной ограды, с тихой грустью в темных глазах, смотрит на вас вделанная в стену почерневшая от времени икона Богородицы, а листья берез и лип, как и много лет назад, приветствуют вас тем же дружеским, мелодичным шепотом. Все так же на площадке, сзади ограды, группируются по воскресным базарным дням бесконечные ряды возов с свежим сеном, здоровым запахом раздражая ваше обоняние и пробуждая в наболевшей, усталой груди давнишние, полузабытые мечты о спокойной деревенской жизни.

А по тихим, почти недвижным водам канала плывут неуклюжие барки с кирпичом и тесом, и прикрепленные к

тонким жердям узенькие красные флажки весело реют па фоне ярко-голубого весеннего неба...

Нет, читатель, положительно я не боюсь этих улиц и люблю их, хотя и больною любовью.

II

Когда, после долгого отсутствия, я снова появился здесь, стояла глухая зимняя пора. Безмолвно цепенели в туманно-голубоватом сумраке покрытые снегом улицы, а запорошенные деревья казались как бы вновь расцветшими белыми листьями. Движения никакого, людей почти не было видно, разве проедет баба на портомойню, волоча за собою водруженную на салазки корзину с бурым бельем, да мужик, с остатками сена в нечесаных волосах, проведет за недоуздок хромую лошаденку.

Я переходил с одной стороны улицы на другую, прилежно перечитывая билетики на воротах. Как назло, попадались все больше объявления об отдаче «углов», и я уже отчаялся в поисках, как вдруг, почти в конце улицы, на воротах двухэтажного, деревянного, выкрашенного в желтую краску дома, рядом с незатейливым изображением сапога, вырезанного из листа газетной бумаги, прочел следующее:

«Оддаеца комната снебилью и бес оной».

У ворот, закутанный в тулуп, из которого торчали только мутные глаза и сизый кончик носа, сидел старичок-дворник, кидая на меня косые, недоверчивые взгляды.

— В котором номере отдается комната? — спросил я.

— Комната? — флегматично переспросил он.

— Да.

— Да у сапожника, надо быть.

— А где же сапожник?

— Сапожник?.. Направо из ворот, во втором этаже.

Я вошел во двор и стал подниматься по ветхой и довольно пахучей деревянной лестнице. Навстречу вышла женщина с ведром помоев.

— Позвольте спросить, где тут сапожник? — обратился я к ней.

— А вон, напротив! Вам сапоги, што ль? Так его дома нет!

Я все-таки открыл дверь, обитую рогожей. Не совсем благовонным воздухом пахнуло на меня. К запаху кожи

и клея примешивался специфический запах сырого жилья.

Передо мной в полумраке обрисовалась фигура молодой худощавой женщины в затрапезном капоте. В одной руке она держала ухват, а другой весьма энергично отстраняла уцепившегося за платье и ревевшего благим матом ребенка.

— Чего вам?

— Комната... у вас отдается?

— Комната? Ш... ш... Ах ты, боже мой! Как же-с, как же, у нас! Пожалуйте! Танька, да возьми ты этого подлого! Пропасти на вас нет!

В кухню вбежала худенькая девочка лет семи и, схватив плачущего ребенка в охапку, оторвала от матери. Женщина бросила ухват, провела обеими руками по бедрам и повела меня через крохотный темный коридорчик.

Комнатка была не больше пяти шагов в длину, в одно окно, выходившее на крышу, с грязными, запятнанными, местами порванными обоями.

— Вот комнатка! Обои-то ребятишки порвали, муж после заклеит, а комнатка ничего, теплая!

Я подошел к окну, и когда обернулся, то подметил взгляд, которым она на меня смотрела. Этот взгляд был полон тоски и страха. Объяснив его боязнью, что мне не нравится комната, я почел своей обязанностью одобрительно промычать.

— Ну, а цена как? — спросил я.

— А-а-а! — ревел ребенок за тонкой дощатой перегородкой.

— Цена? Ш... ш... Танька, уйми ты его! Да что...

Я не расслышал и просил повторить.

— Танька, подлая, тебе говорят! С мебелью шесть рублей.

Только тут я догадался, что в комнате должна быть «мебель». И она была вся налицо: кровать из грубо сколоченных досок, пара табуретов и крошечный кухонный столик. Ясно, что комнату не трудно было сдать и без «оной»: стоило только перетащить все на чердак.

Заключив, должно быть, по моему виду, что я не прочь снять комнату, женщина обрадовалась, как-то просияла вся и заговорила:

— Комната хорошая, теплая... Вам хорошо будет жить... У нас других жильцов нет, только муж, да я, да дети!

— А много у вас детей?

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста, будет тихо! Сегодня вот мальчишка блажит, а то он спокойный. Трое их у меня: девочка да двое мальчиков. Девочка-то большая, она и приберет вам когда!

— Так вот вам покуда рубль, а вечером я переду.

Получив рубль, женщина еще более просияла.

— Хорошо, хорошо, пожалуйте! Вечером? И отлично! А я тем временем пол вымою, паутину смету, приберу все как следует! Так вечером, милости просим! Не оступитесь, пожалуйста! Вон льду-то сколько на ступеньках! Держитесь за перила.

Последние слова она говорила мне в виде напутствия, стоя на площадке.

Я предостерег насчет простуды.

— Помилуйте! — совсем уже весело отвечала она.— Мы люди привычные! Что нам!

Как не трудно было мою новую комнату лишить мебели, так же одинаково не трудно было и мне переехать. Я взял под мышку тощий чемоданишко и, придя на новое пепелище, сунул его под кровать. Вот и все. Я переехал.

Ввиду желания ознакомиться с новым местом я сижу на табурете перед окнами и, попивая чай, обязательно приготовленный мне хозяйкой, смотрю на соседнюю крышу. Белая, ровная поверхность пластом залегшего снега утомляет зрение. Вверху мутно-серое небо. Вот высоко пролетела ворона. Скучно! В квартире тишина.

«Блажной» ребенок успокоился, спит, должно быть. Сверчок верещит где-то за печкой. Слышно шуршанье какой-то материи, не то полотна, не то коленкора, и звяканье ножниц. Детский голос шепотом твердит: б-а — ба, в-а — ва.

В сенях хлопнула дверь, послышались тяжелые мужские шаги, и чей-то голос крикнул:

— Анафемы прокляты! Опять ведь сорвали! Лизавета!

— Тише, тише ты! — всполошилась хозяйка.— Это я сорвала!

— Сдала?

Голос мужчины сразу упал до полнейшего пианиссимо.

Затем послышался оживленный, сдержанный шепот. Судя по интонации, можно было предположить, что супруги были крайне довольны тем, что сдали комнату. И мир и тишина водворились над семейным очагом.

III

Я прожил неделю на новом пепелище, почти не видясь с хозяевами; мельком, из минутных встреч, удостоверился только, что хозяйка действительно женщина еще молодая, но настолько изнуренная, что казалась старше своих лет, и что хозяин тоже молодой человек, с испитым, чахлым лицом, украшенным жиденькой черной бородкой.

Я вставал очень рано, при свечке, умывался в кухне и тотчас же выходил из дому на целый день. Каждый раз, как мне приходилось проходить через кухню, я заставал в ней Лизавету Емельяновну (так звали хозяйку) в хлопотах около русской печки. Через отворенную дверь хозяйской комнаты, случалось, видал и хозяина, сидевшего у окна, спиною к дверям, и бойко постукивавшего молоточком.

При возвращении я заставал всех отходящими ко сну, почему дети никоим образом не могли беспокоить меня. Тем не менее хозяйка раза два или три спрашивала, не беспокоят ли ребятишки, и, получив отрицательный ответ, каждый раз горделиво улыбалась. Мне чрезвычайно нравилась эта улыбка. «Вот,— дескать,— не думай, что мы какие-нибудь; при всей бедности себя соблюдать умеем, и дети у нас не какие-нибудь сорванцы,— благонравные!»

А бедность была действительно непокрытая и успела уже, как мне казалось, наложить отпечаток даже на детей. «Неживые» какие-то они были; не было в них ни той кипучей инициативы, ни самостоятельности и смелости, какая бывает у детей в достаточных семьях.

Иногда, по вечерам, старшая девочка, Таня, еще не спала. Позовешь ее к себе в комнату, дашь яблоко или леденец, начнешь расспрашивать, как она учится, что читает, любит ли маму, братьев и проч., о чем обыкновенно говорится с детьми. Девочка сперва дичилась, дальше порога не шла, отвечала неохотно и односложно, а не то и совсем не отвечала,— потупится и молчит, крутя пальчиками оборку платья; но потом обошлась, привыкла ко мне и уже без всяких приглашений забежит, бывало, в комнату.

Так как она жаловалась, что братья мешают ей приготовлять уроки, я позволил ей заниматься в моей комнате. Надо было видеть, каким восторгом внезапно вспыхнули ее всегда грустные, задумчивые глазенки!

Это обстоятельство еще более сблизило нас, и к концу недели мы стали приятелями. Странным мне казалось одно, что все это как будто было не по нутру хозяину.

Первое, более близкое знакомство мое с ним произошло при следующих обстоятельствах: у меня изорвалась одна из моих гамбургских ботинок, и я зашел в комнату хозяев с целью отдать починить. Комната их хотя и была больше моей, но смотрела хуже, мрачнее. Не было также недостатка в сырости; это я заключил по отставшим обоям, висевшим по углам грязными тряпками. Большой кожаный диван с торчавшими клочками мочалы на четырех поленьях вместо ножек стоял у стены. Тут же висело обитое, засиженное мухами зеркало, увеличивавшее лицо смотрящегося до невероятных размеров. Перед диваном стоял кухонный стол, а у противоположной стены помещалась деревянная облезлая двуспальная кровать с ситцевыми наволочками на подушках. В темном углу находился целый ворох тряпья, очевидно, предназначавшийся для спанья ребятишек. Несколько соломенных продырявленных стульев и табуреток дополняли меблировку.

Было воскресенье. Хозяин сидел перед окном, на толстом обрубке дерева, и что-то ковырял. На подоконнике валялись принадлежности ремесла: колодки, брусок, куски кожи, жестянка из-под сардин с клеем и проч.

— Здравствуйте, Петр Дементьич! — приветствовал я хозяина.

— Здравствуйте! — угрюмо пробурчал он, не отрываясь от своего дела.

— Работаете?

— Да, кое-что!

— У меня ботинка разорвалась. Можете починить?

— Отчего же не починить!

Взял от меня ботинку и, не глядя, поставил на подоконник, но немного погодя снял и принялся осматривать.

Апатичное лицо оживилось: сперва нечто вроде любопытства отразилось на нем, затем оно стало хмуриться все

более и более, и вдруг беспощадно-саркастическая улыбка появилась на губах.

— Заграничные штиблеты-то? — спросил он.

— Заграничные.

— Я уж вижу! Эко весу-то! В одном штиблете фунтов пять будет... Гвоздей фунта на два!

— Да, тяжеловаты!

— Да уж что вы мне говорите, знаю! Слава богу, перевидал на своем веку. Колодки!

С презрением отшвырнул от себя ботинку, чуть не попав в стекло.

— Подшить бы сбоку да каблуки срезать...— робко заговорил я.

— Да что их чинить-то, дьяволов! — вне себя вскричал хозяин.— Нешто их можно чинить? Ведь это машина, не видите разве? (Он стал с каким-то ожесточением ковырять ботинку.) Теперя каблуки... разве их срежешь? Ведь тут железо!

— Как железо?

— Да так. Стержень посередке железный положен! Вон они какие, дьяволы! Оттого и тяжа! Давно купили?

— Около года.

— Ну, с месяц проносите, а там, помяните мое слово,— разлезутся.

Я был окончательно обескуражен

— Нельзя ли как-нибудь?

— Гм. Зашить-то я зашью, а только ненадолго. Никогда не покупайте! Они, черти, только от нашего брата хлеб отбивают. Поди, сколько заплатили?

— Семь рублей.

— Ха! Да я вам за шесть рублей такие штиблеты сделаю, сносу не будет.

— Сделайте одолжение, сшейте.

— Теперь-то не знаю как... работы много. Опосля разве.

— Через неделю?

— Это можно. Покуда в этих проходите.

— Что же, вам нужно сколько-нибудь денег?

— Непременно! Надо материалу купить. Рубля два уж позвольте.

Я отдал деньги

При прощанье хозяин счел долгом еще раз прочесть нотацию по поводу покупки заграничных ботинок. Даже

сидя в своей комнате, я долго слышал, как он сквозь зубы изругивал и работу, и заграничных мастеров, относясь к последним уже просто как к заведомым мошенникам.

— Насовал железа, да и думает — прочность,— доносился до моего слуха негодующий бас хозяина.— А вон каблук набок свернулся, ни черта не поделаешь! Дураков обводить ихнее дело... Агличане, вишь ты, как же можно! Масте-ра!

IV

Был поздний вечер. Я лежал на кровати и при мерцающем свете огарка дочитывал какой-то нелепый роман. Кругом стояла обычная тишина. Дети улеглись, а хозяйка как-то особенно шумно шуршала полотном и звякала ножницами, очевидно, торопясь окончить работу.

Вдруг кто-то энергично и властно постучал в дверь из сеней. Хозяйка поспешила отворить.

В темной кухне раздались нетвердые шаги, и послышались звуки, как бы кто натыкался на разные предметы; жестяной ковш с необычным звоном покатился по полу.

Вскоре за перегородкой я услышал голос хозяина, несколько осипший и с трудом произносивший членораздельные звуки.

— Лиз-з... сни-м-ми са-по-ги!

Раздался грохот сапогов об пол.

— Ах ты, боже мой! — со вздохом прошептала хозяйка.

Настало молчание. Я сделал заключение, что хозяин нагрузился порядочно.

— Лиз-з!..

— Ну, что тебе?

— Д-дай па-пи-роску!

— Вот еще! Ложись лучше! Какая там папироска!

— Д-дай!

— Да где они у тебя?

— В бенжа-ке, в кар-м-ма-не... Ну!

Раздалось причмокиванье, происходившее от усилия закурить папироску, потом диван треснул и заскрипел под давлением тяжелого безжизненного тела.

— Тише ты, ради бога, ребенка задавишь!

— А ну их...

— Ложись ты, пожалуйста! Ведь на ногах не стоишь. И где это тебя угораздило? Денег ни гроша, а он пьянствует.

— Мо-ол-чать! Хоч-чу и пью! Ну, что еще?

— Ложись ты, ради бога, безобразник.

— А вот не хоч-чу!

— Людям покоя не даешь.

— А наплевать! Я в своем доме! Пон-нимаешь? У нас просто! Мы заграничных сапог не носим! Да! У нас по-рус-ски! Потому... Россия. Да! А не заграница! Хочешь — живи, не хочешь — пшел к черту! С богом! Мы железа в штиблеты не кладем! Д-да! У нас и так крепко, сдел-милость. Крепче железа! Сделаю, так поглядишь! Будешь благодарен! Д-да!

Жена не ввязывалась более и, вздыхая по временам, молча звякала ножницами. Муж еще долго бормотал, то хвалясь, то ругаясь, то грозя кому-то, и, наконец, захрапел на всю квартиру.

На другой день, вечером, проходя в свою комнату, через отворенную дверь я увидел хозяина лежащим на диване. Хозяйка внесла ко мне самовар.

— Что, Петр Дементьич болен? — спросил я.

— Какое болен... Пьет! — отвечала она.

— Да неужели он пьет? Запоем?

— Как случится! То не пьет, не пьет, а то запьет на целую неделю. Такая беда! Жрать, прости господи, нечего, а он валяется, не работает.

Голос ее был резок, выражение лица суровое, но от меня не ускользнула некоторая сдержанность тона. Не настолько еще мы были знакомы, чтобы бедная женщина решилась высказать передо мной все, что в течение, быть может, многих лет наболело в душе.

— И откуда у него деньги, понять не могу,— продолжала хозяйка.— Позвольте спросить, не давали ли вы ему?

Я сообщил о двух рублях.

— Ну, так и есть; значит, он на них и пьет... Так он ботинки взялся вам шить? Вот беда-то! Что же теперь?

Я принялся утешать ее, как мог. Она молча слушала, вздыхая и покачивая головой.

— Нечего делать, придется идти на фабрику! — решила она наконец.

— На какую фабрику?

— Да вот тут, на табачную. Я это время, видите ли, на рынок шила; ну, заработаешь копеек двадцать, да муж починкой кое-что достанет, нам и хватало, не то чтобы очень, а все-таки сыты были. Ну, а теперь, как он не работает, с этими деньгами никак не обернешься. А на фабрике сорок копеек дают. Нужно идти!

— Ну, а как же здесь без вас?

— Уж вы не беспокойтесь, все будет исправно. Танька уж большая; она вам и самовар поставит когда, и пол выметет, и приберет.

— Да я не о себе, а кто же с детьми останется?

— Она же, Танька! Ведь она у меня молодец, приучена!

— Ну, знаете, это опасно — оставлять дом на семилетнего ребенка.

— Эх, полноте, что вы! Петруша бы только чего не накуролесил, а насчет детей я не беспокоюсь.

— Лиза! — послышался сиплый голос за перегородкой.

Хозяйка вышла, оставив меня погруженным в размышления о новых порядках под управлением семилетнего ребенка.

V

Я мог свободно наблюдать новые порядки, так как в это время случилось, что мне не нужно было выходить из дому. Встанет хозяйка чуть свет, истопит печь, сунет горшок щей или каши и, наскоро выпив чашку жиденького кофе, бежит на фабрику. Петр Дементьич и дети еще спят. Первая встает Таня и начинает возиться с уборкой комнаты. Затем просыпаются мальчики. Замечательно, что Таня, в отсутствие матери, переняла от нее все приемы в обращении с детьми, начиная с убаюкивания и прибауток, с сохранением мельчайших интонаций голоса, и кончая грозными окриками, нередко с прибавлением колотушек. Последними девочка даже злоупотребляла, вероятно, ради сохранения за собой пущей авторитетности.

Напоив детей оставшимся после матери кофе, Таня принималась шить и читать. И то и другое проделывалось ею с чрезвычайно сосредоточенным, серьезным видом взрослого человека.

Наконец просыпается Петр Дементьич и, как есть, опухший, с целой копной нерасчесанных волос, хранящих в себе остатки пуха, накинув на плечи пальтишко и напялив картуз, ни слова не говоря, исчезает на час, на два. После таких отлучек он являлся всегда пьяный, бессмысленно вращал глазами и снова заваливался на диван. И тогда уж от него ни гласу, ни послушания.

В исходе первого часа прибегала Лизавета Емельяновна, из печки вытаскивался горшок, и семейство садилось обедать. Петр Дементьич не ел почти ничего, и иногда на эту тему между супругами завязывался разговор, т. е. говорила больше жена, а муж молчал.

— Чего ж ты не ешь? — спросит она.

— Не хочу.

— Это винище тебя от еды-то отвратило. Долго ли будешь лопать?

Муж молчит.

— Моченьки моей нету, окаянный ты человек. Сидишь на фабрике, сердце ноет, думаешь, не случилось бы чего, а ему и горюшка мало!

— Оставь!

— Чего оставь! Пора за дело приниматься! Довольно пил, неделя скоро. Образумиться пора! Взглянись в зеркало, рожа-то на что похожа! Заказ-то небось лежит. Давеча дворничиха про детские сапоги спрашивала. Ребятишки босы сидят, выйти не в чем.

— Пусть сидят! Чего им выходить!

— А ты пьянствовать будешь? Очень хорошо! Вот, ейбогу, горе мое! Подсыпать бы что-нибудь, чтоб отвратило тебя, что ли!

— Подсыпь!

— У, бессовестный человек! Жалости-то в тебе нет! Хоть убейся, все равно, только бы водка была!

Беседа прекращалась. Лизавета Емельяновна уходила на работу, Петр Дементьич заваливался на диван, а Таня принималась прибирать посуду.

В семь часов, вместе с фабричным гудком, хозяйка появлялась снова. Тут ее окружали ребятишки; все неудовольствия и обиды, претерпенные ими в течение дня и затаенные в глубине маленьких сердчишек, заявлялись те-

перь без стеснения, сопровождаясь иногда плачем и писком.

— Танька деётся! — заявлял четырехлетний Сеня.

— Та-а-а,— показывал на голову двухлетний карапуз, по-своему силясь объяснить нанесенное ему оскорбление.

Мать целовала их, гладила по головкам и с деланной строгостью обращалась к Тане:

— Ты что ж это, Танька, а? Вишь, жалуются; вот погоди, я тебя!

Но девочка отлично знала, что это «погоди» даже не угроза вовсе, а так себе, уступка обиженным, и притом, конечно, обиженным за дело, почему даже не давала себе труда оправдываться. Ребятишки же оставались удовлетворенными, и дело тем кончалось.

Не раз, в течение дня, мне случалось наблюдать за мальчиками. Играли оба карапуза всегда вместе, причем младший рабски подражал старшему. Вот старший, Сеня, возьмет на голову дощечку и носится с нею по комнате, крича и изображая торговца; Ваня тоже разыщет непременно что-нибудь, тоже положит на голову и ходит сзади.

А не то примутся изображать железную дорогу, для чего обыкновенно употреблялись валявшиеся по углам колодки. Сеня двигает по полу колодку, шипением стараясь подражать шуму локомотива,— безусловно, так же делает и Ваня. За день перероют, перебунтуют и насорят так, что кажется — после пожара; в особенности доставалось брошенным на произвол судьбы инструментам, и я полагаю, немалого труда стоило Петру Дементьичу собрать все это потом воедино и приспособить к месту.

Наконец пьянство Петра Дементьича окончилось. Мрачный и злой, надавав ребятишкам колотушек, сел он на свой обрубок и принялся постукивать молоточком. Долго после этого он не кланялся со мною при встрече, даже не глядел и отворачивался (я приписывал это угрызениям совести), но ботинки все-таки принес. Сделаны они были довольно аляповато, но я уже ничего не стал говорить и поспешил отдать деньги.

Носить мне их пришлось недолго. На второй же месяц, после довольно продолжительной экскурсии по сырой погоде, сбоку подметки я заметил предательскую трещину. Через несколько дней трещина превратилась в порядочную дыру, из которой торчала «начинка», т. е. обрывки разной дрянной, перепревшей кожи.

VI

Миновали вьюги и метели, подкрадывалась весна. И хотя мартовские морозы стояли крепко, но под теплыми лучами солнца снег стаивал постепенно, образуя по краям крыш длинные ледяные сосульки.

Однажды утром хозяин, сверх обыкновения, вошел ко мне в комнату. Лицо его было нахмурено и носило признаки внутренней тревоги. Нужно сказать, что еще раньше я заметил в доме нечто странное: Лизавета Емельяновна вышла было на кухню, охая повозилась у печки, но, тотчас скрывшись, больше не показывалась,— должно быть, легла.

— Чайку, Петр Дементьич? — предложил я.

Он отказался от чая и, нерешительно потоптавшись на месте, сел.

— Я к вам... хотел у вас деньжонок попросить... вперед, значит! Потому дело-то такое!

— Извольте, извольте! Что же у вас случилось? Кажется, Лизавета Емельяновна нездорова?

— То-то вот оно и есть!.. Я для этого собственно... потому расходы: то, другое. Пожалуй, сейчас начнется!

Я догадался, что предстоит появление на свет нового существа, и так как нельзя сказать, чтобы отличался мужеством, особенно в таких случаях, то поспешил взяться за шапку.

— Вы это куда же? Пойдемте вместе! — предложил хозяин.

— Пойдемте! Разве вы не останетесь?

— Не люблю я эту музыку! — поморщился он.— Да и делать мне нечего; бабы все оборудуют.

Мы вышли, но так как обоим деваться положительно было некуда, то очутились в ближайшем трактире, где и спросили пару пива. Петр Дементьич был донельзя мрачен и молчалив.

Пробуя хоть сколько-нибудь «разговорить» его, я употребил банальнейшую фразу о приятности приращения семейства.

Он весь так и встрепенулся.

— Нет, уж вы лучше не говорите,— заговорил он, сдвинув брови.— А то выходит как бы насмешка. Какая уж тут радость, коли и этих-то не знаешь, как прокормить.

— Бог на каждого дает!

— Нам только не дает! — криво усмехнулся он.— Кому дает, а нам вот нет. Видно, не заслужили! Эх, да что тут! А я вам так скажу, что теперь чистый зарез, хоть в петлю! Жена-то воп на что похожа? Краше в гроб кладут! Кляча водовозная, одно слово! А все дети. Мало разве с ними муки, а с похлебки-то нашей не больно раздобреешь!

Пользуясь минутой откровенности, я заговорил о его пьянстве.

— Помилуйте! — воскликнул он.— Да нашему брату не пить — прямо в гроб ложиться. Первое дело — скука, а потом — житье наше уж больно плохое. Выпьешь — туман это в голове пойдет, ну и забудешься. Нет, уж нам без этого никак невозможно! Никак невозможно!.. Господам... тем, конечно, зачем пить! Их жизнь другая...

Он залпом выпил свой стакан и взял газету. Но, видно, ему было не до чтения. Повертев газету перед глазами, взял другую, тоже повертел и, отложив, вперил задумчивый взгляд в пространство. Выражения тоски и тревоги попеременно отражались па лице. Наконец он не выдержал, встал, пробормотал «прощайте» и вышел.

Весь день я не был дома и даже не пришел ночевать. Когда я вернулся утром следующего дня, к величайшему моему изумлению, дверь отворила Лизавета Емельяновна. Она уже «бродила», хотя была очень слаба и глядела скверно. И без того бледное, худощавое, лицо ее приняло какой-то оливковый оттенок, все черты обострились, глаза провалились, совершенно вот как рисуют на деревенских иконах, руки страшно похудели и казались высохшими. Ходила она вся согнувшись.

В первые дни ребенка совершенно не было слышно, но зато потом он дал себя знать. Это было донельзя маленькое, тщедушное создание, с синевато-мертвенным оттенком крошечного личика, постоянно кричащее, постоянно готовившееся умереть и, однако, не умиравшее.

Понятно, в семье новорожденный был совершенно лишним. Об этом громко говорили муж и жена и разные знакомые, заходившие проведать родильницу.

То и дело за перегородкой слышались такие разговоры:

— Кричит, кричит, уйму па него нет, хоть бы бог прибрал поскорее! — говорила хозяйка.

— А вот погоди, окстим, так и бог с ним! — замечал муж.

— А вы бы поторопились, родные! — вмешивался бабий голос.— Больно уж он хвор у вас,— неравно помрет!

— Да не помирает! — тоном безнадежного отчаяния замечала мать.— Меня-то только связал, ни тебе на фабрику, ни цошить что!

— О-хо-хо! — вздыхала гостья.— Уж не говори, Емельяновна, помаялась я с ними, было уже, да, слава тебе господи, примерли все!

VII

Ребенок дождался крестин. Хозяин зашел ко мне, приглашая вечером на пирог. Очевидно, он уже пропустил рюмочку-другую и был в веселом настроении. Мне показалось даже, что его не столько занимает самый обряд крещения, сколько представляющийся случай выпить. Лизавета Емельяновна все еще не оправилась как следует, а в этот день совершенно даже выбилась из сил, так как, помимо печенья пирогов, приготовления закуски и водки, ей приходилось еще возиться с больным ребенком и следить за Петром Дементьичем, чтобы он не пропустил лишний стаканчик. К назначенному часу гостей набралось человек пять-шесть, и опять-таки мне показалось, что весь этот народ явился с исключительной целью выпить и, по возможности, плотнее закусить. До прихода священника все держали себя весьма дипломатично, осведомлялись о состоянии здоровья и родильницы и новорожденного, с сожалением покачивали головами и давали различные домашние советы. Худенький старичок с седой всклокоченной бородой и слезящимися глазами, служивший некогда сторожем при какой-то больнице, он же и кум, убедившись, что ребенок кричит от грыжи, безапелляционно рекомендовал какую-то, им самим придуманную мазь.

— Сам придумал! — восторженно восклицал старичок.— Пять лет бился над ней, проклятой, зато раз только помажь — как рукой снимет!

Кума Терентьевна, зловещего вида старуха с ястребиным носом и волосатой бородавкой на подбородке, утверждала за достоверное, что ребенок кричит от

молочницы, и тоже предлагала радикальное средство — водку.

Остальная публика: унтер, кондуктор с железной дороги и миловидная швейка — тоскливо посматривали на закуску, вздыхали и с видимым нетерпением ожидали главного. А главное началось после ухода священника, когда от огромного пирога с рисом осталась одна краюшка и почата была вторая четверть водки. Тут уж о хозяйке и новорожденном все забыли. В клубах табачного дыма мелькали раскрасневшиеся, потные лица пирующих. Стоял сумбур речей и восклицаний.

— Кум, а кум! — слышался визгливый голос Терентьевны.— Ты что ж это сам пьешь, а мне не подносишь?

— Чего тебе подносить? Хлеб на столе, а руки свое!

— Аль от глаз подальше — из памяти вон?

— Двигайся к столу-то!

— Что ж, вы на колени ко мне желаете? — спрашивал галантный унтер с лихо закрученными вверх черными усиками.— Сделайте ваше одолжение, с нашим удовольствием!

— Хи-хи! Многого хотите! — жеманничала швейка.

— Кум! — коснеющим языком взывал кто-то из угла.— А пом-мнишь... В запрошлом году... Евстигней пришел пья-ный-распьяный... пришел это...

— Что ж вы пирожка-то! Кушайте, кушайте! — приглашала хозяйка, убаюкивая немилосердно кричавшего ребенка.

— Пом-милуйте! Сыты, много довольны!

— Рыбки!

— А рыба ведь плавать любила, а? — подмигивал Петр Дементьич.

— Нал-лей!

— ...а Петруха на чугунке служит! Сорок целковых получает. Намедни пенжак купил, сапоги...

— Франтит!

— ...чего вы тискаетесь? Сделайте одолжение, подальше...

— ...пришел это Евстигней и гов-во-рит...

— ...ежели я теперича на перекличку...

— Кума, выпьем, что ли!

Через несколько времени откуда-то появилась гармония. Чуть ли ее не принес дворник, пришедший «поздра-

вить» и, не снимая шубы, расположившийся у стола. Унтер играл, стуча в такт каблуками. Хозяин плясал с кумою русскую. Все было пьяно. Шумели страшно, перебивая друг друга и даже ругаясь; дети хныкали и просились спать, новорожденный охрип от крика. Я ушел в свою комнату с целью лечь спать, но, взглянув на кровать, увидел, что она была занята: на ней спал огромного роста мужик с лопатообразной бородой. С трудом растолкав незваного гостя и выпроводив за дверь, я лег, но долго еще не мог заснуть, волнуемый шумом. Среди ночи меня разбудили страшные крики и детский плач, доносившийся из-за перегородки. Слышался звон разбиваемой посуды.

— Вон, говорят вам, вон! — кричала Лизавета Емельяновна.— Убирайтесь вы все к черту! Что за безобразие такое! Людям покоя не даете, детей перепугали! Петр Дементьич, ты хозяин, чего смотришь?

— Брось!

— А как он смеет драться? Я не посмотрю, что он унтер! Ишь какой выискался!

— Я царю служу, я царю служу, понимаешь!

— Уходите вы ради бога!

— Врешь, как он смеет!

— Кузьма Ильич, бросьте!

— Цыц!

— Цыкал один такой, да не ты!

— Терентьевна, ты чего? Курица мохноногая!

— Р-рожа, видно, цела?

— У тебя рожа, у меня лицо!

— Чертовка старая!

— Вон!

Это уже крикнул Петр Дементьич каким-то осипшим, диким басом.

Гости притихли и стали собираться домой. Наконец все гурьбой вывалились из дверей. Но на дворе еще долго слышался шум. Чей-то пьяный голос кричал:

— Я не посмотрю, что ты унтер, ж-жи-во в участок отправлю!

У хозяев водворилась тишина. Новорожденный молчал, должно быть, совсем выбился из сил. Хозяйка ходила по комнате, охая и вздыхая, и звенела черепками. Петра Дементьича совсем не было слышно.

VIII

Со дня крестин он, по обыкновению, запил, и вот начался целый ряд истинных мук для Лизаветы Емельяновны. Нужно было только изумляться ее необычайному терпению и выносливости. Хворый ребенок не сходил с рук, даже мне надрывая душу непрестанным жалобным писком, а между тем нужно было добывать денег для прокормления семьи. Зачастую приходилось питаться одним черным хлебом... Для несчастной семьи наступили тяжелые дни. Пришлось закладывать сперва одежду, инструменты, потом уже разную домашнюю рухлядь. Так постепенно исчезли: самовар, замененный каким-то помятым чайником (скоро и чайника не оказалось), мельница, серебряная риза с иконы Спасителя и многие другие вещи...

И все бедствия черных дней легли исключительно на плечи несчастной женщины! Ей не с кем было ни посоветоваться, ни душу отвести. Иногда заходил старичок-кум, но, будучи сам беден как Иов [4], никакой существенной помощи оказать не мог: посидит, повздыхает, сунет ребятишкам по копеечке и, безнадежно махнув рукой, уйдет.

Если бы Лизавета Емельяновна умела плакать, она в слезах, быть может, нашла бы кое-какое облегчение своему горю, но она была не из таких, не плакала, не жаловалась, а, напротив, как-то закаменела и, закаменев, в молчаливом отчаянии несла свой крест. Конечно, поправиться она уже не могла, а, наоборот, стала глядеть еще хуже; появился сухой зловещий кашель. Она сделалась чрезвычайно раздражительной, стала бить детей, проклинать их. Кляча надорвалась...

Петр Дементьич пил целый месяц... Это уже выходило из программы и встревожило даже меня, так как при этом у него стала проявляться наклонность к буйству.

Как-то вечером, после чая, я намеревался лечь спать. Хозяева находились в кухне, и до меня долетали звуки их голосов; судя по интонации, можно было предположить, что между супругами происходит ссора. Вдруг дверь моей комнаты отворилась, и вбежала Таня. Она была чрезвычайно бледна и вся тряслась. Бросившись ко мне, девочка зарыдала.

— Что ты, Таня, что с тобой? — встревожился я.

— Папа буянит! — проговорила девочка сквозь слезы.

Я посадил ее на колени, стал гладить по голове и утешать, как мог.

Девочка была в сильном нервном возбуждении и никак не могла успокоиться. Тотчас соскочила с колен, выбежала из комнаты, но чрез несколько минут вернулась снова, на этот раз радостная, вся сияющая.

— Папа не буянит! — объявила она, улыбаясь сквозь слезы.

— Ну, вот и отлично! Посиди тут, а потом пойдешь!

Но девочке не сиделось. Она снова убежала и возвратилась уже в слезах.

— Папа опять буянит! — проговорила она.

Я вышел на кухню.

Захватив женину кофту, Петр Дементьич, ругаясь и грозя кулаками, порывался уйти. Лизавета Емельяновна не пускала его. Я ввязался в ссору, стал уговаривать хозяина, просил, убеждал, указывал на болезнь жены...

Он молча выслушал меня, бессмысленно скосив глаза, и в заключение попросил двугривенный...

Смерть новорожденного положила конец пьянству. С утра Петр Дементьич ушел куда-то, пропадал целый день, а к вечеру пришел трезвый и принес гробик. После жалобного детского крика, наполнявшего квартиру, вдруг наступила тишина. Присмиревшие дети жались друг к дружке и боязливо посматривали на стоявший под лампадой в переднем углу гробик, из которого выглядывало спокойное, синевато-бледное лицо маленького страдальца.

Петр Дементьич с особенным усердием стучал молоточком, словно усиленной работой пытаясь отогнать тяжелые думы. Лизавета Емельяновна что-то сосредоточенно шила, слегка покашливая. Во всей квартире царила давящая тишина.

На какое-то замечание мужа я услышал, как Лизавета Емельяновна ответила голосом, дрожащим от слез:

— Ах, Петя, Петя!

В этом было все: и упрек, и жалоба, и крик измученного, наболевшего материнского сердца...

Петр Дементьич, как бы в ответ. только сильнее стукнул молотком.

IX

В начале лета я получил урок в провинции и оставил своих хозяев. При прощанье Петр Дементьич, многозначительно подмигнув, сообщил, что, кажись, опять *«того»*.

Да оно и так было заметно: на Лизавету Емельяновну смотреть было страшно.

Она сделалась еще раздражительнее, но по-прежнему ходила на фабрику, принося даже в складках одежды запах табаку, мельчайшими частичками которого бедной женщине приходилось дышать в течение двенадцати часов в сутки.

Совершенно незаметно прошло лето. Как ни жаль было расставаться с южной природой, а пришлось ехать в Петербург и снова начинать скитальческую жизнь «интеллигентного пролетария».

С невыразимым чувством тоскливого одиночества приехал я в Петербург и, до приискания комнаты, занял один из бесчисленных дешевых номеров недалеко от вокзала.

На другой день я отправился отыскивать комнату в знакомые места и только что хотел повернуть в улицу, где жил Петр Дементьич, как на повороте столкнулся с погребальной процессией. Эта встреча поразила меня. Как будто нарочно так случилось, что в первый же день приезда я попал па проводы к месту вечного успокоения знакомого лица. Еле волочащая ноги кляча, задрапированная в черное, побуревшее от ветхости одеяние, тащила простой сосновый гроб. Сзади, опустив голову, шел Петр Дементьич, рядом с ним Таня, поодаль Терентьевна и еще какая-то женщина в тальме, с корзинкой, а еще дальше, замыкая шествие, плелся старичок-кум. На нем было надето внакидку пальто, в полы которого он тщательно прятал четвертную, предательски выказывавшую по временам запечатанное горлышко.

Увидев меня, Петр Дементьич приподнял шапку. Я подошел и пошел с ним рядом.

— Вот хороню свою голубушку! — проговорил он, скорбно мотнув головой.— Не хотелось ей умирать, все детей жалела! Простудилась она тут, белье полоскала... ну, и вот!

От него порядочно несло водкой, да и ступал он не совсем твердо, все как-то забирая то вправо, то влево.

Я промолчал. Говорить было нечего.

Я взглянул на Таню. Она похудела и вытянулась. Лицо носило отпечаток недетской серьезности, красные глаза опухли от слез. Да и теперь, по временам, крупные слезинки выступали на длинные ресницы и скатывались по подбородку.

Путь был не длинен, так как кладбище под рукой. Я не заметил, как мы въехали в ограду и остановились у церковной паперти. Тут уже стояло несколько пустых дрог, но и за нами еще тянулось двое-трое покойников.

Сняв гроб при помощи сторожей и какого-то нищего, мы внесли его в церковь и поставили в ряд с другими. Приподняли крышку. Я взглянул в лицо покойницы. Оно мало изменилось, разве побелело только очень, да еще явилось на нем никогда не бывшее прежде выражение какого-то отрадного, блаженного спокойствия.

Такое же выражение покоя я заметил на лицах остальных покойников. Это были все больше женщины, далеко не старые и все такие же изможденные.

Отпевание кончилось. Покойников стали выносить из церкви; послышались обычные причитанья и вопли. Вынесли и мы Лизавету Емельяновну. Нужно было идти в самый конец кладбища, к забору, то есть пройти около версты. Мы все страшно устали и несколько раз принимались отдыхать, поставив гроб на землю. День был настоящий осенний. Накрапывал дождь. По хмурому небу медленно плыли темно-фиолетовые тучи. Пасмурно смотрели поблекшие деревья с черными от дождей стволами. С некоторых уже осыпался лист. По грязной дороге прыгали воробьи.

Наконец, дотащились до места. Могила была готова. Я взглянул на дно: там выступила вода буровато-кофейного цвета с легким налетом пены. Гроб грузно сел на дно, и сверху покатились сырые комья земли...

Петр Дементьич стоял без шапки, с убитым выражением лица. К вспотевшему лбу прилипли жидкие, начинавшие слегка седеть пряди волос. По временам он медленно проводил рукавом по лицу, как бы стараясь что-то стереть. Таня тихо, жалобно плакала. Старушонки тоже прослезились, а старичок-кум усиленно сморкался в красный ситцевый платок.

Двое могильщиков, с веселым выражением молодых лиц, торопливо зарыли могилу, накидали холмик, обровняли его лопатами и одновременно попросили на чаек. Я сунул им по какой-то монете, и они ушли, молодцевато вскинув лопаты на плечи.

Петр Дементьич уселся на траву, подле могилы. Его примеру последовали и другие. Началась распаковка кор-

зины с разной снедью. Старичок вытащил четвертную и дрожащей, морщинистой рукой любовно погладил по горлышку. Явился стаканчик. Стали поминать покойницу. Не желая нарушать обычая, помянул и я, но, улучив удобную минуту, когда после первого стаканчика поминальщики пустились в россказни и воспоминания, отошел от могилы и направился в глубь кладбища.

X

Уныло смотрело оно в этот хмурый, дождливый осенний день. Намокшие кусты печально свешивали ветки. Сквозь них там и сям вырисовывались также намокшие, почерневшие кресты.

Я сел на полусгнившую скамейку. Сквозь густо разросшуюся шапку акаций надо мной высилось серое небо. Безлюдно было на кладбище. Ни одна птичка не чирикала. Все замерло, затихло, как бы в предсмертной агонии. Природа собиралась тоже умирать, и надолго. Но в будущем ее все-таки ждало возрождение...

Под впечатлением тяжелых, удручающих мыслей, не покидавших меня со времени возвращения из деревни, я раздумался о печальной судьбе только что похороненной жертвы петербургского прозябанья.

Бедная кляча! Еще недавно и она была молода, сильна, цвела здоровьем и жила себе, ни о чем не думая, ни о чем не заботясь, в какой-нибудь отдаленной деревеньке, под крылом заботливой матери. Шутя справляя тяжелую крестьянскую работу, она была весела и довольна, скромно развлекаясь орешками и подсолнухами на деревенских посиделках. Но пришел «мастеровой человек», улестил ласковыми, любовными словами, а отцу с матерью представил резоны, что-де «жить будем душа в душу, я, значит, работать, а она по хозяйству да около ребятишек», наговорил чудес про столичную развеселую жизнь, вскружил голову девке, обвенчался и увез в Питер. А тут произошло то, что обыкновенно случается с многими. Приобрела она некоторый столичный лоск, научилась обращенью с людьми, перестала по-пустому смущаться и закрывать лицо ладонями, побывала в театре и трактирный орган послушала, стала носить вместо башмаков модные ботинки, сарафан перешила на юбку, сделала себе платье princesse и купила шиньон; но зато какой страшно дорогой ценой достались

ей мишурные блага цивилизации. Куда девались прежнее веселье, непринужденная искренность, несокрушимое здоровье! Исчез румянец щек, пропала их округлость, исхудало могучее тело, изменился характер, сделался раздражительным, сварливым. Беспрестанные дети, пьянство мужа, работа на фабрике, гнилые квартиры, дурная пища — довершили начавшийся процесс разрушения организма и привели к преждевременной могиле.

Бедная, бедная кляча!..

Шум голосов прервал мои размышления. Я пришел на могилу и нашел поминальщиков в значительно возбужденном настроении.

Петр Дементьич сидел, поджав под себя ноги по-турецки, мерно раскачивался и, прищурив глаза, слушал, что говорили остальные. Подрумянившиеся старушонки что-то вперебой рассказывали друг дружке. Старичок стоял на соседней могиле и тоже что-то бормотал, разводя руками и силясь сохранить равновесие. Таня сидела в сторонке под кустом и с безучастным видом обрывала лепестки желтого цветка.

В бутыли водки было только на донышке, а от закуски оставались одни объедки.

Вся поверхность свежей могилы была щедро усыпана крупинками риса.

— ...А она-то, матушка, и говорит мне: «Нет, уж, говорит, Терентьевна, чую, что не встать, говорит, мне».

— Не встать, не встать! Это уж я, милая, доподлинно знала, потому, может, скольких схоронила, и все так! Чуют они, матушка, сердцем чуют!

— Кажный человек...— медленно начал Петр Дементьич, но его с большим одушевлением перебил старичок:

— Вот теперь изволите видеть эту канаву (старичок торжественно указал на ближайшую, всю заросшую крапивой канавку, потерял равновесие, сполз со скользкой земли, но тотчас же снова взобрался),— так ее тогда не было, и ничего этого не было, а было поле, голое поле, и на нем сено косили для батюшек. А вон там...

— ...Прихожу я этта в четверг... аль в середу? Ай нет, в четверг, еще банный день был, я из бани шла да зашла... Прихожу этта, а она-то мне: — «Терентьевна, говорит, а у нас какая беда!» — «Какая такая?» — спрашиваю.— «Зеркало-то»,— говорит...

— А собака? — ввязался в беседу старичок, бросив рассказывать.— Дворницкая собака всю ночь выла!

— Выла, выла! — сокрушенно закачали головами старушонки.

Я подсел к Петру Дементьичу. Он безучастно глянул на меня мутными, пьяными глазами, отвернулся, взялся за бутыль и глотнул прямо из горлышка.

— Петр Дементьич!..

— Я Петр Дементьич! — с пьяным задором отвечал он.

— Я хотел вас спросить, как вы думаете насчет Тани. Девочка большая... Учить бы ее.

— А это уж вот ее дело! — махнул он рукой в сторону Терентьевны.— Она ее, значит, определит!

— Куда вы ее хотите определить?

— В магазин, батюшка, в модный магазин! — подхватила старушонка и обратилась к Тане: — Таня, подь-ка сюда.

Девочка не двигалась.

— Поди, поди сюда, милая! — с деланной ласковостью в голосе манила Терентьевна.

— Иди, коли зовут! — прикрикнул отец.

Таня подошла. Старуха потянулась к ней, обхватила цепкими, костлявыми руками и, привлекши к себе, положила ее голову на плечо.

Таня делала усилия освободиться. На бледном лице ясно отпечаталось выражение отвращения и страха. В брошенном в мою сторону взгляде было что-то скорбно-жалобное, молящее. Так должна смотреть овца на мясника, когда он, схватив за рога, уводит под нож.

— Не бойся, не бойся, голубушка! — причитывала Терентьевна.— Тебе там хорошо будет. Кормить будут, одевать будут... Выучишься, спасибо скажешь! А ты чего смотришь? — обратилась она вдруг к бессмысленно взиравшему на нее Петру Дементьичу.— Нечего тебе смотреть! Твое дело впереди. Дай сроку (гадкая улыбка распустилась по ее лицу), оженим, голубчик, как пить дать, оженим!

Я встал и, распрощавшись со всеми, пошел по тропинке назад. Когда я был уже довольно далеко, до слуха моего чуть донесся нестройный хор поминальщиков, выводивших пьяными голосами:

Со свя-а-а-ты-ы-ми упо-кой!

Напрасно пытался я представить себе душевное состояние этих людей. Выходило что-то нелепое, несообразное. Передо мной, как в тумане, рисовались фигуры: дико-пьяного Петра Дементьича, старичка-кума, Терентьевны с волосатой бородавкой на подбородке и скорбная, детски-беспомощная фигура бедной Тани...

И самой подходящей декорацией ко всему был пасмурный осенний день, с хмурым небом, мокрыми деревьями и бурой, блекнувшей травой.





ВТУНЕНКО

Дом, в котором помещалась редакция «Разговора», стоял во дворе. Вышневолоцкий вошел в редакцию и спросил в передней, где живет редактор «Разговора» Лаврович.

— А они тут не живут,— отвечал мальчик в синей блузе, выбегая из боковой комнаты.

— А где же?

— А они тут не служат.

— Редакция «Разговора»?

— Типография господина Шулейкина.

— Но ведь вывеска, что редакция помещается...

— Здесь, здесь! — крикнул из глубины передней хриплый голос.— «Разговор» здесь! Пожалуйте! Что угодно?

Из-за грязного шкафа, разделявшего переднюю на две половины — темную и светлую,— выглянула незнакомая физиономия с толстым, смешно приставленным к лицу носом алого цвета и с длинной беззубой улыбкой.

— Вам что?

— Хотелось бы повидать Лавровича...

— Зачем?

— Надо.

— Как редактора? Господин Шулейкин его рассчитал. Чересчур расписался! И стихами, и прозой начал валять! Прошу покорно пожаловать... Вы не господин Стародубов?

— Нет, я Вышневолоцкий.

Петербургский литератор с любопытством окинул взглядом редакцию московского журнала, объявившего его своим сотрудником. Грязная клеенка покрывала стол,

на котором лежали первые нумера «Разговора» с безвкусными виньетками. Два белых простых стула стояли по сторонам стола. На подоконнике лежали ваксенные щетки.

— Господин Вышневолоцкий! Очень приятно! Давно изволили пожаловать в Москву? Не по вызову ли господина Лавровича? Но я за него. Хозяин прямо сказал: «Корнил Саввич, разговаривайте!» Да, журнальчик был бы хороший, если бы умеючи взяться. А то ведь чего только нет: и Бисмарк, и Гладстон[1], и спиритизм, и полемика с «Московскими ведомостями» [2], и полемика с «Русскими ведомостями» [3], и порнография, и славянофильство! Эх, грехов много — не могу я сам быть редактором, не утвердят: что я сделал бы! Журналисты от зависти лопнули бы!

Он с сожалением покачал головой. «Какой у него шагреневый нос,— подумал Вышневолоцкий,— как наперсток, истыкан».

Московский журналист продолжал:

— Я на литературе зубы съел! Полстолетия честно служу высшей идее! У меня взгляды и глубокое образование. Я со всеми корифеями был знаком... С Тургеневым, с Некрасовым... Вам удивительно?

— Мне по своим делам... Дайте адрес Лавровича! — проговорил Вышневолоцкий.

— Лаврович станет порицать меня и издателя,— начал журналист, оторвав кусочек бумаги и макнув перо в закапанную чернильницу,— так вы не очень-то верьте. Господин Лаврович забрал до двух тысяч денег еще в прошлом году, когда журнала не было. Весь год жалованье получал. Господин Шулейкин, бывало, каждое первое число на себе волосы рвет от чрезмерного горя, расставаясь с двумя радужными и, так сказать, бросая капитал на ветер... Получите адрес господина Лавровича.

Рот его растянулся в добродушную улыбку, и на кивок Вышневолоцкого одною головою он стал низко кланяться всем станом.

На улице Вышневолоцкий услышал, что его кто-то зовет. Он оглянулся: за ним бежал журналист в рыжем ветхом пальто и в облезлой меховой шапке.

— Господин Вышневолоцкий! Вышневолоцкий! А Вышневолоцкий!

Вышневолоцкий покосился из-за своих бобров на темного московского писателя, которого он не знал даже по

фамилии и нос которого особенно ярко алел под золотистым лучом солнца-невидимки, скрытого высокими каменными домами.

— Позвольте узнать, вы *тот* Вышневолоцкий?

— Что вы хотите спросить? — произнес Вышневолоцкий, улыбаясь.

— Сочинитель романа «Силуэт»?

— Да.

Старик с умилением схватил его за руку.

— Читал! Все выдающееся читаю! Как же, с большим удовольствием! Был тронут! Дважды прослезился! Господин Вышневолоцкий!

Он замолчал, не находя слов или опасаясь высказать свое желание, и только уловив в глазах Вышневолоцкого что-то вроде расположения к себе, произнес:

— Отправляюсь завтракать... Живу близко, на Живодерке. Сделайте честь, ко мне хоть на пять минут. Позвольте представиться: Корнил Саввич Втуненко. По происхождению — малоросс, автор повести исторического характера: «Василий Темный»... [4] Прошу! Эй, на Живодерку, пятнадцать копеек!

Вышневолоцкий хотел сначала отказаться, но вспомнил, что действительно когда-то в детстве читал «Василия Темного», и решил заехать к Корнилу Саввичу из благодарности и из любопытства.

Миновав множество деревянных домишек, извозчик остановился у ворот, над которыми торчала жердь с надписью: «Сие место продается участками». Корнил Саввич пошел вперед по мосткам, Вышневолоцкий следовал за ним и глядел вокруг на огромный пустырь, расстилавшийся по обеим сторонам мостков. Вдали виднелся желтый деревянный жиденький дом, о двух этажах, без всяких служб и сараев. Корнил Саввич торопливо и неровно семенил ногами. Он был в истоптанных сапогах. Его синие брюки были отрепаны назади каблуками, и чья-то заботливая рука заштопала их и наложила заплатки из черного сукна.

Перед самым домом лежала, выделяясь на снегу, мусорная куча. Вороны клевали ее и с хриплым криком кружились в воздухе. Корнил Саввич, радостно улыбаясь, сказал:

— А право, тут можно охотиться. Прежирные бестии!

Он посмотрел на ворон и прицелился палкой.

— Пожалуйте, пожалуйте! По лестнице, сюда! Не бойтесь, что скрыпит: новый дом, осенью строен, еще не успел устояться.

Холодная стеклянная галерея окружала второй этаж. Корнил Саввич вел гостя мимо нечистых корыт и матрацев, которые, по его объяснению, вымораживались, во избавление от некоторых мучителей, неразлучных будто бы со всяким новым домом.

— В опилках заводятся... самозарождение!

Наконец он постучал в дощатую некрашеную дверь. Вышневолоцкий зажал нос: какая-то маслянистая вонь отравляла воздух квартиры. На перегородку брошены были платья, полотенца и просто тряпки.

Красивая женщина, цыганского типа, с болезненным худым лицом и неопрятными волосами, выглянула и спряталась.

— Жена — Марья Саввишна,— молвил Корнил Саввич и потер руки.

Вышневолоцкий вошел по приглашению хозяина в небольшую светлую комнату.

Каштановый сеттер с умными, как у человека, глазами лежал на ковровой подстилке. Перед ним стояла чашка с нетронутой овсянкой и вода в разбитом горшочке. Увидав хозяина, сеттер слабо повилял хвостом.

— Моя гордость! — вскричал Корнил Саввич,— несказанной красоты! Кличка — Перл. На стене, под стеклом — похвальный лист Перлу. На собачьей выставке всех удивил! За него двести дал, а пятьсот предлагали, да я отверг. Еще не дошел до того, чтобы собаками торговать. Перлушка, милый Перлушка! Что приуныл, брат, что призадумался? Болен, бедняжка! Не хочется к ветеринарам обращаться — живо уморят. Марья Саввишна, давала ему серку? Перлушка, милый мой Перлушка!

Корнил Саввич нагнулся, пес привстал и лизнул его в губы.

Вышневолоцкий сел на венский расшатанный стул и поднес к носу свой белый надушенный платок, потому что все еще не мог привыкнуть к зараженному воздуху, который, однако, не смущал хозяев. Бедность и неряшливость царили в комнате. Постель в углу незастлана. Вороха газет, между которыми видное место занимал «Разговор», валялись на комоде и на полках покосившейся этажерки, на столе. Сырость намочила обои. Внизу двойных рам

были сделаны деревянные желобки, и их наполняла вода, струившаяся со стекол.

— Неприглядное жилище? — спросил Втуненко.— Семнадцать рублей плачу,— ух! как трудно достаются. Марья Саввишна, нам бы закусить чего-нибудь! А главное, водочки, водочки! капельку!

Он показал на пальце, сколько именно водочки.

— Корнил Саввич, я считал вас гораздо старее,— начал Вышневолоцкий.— Ни одного седого волоса... Сколько вам лет?

— Шестой десяток идет... Что, молод?

— «Василия Темного» я читал еще в первом классе гимназии... помню, с картинкой.

Втуненко закинул голову и хвастливо посмотрел на Вышневолоцкого.

— Теперь не пишут исторических романов,— сказал он.

Вышневолоцкий не возразил ничего.

— Нет той эрудиции! — начал Корнил Саввич, помолчав.— Марья Саввишна, помнишь «Силуэт»? Это — их сочинения!..

Марья Саввишна вошла с тарелкой в руке и с графинчиком.

Вышневолоцкий встал.

Марья Саввишна была в красной кофточке, застегнутой не на все пуговицы: их недоставало там, где они более всего были нужны. Поставив завтрак на стол, Марья Саввишна протянула гостю руку.

— Здравствуйте, не взыщите за угощение. Я, Корнил Саввич, купила наваги на десять копеек, да гусиных лапок.

Вышневолоцкий понял, что воздух был отравлен навагою, которой он терпеть не мог.

— Ну, будем же здоровы! — произнес Корнил Саввич, держа рюмку у рта. Он медленно проглотил водку, помотал головой и налил Марье Саввишне.— Она пьет не хуже меня!

— Неправда! Вот уж неправда! Я пью для удовольствия, а ты из жадности.

— Что же вы не закусываете? — спросил Корнил Саввич.

— Они непривычны к нашей пище,— произнесла Марья Саввишна.— Кушайте лапки.

Вышневолоцкий взял лапку.

— Почему нападаете вы на Лавровича? — начал Вышневолоцкий.— Я сейчас поеду к нему, и, может быть, недоразумение, которое возникло, мне удалось бы уладить.

— Ах, нет, напрасная забота-с! — вскричал Корнил Саввич.— Я одному только удивляюсь, что как вы, будучи истинно либеральным писателем, можете находиться в каких-то отношениях с господином Лавровичем? Господин Лаврович держится устарелых взглядов, несмотря на свою сравнительную молодость, и принадлежит к партии Страстного бульвара[5]. Да-с.

— Неужели? — сказал Вышневолоцкий.— А вы говорили, Лаврович завел полемику с «Московскими ведомостями».

— Признаюсь, полемика-то была с «Русскими ведомостями», а я, по праву корректора, переделал... Так что ему должно влететь от Страстного бульвара-с.

Вышневолоцкий улыбнулся и спросил:

— Вы корректором в «Разговоре»?

— Управляю типографией Шулейкина и вместе корректор. Конечно, корректор корректору рознь... Другой не посмел бы. А я напутал: хозяин давно просил выставить господина Лавровича. Хозяину надо, чтоб журнал ничего не стоил, чтоб купцы платили за бесчестье, чтоб сотрудники печатали у нас ябеды и еще нам платили!

— Послушайте, я не пойму — вы за кого же собственно?

Корнил Саввич выпил рюмку водки и, блеснув глазками, шепотом произнес:

— За себя-с, за сохранение своей престарелой униженной личности!

Вышневолоцкий вдумчиво посмотрел на него; Корнил Саввич отвернулся.

— Марья Саввишна,— сказал он, беря жену за руку,— сколько нам, душа моя, необходимо в месяц денег?

— Да, если не пить, Корнил Саввич, то пятьдесят рублей надо. Меньше никак нельзя! — обратилась она к Вышневолоцкому и сделала жалобное лицо.

— А с питьем, Марья Саввишна?

Она улыбнулась.

— Много ты жрешь водки, Корнил Саввич. Господь тебя знает! Иной месяц на двадцать, а иной сотню пропьешь.

— Вместе с тобой, Марья Саввишна, вместе с тобой!

— Что срамишь меня при чужих людях?

— Ну, а все ж таки... Так вот, господин Вышневолоцкий, сколько денег нам надо, чего требует наша личность! Только не подумайте, что я принцип продам за рюмку водки. Нет-с, я человек стойкий. Меня какие люди уважали! Но ежели с одной стороны Лаврович, а с другой Шулейкин, то наплевать. Бьюсь как рыба об лед, ибо вечно, ежечасно, ежеминутно желаю есть, а также имею потребность кормить семью, состоящую из Марьи Саввишны, сына Андрея и из бесценного Перла. Поднимающий меч от меча погибнет [6]. Лаврович считал меня старым псом, которого пора выбросить. Но я жить хочу, и вся моя семья точно так же желает жить. Я насмотрелся на своем веку на такие вещи, что не поверите, если я вам расскажу. Шулейкин грошелуп, низкая тварь, но он, на мой взгляд, выше Лавровича и многих других деятелей, имена которых ныне гремят в литературе. Никто не стал бы меня держать, а господин Шулейкин держит. Теперь скажите, за кого я должен стоять?

Он налил три рюмки водки и пригласил любезною улыбкой жену и гостя выпить. Вышневолоцкий едва дотронулся губами до рюмки. Он внимательно слушал Корнила Саввича. До сих пор он вращался в той литературной среде, которая всегда пользуется и уважением и достатком.

Он первый раз был в жилище забытого, несчастного старика, который считался когда-то почтенным литератором и теперь впал в нищету, испьянствовался и дошел до какого-то нравственного отупения... А между тем было же у него назади светлое время, когда он знался с «корифеями» и когда для него «принцип» не был звуком пустым... Хорошо еще, что какой-то подлый Шулейкин эксплуатирует старика. Что было бы с Корнилом Саввичем без Шулейкина?

— Не смею осуждать вас, Корнил Саввич,— сказал Вышневолоцкий.— Мне понятны причины, почему вы против Лавровича. Но я его помню хорошим человеком... Он мой товарищ.

— Хороший человек! У цензора крестил детей!

Вышневолоцкий рассмеялся.

— Что ж, если цензор порядочный человек! Гончаров был цензором [7].

— Литератор — особа священная,— возразил Корнил Саввич и надменно указал на свою грудь.

— К нам околоточный в гости ходит,— начала Марья Саввишна,— тоже обожает литераторов.

— Ну, ну, ну! Какой околоточный! Рехнулась, матушка?

— А Николай Константинович?

Корнил Саввич тихонько показал жене кулак и пояснил гостю:

— Зря болтает моя Марья Саввишна! Кто подумает, и в самом деле я с участком имею сношение! Она меня подведет! Между нами, околоточный ходил с повесткой: я учинил дебош... Да, я еще дебошир! А Марья Саввишна сейчас: к нам ходит околоточный!

Он сплюнул; Марья Саввишна хранила молчание.

— Господин Вышневолоцкий! Насчет стариков сложилось такое мнение, что ежели сед, то и ретроград. Ошибка-с. Вот я, к примеру... На Татьянин день меня, как одного из старейших и благороднейших студентов Московского университета, на руках качали... [8] два пальца вывихнули... Нет дыма без огня, и если обо мне сложилось мнение добропорядочное,— значит, я добропорядочный. И вы меня с детства знаете, а Марья Саввишна околоточного называет по имени и отчеству! Нехорошо, Марья Саввишна,— обратился он к жене,— могут подумать, что ты не супруга Корнила Саввича Втуненко и что Корнил Саввич не образовал тебя, а, взяв из мастерской, где ты шила рубашки разным околоточным, предоставил тебя твоему собственному глубокому невежеству.

— Оставь уже, Корнил Саввич, замолчи! — сказала со смехом Марья Саввишна.— Без тебя видят наше образование... Что у вас на сюртуке: булавка модная?

Вышневолоцкий посмотрел на петлицу своего сюртука: певица, у которой он утром был в гостях, приколола ему на прощанье веточку свежего гиацинта. Он сказал:

— Нет, цветок.

— А я думала, что новая мода,— произнесла Марья Саввишна и вздохнула.— Пахнет?

— Слабый запах.

Марья Саввишна наклонилась к цветку, понюхала и опять вздохнула.

Толстый желтый кот мягко прыгнул на постель и мяукнул. Марья Саввишна взяла с тарелки пальцами головку наваги и подала коту.

— Знаете, сколько ему лет? — спросил Корнил Саввич.— Без малого пятнадцать. Пятнадцать лет мы женаты с Марьей Саввишной, пятнадцать лет кот свидетелем нашей борьбы за жизнь. Эх, много видел он горя! Дети каждый год умирали — случалось, голодной смертью. Я по три года без работы сидел.

— А собак покупал,— заметила Марья Саввишна.

— А собак покупал, верно-с. Без собак никогда не мог жить. Мое имя не раз было пропечатано, благодаря собакам. Портрет в журнале «Охота» и под портретом: собака такого-то. Какой-нибудь граф или миллионер читает и думает: должно быть, Корнил Саввич Втуненко богат; а Корнил Саввич Втуненко прозябает во мгле и пухнет на соломе... Поняли вы мой характер? Перл! Иси! Ну, Перлушка, встань! Встань, милый, порадуй меня!

Сеттер, неподвижно лежавший на подстилке, оживился и, виляя хвостом, подошел к хозяину.

— Будь здоров, Перлушка!

Корнил Саввич выпил. Он ничем не закусывал и только подносил к носу кусок черного хлеба, сильно нюхая его.

— Я вам сейчас покажу, какой у меня умница Перл. Смотри, Перлушка, ты болен, но любишь жареную рыбку...

— Андрюше надо оставить,— робко сказала Марья Саввишна.

— Останется. Гость ничего не ест... Перлушка, смирно!

Корнил Саввич положил на нос Перлу навагу и начал:

— Ел Греч, ел Булгарин [9], ел Лаврович, ел Шулейкин, ел Страстной бульвар...

Сеттер стоял неподвижно, опустив хвост, покорно глядя на хозяина своими красивыми, большими глазами.

— Ел Корнил Саввич Втуненко!

Пес подбросил носом рыбку и схватил ее в воздухе раскрытою пастью. Корнил Саввич с торжеством посмотрел на гостя.

«Тенденциозная собака»,— подумал Вышневолоцкий.

— А кот не умеет?

— Выжил из ума... А впрочем, до сих пор амурится. А жирный, каналья. Сала много. Говорят, за границей котов едят...

Корнил Саввич с задумчивой, сластолюбивой улыбкой стал ласкать кота.

— Андрюша! — позвала Марья Саввишна сына.— Иди!

Вошел мальчик-горбунчик, с старообразным лицом и острыми плечами, приподнятыми до ушей.

— Поклонись гостю! — скомандовал отец.

Горбунчик издали шаркнул ножкой.

— Кушай, детка.

Мать подала ему ломоть хлеба и пару рыбок. Андрюша отошел в сторону, к окну, и молча съел завтрак. Потом он поклонился гостю и, сказав: «Покорно благодарю вас, папаша и мамаша»,— ушел назад.

— Хорошо учится...— произнес отец.— Ну-те, что же вы приуныли? Марья Саввишна, проси! Выходит так, что я один пью... Не хотите? Один выпью!

Алый цвет шагреневого носа Корнила Саввича стал еще гуще, щеки покрылись сине-багровым румянцем. В узеньких глазах блестела влага того пьяного бессмыслия, которое так противно трезвым людям. Но Корнил Саввич еще крепился и не хотел показать, что он пьян.

— Василий Темный! — говорил он,— не ожидал, что встречу... Василий Темный был великий государь. Но только я на его слепоте теорию построил. Сам Герцен погрозил пальцем: умно, Корнил Саввич, умно! А я его в ручку... Но, позвольте, вы к нам или в Петербург? Мое дело сторона, есть тут купец Самореин и очень нуждается в легком пере, потому что фабричный инспектор уголовщину возводит, а у него, надо сказать...— Корнил Саввич подмигнул Вышневолоцкому и дополнил речь жестом, который состоял в движении пальцем по неопределенному направлению.

Вышневолоцкий встал и начал прощаться. Хозяева удерживали его. Корнил Саввич едва стоял на ногах. Когда он сидел, то не казался таким пьяным. Вышневолоцкий уронил шапку — старик бросился поднимать ее и поскользнулся.

— Пьяненький,— сказала Марья Саввишна.— Что юродствуешь? Иди спать на диван.

Корнил Саввич поднялся, улыбаясь и мотая головой.

— А, не нравится! Расскажу им, какой ты муж и каково мне с тобой. Был у нас, знаете, диван и надоел до того, что не могу видеть. Я позвала хламщика и продала диван за два рубля. А хламщик встречает через неделю и говорит: благодарю вас, Марья Саввишна, купил диван за два рубля, а в диване, под спинкой, нашел пять рублей... Кто же, как не Корнил Саввич? От жены прячет деньги и кутит, а людям говорит, что мы вместе пьем.

Корнял Саввич стоял, сонно улыбаясь. У Марьи Саввишны глаза горели, как угольки: ей было жаль пяти рублей. В отворенную дверь виднелось пространство за перегородкой. Там у окна сидел горбунчик, подперши голову рукой, и задумчиво смотрел вдаль, на златоглавую Москву.

Вышневолоцкий еще раз простился с хозяевами и ушел.

Тяжело было у него на сердце.

ГРАФ

I

Табачный торговец, Павел Осипович Перушкин, сидел в своей лавке и с нетерпением смотрел на улицу сквозь большое сплошное стекло единственного окна. С утра непрерывный дождь кропил улицу, и мимо лавочки промелькнуло несколько сотен мокрых зонтиков. От времени до времени гремел колокольчик на дверях магазина, входил покупатель и, подождав, пока угомонится колокольчик, спрашивал десяток папирос или коробку спичек. Торговля шла как обыкновенно, но время тянулось как-то особенно долго. Перушкин готов был закрыть магазин, чтобы сократить этот несносный долгий день. Однако инстинкт торговца брал верх, и Павел Осипович ждал срока, когда на смену явится его брат и освободит его.

С ним уже около шести лет знаком молодой человек, проживающий в том же доме, где помещается табачная лавочка, и носящий громкую фамилию Румянцева. Неизвестно, принадлежал ли молодой человек к славному роду и находился ли в каком-нибудь родстве с графом Румянцевым-Задунайским [1], но достоверно, что он не именовался графом и вдобавок был очень не богат. Он занимал меблированную комнату в «тихом и благородном семействе» и числился на службе в каком-то департаменте. Чуть не каждый день заходил он в лавочку Перушкина за папиросами, за почтовой бумагой, за марками. Румянцев постоянно был в долгу у Перушкина, но сообразительный торговец рассуждал так: «Положим, первые десять рублей, которые задолжал мне г. Румянцев, пропали, но я зато держу его на привязи. За шесть лет он дал мне тор-

говать, по крайней мере, на шестьсот рублей, то есть я имел с него чистой прибыли рублей двести. Кто должен, тот постоянный покупатель». Кроме того, Павла Осиповича связывала с Румянцевым их сравнительная молодость, и было время, когда в табачной лавочке происходили у Румянцева свидания с одной молоденькой швеей. В табачную же лавочку получались на имя Румянцева письма, тайну которых ему хотелось скрыть от «тихого и благородного семейства».

Когда Румянцев приходил в лавочку, Перушкин торопливо подставлял ему стул и, видимо, гордился знакомством с таким человеком. Во многих отношениях он подражал Румянцеву — носил такие же галстухи, так же брил бороду и причесывался, и, заметив, что Румянцев курит только папиросы Бостанжогло, он сам почувствовал к ним влечение. Раза два или три он встречался с Румянцевым на островах, и они вместе пили пиво. Чтобы возвысить в своих собственных глазах цену знакомства с Румянцевым, Перушкин, упоминая о нем в разговоре с кем-нибудь, называл его графом.

Теперь, сидя в лавочке, он с нетерпением ждал, когда ему можно будет отправиться с визитом к Румянцеву и попросить об одном чрезвычайно важном одолжении. Наконец с досадной медленностью пробило пять часов, и минуты, на которые опоздал брат Перушкина, Кирюша, показались вечностью. Но и Кирюша пришел. Тогда, побранив брата, Павел Осипович надел свой новенький цилиндр и драповое пальто и вышел на улицу, распустив зонтик.

Румянцев только что вернулся со службы, едва успел пообедать и лежал на диване, закинув ноги на спинку. Тоска или, вернее, скука грызла молодого человека. У него не было ни копейки денег, нечего было читать, никуда не хотелось идти, а впереди предстоял целый ряд таких же безобразно-скучных дней вплоть до получения жалованья. Деньги на несколько минут оживят его. Он, вероятно, пойдет в клуб, будет играть в мушку, будет любезничать с клубными барышнями, прокатит их на лихаче, угостит ужином в отдельном кабинете, а затем снова погрузится в ленивое и пустое ожидание следующего двадцатого числа. В бесконечной перспективе двадцатых чисел тускло сияла ему надежда на повышение, на изменение обстоятельств к лучшему,— может быть, на счастливый брак, который принесет ему, вместе с красотой жены, деньги и протекцию. А пока он лежал на диване, приняв самую неудобную

позу, потому что она все-таки вносила некоторое разнообразие в его бесцветную жизнь.

Павел Осипович вежливо постучал в дверь номера и, на крик: «Войдите»,— показался во всем блеске своей модной визитной пары.

«Чего еще надо этому ослу?» — подумал Румянцев, вспомнив, что он должен в табачную лавочку.

— А! — с припужденной любезностью протянул он.— Здравствуйте, милейший! Как ваше здоровье? — Он приподнялся и пошел навстречу гостю.

— Мое здоровье — слава богу! — отвечал Перушкин,— слава богу, я здоров вообще и в частности. Я очень даже здоров, Петр Гаврилыч! — со смехом заключил он свою речь и пожал Румянцеву руку.

— Садитесь, что скажете? Что новенького?

Перушкин сел на кончик стула и, осмотревшись кругом, сделал таинственное лицо.

«Так и есть, пришел за деньгами!» — сообразил Румянцев и решил вести себя с достоинством, т. е. солгать, что деньги у него будут на днях, и, кажется, довольно большие деньги.

— Новенького очень много. Во-первых, Петр Гаврилыч, как вы находите на мне эту пару? — спросил Перушкин и встал, поворачиваясь.

Румянцев критически посмотрел на табачного торговца.

— Да вы — франт, мой дорогой! Пара недурна! Точно такая же пара была у меня. «И пропала в ломбарде»,— мысленно докончил он.

— Шестьдесят рублей заплатил,— сказал Павел Осипович,— да пятьдесят за пальто, да девять за цилиндр, дюжину белья купил, да вот сапоги из самого лучшего бельгийского товара, да сегодня принесут фрак от Корпуса... Издержался, но не жалею!

— Значит, торговля процветает?

— Получен свежий табак от Бостанжогло. Не хотите ли, пришлю фунтик?

— Пришлите, только имейте в виду...

— О, помилуйте! — прервал его Перушкин.

— Благодарю вас. А что ж еще новенького?

Перушкин опять сделал таинственное лицо.

— Говорю вам, что много новенького! Чересчур много новенького. Женюсь! — проговорил он и радостно рассмеялся.

— А, поздравляю!

Перушкин протянул Румянцеву обе руки и долго тряс его руку.

— Это такое для меня счастие... Так много! Только теперь вполне начинается... Петр Гаврилыч, будьте сочувственны!.. Петр Гаврилыч, позвольте надеяться, что счастье всей моей жизни будет зависеть от вашего согласия!

— Да помилуйте, что вы, милейший? Разве я могу запретить!

— Нет, Петр Гаврилыч, я от избытка волнения... Вследствие отсутствия блестящего образования... Прошу вас об одном — сделать мне честь... Так как свадьба моя послезавтра, и в этом же доме, в пустой квартире по парадной лестнице...

— Хотите, чтобы я был у вас на свадьбе? Хорошо. Я с удовольствием.

— Граф!

— Оставьте титулы. Я не имею права называться графом.

Перушкин безмолвно, с чувством, сжал еще раз руку Петра Гавриловича.

— На ком же вы женитесь?

— На барышне... Пятьсот рублей положил издержать на удовлетворение!

— А много приданого берете?

— Я по моде девятнадцатого века!

— Ну, в девятнадцатом веке, кажется, деньги играют главную роль. А что ж, невеста, должно быть, хороша?

— Божество! — Перушкин счастливыми глазами посмотрел на Петра Гавриловича и долго распространялся в похвалах ее наружности.

— Счастливый вы человек,— сказал Румянцев.— От вас так и брызжет счастьем.

— Невинные шалости юного возраста! — вскричал Перушкин.— Я уверен, что и вы теперь женитесь. Вам, граф, скоро тридцать лет.

Так как Перушкину во что бы ни стало хотелось называть его графом, то молодой человек не возразил на этот раз ничего. Его это забавляло.

— Непременно, непременно, почтеннейший, буду у вас! А что касается моей женитьбы, то нет, должно быть, я никогда не женюсь. В Петербурге нет невест.

— Что вы, Петр Гаврилович? Да что с вами? Да неужели вы разочаровались? Помилуйте, в Петербурге невест сколько угодно!

— Женщин, но не жен! — с некоторою мрачностью проговорил Румянцев фразу, которую он вычитал сегодня утром в департаменте, пробегая фельетон.

— Нет, обидно даже слушать! — со смехом произнес Перушкин.— Вы нашу армию, граф, обижаете!

— Да, вот женитесь — другое, голубчик, запоете,— произнес Румянцев, и, спохватившись, что его слова заключают в себе не совсем деликатный намек, он заключил: — А впрочем, бывают исключения. Никто не выигрывает двухсот тысяч, но, однако, счастливцы выигрывают!

— Вы женитесь, Петр Гаврилович, на красавице и возьмете каменный дом. Уж обязательно! Позвольте мне быть пророком истины! — Понизив голос, он прибавил: — Дуня об вас спрашивала.

— А, надоела мне Дуня!

— В шляпке с пером и в таком пальто, что черт меня побери! Ей-богу!

— Значит, устроилась... очень рад!

Перекинувшись еще несколькими словечками с графом. Перушкин встал с места и начал прощаться.

— Так уж надеюсь!

— Да не беспокойтесь, приду.

— Так уж я буду вполне уверен и счастлив вашим согласием, граф.

— Да ведь сказал я вам.

— Так уж будьте так любезны. Если бы, например, к венцу!

— Да, может быть, и к венцу.

Гость наконец ушел, раскланиваясь с утонченно вежливыми вывертами, с эластическим раскачиванием всего туловища, улыбаясь чуть не до ушей.

«Ах, какой скучный болван»,— подумал Петр Гаврилович, опять забираясь на диван.

«Прелюбезный и преобходительный граф»,— думал между тем Перушкин, надевая на лестнице свой цилиндр.

II

На третий день, в назначенное время, Румянцев облекся в свежее белье и во фрак, но раздумал ехать в церковь, тем более что на улице встретил хорошенькую девушку и у него явилось занятие — он проследил, где она живет, разумеется, с тем, чтобы через минуту совершенно забыть

о ней. Было уже девять часов, когда Румянцев поднялся по парадной лестнице в квартиру, где справлялся свадебный пир. Лестница была ярко освещена; швейцар вместе со швейцарихой снимал внизу пальто и шубы, так как многие гости из торговцев явились на бал в мехах, воспользовавшись легким заморозком.

— Сюда-с, пожалуйте-с! — закричал Кирюша, брат Перушкина, увидев сверху Румянцева и сбегая к нему. Кирюша был неестественно напомажен. Жилет на нем был открытый, с огромным вырезом, но, должно быть, не его, а брата. Да и фрак был с чужого плеча. Кирюша казался поэтому внезапно отощавшим и похудевшим человечком. Размахивая руками, широко шагая через одну ступеньку и оглядываясь на Румянцева, он мчался впереди. Клубы табачного дыма носились на верхней площадке лестницы. Гостей было уже много, и слышался шум их голосов.

— Сюда-с, сюда-с! Осторожнее-с! — вскричал Кирюша, теряя равновесие и падая на площадку. В передней встретил Румянцева купец из Апраксина рынка, посаженый отец Перушкина, и низко ему поклонился.

— Большую честь вы сделали нам, ваше сиятельство! — промолвил он, и Румянцев покраснел, не имея силы воли отречься от графства.

— Граф приехал! Граф! Граф! — услышал он сдержанный говор вокруг себя. Посмотреть на графа поспешили в переднюю разные приказчики и дамы с такими лицами, которые Петр Гаврилович обыкновенно называл «мордимондиями». Приказчики и мордимондии приветливо улыбались ему и кланялись. Он вошел в залу. К нему подлетел, держа руки фертом, господин лет тридцати пяти с густыми завитыми волосами и в усах.

— Ваше сиятельство! — проговорил он сладко и услужливо.

Так парикмахер Петра Гавриловича произносит: «Прикажете постричь?» И точно, взглянув на него, Румянцев узнал в нем monsieur Жоржа, который всегда его стриг и был на самом деле не Жоржем, а Егором, но взял себе французский псевдоним с тех пор, как открыл мастерскую. У Жоржа в петлице фрака красовался белый букет — он был шафером. Вслед за Жоржем подошел почтенный человек с большим сизым носом, в смятой манишке. Медные запонки выпали из петель манишки и держались только на ниточке, оставляя на полотне черный след.

— Ах, мы вас, граф, очень ждем,— шепелявя, заговорил господин с сизым носом; он оказался родственником невесты и ее посаженым отцом. Молодые люди с такими же напомаженными волосами, как Кирюша, и с букетами в петлицах фраков засуетились около Румянцева. Все представлялись ему, кланялись, стремились пожать ему руку. Наконец, его подвели к молодым, которые сидели рядом на почетном месте, за большим столом. Весь стол был заставлен разными закусками — икрой, сыром, колбасами, копчеными селедками, семгой, вареньем, фруктами и бутылками с вином, пивом и водкой.

Молодые приподнялись навстречу «графу». Павел Осипович был украшен такой золотой цепью, что сразу являлось сомнение в ее ценности. Но она блестела, как золотая, и походила на кольчугу. Модный воротничок так сжимал шею Павла Осиповича, что казалось, будто его собираются удавить. Он весь был затянут; можно было подумать, что он в корсете. Его, очевидно, стесняли тугая рубашка, фрак и самое положение как новобрачного. Он был бледен и смотрел на все, даже на Румянцева, с тупым удивлением. Петр Гаврилович в другом месте не узнал бы его, потому что Перушкин нафабрил и поставил стрелкой усы, а его обыкновенно прямые, грязно-желтые волосы были до смешного мелко завиты. Чокаясь со всеми, он уже порядком охмелел и находился в удрученном состоянии.

— Честь... Вполне честь! Граф, я тронут! Я благорасположен! — пробормотал он, указав левой рукой, затянутой в белую лайковую перчатку, на жену.

И новобрачная тоже напоминала собою восковую куклу из анатомического музея. Она с торжественно-любезною улыбкою протянула Петру Гавриловичу руку. Из-под белой фаты смотрело маленькое, уже увядшее лицо, которое едва ли было даже когда-нибудь красиво, а глаза выражали скорее испуг, чем счастье. Кирюша подал на подносе бутылку шампанского, и Петр Гаврилович должен был выпить за здоровье новобрачных. Но едва он взял бокал, как вся зала гаркнула:

— Горько!

Молодые повернули друг к другу свои бледные лица и, улыбаясь не то деревянной, не то счастливой улыбкой, поцеловались.

Было страшно накурено; сквозь дым мигали огни керосиновых ламп и свечей. Петру Гавриловичу указали за

столом заранее приготовленное ему место, где стояла посуда с золотыми ободками; у других гостей она была простая.

«Я играю роль генерала на этой свадьбе! — подумал Петр Гаврилович.— Вот зачем Павел Осипович произвел меня в графы! C'est drôle *»,— чуть не произнес он вслух по-французски, входя в роль аристократа, у которого даже мысли французские, а не русские. Он видел вокруг себя множество незнакомых мужчин и женщин. Они пили и ели, улыбались, хохотали, и слышались разговоры, состоявшие из отрывочных фраз.

— Уважь.

— Антип Петрович!

— Уважь, родной!

— Антип Петрович, ты в своем ли уме?

— Уважь, говорю тебе, уважь!

Или:

— Воистину говорю тебе, хорош ты человек.

— Дядя, а ты чем худ?

— Нет, ты выслушай меня: хорош ты человек!

— Дядя!

— Ха-арош, очень даже ха-арош человек.

И так далее.

«Так вот оно, счастье Павла Осиповича! — думал Румянцев, попивая шампанское, которое было подано только некоторым гостям, а другие довольствовались пивом.— Ах, осел. Бесприданница и дурна, как смертный грех! Да и все здесь хороши. Не свадьба, а шабаш ведьм. Quelles ** мордимон!» — заключил он свои думы, опять входя в роль графа.

Времени с начала пира прошло немного, но все уж были «в градусе». Может быть, они притворялись пьяными, чтобы сделать удовольствие хозяевам. Совершался какой-то неискренний, шумный обряд, и уже Петр Гаврилович стал подумывать, как бы незаметно улизнуть. Однако на него были устремлены все глаза; его поминутно угощали то тем, то другим, и уйти он не мог. Он пробовал заговаривать с молодыми. Пока он говорил, кругом затихала беседа, потому что его особа внушала всем почтение. Но в ответ он слышал бормотание Перушкина, понять которое было выше его сил, а новобрачная только потупляла глаза и

---

* Это забавно *(фр.)*.

** Какие *(фр.)*.

улыбалась. Он замолчал. Тогда, чтоб занять его, подсела к нему худая, как скелет, старуха с большими впалыми глазами и в длинной старинной шали.

— Что вы, граф, как будто скучаете? — начала она.

— Нет, я ничего... я всегда такой.

— Ах, как можно скучать в ваши годы! Вот мне можно скучать и должно. Мое время ушло. Еще пока жила я для Леночки, жизнь моя имела цель. А теперь, позвольте вас спросить, граф, что мне делать?

— Что же, ваша дочь умерла? — спросил Румянцев.

— Господь с вами, зачем умерла, граф? Она вышла замуж за Павла Осиповича.

— Ах, я не знал. Душевно рад!

— Да, рассталась я с дочерью. Нет, вы, пожалуйста, граф, не судите строго... Теперь она взволнована и, правда, нет в ней живости, но когда разойдется, она — душа общества. Леночка у меня образованная. У нее гувернантка была. Прежде, граф, у нас другие достатки были. Откровенно признаюсь вам, граф,— продолжала она, понизив голос,— не на то я надеялась! Такая красавица, как Леночка, могла бы составить себе более блестящую партию. Что ж делать,— заключила она со вздохом,— если поздно знакомишься с людьми и уж ничего нельзя поправить!..

Она вздохнула и завистливо посмотрела на Румянцева.

— Вы холосты, граф?

— Да.

— А невеста имеется на примете?

— Нет.

Старуха опять вздохнула.

Гости между тем пили и чокались с новобрачными; шафера надоедали своим приставанием выпить. Так как Румянцев отказывался много пить, то к нему приставали с особенною назойливостью, сначала соблюдая то уважение, какое внушал всем его графский титул, а затем постепенно переходя в более и более фамильярный тон.

— Ах, граф, ах, ваше сиятельство! Должно быть, не желаете вы добра молодым! Не хотите выпить за их здоровье!

— Граф, позвольте за ублаготворение.

— Граф, за радость друзей Павла Осиповича! За красоту молодой княгини Елены Евграфовны!

— Граф, за продолжение потомства!

— Граф, пейте же! Мы, граф, так надеялись. Мы так ва-об-ра-жали,— шепелявя, заговорил над его ухом поса-

женый отец с пурпуровым носом и хотел потрепать его по плечу, но вдруг всею тяжестью навалился на Румянцева. Навалившись, он почувствовал потребность обнять графа и поцеловал его в затылок.

— Граф, восхитительный граф! Ва-ображение!

Румянцев постарался освободиться из объятий и услышал, как мать новобрачной взвизгнула, потому что посаженый отец сжал ей рукою лицо.

— Я умру от блаженства!

К обузданию расходившегося сизого носа устремились шафера, и, пользуясь шумом, который начался на свадьбе, Петр Гаврилович кинулся в переднюю, выскочил на лестницу и помчался вниз. Но бегство его тотчас же было замечено; какие-то пьяные молодые люди пустились за ним в погоню.

— Держи его, лови оголтелого! Граф, нешто так хорошо? Ваше сиятельство, вернитесь!

Но Петр Гаврилович решился быть неумолимым. Никакие просьбы не могли его отклонить от принятого решения. Пока он надевал пальто, гости Павла Осиповича опять заревели: «Горько!» Посаженый отец был выпровожен в швейцарскую. Он буйствовал, нос его зловеще горел.

III

Осенние дни, однообразные, как мысли скучающего человека, мелькали друг за другом, и на дворе стоял такой же точно день, как и тогда, когда Павел Осипович приготовлялся к венцу и собирался идти в гости к Румянцеву. Мелкий дождь барабанил по стеклу в табачном магазине. Вдруг дверь зазвонила, и вошел Петр Гаврилович.

— Здравствуйте! — вяло произнес Перушкин.— Как ваше здоровье?

— Благодарствуйте. Ну, что, Павел Осипович, привыкли вы?.. Купаетесь в море блаженства?

— Торговля плоха.

— Будет лучше. Теперь во всем застой! Вам теперь до торговли ли?

Павел Осипович махнул рукой и унылыми глазами посмотрел на гостя.

— Как, вы скучаете?

— Я убит! — вскричал Перушкин и ударил себя в грудь.— Я, Петр Гаврилович, ничего не щадил для своего

восторга! Я почитал так, что я — счастливейший из смертных! Но...

— Что же «но»? — помолчав, спросил Петр Гаврилович.

— Эх, Петр Гаврилович, всего в двух словах не расскажешь. А много слов — чересчур больно для сердца, которое заливается слезами.

— Не могу понять вас, Павел Осипович!

— Петр Гаврилович! Во-первых, примите в соображение, что у меня теща вполне ведьма-с, а, во-вторых, моя Леночка оказалась совсем не Леночкой.

— Странно! Загадочно, мой милый! Кем же?

— Она оказалась Еленой Евграфовной, но совсем не Леночкой! — многозначительно проговорил Перушкин.

Дальнейшей беседе помешал приход Елены Евграфовны.

— Ах, очень приятно,— начала она.— В этом же доме изволите жить?

— Они в этом же доме живут,— строго сказал Перушкин.— Не скажешь ли ты чего по-французски?

Елена Евграфовна сделала сердитое лицо.

— Не успел жениться, а уж пристаешь с глупостями!

— Нет, скажи. Пусть они послушают! Им приятно будет послушать. Скажи!

— Вот обратите внимание, какой у меня тиран муж!

— То-то тиран! Мне, Петр Гаврилович, все равно, говорит ли она по-французски или нет. Но только зачем же было врать? Я сдуру всему поверил, а между тем — обманут!

Петр Гаврилович почувствовал себя неловко: супруги окрысились друг на друга, и этот несчастный, никому не нужный в табачной лавочке французский язык мог повести к серьезному супружескому столкновению. Взглянув пристальней на Елену Евграфовну, он заметил на ее злом, бледном личике синяк, присыпанный пудрой. Очевидно, столкновения уже происходили. Петру Гавриловичу стали противны Перушкины, и он, взяв папиросы, поспешил уйти из магазина.

Самый отвратительный серенький день навис над Петербургом. Румянцев шел по мокрым тротуарам, встречал бесцветные фигуры озабоченных и скучающих петербуржцев и смотрел на тысячи лавочек, где продают табак, бумагу, детские игрушки, красный товар. Ему казалось, что в каждой из таких бесчисленных лавочек сидит Перушкин,

который или хлопочет о том, чтобы устроить себе семейный очаг, по старине или «по моде девятнадцатого века», или уже устроил себе очаг и теперь, разочарованный и обозленный, глупый и дикий, терзает свою тоже глупую, ничтожную жену, придираясь к пустякам. Презренная и жалкая жизнь! А между тем тысячи людей живут ею. Для чего они живут? Какая цель их низменного прозябания? «И зачем я сам живу?» — заключил свои думы Петр Гаврилович, с мучительною ясностью вдруг сознав всю пустоту своего существования.

ГРИША ГОРБАЧЕВ

I

Это было в июне 1868 года.

Гриша сидел в своей комнате, увешанной стеклянными ящиками с мотыльками, книжными полками, горкой с минералами и украшенной лошадиным черепом, и читал, при открытом окне, историю философии Льюиса[1].

Он недавно окончил гимназию, и ему хотелось поступить на естественный факультет. Гриша мечтал о славе натуралиста, презирал стихи, полагая, что он уж вышел из детского возраста, когда только и можно заниматься такими пустяками, и следил за внутреннею политикой.

В семье Гришу считали умницей; мать советовалась с ним, что делать против зубной боли и ломоты в ногах; отец находил, что он чересчур предается чтению, и по временам спорил с сыном, чтоб убедиться, насколько Гриша образованнее его; сестры с благоговением посматривали на лошадиный череп, белая поверхность которого была вся расписана таинственными латинскими названиями, вроде: os frontis, processus mastoideus * и проч.

Гриша был так серьезен, что не признавал танцев. Он смеялся даже над любовью. Последнее мать ставила ему в большую заслугу. Она хотела, чтоб из ее сына вышел профессор; отцу приятнее было бы, если бы Гриша стал со временем министром.

Гриша был высокий юноша с бледно-смуглым лицом и темными курчавыми волосами. Он слегка занимался своею

---

* лобная кость, сосцевидный отросток *(лат.)*.

наружностью, конечно, не для того, чтобы влюбить в себя Настеньку Тонкову или Верочку Звереву, но потому, что некоторая предумышленная растрепанность прически и некоторая живописная небрежность костюма придавали его внешности научный вид.

Пока Гриша читал Льюиса, все более проникаясь презрением к метафизике, в соседней комнате семнадцатилетняя сестра его, Катя, играла в четыре руки со своим женихом, Мишей Подгоровым. Потом она стала петь, а Миша подтягивал ей баском. День склонялся к вечеру.

Младшие члены семьи бегали на дворе перед окном натуралиста и, под предводительством стриженного под гребенку Александра, брали приступом, с криками «ура», погреб. Забравшись на ветхую крышу, там и сям обросшую зеленым мохом, Александр махал жестяною саблей и победоносно водружал в щели драничек черно-желтое знамя. Много раз брал он крепость, кричал, свирепел и тумаками водворял дисциплину среди войска.

В калитку вошел Ардальон Петрович Селезнев в щегольском сером пиджачке, в цилиндре и палевых перчатках. Ему уже было лет под сорок. Это был хозяин большого бакалейного магазина, образованный купец, искавший в общении с молодыми интеллигентными людьми пищи для ума. С Гришей он познакомился на охоте, проникся особенным уважением к его познаниям и ждал, что юноша разрешит ему какие-то проклятые вопросы. Проклятые вопросы мешали даже процветанию торговли Ардальона Петровича. Дела его шли скверно, и, кстати, весной он овдовел. Даже домашнее хозяйство его пришло в упадок.

— Горбачев, здравствуйте! Что вы читаете? А, бытие равно небытию! Бросьте!.. Я пришел к вам по хорошему делу.

— Войдите!

— Нет, я постою здесь. Несколько слов... К черту философию!

— Льюис доказывает тщетность умозрительного метода и бесполезность трансцендентных силлогизмов,— заметил Гриша.

— Ей-богу, натощак не выговорю! Дадите потом почитать? Я люблю иногда занестись в облака... У меня теперь такая книга, такая книга!.. Милочка, Горбачев, я женюсь!

— Поздравляю вас. Популярная книга.

Селезнев рассмеялся.

— Обрезал! Что значит умная голова! По — атанде-с. Я к вам с просьбой. Ну, что вам за охота летом сидеть в городе! Поезжайте в деревню. Там природа, естествознание, сырой материал. Хотите иметь урок?.. До пятнадцатого августа сто рублей.

Гриша захлопнул Льюиса и сказал:

— Хочу.

— Урок у богатейшего купца, на лоне фауны и флоры — у моего будущего тестя, Ивана Матвеевича Подковы. Коля остался на третий год в классе, его надо приготовить в другую гимназию. Бойкий и способный мальчишка. Так вы принимаете?

— Еще бы!

— Прекрасно. Только я вам поставлю маленькое условие: друг мой, будьте у меня шафером.

— Я еще никогда не был шафером,— проговорил Гриша, покраснев от удовольствия, потому что почувствовал себя взрослым человеком.

— О, не трудная материя, батюшка! Фрак мы достанем.

— Дело в том, что я не признаю фрака,— начал Гриша.

— Без фрака неловко. Ну, может, в деревне сойдет. Поверьте, я уважаю искренние убеждения современной молодежи!

Селезнев крепко пожал Грише руку.

— А препятствия со стороны фатера и мутерхен не будет? — спросил он, понизив голос.

— Мне кажется, что я уже в таких летах,— возразил Гриша.

— Разумеется! Пустой вопрос. Так когда же? Не правда ли, чем скорее, тем лучше? Я думаю, через три дня вы будете готовы. Я дам вам письмо, и вы можете ехать на моих лошадях. Хотите, я покажу карточку невесты?

Он вынул из бокового кармана шагреневый портфелик и, приятно улыбаясь своими бритыми губами (он носил американское жабо), бережно протянул Грише карточку молодой девушки с круглым лицом и двойным подбородком.

— Красота! — поспешил он прибавить.— Коса — черный поток, глаза — звезды. Но, к сожалению, фотография не передает их блеска. Говорят, со временем, дойдут до натуральных цветных снимков. Прогресс шагнет вперед. Заметьте, Горбачев,— полнота в соединении с юностью.

Моя Саша совсем дитя. Нет еще шестнадцати лет, но архиерей разрешил. Чему вы улыбаетесь?

— Вы — и влюблены! — произнес Гриша, возвращая Селезневу карточку.

— Отчаянно и бесповоротно. Если б я не боялся сломать цилиндр об окно, я бы расцеловал вас. Вы образованный, прочитали все книги и сами будете писать, но, голубчик, надо прожить с мое, чтобы постигнуть, что такое любовь. Изо всех вопросов — самый проклятый!

Поговорив о любви и еще раз возвратившись к уроку и благам привольной деревенской жизни, Селезнев стал прощаться с Гришей.

— Ах, голубчик, я забыл! — начал он.— Философии не надо, а лучше дайте какую-нибудь умную книжку. Вон, что у вас лежит на столе? Дарвин? Позвольте Дарвина. О происхождении человека? Вот мне как раз... Предпринимая серьезный шаг в жизни, должно приготовиться к нему. Тяжеловесный том! Ума-то сколько, я думаю, ума! Да-с, Чарлз Дарвин не то, что какой-нибудь Ардальон Селезнев. Так вашу руку, сэр! Через три дня!

II

Рано утром с дребезжащим стуком подъехал к воротам квартиры Горбачевых тарантас Селезнева. На козлах сидел одноногий николаевский солдат в изорванной, но тщательно вычищенной шинели и с рядом медалей и крестов через всю грудь. Звали его Степанычем. Он служил сторожем у Селезнева, но в чрезвычайных случаях мог быть кучером.

Тарантас был наполнен картонками и ящиками с карамелью, с стеариновыми свечами и проч. Жених посылал невесте несколько модных шляпок и, по просьбе будущей тещи, предметы, необходимые в хозяйстве. На дрогах тарантаса позади помещался сундук с провизией, а поверх сундука лежал запас сена и овса. Деревяшка солдата, подкованная блестевшим на солнце железом, упиралась в кулек.

Гриша снарядился в дорогу. Мать и отец вышли на улицу проводить его. Елена Михайловна сама положила подушку в тарантас и, когда сын сел, благословила его. Гриша со снисходительною улыбкой принял благослове-

ние и крепко поцеловал у матери руку, а отцу только пожал. Сестра Катя и маленькие дети еще спали.

Степаныч задергал вожжами, и тарантас покатил, поднимая пыль.

— Смотри, Гриша, не простудись,— кричала Елена Михайловна.— Может быть, там река, так ты не купайся один и, пожалуйста, не ныряй! Да зачем ты ружье взял? Служба, возьми ружье к себе на козлы. Береги молодого барина!

Тарантас скрылся за углом. Лошади мелкою рысцой побежали по большой дороге, окаймленной столетними березами и вербами. По временам лошади вязли в песке. Степаныч слезал с козел и, прихрамывая, шел рядом с тарантасом. Он заводил разговор с Гришей, предлагал ему курить и рассказывал о купце Подкове, к которому он ездил недавно нарочным от Ардальона Петровича.

— Живут в Ярах хорошо! Кормят на убой. Одно слово — купцы. Теперь возьмем сало, крупу, всякий приварок — хочешь не хочешь, а уж такое положенье, чтобы люди были сыты. Солонины, свинины — собаки не едят; птиц — выбирай любую. Но уж работу требуют. Ты, брат, ешь, но пот давай. Потрудись. Ты хоть поясницу вывихни, а сделай, что приказано. Подкова — человек аккуратный, строгий! Как принялся сына бить, что твой ротный командир. Заслужил — получи и помни: за битого двух небитых дают.

— Как же ты, Степаныч, хвалишь его? Он просто самодур.

— А хвалю! если ты сын, моей утробой рожденный, и притом смеешь вопреки? Нет, ангел мой, не моги. Для чего я тебя родил, друг мой любезный? Для послушания.

— У тебя были сыновья, Степаныч?

Солдат долго молчал, ковыляя на деревяшке. Наконец он сказал:

— Два сына. Но как я находился на действительной службе двадцать пять лет, то своими их не признал по военной причине.

— Как так, Степаныч? — с улыбкой спросил Гриша.

— Всего вам знать нельзя. Больно молоды.

— Неужели, Степаныч, ты считаешь меня мальчиком?

Степаныч не взглянул на Гришу и переменил разговор.

— Клюет.

— Что клюет?

— Я говорю, гнедой пристал маленько. Привал сделаем на Сорочих хуторах.

До Яров оставалось еще двадцать верст. Отдохнув на постоялом дворе, тарантас пустился в дальнейший путь, и к двум часам он въехал в громадный двор, посреди которого возвышался красивый каменный дом под соломенною крышей. Это было имение Подковы, купленное им несколько лет назад с публичных торгов у дворян Мурзакевичей. Тарантас остановился у главного подъезда, на крыльце показались девчонки и бросились сносить вещи. Гриша взбежал по ступеням крыльца, и в передней его встретил толстый человек в затрапезном длиннополом сюртуке из летней шерстяной материи, сам Подкова. У него была седая бородка и прямые черные волосы, падавшие с одного бока на его красное расплывшееся лицо. Маленькие глаза ласково и плутовски сияли в жирных красноватых веках, и он улыбался, протягивая руку молодому человеку. Но, как он ни протягивал, все она была короче живота.

— Вам письмо,— начал Гриша.

— Хорошо, прочитаем. А скажите, благополучно ехали? Не устали с дороги? Есть хочется? Сегодня мы вас не ждали, и обед плохой. Но как, немного вы кушаете? Если немного, то бог нам поможет вас накормить. Пожалуйте, кстати, садятся за стол.

— Дунька, что глаза выпучила? Что такое? А, макароны, свечи! Ардальон Петрович не из своего магазина отпустил? Товар у него дрянь. Неси Прасковье Ефимовне. Давайте, я вас обчищу. Ишь, пыль!

Он повернулся боком, чтобы не притиснуть молодого человека к стене, и стал рукой счищать пыль с его плеч.

— Славно и чисто. Живо, живо!

Подкова ввел Гришу в большую залу с богатым старомодным убранством. В раскрытые стеклянные двери виднелся балкон и сад. Другие двери направо вели в столовую, где был накрыт стол и поодаль, в ожидании главы дома, сидела на большом кожаном диване вся семья.

Она состояла из красивой чернобровой жены лет тридцати пяти и из двух дочерей — взрослой девушки, в которой Гриша узнал невесту Селезнева, и другой — подростка, темноглазой девочки с подрезанными вьющимися волосами и в коротком платье. Мальчик, лет пятнадцати, в затасканной гимназической блузе, поджав губы, с сосредоточенным видом прицеливался и ловил мух.

Семья о чем-то болтала, но с появлением Ивана Матвеевича все замолчали и встали с дивана.

— Колькин учитель... Как вас, позвольте узнать? Григорий Григорьевич? У меня брат в монахах, так тоже Григорий. Познакомьтесь: моя супруга, дочери, а вот балбес.

Он осенил себя широким крестом, поднял глаза к иконам, вздохнул и занял место. Жена села против него. Колька — рядом с подростком, которую звали Ганичкой, а Грише пришлось сесть возле невесты Ардальона Петровича. Девчонка, служащая у стола, торопливо поставила ему прибор.

Прасковья Ефимовна степенно спросила Гришу о городских новостях, об Ардальоне Петровиче, о папаше и мамаше. Прасковья Ефимовна лично их не знала, но справилась о них из любезности.

Иван Матвеевич ел с таким аппетитом, как будто он не обедал три дня. Обед был обильный, жирный. Подавали кашу с салом и яйцами, баранину с чесноком, кур с рисом и несколько сортов оладий. Квас и вино стояли в стеклянных кувшинах. Иван Матвеевич обтирал рот рукой. Глаза его потухали по мере того, как он насыщался. Лицо становилось багровым, и он только вздыхал. Вздох начинался тонким фальцетом — Иван Матвеевич точно захлебывался; вздох походил на клокотанье кузнечного меха и, наконец, как дыхание бури, вырывался из груди.

— О, господи, помилуй мя, грешного! — шептал тогда Иван Матвеевич, вперял пристальный взгляд в тарелку и, подождав, вновь принимался за еду.

Глядя на Сашу, нельзя было сказать, что ей еще нет шестнадцати лет; стройные формы девичьего тела уже начинали исчезать под наплывом наследственного расположения к полноте. Румяные щеки угрожали в скором времени превратить ее черные яркие глаза в две узенькие щелочки. Руки ее, белые как сахар, все были в ямочках, и на высокой шее обозначились складки: лет в тридцать у Саши будет не два подбородка, а три или четыре. Кисейная рубаха и красный сарафан придавали ей сходство с молоденькою кормилицей. Она сидела, потупив длинные, темные ресницы и стараясь, не поворачивая головы, рассмотреть быстрыми взглядами, бросаемыми искоса, приезжего молодого человека. Он уловил один из таких взглядов — она покраснела.

Кроме Ивана Матвеевича и Прасковьи Ефимовны, никто не возвышал за обедом голоса. Ганичка украдкой улы-

балась сестре и тихонько смеялась в салфетку. Коля искусно поймал муху на плече у сестры и зажал в кулак, прислушиваясь к ее жужжанию.

— Григорий Григорьевич, после обеда не отдыхаете? — начал Подкова.— У нас сонное царство. Встаем мы ни свет ни заря, а днем сны видим. Дорога-то, я думаю, утомила!

— О нет, нисколько,— отвечал Гриша и подумал, что его гораздо больше утомил обед.

— Пока вам приготовят флигель, вы будете спать в гостиной,— сказала Прасковья Ефимовна.— Постель дадим хорошую.

— Как отдохнете,— продолжал Иван Матвеевич,— сделайте Кольке экзамен. А к занятиям — недельку спустя. Обвыкнете, соберетесь с силами — и жарьте. Я вам скажу, Колька — дубина. В кого только уродился!

Колька застенчиво улыбнулся, словно шла речь об его редких достоинствах.

— Сегодня я спросил: семьдесят да пятьдесят — сколько? А он — сто пятьдесят.

Застенчивая улыбка раздвинула рот Кольки до ушей, и он усиленно стал нажимать пальцем на стол. Муха освободилась из плена, покружилась над его головой и села ему на нос. Он опять поймал ее.

Прасковья Ефимовна проводила Гришу в гостиную, где стояла мебель, обитая желтым шелковым штофом.

— Ничего, что шелк,— смеясь, сказала Прасковья Ефимовна,— диван для спанья широкий и удобный; я все жду, когда истреплется штоф, потому что ненавижу желтый цвет. Это выдумка еще Мурзакевичей. Но что прикажете делать, нет сноса штофу.

Вслед за Прасковьей Ефимовной вошел в гостиную Иван Матвеевич, совсем сонный.

— Табак — курите. Ну, жена, уходи. Спать! Спать!

III

Гриша остался один. Он расстегнул чемоданчик и достал Льюиса. Через полчаса к нему должен был явиться Колька, а теперь мальчика отпустили побегать для пищеварения.

Солнце бросало в гостиную горячие лучи. Гриша спустил штору и сел в тени. Ветерок слегка колебал полотно

Но вдруг штора сильно сотряслась — кто-то ударил по ней веткой. Гриша приподнял край и увидел на террасе Сашу. Она держала длинный стебель ириса.

— Извините, я вас испугала,— негромко сказала она.— Вы читаете?

— Да.

— Я тоже люблю читать. Вчера всю ночь я читала «Доктора воров» Анри де Кока [2].

— Я не читаю романов,— сказал Гриша.

— Отчего не выйдете в сад? У нас все будут спать до пяти часов.

— Жду Колю. Он должен прийти.

— Он не придет. Я видела, как он верхом ускакал на водопой. Он никого не слушается, потому что мамаша его балует. Когда за ним накопится много шалостей, отец наказывает его. Но всего два раза в месяц.

— Следует обращаться иначе,— возразил Гриша.— Если Иван Матвеевич накажет его при мне, я уеду.

— У вас такое доброе сердце?

— Не сердце, а убеждения.

— Ардальон Петрович хвалил вас. Нет, выходите в сад. Любите вы резеду?

Гриша вышел на балкон и по широкой лестнице с резными деревянными перилами спустился с Сашей в сад.

— А я думал, вы тоже спите,— начал Гриша.

— Иногда, от нечего делать. Но сегодня я ни за что не заснула бы.

— У вас большой сад.

— Пятнадцать десятин. А там лес и растут чудесные грибы. Когда к нам приезжают Тоцкие, Пригожевы, и тут есть еще один священник отец Михаил, у которого много дочерей,— вот, знаете, бывает весело! Мы берем грибы, раскладываем костер, поем песни и играем в горелки. Подождите, вот резеда. Я сама сеяла ее.

Она нагнулась и проворно вырвала несколько кустиков, обдергала стебли и корешки и подала Грише.

— Воткните в петлицу. Не так. Я вижу, вы ничего не умеете!

Она укрепила цветы в петлице его сюртучка и, понюхав резеду, сказала:

— Хорошо! А все оттого, что моя резеда. Теперь смотрите. Маленький розовый куст, право, замечательный: на нем бывают белые и желтые розы. Противный Колька, мне назло сбил вчера все бутоны хлыстиком! Хотите взглянуть

на Улана? Мне подарили его жеребеночком. Вот сюда по тропинке... Да идите же скорей! — крикнула она и слегка ударила Гришу ирисом по плечу.

Они прошли среди кустов малины и перешагнули низенький плетень, где были сделаны ступеньки.

— Здорово, ребята! Слышите, как заболтали индюки! Скажите же вы им что-нибудь! Вас не занимает? Пожалуйста, не подумайте, что я деревенская дура. А впрочем, думайте что угодно. Отец спит, и я дурачусь, а при нем я другая. Фролка! Улан дома?

— Дома,— отвечал хлопец лет двадцати в рубахе с расстегнутою грудью и в смушковой шапке.

— То-то! Не сметь гонять его на водопой. Вытяни из колодца воды и выведи Улана. Пускай побегает на корде.

Фролка ленивою поступью подошел к колодцу и исполнил приказание барышни. Потом отворил ворота маленькой конюшни и вывел Улана.

Улан — трехлетний жеребчик светло-рыжей масти с гнедою гривой и таким же хвостом. Саша потрепала его по шее, наблюдая, как он пьет. Фролка привязал к поводу вожжу, стал посреди двора и закричал на жеребчика. Улан вздрогнул и нехотя пробежал рысью; остановился и насторожил уши. Саша взяла из конюшни кнут и захлопала им. Улан рванулся, взвившись на дыбы. Фролка не пошатнулся — точно прирос к земле. Жеребчик покорился и начал описывать круги по двору. Саша все щелкала кнутом и причмокивала.

— Зачем вы держите его здесь? — спросил Гриша.

— От Кольки. Я ревную Улана. Здесь мое царство. Выйду замуж, так Улана возьму с собой. Вы катаетесь верхом?

— Да.

— Приедет Ардальон Петрович — устроим кавалькаду. Только, пожалуйста, без Кольки. У меня есть другая, настоящая лошадь, смирная и старая, а он подскакал и чем-то уколол ее, я чуть не упала. Вообще я вам рекомендую — не вступайте с ним в приятельские отношения. Вы наплачетесь. Ну, Фролка, довольно! Улан, бедненький, как ты вспотел!

— Он страшно раскормлен,— заметил Гриша.

— У нас не любят худеньких,— сказала Саша и с улыбкой посмотрела на молодого человека.— Теперь пойдемте на мельницу.

— А что там?

— Мельница... просто мельница!

— Нет. Коля должен скоро вернуться.

— Какой вы неверующий! Кольки до пяти часов не будет. Отец у вас спросит: «Знает что-нибудь мой балбес?», а вы обязаны подтвердить: «Кое-что знает». Мама вам будет очень благодарна, потому что Кольке достанется за то, что он на первых же порах вас обманул. Над ним давно висит гроза, и отец ждет последней капли.

— Но не могу же я... С какой стати и я буду обманывать Ивана Матвеевича?

— Нисколько,— возразила Саша.— С отцом иначе нельзя. Неправда, но не обман. Мы все говорим ему неправду. Он даже сам не любит, когда ему говорят правду. Вдруг как затопает ногами: «Зачем вы говорите? Как вы смеете меня раздражать? Разве трудно скрыть!»

— А я все-таки скажу правду. А Колю не накажут. Я сам накажу Колю — пристыжу его.

— Вы думаете, у него есть стыд?

Гриша и Саша возвратились в сад.

— Кушайте малину. Я вам нарву. Станете есть из моих рук?

— У вас руки хорошие.

— Не правда ли? А как понравилась Ганичка?

— Я с ней ни слова не говорил.

— И не скажете. Она все молчит, а на ухо говорит мне разный вздор. Мы ее называем лукавою тихоней. Знаете, чем она теперь занята? Возится с кошками. У ней десять котят и есть кот, который ходит в голубой ленточке. Какая чудесная ягода! Раскройте рот!

Саша со смехом положила ягоду в рот Грише.

— Еще! еще! — закричала она.— А теперь вот вам половинка малины, а другую половинку я сама съем. Согласны вы, что губы похожи на малину?

Гриша возразил, что между малиной и губами есть существенная разница: губы едят малину, а малина губ не ест.

— Губы у малины — корни. Они высасывают из земли нужные для питания соки и постоянно в грязи.

Саша прервала его физиологические соображения и заметила:

— Я говорю только о наружном сходстве.

Поднеся к своим губам ягоды, она ждала, найдет ли Гриша верным ее сравнение.

Гриша молчал.

— По-моему,— продолжала Саша,— губы та же малина, только вечная.

— До поры до времени,— возразил он.— Самые красивые губы побледнеют, самое красивое тело истлеет, и из него вырастет лопух,— заключил он, как Базаров[3].

— Я не люблю, когда говорят о смерти! — вскричала Саша.— Я страшно боюсь мертвецов. Ведь они ходят! Если б я умерла, я боялась бы себя самой. Воображаю, как мучительно бродить ночью среди могил, являться в родной дом и засматривать в окна.

— Этого никогда не случается,— произнес Гриша с насмешливою улыбкой, возмущенный наивным суеверием Саши.

Но Саша стала спорить. Когда похоронили в прошлом году бабушку, она сама видела ее вечером в пустой бане.

— У нас пруд в той стороне сада и баня. Я шла, и меня ужас взял, не знаю почему! Сердце забилось, вот как теперь. Надо было скорей пробежать мимо, а я не утерпела, заглянула в баню. Смотрю — бабушка сидит и чешет волосы.

— Вы, значит, подвержены галлюцинациям,— сказал Гриша.— Что же дальше?

— Уж я не помню, как очутилась на балконе. На другой день отслужили панихиду, и бабушка больше не являлась.

Голос у Саши дрожал, она раскраснелась от волнения.

— Успокойтесь,— сказал Гриша.— Не следует доверять чувствам, когда они заблуждаются.

— А чему же доверять? — спросила Саша.

— Рассудку.

Саша, улыбаясь, протянула ему горсть малины, но он отказался.

— Достаточно, я не могу есть беспрерывно. Вы считаете меня обжорой!

Она бросила ягоды и сделала движение вперед, рассердясь на Гришу. Кисейный рукав сорочки зацепился за сухую ветку и разорвался до самого плеча. Саша крикнула и рассмеялась.

— Все из-за вас! Теперь надо переодеваться. Если б мы пошли на мельницу, ничего не случилось бы. Там можно было бы лечь в траву, уставиться глазами в небо и смотреть. Облака бегут, бегут, приходят мечты. Мы вместе помечтали бы. Противный вы! Вам нисколько меня не жаль?

Она показала разорванный рукав; он увидел на ее голом белом плече красную царапину.

— Скоро заживет,— промолвил он, и ему было досадно, что щеки его вспыхнули при виде плеча Саши.

Саша, остановившись, рассматривала царапину.

— Послушайте, что там под кожей? Право, заноза! Нате булавку, попробуйте вытащить.

— Давайте. Да, заноза. Верхняя кожица называется эпидермой... Мне страшно, что вам будет больно, и у меня дрожат пальцы. Вот заноза. Я перевяжу плечо своим платком.

Он делал повязку и, наклоняясь, чувствовал на своих волосах дыхание Саши.

— Спасибо. Только никому не говорите, что случилось. Мама встревожится. Я пойду вперед, а вы побудьте еще... Я опять выйду.

В саду Гриша был недолго; он вернулся в гостиную и хотел продолжать чтение; часы пробили четыре. Но чтение не шло. Гриша стал ходить по комнате и думать о Саше и об Ардальоне Петровиче. «Как можно жениться на такой пустой девушке. Правда, у нее хорошее плечо и губы в самом деле похожи на малину, но она все время говорила глупости. Слыхала ли она что-нибудь о женском вопросе? Странно, что Ардальон Петрович не развил ее».

Он остановился пред картинами, висевшими в золоченых рамах на стенах.

— Что вы делаете? — спросила Саша, появляясь в гостиной. Она была теперь в ситцевом платье и переменила прическу.— Ваш платок. Терпеть не могу этих картин. Мы хотели подарить их отцу Михаилу, но он не взял. Темнеют с каждым годом. Нянюшка к праздникам смазывает лампадным маслом, и тогда еще можно что-нибудь разобрать.

— От масла картины гибнут. За них, может быть, заплачены тысячи.

— Дураки платили.

— Да, если хорошенько вдуматься, искусство не имеет смысла,— сказал Гриша.— Игрушки богачей должны погибнуть роковым образом. Вы слыхали что-нибудь о великих принципах тысяча семьсот восемьдесят девятого года? [4]

Саша во все глаза посмотрела на него.

— Когда-нибудь я с вами поговорю. Теперь скажу только, что один из принципов называется равенством.

Все равны — дворяне и крестьяне, мещане и купцы и, наконец, мужчины и женщины. Вот рядом с картиной голландского художника плохая литография с изображением Филарета, архиепископа Черниговского. Кисть мастера и суздальская пачкотня в одинаковой чести. Демократия...

— Ах, оставьте! Меня пугают слова, которых я не понимаю! Вы умный, умный, я верю! А лучше ответьте мне... Если любишь кого, то, не правда ли, уважаешь? Но отчего же я уважаю одного человека и совсем не люблю!

— Кто он?

— Вам все равно кто. Разумеется, не вы.

— Мне трудно ответить,— начал Гриша, подумав.— Во-первых, потому, что я любви вообще не придаю значения.

— Как, и сами ни в кого не влюблены?

— Ни в кого. Прежде я действительно увлекался, но... не стоит.

— Почему же?

— Любовь та же чашка кофею. Выпил — и довольно. Жизнь слишком строгая задача...

— О, приятно полюбить и отдаться на всю жизнь, вот как пишут в романах!

— Не читайте пустяков.

— Да, но я не могу и не хочу ничего другого читать. Кто мне смеет запретить? — сказала Саша.— Значит, по-вашему, достаточно уважать человека, чтобы выйти за него замуж?

— Сам я никогда не женюсь. А вы спросите у Ардальона Петровича.

— У Ардальона Петровича? Так и быть — я вам признаюсь. Да, я спрашивала, и он сказал, что любовь придет. Но если я полюблю другого?

— Ничего.

— Будет ли хорошо?

— Вполне.

— Я поневоле согласилась,— покраснев, проговорила Саша,— иначе отец убил бы меня. Ардальон Петрович хороший человек, я не спорю, но зачем он бреет усы и, когда остается со мною вдвоем, начинает смеяться таким противным смехом, что я с ума схожу! Он все называет меня ребенком. Положим, я не старуха, но ведь не дура же я. Я не умею говорить, но у сердца есть свой язык. Скажите, права я?

Гриша решил, что Саша права, и открытие, что она не

любит Ардальона Петровича, огорчило его. Симпатии его разделились: ему жаль стало Сашу, которую насильно выдают замуж, и жаль было Ардальона Петровича.

— Может быть, вы хотите, чтоб я вмешался? — сказал он.

— О нет, не надо! — с испугом вскричала Саша.— Решено. Через две недели свадьба. Я только для себя самой хотела выяснить.

Громкое чиханье, подобно эху, пронеслось по дому. Саша вздрогнула.

— Отец проснулся.

На пороге она чуть не сшибла с ног Колю. Красный, облитый водой, без пояса, он влетел в гостиную и, остановившись пред Гришей, как вкопанный, с плачевным выражением на лице, пронзительно начал:

— Семью семь — сорок девять, пятью пять — двадцать пять. Экватор есть часть земного меридиана... проходящего через полуостров Ферро. Да не будет тебе бози, иные разе меня...

— Вы с ума сошли!

Колька сделал гримасу и замахал руками по направлению к спальне отца.

— По улицам слона водили, как видно, напоказ,— продолжал он.— Слоны в диковину у нас... Однажды лебедь, щука, мартышка и лев затеяли сыграть квартет, дерут, а толку нет... дерут, а толку нет,— повторил он жалобно и громко, прислушиваясь к тяжелым шагам отца.

— Да отпустите вы его! — добродушно сказал Иван Матвеевич, входя в комнату.— Пошел! — крикнул он на сына.— А-а-а! — зевнул он и перекрестил рот.— Скажите, знаете вы толк в снах, или вас не учили? Представьте, снилось мне так натурально! Выхожу я на леваду и хороший, хороший табак вижу, а откуда ни возьмись саранча, да вот этакая (он показал кулак). Главное, еще не случалось, чтобы саранча табак у меня ела. А зубы у саранчи — человеческие. Стал я удивляться и проснулся. Надо будет нянюшке рассказать. А-а-а! Мух — гибель! Мухи меня кусали, а саранча приснилась. Я мух в банку ловлю на сыворотку, а все не переводятся. Назойливый зверь, ничего порядком не даст съесть. Вы не проголодались еще? Сейчас нам чаю дадут. Пойдемте на балкон!

В доме началось оживление. Девчонка пробежала по зале с подносом и стаканами. Ганичка выглянула из-за портьеры и сейчас же скрылась, как мышка в норку.

IV

Опять собралась семья Подковы за столом. Иван Матвеевич и Прасковья Ефимовна упрашивали Гришу есть творог со сметаной. А когда он покорился, сделал над собой усилие и съел творогу, была подана сковорода жареных грибов. Начались новые упрашиванья. На Гришу смотрели с участием. Бледный, заморенный городскою жизнью молодой человек! В деревне надо пополнеть. Но едва он съел грибы, как с обеих сторон ему подложили еще. Он с тоской посмотрел на Сашу и решительно отказался.

— Нехорошо, Григорий Григорьевич,— укоризненно сказал Подкова.— Какая работа будет, если не кушать?

Гриша вспомнил сцену с Колькой и подумал, что, должно быть, никакой работы не будет.

А кругом была благодать. Море зелени простиралось до самого горизонта. Деревья разных пород недвижно дремали под косыми лучами солнца. Там темная листва шарообразных лип и пирамидальных тополей, здесь светлые купы молодых кленов, яблоней, вперемежку с вишневыми деревьями и кустами сирени и жасмина. У самого дома темнели крымские сосны и тихо колебались широкие золотисто-зеленые вырезные листья клещевины. Свежий воздух был напоен запахами цветов. В лазури таяли легкие бледно-розовые облака.

Подкова махнул на Гришу рукой и, тяжело поднявшись с обычным вздохом: «О, господи, буди милостив ко мне, грешному!» — ушел хозяйничать. Надо было поехать в поле и посмотреть на рожь.

Колька, по уходе отца, развалился на стуле и улыбнулся Грише.

— Спасибо, Григорий Григорьевич,— начала Прасковья Ефимовна,— что мальчика не выдали. Он шалун, да ведь его замучили в гимназии. Если бы вы знали, какой он у меня был розовенький и, можно сказать, аккуратный. Что учение! Достатки у нас хорошие.

Колька стал качать ногой и мерно двигать локтем, бить себя по губам пальцем.

— Тру-ту! Ту-тру! Тру! Тр-р...

Прасковья Ефимовна, приятно улыбаясь учителю, замахнулась полотенцем и ударила Кольку по лицу.

— Где ты сидишь? Как ты себя ведешь?

Колька засмеялся, отпрянул от стола и, поджав одну ногу, стал спрыгивать со ступенек балкона.

«Я за него все-таки возьмусь»,— сказал себе Гриша.

Может быть, Прасковья Ефимовна угадала мысли Гриши. Чтобы задобрить его, она стала с ним еще ласковее и подала полную тарелку малины со сливками.

Гриша начал:

— Да я уж ел...

Но Саша вспыхнула и сделала знак молчать. Молодой человек увидел, что надо быть в заговоре не только с Прасковьей Ефимовной против ее мужа, но и с Сашей против Прасковьи Ефимовны.

— Не любите малины? — спросила купчиха.— А стакан сливок? Кушайте с булочкой!

Гриша вздохнул, как Иван Матвеевич.

— Не хотите? Насильно мил не будешь. Ганичка, выпей сливочек, выпей, милая. Что глазки у тебя сегодня как будто запали?

Ганичка взяла стакан, прикрыла его куском хлеба и ушла.

— Кошкам понесла,— заметила Саша.— Увидите, так умрете от смеха.

— Нехорошо смеяться над сестрой,— возразила Прасковья Ефимовна.— Ты маленькая была — тоже глупости делала.

— Ганичка не маленькая.

— Женихи наши еще не подросли,— с улыбкой произнесла Прасковья Ефимовна и взглянула на Гришу.— Мотька, убирай посуду.

Ганичка, прибежав в свою комнату, накрыла детский столик салфеткой, поставила кукольный сервиз и разлила сливки по блюдечкам. С разных сторон к ней подбежали кошки. Она усадила их, как детей, и стала кормить. Кошки взбирались на стол и опрокидывали посуду, но Ганичка торопливо водворяла порядок и драла шалунов за уши. Саша привела Гришу посмотреть на кошачий чай. Ганичка застыдилась и спрятала лицо в подушки.

— Видите — дура,— сказала Саша.— А мама сделала намек!..

V

День прошел. В восемь часов был подан ужин. Поглаживая бороду, Иван Матвеевич сел, и на Гришу снова посыпались усиленные приглашения есть. Аппетит Подковы служил подтверждением, что в деревне люди едят втрое и даже вчетверо больше, чем в городе. Уничтожив цыплят, купец проглотил миску вареников. Наконец он стал зевать. К его руке подошли домочадцы: он благословил их и попрощался с Гришей.

— У нас ложатся рано,— сказал он.— Здоровее будем! А-а-а!

— А-а-а! — зевнул Колька.

На диване в гостиной Мотька постелила постель. Гриша не привык так рано ложиться. Мертвая тишина, водворившаяся в доме, угнетала его. Он раскрыл книгу, пробежал несколько страниц и ничего не понял. «Растительная жизнь деревни уже начинает притуплять мои нервы»,— подумал он. При тусклом свете стеаринового огарка желтая гостиная казалась больше, просторнее, и ночной мотылек, бившийся о верхнюю оконницу или делавший круги около огня, придавал фантастический оттенок обстановке, напоминавшей о былых временах помещичьей роскоши.

Гриша взял карандаш, ему захотелось записать впечатления дня. Еще утром он был дома, в родном гнезде, а вот совсем другие лица, совсем другая жизнь, другие интересы. Ему живо представилась Саша с разорванным рукавом.

Карандаш забегал по бумаге. Но вместо впечатлений дня Гриша стал сочинять стихи.

В полночный час, когда лампада погасает,
А маятник стучит в угрюмой тишине
И сумрак трепетный, как призрак, простирает объятия
ко мне;
Когда в душе немой, как червь, живущий в гробе,
Ошибкам прошлых лет подъемлется укор...

Гриша остановился, прошелся по комнате, вырвал из записной книжки листок со стихами, скомкал и бросил его в угол.

«Глупо. Кто в наше время пишет стихи? Если смеются над Пушкиным, как будут смеяться надо мной! Жаль, что я не родился раньше. Теперь мое призвание — наука. Суровая эпоха требует суровых людей с суровым умом».

Он успокоился, с сожалением посмотрел на вырванное место в книжке, подумав: «А стихи могли бы выйти недурные», но преодолел порыв сердца и опять взялся за Льюиса. Внимание его постоянно развлекалось странным ритмическим биением какой-то жилы в мозгу, и между строк философской книги мелькали неопределенные образы и звучали рифмы.

Он отодвинул Льюиса, лег на диван и медлил раздеваться. Сна не было.

«Я тупею, а к концу лета превращусь совсем в дурака»,— подумал он.

Занавеска, как после обеда, зашумела и заколебалась.

Гриша вскочил и подбежал к окну. На балконе никого не было. Сад был залит лунным светом, и только в сумраке между дерев виднелся очерк белой фигуры.

VI

Когда Гриша проснулся на другой день утром, Подкова уже позавтракал и уехал в соседнюю деревню взыскивать долг с Тоцкого. Мотька принесла на подносе хрустальную кружку молока и сказала:

— Барыня приказали, чтобы вы выпили.

Он едва успел одеться, как Прасковья Ефимовна пригласила его в столовую.

— А Кольку я отпустила в поле,— начала она за завтраком.— Вам не скучно у нас? Саше я попеняла, что она вас не занимает. Она все равно что дама — от Ардальона Петровича не отобьете!

Помолчав, она стала хвалить Гришу:

— Какой вы скромник. Как бы я хотела, чтоб у меня такой сын был. Дал же бог счастья вашей мамаше!

В доме закрыли ставни с солнечной стороны, и Прасковья Ефимовна напала на Гришу за то, что он в сюртуке.

— Неужели же у вас нет блузы? Может быть, вы наденете красную рубашку Ивана Матвеевича?

— Воображаю, какой вы будете смешной,— заметила Саша.— Уж лучше юбку!

— Саша,— строго сказала Прасковья Ефимовна,— не издевайся над отцом.. Придержи язык. Защитить еще некому будет.

Гриша отделался от любезного предложения Прасковьи Ефимовны; у него нашлось полотняное платье.

— Ардальон Петрович говорил, что вы рисуете,— начала Саша, вбегая к нему,— Ганичка просит вас сделать ей кошечку. С вами краски?

Гриша стал отнекиваться, говорить, что он давно поставил крест над искусством, но все-таки ему хотелось щегольнуть уменьем рисовать,— он согласился.

Пришла Ганичка с белым котом на руках и села поодаль. Застенчиво улыбаясь, она исподлобья посматривала на Гришу.

Саша раскрыла ящик с красками, помочила кисточки в воде. Гриша достал альбом из чемодана.

Он обвел карандашом контур и растер краски на блюдечке. Саша обошла стол и, сев на ручку дивана, смотрела из-за плеча Гриши на рисунок.

Натурщик сидел неспокойно, и Ганичка что-то шептала коту.

— А голубую ленточку? — спросила Саша.

— Сейчас. Главное — надо схватить выражение... Пощекотите у него за ухом.

Ганичка рассмеялась своим тихим смехом.

— А это что? — спросила Саша.

— Зрачки.

— Синею краской?

— И малиновым лаком.

Саша наклонилась рассмотреть лак, и Гриша почувствовал на своем затылке горячее дыхание.

— Я вам мешаю?

— Ничего!

— А теперь какая краска?

— Бурый вандик.

Саша опять наклонилась, и дыхание ее стало горячей.

Гриша капнул краской и запачкал нарисованный глаз.

— Видите, мешаю.

— Можно смыть.

Рисование продолжалось, портрет кота был готов.

Ганичка приблизилась к альбому и прежде всего показала рисунок коту. Саша все сидела на ручке дивана; Грише не хотелось вставать из-за стола.

— Ганичка, я вас нарисую!

— Не хочу, не хочу! — вскричала девочка и убежала, раскрасневшись.

— Она уж вообразила, что вы ею интересуетесь,— пояснила Саша.— Вот Леночка Тоцкая — всего тринадцать лет, а хоть сейчас о чем угодно говори, все поймет. С Ганичкой же у меня нет никаких тайн. Я даже ей не рассказала о вчерашней царапине.

— А что, зажила?

— Болит до сих пор. Уж такое нежное тело.

Она перегнулась и, заглянув Грише в глаза, спросила:

— А сегодня на мельницу?

Он хотел ответить: «Нет, не надо», но сказал:

— Сегодня пойдем.

Вернулся Иван Матвеевич, покушал; дом замер, погруженный в сон, и Саша с Гришей через сад вышли в открытое поле, где деревенские мальчишки пасли гусей. Перерезав пыльную проселочную дорогу, они очутились у мельницы.

Огромное пирамидальное здание под железною кровелькой таинственно молчало. Ветра не было, широкие мельничные крылья неподвижно распростерлись в воздухе. Площадка, где стояла мельница, вся заросла свежею муравой, а далее волновалась еще не сжатая рожь. Золото колосьев пестрело синими васильками, лиловыми волошками, куколем.

— Я говорила вчера, почему я люблю мельницу,— начала Саша.— Нигде так свободно себя не чувствуешь. Проходят мои последние девичьи дни, хочется забыться... Вон, летят журавли. Я не люблю сада и не люблю леса... Чтобы степь была кругом, чтобы конца-края не видать! Я такая дура: бывало, приду сюда и плачу, только не от горя. Послушайте, отчего сердце сжимается? Идите сюда,— продолжала она, не слушая объяснения Гриши.— Тут маленькая ложбинка, отсюда хорошо смотреть на облака.

Она отбросила свою соломенную шляпку с красными лентами, легла и стала глядеть на перистые облачка, чуть бледневшие в глубокой лазури неба.

— Замечательно,— говорила она,— небесные барашки всегда на одном месте, а те тучки, что пониже, бегут быстро. Те, что еще ниже,— быстрее. А мои мечты летят, как сумасшедшие!

Гриша стоял и думал: «Нет, есть что-то поэтическое в ней».

— О чем же вы мечтаете? — спросил он.

— Нет слов рассказать,— произнесла Саша, устремив к небу немигающий взгляд.— Я не могу. Об этом чувстве я нигде даже не читала. Ни одна подруга не поймет меня, и вы тоже не поймете. Садитесь.

Гриша колебался. Саша вскочила и толкнула его на траву.

— Вы — эгоист, как никто! Вместе, говорят, и цыган повесился. Видите маленькое облачко, вроде голубки? Отчего оно одиноко?

Гриша запрокинул голову.

— Лежите смирно! — приказала Саша.— Лежите, я уберу вас цветами!

— Что за шутки! — вскричал, смеясь, Гриша.

Но он покорился ласковой неволе. Послеобеденная дрема охватила его. Стрекотали кузнечики, шуршали стрекозы; по волнам ржи проносился шелковый шелест ветерка.

Саша подбежала и бросила в него васильками. Через минуту она вернулась... Она смеялась и закидывала его полевыми фиалками, подорожником, хлопушником, лютиками, смолкой. Опустившись на колени, она сказала:

— Закройте глаза.

Гриша закрыл — и почувствовал на своих губах торопливый поцелуй, легкий, как резвое дуновение ветерка, и раздражающий, как прикосновение пчелы.

Он вздрогнул, приподнялся, но Саша была уж далеко, взбежала по ступенькам мельницы, захлопнула за собою дверь. Долго не хотела она выходить. Гриша слышал — она говорит о чем-то с мельником, которого разбудила. Потом она спрыгнула с лесенки, взяла у Гриши свою шляпку и с непокрытою головой пошла рядом с ним через выгон. Глаза ее были потуплены; она молчала, дыхание ее пресекалось.

В саду Гриша спросил:

— Зачем вы?..

— Что такое?

— Вы знаете что.

— Нет!..

— И я не знаю. Следует забыть. Будто бы шалость? Хорошо?

Саша закрыла лицо шляпкой и сказала:

— Хорошо.

VII

Однако Гриша задумался. Весь остальной день он избегал Саши и старался сблизиться с Колькой. Он удержал мальчика возле себя после вечернего чая и долго расспрашивал, какие у него наклонности, к чему его больше влечет, почему ему так ненавистны книги.

— Если б учителя не спрашивали,— отвечал Колька мечтательно,— я бы, ей-богу, учился. Отчего не хотят верить? У меня такая натура! Раз не поверили — кончено. Сейчас обманывать.

От разговора об учении Колька норовил перейти к птичьим гнездам, к наблюдениям над дворовыми собаками, к уличным мальчишкам, которых он обыгрывает в бабки.

— Коля, тебя нельзя назвать маленьким мальчиком,— начал Гриша.— Подумай только, ты всего на четыре года моложе меня. Если хочешь дружить со мной, тебе придется бросить бабки. Давай вместе собирать жуков, бабочек и растения. Не заметил ты, водятся у вас большие палевые мотыльки? У них крылья с длинными, длинными шпорами!

— А! — вскричал Колька.— Вчера я кнутом убил. Как хлоппул — упал. Каждое крыло с ладонь. Ну, я же ему задал — искрошил вдребезги!

Гриша стал говорить о гуманности, о пользе и вреде, приносимых насекомыми. Колька плохо слушал. Он поднимал камешки с земли и с зверским выражением, страшно размахнув рукой, далеко бросал их. Гриша начинал толковать о притяжении земли.

— Все выдумки! — скептически произнес Колька.— Сказать вам по секрету, я больше учиться не намерен. Если отец накажет, повешусь. Я уж и веревку приготовил,— со слезами в голосе заключил он.

И тут же, увидав любимого пса, он кинулся к нему, стал кверху ногами и проделал несколько акробатических штук.

Было поздно, приближался час ужина. Звезды пронизывали там и сям нежный сумрак небес. Утомленный обществом Кольки, Гриша ушел в гостиную, под предлогом головной боли, и решил написать Ардальону Петровичу о своем двусмысленном положении в доме Подковы, где едва ли нужен учитель — разве для очистки совести. «Так

зовут врача к безнадежно больному. Но какой же уважающий себя врач возьмется за лечение мертвеца?» — придумал Гриша пышную фразу. Была еще другая причина, почему Гриша не считал себя вправе пользоваться гостеприимством Подковы; но о ней умолчал.

Он чувствовал себя нехорошо. Голова его в самом деле горела, стучало в висках. Напрасно он разделся и лег. Он должен был встать, зажечь огонь, и, чтобы прогнать смущавшие его мысли и рассеять движения сердца, которые он называл низшими, он занялся метафизикой. В поэзии много предательства, она волнует душу, но метафизика отрезвит. Гриша вынул записную книжку и стал писать: «Бытие есть бываемое; небытие — то, чего не бывает. Однако же бытие может не быть, ибо если б оно не могло не быть, то не было бы небытия. Небытие же всегда есть небытие; оно не может не быть, или, вернее, быть, и, следовательно, оно вечно. Бытие, превращаясь в небытие, становится его частью. Бытие есть настоящее; небытие — вечное. Следовательно, небытие есть все, а бытие только частное небытия — может быть, его атрибут».

«Я мог бы быть метафизиком, не только поэтом и художником,— подумал Гриша, любуясь своим логическим построением и отодвигая книжку.— Но я должен буду принести себя в жертву реализму».

«Но если я реалист,— продолжал он,— почему же я так странно отношусь к Саше? Что дурного в ее поцелуе? Она выйдет замуж и, вероятно, будет целовать еще кого-нибудь, кроме мужа. Она сама намекает... Ее положение ясно. Ей трудно бороться с деспотической семьей. Еще хорошо, что она выходит за Ардальона Петровича. Она протестует, как умеет. Или она не по сердцу мне? Нет, она хороша собой, я никогда еще не видал такого прекрасного плеча...»

Он прервал свои думы: в зале скрипнул пол. В гостиную вкатилось с легким стуком большое зеленое яблоко и остановилось у дивана. Гриша поднял его, положил на стол — все его метафизические и реалистические рассуждения разлетелись, как дым. Сердце забилось, забилось... Кто же, как не Саша, стоит там за спущенною портьерой? Ему чудилось, что он различает даже сдержанный шум ее дыхания.

Но что-то приковало Гришу к месту. Он не подошел к портьере и не потушил огня. Дрожащими руками развернул он Льюиса и стал вчитываться в смысл первой

понавшейся страницы. Буквы прыгали перед глазами. Сначала он ничего не понимал. Но постепенно волнение улеглось, выступили отдельные фразы. Он читал, пока не догорела свеча.

Светало.

VIII

Минула неделя, а ответа от Ардальона Петровича не было. Гриша вел себя сурово с Сашей. Колька раздражал его. Блага деревенской жизни, которые посулил ему Селезнев, и вечная еда Подковы стали ему ненавистны. Он узнал, что Подкова разжился всякими неправдами, что когда-то он был старшиной и обирал крестьян, что он держит в руках всех помещиков уезда и разоряет, ссужая их деньгами под большие проценты. Благодушный и вежливый с Гришей, Подкова грубо обращался с рабочими, выжимал из крестьян соки. В откровенных беседах с Гришей, когда он один странствовал по полям, мужики называли Ивана Матвеевича пиявкой и христопродавцем. Гриша на время отложил занятие философией и принялся за изучение книги: *О положении рабочего класса в России* [5].

Саша сосредоточилась, стала бледнеть. Грише она мстила — сама удалялась от него. Об Ардальоне Петровиче стала отзываться горячо, почти с любовью. Она ставила жениху в заслугу его солидность, находила даже, что ему идет американское жабо. Саша хитрила, рассчитывая, что холодным обращением скорее добьется взаимности Гриши.

Но скоро ей надоела политика. Срок свадьбы приближался с ужасающей быстротой; надо было на что-нибудь решиться. Несколько дней подряд Саша меняла туалеты: надевала то мордовский костюм, то болгарский, то появлялась в голубом сарафане с позументами, то в белом кисейном платье. Однажды, после обеда, она вошла с Ганичкой к Грише и сказала:

— Григорий Григорьевич, хотите прокатиться? Поедем в Дутый Яр; чудесный дубовый лес, вам понравится.

Она взяла его за руку.

Пара стоялых вороных ожидала у крыльца. Надо было вернуться к пяти часам, Иван Матвеевич никому не позволяет ездить на этих лошадях. Их запрягли без его ведома, но с разрешения Прасковьи Ефимовны; она своему

же кучеру должна была дать на водку за сохранение тайны.

Колька сидел на козлах, сложил губы по-кучерски и держал бич. Гриша сел вместе с Сашей, а Ганичка заняла переднюю скамейку.

Фаэтон выехал из ворот.

— Вот мельница,— промолвила Саша.

— Да, и вертится,— ответил Гриша, взглянув на быстро машущие крылья мельницы.

— Сжали рожь,— сказала Саша,— нет васильков. Вам нравятся васильки?

— Не нравятся.

— А какие цветы вам нравятся? — спросила Саша.

— Крапива.

— Вот крапива! — произнесла Саша, положила свою руку на руку Гриши, прижала к подушке фаэтона и стала ломать ему пальцы, сначала нежно, потом крепче.

Ганичка исподлобья смотрела.

— Зачем вы при ней? Она все видит,— сказал Гриша по-французски.

Но Саша не поняла или не хотела понять. Гриша вскрикнул и высвободил наконец руку.

Жестокость Саши пробудила в нем те реальные мысли, с которыми он так долго и победоносно боролся всю неделю. Саша прикрыла Гришиным пледом свое платье от пыли, и Гриша опять позволил ей ломать ему пальцы. Он отвечал ей тем же и, когда они приехали в Дутый Яр, взял Сашу под руку.

— Ганичка, поищи грибов,— приказала Саша.— Если найдешь пятьдесят грибов, я подарю тебе свою бонбоньерку с зеркальцем!

Ганичка отстала. Кучер завез экипаж в тень, закурил трубку и растянулся на траве. Колька разделся и побежал купаться. Молодые люди очутились вдвоем в глуши; кругом зыблились прохладные тени от высоких, кудрявых дубов. На дне Яра струился ручей, и его журчанье сладко тревожило лесную тишину.

— Какой вы глупый! — сердито начала Саша.— Как нечестно так мучить меня! Хотелось унизить меня и показать, что вы барышня, а не я. Смотрите, мол, я примерный! Что же выиграли? Скучали целые десять дней и столько же дней отняли у меня! Какое право вы имели?! Если сама девушка отдает свое сердце и не требует от вас взамен ничего, так уж я после этого не понимаю, как

могли вы оскорбить ее... Вы, кажется, забыли, к какому полу принадлежите, милостивый государь!

— Вы либеральнее меня смотрите на жизнь,— произнес Гриша.

— Не смотрю, а чувствую! Мне остается еще так немного свободы! Я не лгала Ардальону Петровичу и сказала, что не люблю его. Он не поверил, я вольна располагать собою, пока не дала клятвы под венцом. Скорей скажите что-нибудь!

— Вы так взволнованы, Саша! И я сам взволнован. Но не правда ли, нехорошее волнение?

— Не рассуждайте, ради бога! — вскричала Саша со смехом.

Она схватила Гришу за голову, притянула к себе и покрыла поцелуями его лицо.

Ему стыдно было, что его целуют. Упреки Саши были чувствительны. Он готов был доказать, что он гораздо мужественнее, чем о нем думают. Но — раздался отчаянный визг в лесу, и вприпрыжку через кусты прибежал Колька.

— Сумасшедший, что с тобою? — закричала Саша в испуге, отшатнувшись от Гриши.

Колька остановился. Глаза его были выпучены, рот плачевно раскрыт.

— Что случилось? — спросил Гриша.

— Змея! — сипло отвечал Колька.— Она хотела меня ужалить!

— Не дурачься! — приказал Гриша.

Колька помчался дальше, продолжая оглашать лес дикими криками.

— Теперь он к Панасу, потом к Ганичке. Да, он дурака строит... Нет, нет, он больше сюда не прибежит... Ну, хорошо, пройдем дальше.

Далеко между деревьями мелькала исступленная фигура Кольки. Он уж приближался к фаэтону, как вдруг отскочил назад и упал навзничь с раздирающим душу воплем. Гриша и Саша поспешили к нему. Колька с разбега хватился лбом о сук и набил себе шишку.

Трагическое происшествие с Колькой помешало дальнейшему объяснению молодых людей. Ганичка набрала грибов скорее, чем можно было ожидать, и общество покинуло Дутый Яр.

На обратном пути Гриша сам заботился, чтобы плед не скользил с колен и чтобы пыль не садилась на Сашу.

Саша сказала:

— А знаете, Григорий Григорьевич, флигель вам готов. Две комнаты. Хотите осмотреть, пока наши спят?

Фаэтон въехал в ворота черного двора, на всякий случай, чтобы не попасться на глаза Ивану Матвеевичу.

Флигель стоял рядом с конюшней: низенький домик с маленькими окнами, выходившими с одной стороны во двор, с другой — в сад. Зимой здесь жил приказчик Подковы, заведующий табачною торговлей. Комнаты были оклеены новыми обоями.

— Нагнитесь, а то с вами случится то же, что с Колькой,— посоветовала Саша.

Она ввела его в другую комнату и стала писать что-то на окне. Гриша с недоумением пожал плечами.

— Несносный! — Она вывела цифру 10.— Поняли?

Гриша кивнул головой.

— Теперь...

Она написала букву *б*, потом *а*, *н* и *я*.

Ганичка смотрела на окно и из-под руки сестры улыбалась Грише.

«Как неосторожна Саша»,— подумал он.

— Хорошо, хорошо,— сказал он вслух.— Хороший флигель.

— А замечаете, как низко? — продолжала Саша.— Для сокращения пути вы можете прямо пользоваться окном. Вас сегодня переведут сюда... Все поняли?

Ганичка взвизгнула от смеха и убежала.

— Но и Ганичка поняла? — проговорил он с тревогой.

— Ничего она не поняла. Волка бояться — в лес не ходить! Я не боюсь волка.

IX

Ожидая свидания, Гриша с балкона пристально смотрел на закат. В просвете, образуемом двумя тополями, ярко сияли небеса, залитые пурпурным огнем. Таяли золотые тучки. Гриша думал, что, может быть, то самое облачко, которое там у мельницы стояло так высоко и было так холодно и бледно, теперь спустилось со своей недоступной высоты и догорает на костре заката. Он вспомнил, что Саша сравнила облачко с белою голубкой. Когда-то ночью он видел пожар. Голуби проснулись и ста-

ли кружиться над заревом, падая один за другим в пламя. Вот и облачко сгорит...

— О чем пригорюнились? — спросила Прасковья Ефимовна, садясь возле Гриши.— Вы чересчур серьезны. Все думаете о своих науках. Право, молодому человеку не мешает и пустяками заняться. Возьмите моих девочек да сыграйте в короли или в марьяж!

— Простите, я не люблю карт.

— Ничего-то вы не любите. Кушаете мало, до сих пор не поправились. Что скажет ваша мамаша? Хотите маковников?

— Нет, благодарю вас.

— Подождите, будем справлять свадьбу, наедет барышень видимо-невидимо. Влюбитесь, и мы вас женим. У нас все красавицы. Даже простые девки и те хоть малюй. Гарпина! — крикнула она.

Баба, проходившая мимо балкона, остановилась.

— А что, готово?

— Все готово,— отвечала баба.

Прасковья Ефимовна отправилась хлопотать об ужине.

Закат между тем потускнел. Золотые тучки стали малиновыми, а те, которые были выше их,— пепельными и лиловыми. Бледный сумрак окутывал сад. На верхушках тополей погасал багряный отсвет.

Саша вышла к ужину и на вопрос матери, что с нею, пожаловалась на лихорадку. Щеки ее пылали, и по временам она вздрагивала. Подкова не обращал внимания на дочь, ел, по обыкновению, за троих, но вдруг взгляд его упал на Кольку.

— Это что? — спросил он и ткнул пальцем в его лоб.

— Маленькое несчастье с нами случилось,— робко начала объяснять Прасковья Ефимовна.

Подкова гневно закричал:

— Колька! Завтра же высеку! Ты думаешь, я ничего не знаю? Мне о каждом шаге твоем доносят. Оглашенный!

Он снова больно ткнул его в лоб.

Гриша побледнел.

— Едва ли, Иван Матвеевич, можно сделать что-нибудь наказаниями!

— Я отец! — вскричал Подкова.

Руки его затряслись. Прасковья Ефимовна замерла от страха, у Кольки капали из глаз крупные слезы.

— Кто смеет вмешиваться между отцом и сыном? — продолжал кричать Подкова.

— Первая моя обязанность,— сказал Гриша,— быть порядочным человеком. Я сделал замечание, потому что должен был его сделать. А затем как угодно — я могу уехать.

Глаза Подковы и Гриши встретились, сверкнули, и Подкова... рассмеялся.

— Славно! — вскричал он.— В моем же доме меня побили! Неслыханное дело! Колька,— строго сказал он,— прощаю тебя, каналью. Но зато Григорий... как вас... Григорьевич! — денег не получите, если он не сдаст экзамена. Передаю балбеса в полное ваше распоряжение. Посмотрим!

Неожиданный и благодушный конец ссоры обрадовал Прасковью Ефимовну и смутил Гришу. Он протянул руку Подкове.

— Хорошо, хорошо! по-вашему — так по-вашему! — сказал Подкова. Руки его еще дрожали, когда он, взяв миску за оба ушка, опрокинул галушки в тарелку.

«Я прав, и он смирился,— рассуждал Гриша, идя с Колькой во флигель.— Он умный мужик».

Победа, одержанная Гришей, внушила Кольке уважение к особе учителя. Он, не возражая, выслушал приказание собрать к утру учебники и сам прибил на стене расписание занятий, громко прочитал молитвы на сон грядущий, лег и заснул, как убитый.

А Гриша стоял у раскрытого окна. Звезды ярко горели на безлунном небе. Скоро десять часов — Саша ждет.

«Не пойду»,— решил Гриша. Что-то прошуршало в кустах сирени — он встрепенулся. «Пойду».

Он вышел на главную дорожку. Густые липы скрывали его. Песок хрустел, да поскрипывали сапоги.

Из липовой аллеи он свернул по знакомой тропинке к пруду, над которым стлалась полупрозрачная пелена тумана. На том берегу чернелась баня. Гриша обогнул берег.

Ночная прохлада освежила его голову. Он сознавал, что будет не прав, если случится то, чего он так боялся и чего не в силах был отстранить.

«Я не в состоянии буду властвовать над другими»,— говорил он себе и все-таки шел вперед, постепенно охватываемый новым приливом сладостного трепета.

Послышался шум шагов, сопровождаемый мерным шелестом платья. Саша приближалась к бане с другого конца.

Гриша остановился, последний раз стараясь преодолеть себя. Но так хорошо пахли цветы, так заманчива была таинственная обстановка свидания и столько счастья обещало оно — счастья, которого еще не дала ему жизнь! Он забыл все, что говорила ему совесть...

Он видел, как Саша осторожно приникла к крошечному окну бревенчатой избы, и сквозь мрак до него донесся ее прерывистый шепот:

— Гриша!

Потом она с слабым стоном отшатнулась и побежала по тропинке вниз. Гриша схватил ее за руки.

— Гриша, голубчик! — вся дрожа и трепеща, начала Саша, оглядываясь и прижимаясь грудью к молодому человеку.— Бабушка опять... Сидит и прядет... Гриша, она страшно посмотрела!

Саша залилась слезами. Грише сообщился ее испуг.

— Не надо было этого,— сказал он, когда они пришли в липовую аллею.— Перестаньте же!

Но Саша не могла удержать рыдания. Она положила на плечо Гриши свою голову.

— Видите, как вы страдаете! Бог знает, что примерещилось! Расстроенное воображение. Волновались, и вам было стыдно, не правда ли? Если бы ничто не говорило в вашем сердце против вас — разве вы так испугались бы какого-то несуществующего призрака? Ах, Саша, подумайте, мы вместе хотели обмануть Ардальона Петровича! Между нами была бы тяжелая тайна, а вы стояли бы пред аналоем, и я держал бы венец над Ардальоном Петровичем! Нечестно... даже более!

— Ужасно! — прошептала Саша.— Только одну минутку я хотела быть счастлива по-своему! Не вы ли толковали про свободу?

Слезы Саши служили ясным доказательством ее слабости и неспособности пользоваться свободой. Гриша сказал:

— Только сильные душой могут быть свободны.

— А вы?

— Я свободен, мое поведение доказывает. По вашим словам, я забыл свой пол. Но вы напрасно оскорбили меня. Если такая плакса, как вы, отдаст свое сердце, на ней надо жениться, а я не могу жениться. Я несовершен-

нолетний, и у вас есть жених — мой приятель. Поверьте, только настоящий мужчина может сказать вам то, что я сейчас сказал.

Идя на свидание, Гриша не готовился к такой проповеди.

— Прогоняете меня? — спросила Саша, перестав плакать.— Уйти?

«Пусть останется... хоть на несколько мгновений»,— подумал Гриша. Сердце его сжалось от неопределенной тоски. Но гордое чувство человека, победившего себя, и титул мужчины, торжественно им принятый, заставили его быть недоступным жалости.

— Уйдите, разумеется,— произнес он.— Кроме страдания и раскаяния, наша встреча вам ничего не принесет. Я провожу вас, а то вы еще поднимете крик.

Он довел ее до крылечка, выходившего в сад. Она рванулась, обняла Гришу, поцеловала... и через минуту он был один.

X

Молодой человек поздно проснулся на другой день. Солнце бросало лучи в его спаленку, и в окно, которое он забыл запереть, врывался из сада птичий гам. Какой-то длинный и вычурный сон привиделся Грише. Под конец грезы стали реальнее, и ему снилась Ганичка, которая будто бы все знает и грозит из-за портьеры пальцем. Он стал оправдываться и лгать. Но вдруг Ардальон Петрович схватил его за плечо и закричал:

— Да ну, полно вздор молоть! Я ничего подобного не встречал даже у Канта! [6]

Гриша открыл глаза. В самом деле, он увидел Селезнева, который наклонился и тормошил его.

— Слава богу! Очнулся!

Он обнял Гришу.

— Глупое письмо вы написали мне, голубчик! — продолжал он, садясь на кровать.— Я не знал, что ответить. Горячая голова! Мне Прасковья Ефимовна уже рассказала, как вы вчера чуть не поссорились с Иваном Матвеевичем. Браво, интеллигенция! Наша всегда возьмет! Как бы не так, я ни за что не отпущу вас из Яров! Помощь нужна... Со стариком придется еще крупно потолковать насчет приданого,— пояснил он, понизив голос.— А все

прочее пустяки в сравнении с вечностью и с соленым огурцом. Одевайтесь, пойдем завтракать и водку пить.

Ардальон Петрович присутствовал при туалете Гриши.

— Что? Понравилась Саша? — спросил он с торжеством.

Гриша похвалил его невесту.

— То-то! Всякого с ума сведет! Скажи откровенно, будь другом,— начал он, переходя на «ты», вероятно, в том предположении, что только при полной дружбе возможна такая откровенность,— сильно ухаживал? Довольно, молчи — знаю! По части юбок — простак!

Гриша светло и прямо посмотрел Ардальону Петровичу в глаза.

— Я бы сам женился на ней, если б был старше и не дал себе слова — никогда не жениться.

Ардальон Петрович рассмеялся:

— Тебя на Ганичке женим. Хочешь? Тридцать тысяч, брат, за Ганичкой.

Он взял под руку Гришу.

— А что же Саша говорила обо мне?

— Ничего.

— А не говорила она тебе, что уважает меня?

— Говорила,— произнес Гриша, потупляясь.

— Да, да... Ребенок! Лань! Все, брат, со временем! Однако водка простынет. Вперед!

В столовой семья была в сборе. Иван Матвеевич любезно поздоровался с Гришей — любезнее, чем прежде.

— Садитесь, садитесь! Кулебяка ждет!

Ардальон Петрович налил рюмки водкой и стал чокаться.

— Александра Ивановна, пригубьте! — сказал он.

Гриша поднял глаза на Сашу. Она была страшно бледна, и на лице ее застыло то выражение, которое называют каменным. Она отказалась пригубить, но Ардальон Петрович не отставал.

— Не хотите губками, помешайте пальчиком. Маленьким пальчиком.

— Что же не хочешь уважить Ардальона Петровича? — проговорила Прасковья Ефимовна.

Селезнев все стоял с протянутой рюмкой.

— Давайте я помешаю,— сказал Иван Матвеевич.

— Нет, позвольте, Иван Матвеевич,— любезно и шутливо возразил Селезнев,— право предоставлено только

Александре Ивановне. Настоятельно прошу ее воспользоваться правом. Александра Ивановна!

«Смертельно глуп»,— подумал Гриша и не мог оторвать глаз от Саши.

— Чего ломаешься? — крикнул Подкова на Сашу.

Саша погрузила в рюмку палец.

После завтрака она пошла с Ганичкой купаться. Гриша заперся с Колькой и целый час толковал об именованных числах. Ардальон Петрович целовал ручки у Прасковьи Ефимовны и вился около Ивана Матвеевича, желая узнать, когда будет дано приданое,— пред венцом или после. Подкова делал вид, что не понимает, на что намекает его будущий зять.

— Скажу вам, Ардальон Петрович, мне прежде всего нужно, чтобы муж любил Сашу, как я люблю свою Прасковью Ефимовну.

Ничего не добившись от Ивана Матвеевича, Селезнев надел клетчатый пиджак, надушился и стал ходить по липовой аллее, где должен был встретить Сашу. Он с нетерпением оборачивался и приготовлял остроумные и любезные фразы, сознавая, что одет он по последней моде, что он интеллигентный человек, что ему можно позавидовать. Он ухитрялся даже смотреть на себя как-то со стороны: Ардальон Петрович любуется Ардальон Петровичем и желает ему счастья, богатства, глубокого просвещения...

Он услышал вдали плач. Кто? Ганичка? О чем она плачет? Плач сопровождался жалобными возгласами, смысла которых не мог понять Ардальон Петрович. Но он поспешил в ту сторону и увидел недалеко от пруда полураздетую девочку, которая в отчаянии ломала руки.

Платье Саши лежало на траве вместе с ботинками и зонтиком.

— Утонула? — почти шутливо спросил Ардальон Петрович, а между тем губы его дрожали, он побледнел, и страшная мысль уже овладела его умом.— Да нет, не может быть! Давно?

— Давно. Я думала, ныряет... Боже мой, боже мой! — стала вопить Ганичка и в изнеможении опустилась на землю.

— Иван Матвеевич! Люди! Все! — неистово закричал Селезнев и то сбрасывал с себя пиджак, то опять надевал и застегивал его на все пуговицы.

Услышал садовник, прибежал, серьезно выслушал Ганичку, быстро разделся, осенил себя крестом и нырнул.

Голова его несколько раз показывалась на поверхности пруда. Отдохнув, он снова нырял. Наконец он крикнул:

— Поймал!

Он выплыл на поверхность, держа за волосы утопленницу.

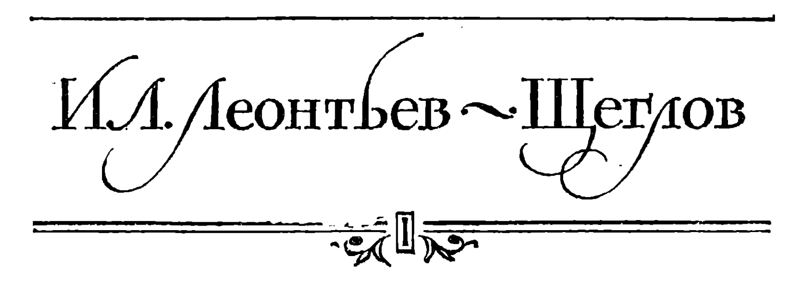
Быстро распространилась печальная весть. Рыдая, прибежала Прасковья Ефимовна, пришел Подкова и заплакал, как ребенок. Гриша верхом на лошади поскакал за доктором. Целый день откачивали Сашу, но к жизни не вернули.

Вечером Саша, убранная в белое подвенечное платье и в цветы, лежала на столе во всей своей смертной красоте. Уста ее сомкнулись навеки, длинные ресницы опустились, чтоб уж не подниматься.

Гриша стоял поодаль.

После похорон он тотчас же уехал домой.





МИНЬОНА

(Из хроники Мухрованской крепости)

I

— Господа, могу вам сообщить приятную новость! — возвестил подпоручик Дембинский, входя в офицерскую столовую.

Обедавшие — штабс-капитан Дедюшкин, поручик Степурин и прапорщик Нищенков — удивленно подняли головы на худощавую донкихотскую фигуру Дембинского, так как, служа в мухрованском захолустье, давно отвыкли от всяких новостей, а тем более приятных.

Выдержав необходимую для достижения эффекта паузу, Дембинский торжественно продолжал:

— Сегодня утром в Мухровань приехала знаменитая итальянская певица, синьора Фиорентини, которая не далее как в это воскресенье будет иметь удовольствие появиться перед мухрованской интеллигенцией!!

Но, прочтя на лицах товарищей отражение обычного недоверия к его, Дембинского, словам, он поспешил вытащить из бокового кармана пальто, в котором вошел, длинную цветную афишу и победоносно потряс ею в воздухе. Афиша гласила:

«Г. Мухровань, 188* года.

С дозволения начальства в воскресенье, 3-го ноября, в помещении Мухрованского Благородного Собрания известная итальянская певица

ЭММА ФИОРЕНТИНИ,

проездом на родину,

будет иметь честь дать большой концерт при благосклонном участии концертантки г-жи Захропуло и аккомпаньятора синьора Коки.

Начало в 8 ч.»

Когда означенная простыня была прочитана, на минуту воцарилось молчание. Прапорщик Пищенков — низенький, белобрысый и весноватый юноша — с достоинством повернулся в сторону своего соседа — добродушного лысого толстяка, носившего на подбитом лисьим мехом сюртуке штабс-капитанские погоны, и оба переглянулись с значительным видом, говорившим: «А, каково отличилась наша Мухровань?» Потом тот и другой поворотили головы на конец стола, где сидел поручик Степурин. Худощавый и смуглый брюнет, носивший фамилию Степурина, но более известный между товарищами под прозванием «пустынника», перестал есть, поднял голову и неопределенно задумался. Денщик, внесший вслед за Дембинским блюдо с горячими голубцами, подавленный необыкновенностью известия, остановился на пороге и раскрыл рот. Единственное существо, которое, к некоторому неудовольствию Дембинского, осталось совершенно равнодушно к приезду Фиорентини,— это был пес поручика Степурина, черный, мухрастый дворняш, заклейменный хозяином за свою собачью искательность прозвищем «Чичикова». Это прозвище он оправдывал и в настоящую минуту, всецело погруженный в практические интересы обгладывания брошенной кости.

— Господа! — не унимался Дембинский.— Я надеюсь, что *«Камчатка»* не ударит себя лицом в грязь... («Камчаткой» был окрещен уединенный каземат, занимаемый холостым офицерством крепостной артиллерии) и поддержит достойным образом знаменитую примадонну!

Предложение о «поддержке», красноречиво намекавшее на скудные офицерские капиталы, сразу сообщило умам пессимистическое настроение.

— Почему ж ты думаешь, что она знаменитая? Может быть, она вовсе не знаменитая! — усмехнулся прапорщик Пищенков, подвергавший суду критики все на свете, кроме своей наружности.

— Может быть, она просто какая-нибудь авантюрьерка под итальянским флагом? — подмигнул глубокомысленно

штабс-капитан, умудрявшийся в самых светлых вещах прозревать клубничную подкладку.

Степурин ничего не возразил, потому что был занят горячим голубцом, только что отправленным в свой рот и заключавшим его обед.

— Господа, что вы, что вы? — замахал отчаянно руками Дембинский.— Да неужто же вы не читали вчерашней корреспонденции в «Приморском вестнике»!

И, отлично зная, что «Приморский вестник» не получался в офицерской библиотеке, поспешил сообщить подробности о фуроре, который, по его словам, синьора Фиорентини произвела в О. Публика будто бы засыпала ее цветами и адресами, гимназическая молодежь донесла ее на своих руках от театра до гостиницы, а жена начальника артиллерии округа поднесла ей букет при вышитом полотенце с надписью: «Лицо утирай — артиллерию не забывай».

Хотя все были уверены, что Дембинский, по обыкновению, врет, но тем не менее анекдот о полотенце начальницы округа произвел на господ офицеров надлежащее воздействие и сразу расположил в пользу заезжей певицы. Штабс-капитан Дедюшкин наморщил лоб и философски заметил:

— Хотя в нашу Мухрованщину едва ли занесет что-нибудь путное... а впрочем, чем черт не шутит... Может быть, она действительно того... какая-нибудь эдакая... а-ля Патти!..[1] Пойдем, милорды, что ли?!

— По-моему, непременно следует пойти,— не без важности заявил Нищенков.— По-моему, господа, этого даже некоторым образом требует честь мундира!

Дембинский хлопнул по плечу Степурина.

— А ты, пустынник, пойдешь с нами?

— Нехай — пойду! — равнодушно буркнул поручик Степурин и, так как его порция голубцов была съедена, поднялся из-за стола, свистнул Чичикова и молча удалился на свою половину.

Этому никто не удивился, так как между крепостным офицерством давно было известно, что он «пустынник» и всегда уклоняется, когда разговор завязывается о женщинах или чувствуется в близком будущем обильная выпивка. А дело без выпивки и на этот раз не обошлось. От Фиорентини беседа господ офицеров перешла вообще к женщинам, а раз беседа перешла на женщин, Дембинский начал надоедать неверующим товарищам старой сказкой о том, как он во время командировки своей в Одессу имел

любовь с настоящей египтянкой. Эта сомнительная египтянка послужила, как и всегда, яблоком раздора между ее счастливым обладателем и прапорщиком Нищенковым, а штабс-капитан Дедюшкин сейчас же придрался, чтоб примирить враждующих и кстати «риккикикнуть» в честь заезжей певицы. (Риккикикнуть — мухрованский глагол, совершенно невероятно произошедший от французского слова «Riquiqui» — водка.) Через четверть часа на столе появились бутылки кахетинского, и добрая компания, усердно «риккикикая», разошлась только под вечер, когда со всеми повторился тот самый случай, который произошел с одним бледным еврейским раввином, осушившим бутылку красного вина,— то есть когда господа офицеры сделались красны, а бутылки сделались белы.

II

Поручик Степурин занимал в пьяной «Камчатке» совершенно обособленное положение, ничего не имевшее общего с образом жизни его сотоварищей,— прочное положение, завоеванное им с самого своего приезда из военного училища в отдаленную Мухровань, куда он явился еще совсем мальчиком, худеньким, задумчивым, путливо-диким, как молодой олень... Как в холостой «Камчатке», так и в семейных кружках крепости никто не мог разобрать толком, что это был за человек. Военное свое дело он знал прекрасно и служил усердно и исправно, порученную ему солдатскую школу вел образцово и на инспекторском смотру получил от начальника округа самый лестный аттестат; с товарищами жил в мире и весьма был покладист в вопросе денежной ссуды; но во всем, что касалось его частной жизни, он устроился совершенно своеобразно и, сторонясь одинаково холостого и семейного общества, видимо, довольствовался невзыскательной компанией своего денщика из молдаван Земфира Чабана и верного, хотя и низкопоклонного друга — пса Чичикова.

Попытки исторгнуть Степурина из его добровольного заключения не приводили ни к какому результату, не исключая попытки самой комендантши, старой кокетки, не перестававшей верить в неотразимость своей увядающей красоты и вздумавшей однажды взять дикаря с собой в коляску в качестве кавалера в городское собрание. Офицеры, ожидавшие в передней приезда комендантши, были крайне

озадачены, когда Степурин появился в собрании совсем один и на вопрос «Где же ее превосходительство?» с наивным спокойствием отвечал: «Она там... вылезает из экипажа!» После этого неудачного искуса комендантша во всеуслышание объявила, что это вовсе не офицер, а какой-то «пустынник», и все тут же согласились раз навсегда, что Степурин «пустынник», и на этом успокоились. С этих пор его больше не извлекали из его уединения, чем он остался, по-видимому, весьма доволен.

Самый каземат, в котором он жил, высокий и мрачный, как-то совсем не походил на остальные казематы «Камчатки», выходившие на проезжую дорогу, а упирался окном в откос крепостного вала, на гребне которого вечно виднелась полосатая спина караулки и монотонная тень шагавшего взад и вперед часового. Внутри почти никакого убранства: налево от входа, у стены, складная походная кровать с маленьким деревянным образком в изголовье, прямо — большой стол, покрытый черной клеенкой, загроможденный книгами, служебными бумагами и всякой мелочью; направо — печь, далее, в нише,— развешанное платье и длинный, казенного образца чемодан, на котором покоился футляр с цитрой,— вот и все. Если хотите, даже и этого всего было слишком много для той нетребовательной жизни, которую вел Степурин. Полдня он проводил на службе, а остальную половину делил между чтением и прогулкой с Чичиковым по окрестностям Мухровани. Летом, когда досуга было больше, он исчезал с ружьем за плечом и все с тем же Чичиковым, иногда на три, на четыре дня, и возвращался с охоты всегда еще более задумчивый и несообщительный. С Чабаном ему в этом случае не приходилось ссориться, потому что денщик-молдаван тоже был несообщителен и молча тосковал по своей дальней деревне, откуда судьбой был заброшен в неприютную крепость. Но не было преданнее и угадчивее человека, чем был этот огромный, неуклюжий, черный, как кочегар, и вечно угрюмый Чабан. Степурин почти с ним не разговаривал, потому что тот до мелочей изучил однообразные привычки своего барина и обращался около него молча и исправно, как заведенная машина. Молча приносил утром умываться, молча подавал и убирал самовар, молча снимал с него сапоги вечером и молча ожидал его у ворот «Камчатки», если тот долго не возвращался. Но эта немая привязанность образовалась между ними не сразу. Первое время Чабан служил плохо, часто грубил и все просился назад в

роту. Из-за какого-то пустяка он раз сказал явную грубость Степурину, тот не выдержал и ударил его по лицу. Чабан мрачно сверкнул глазами на Степурина, тот, в свою очередь, мрачно сверкнул глазами на денщика... и вдруг с этой самой минуты, по какому-то непостижимому соглашению, оба крепко привязались друг к другу, не замечая того сами. Точно каждый хотел сказать друг другу: «За что ты меня обижаешь?..» — «А ты меня за что?», и разом инстинктом угадали, что оба были обижены судьбой и стоят на одной точке. Очень странные бывают сближения в жизни человеческой!

Отношения Степурина к Чичикову носили характер прямо нежный и трогательный. Чичиков был единственный и неизменный спутник в его уединенных и далеких прогулках и единственный поверенный его душевных настроений. Плохи были поручичьи финансы, и тогда Степурин и Чичиков были невеселы и слегка худели; поправлялись обстоятельства — поправлялись оба, оба заметно толстели и веселели. «Чичиков, гулять!» — свистнет Степурин, и Чичиков, пронзительно визжа, бросается в коридор каземата. «Павел Иванович, желаете молочка?» — спрашивает его, подмигивая, Степурин во дни желанного благополучия, и «Павел Иванович», извиваясь как угорь, искательно подползает к ногам хозяина. «Ну, Чичик мой, поели мы с тобой молочка, теперь давай спать!» — командует затем поручик, и Чичик покорно свертывается на маленьком коврике у постели своего доброго барина.

Была у Степурина еще одна слабость — это цитра, приобретенная им на долгие экономии и на которой его выучил играть какой-то заезжий румын. В минуты особых настроений он запирался в своей комнате, выгнав предварительно Чичикова, возненавидевшего цитру, как своего личного врага, и переигрывал тогда весь свой скудный репертуар, отыскивая ощупью в ее тонких аккордах родственные звуки, таящиеся от света на дне своей души. И часто, когда в офицерской столовой всю ночь раздавалось гоготанье пьяной холостежи, из отдаленного каземата «Камчатки» доносились нежные звуки цитры, кроткие и угнетающие, как тоска по родине.

И вот так проходил восьмой год офицерства этого странного человека за книгой и цитрой, в далеких уединенных прогулках, в сообществе никогда ненасытного Чичикова и вечно молчаливого Чабана. Ничтожная, тоскливая и однообразная крепостная жизнь точно скользила по

нем, нисколько не задевая его своею мутною поверхностью. Когда ему передавали, например, какую-нибудь крепостную сплетню, он только произносил с притворным удивлением: *«Нну, что ты?»* — и смотрел глазами через голову говорящего. Или когда в «Камчатке» происходил словесный бунт по поводу какой-нибудь канцелярской гадости, устроенной инженерным управлением артиллерийскому, находившемуся с последним в контрах, он только процедит с полуулыбкой: *«Экие паршивцы!»* — и отойдет в сторону. Если же в их захолустье попадал проездом какой-нибудь свежий человек, щедрый на рассказы о заграничных чудесах или новостях столичной жизни, Степурин тогда устремлял на рассказчика детски-изумленные глаза и каким-то растерянно-жалким голосом спрашивал: *«Но-о... правда ли?»,* голосом, в котором невольно отражалось сознание человека, лишенного света и замуравленного в стену. Эти три слова были чуть ли не единственными, посредством которых он сносился, помимо службы, с внешним миром, этим нестерпимо пошлым крепостным миром, в затхлом воздухе которого гасла всякая светлая искра.

Собственно говоря, мухрованская крепость мало чем отличалась от других ей подобных захолустных крепостей, где обыкновенно начальник артиллерии враждует с инженерным полковником, где жена коменданта устраивает на Новый год живые картины в пику артиллерийской командирше, которой не удалось устроить на Рождество домашний спектакль, и где произвол и скука благополучно уживаются со сплетней и скандалом. Женатые люди в таких обстоятельствах обыкновенно группируются на замкнутые и враждебные кружки, а холостые пьянствуют и безобразничают, вероятно от сожаления, что не могут устроиться, как женатые.

В Мухровани холостые кружки представляли нечто совсем невозможное, а артиллерийская «Камчатка» считалась хуже всех. Этой славой она всецело была обязана штабс-капитану Дедюшкину, допивавшемуся до того, что однажды его видели ехавшим из городского трактира верхом на своем собственном денщике, и окрещенному за свое погибельное пристрастие «Зеленым змием». Пил он действительно с редкой систематичностью и любовью, вкладывая в это неблагодарное ремесло всю свою душу и все свое жалованье. Различные сорта водок назывались у него по именам, как у ботаника — роды растений. Было семь сортов водок, которые назывались «Семь смертных гре-

ков», другая водка, настоянная на двенадцати травах, называлась «Двенадцать разбойников», третья, посильнее градусом,— «Черная немочь», и т. п.; точно так же и рюмки по размеру и времени выпивки назывались: «звездная», «лунная», «постельная», «пугачевская» и т. д. Подпоручик Дембинский, далеко уступая штабс-капитану в винной энциклопедии, значительно превосходил его в светской, добровольно заменяя для крепостного общества газету, телеграф и телефон. Такое разнообразие способностей не обходилось, конечно, без вреда для его физиономии, и его бы давно выслали из Мухровани, если бы она не была то самое место, куда его сослали за шулерство вместе с капитаном Дедюшкиным, попавшим туда же за пьянство. Прапорщик Нищенков вследствие своей анекдотической глупости занимал место посреди обоих и наполнял свою пустую жизнь смутными и несбыточными мечтами о каких-то великосветских амурах. И так как амурам в Мухровани было отведено совершенно особое место — за городской чертой, у одной скверной еврейки, носившей заманчивую фирму «Султанши», то ограниченный в своих бонтонных претензиях прапорщик усвоил своей физиономии неменяющееся выражение брезгливого недовольства и загадочного глубокомыслия.

Такова была жизнь этой богом проклятой «Камчатки», затерянной в самом конце скучливой крепости, самой отстоявшей от города на целых четыре версты,— города невзрачного и незначительного, жившего единственно на счет этой же самой крепости. Летом Мухровань, окаймленная зеленеющим берегом Днестра, представляла вид довольно сносный, но осенью, во время дождей, превращалась в настоящее блюдо грязного киселя, в котором плавали дома, жиды и свиньи.

III

Разумеется, концерт в таком заглушье составлял целое событие, но еще большее событие было, пожалуй, благополучно добраться до города через целое море топкой грязи — куска бессарабской степи, отделявшей город от крепости. Начальство и семейные люди, разумеется, добирались с грехом пополам в разных казенных и собственных таратайках, но холостая братия обыкновенно направлялась туда пешком, целыми партиями, вооружившись вы-

сокими голенищами, крепостными фонарями и, вследствие небезопасности дороги, револьверами.

Точно таким же образом в означенное ноябрьское воскресенье направилась из «Камчатки» в мухрованскую благородку знакомая компания, состоящая из штабс-капитана Дедюшкина, поручика Степурина, подпоручика Дембинского и прапорщика Нищенкова. При входе в город их опередили три крытые повозки, волочившие начальника крепости с женой, семейство инженерного полковника и грузную особу командира резервного батальона, одна рота которого стояла в самой крепости.

К восьми часам вечера закоптелое и узкое, как коридор, зало городского собрания было переполнено мухрованской интеллигенцией, заключавшейся, разумеется, на три четверти из лиц военного сословия и их семейств; из штатской четверти выделялось несколько самодовольных греческих носов, пришедших поддержать свою соотечественницу-концертантку г-жу Захропуло. Небольшое возвышение в конце залы, исполнявшее в обыкновенное время роль гостиной, было обращено теперь в подобие сцены. По бокам на двух крашеных тумбах сверкали искривленные канделябры, правая сторона гостиной была загромождена роялем, а портьера проходной двери, ведшей в биллиардную, была таинственно опущена; над серединной дверью, по обыкновению, красовался в овальной раме масляный портрет бывшего мухрованского коменданта — седого генерала с щетинистыми усами и косой черной повязкой, закрывавшей раненый глаз.

Открыла концерт г-жа Захропуло. Это была очень худощавая и очень носатая дама с профилем цапли, с огромным турнюром и желтой астрой в декольтированном корсаже. Она кисло-сладко улыбнулась публике, церемонно опустилась на табурет перед роялем и, неожиданно для всех, хлопнула так энергично по клавишам, что даже флегматичный командир резервного батальона вздрогнул и пробормотал себе под нос: «А чтоб вас!» Несколько мужчин откашлялись, какая-то дама, страдавшая хроническим насморком, визгливо чихнула — и концерт начался...

Для мухрованской интеллигенции концерт слушался довольно внимательно. Командир резерва, подавленный игрой г-жи Захропуло, так тяжело сопел, что сидевшие в дальних рядах справедливо полагали, что слышат соло на фаготе; лысый инженерный полковник то и дело отирал платком свою лысину и все справлялся с афишей, а

командир крепости, сухощавый господин с бритой головой и висячими китайскими усами, чтобы показать, что он служил в Петербурге и видал виды, повернулся к концертантке спиной. Когда г-жа Захропуло наконец благополучно окончила свою боевую музыку, военные дамы, не практиковавшиеся на фортепиано далее попурри из «Гугенотов» [2], снисходительно переглянулись, а греческие носы раздули ноздри и нерешительно захлопали. Фортепианистка удалилась, и теперь наступила минута всеобщего любопытства в ожидании пресловутой Фиорентини...

Но вместо Фиорентини сначала явился маленький шершавый солдатик, состоявший при клубе, и поправил свечи в левом канделябре, потом, немного погодя, вышел длинный итальянец с оливковым цветом лица, во фраке, пышном белом галстухе и с нотами под мышкой — аккомпаниатор синьор Коки, как гласила афиша, и, раздвинув фалды, очень долго усаживался на табурете... И затем уже, когда публика достаточно намучилась, из-за портьеры показалась сама Фиорентини. Появление ее совершенно разочаровало мухрованскую интеллигенцию. Все почему-то ожидали, вследствие превратного понятия об примадоннах, увидеть какую-то необыкновенно высокого роста женщину с огромными огненными глазами и в умопомрачительном туалете и очень удивились, когда увидели перед собой небольшую, очень полную женщину, лет под сорок, в простом черном шелковом платье, с маленькими черненькими усиками на толстой губе и с небольшими, хотя очень симпатичными, черными глазами. Это была та самая знаменитая Эмма Фиорентини, когда-то приводившая в восторг Петербург своим бархатным меццо-сопрано, полным задушевности и страсти. Теперь она возвращалась на родину с остатками своего прежнего величия и, остановившись проездом в Мухровани, вздумала, на прощание с Россией, дать концерт на ее границе. Но подействовал ли на нее безучастный прием мухрованской публики, утомление ли с дороги или что другое, но первое отделение она пела довольно вяло, без тех артистических вспышек, которыми она некогда зажигала сердца. Да и сама программа концерта, в особенности в первом его отделении, блиставшая именами Листа, Чимарозы [3] и Бетховена, представляла для непосвященных слушателей мало утешительного, и когда отделение закончила неумолимая г-жа Захропуло своим барабанным боем, мухрованская интеллигенция облегченно вздохнула, а большинство обер-офицеров с по-

спешностью школьников бросилось в буфет. У буфета же сосредоточилась и «Камчатка» с «Зеленым змием» во главе. Разумеется, предложено было «риккикикнуть», и все выпили, не исключая Степурина. Это было неудивительно, так как Степурин находился, под влиянием музыки, в каком-то особенно возбужденном, совершенно новом для него настроении. Пение Фиорентини хотя и не захватило его за душу, но растревожило внутри Степурина что-то, чего он не мог себе определить, и хотя, не имея в руках программы, он слушал концерт довольно рассеянно, но ощущал теперь в своей душе какие-то томные и тоскливо-сладкие отзвуки.

Между тем вторично «риккикикнувшая» компания завербовала в свою клику адъютанта резервного баталиона, женатого на сестре г-жи Захропуло и потому считавшегося знатоком музыки, и принялась обстоятельно обсуждать все выдающиеся достоинства синьоры Фиорентини, помимо вокальных, разумеется.

IV

Степурин, не любивший сальных разговоров, отошел от буфета и, от нечего делать, стал рассматривать вывешенную у входа афишу. Для него, как и для большинства публики, вокальная программа Фиорентини, вся составленная из классических вещей, производила впечатление какого-то докучного темного облака, и только стоявшая в конце «Песнь Миньоны» задела его за живое. Когда ему бросилось в глаза слово «Миньона», он даже тихо вздрогнул. С этим именем для него связывалось одно впечатление, чудесное, как сказка. Читавший все без разбора, что попадалось под руку в их крепостной библиотеке, Степурин раз натолкнулся на разрозненный том сочинений Гете, заключавший «Вильгельма Мейстера» [4]. Многое он в романе не понял, некоторые страницы совсем пропустил, но все те места, где появляется Миньона, проглотил с лихорадочной поспешностью. Образ этого наивного пленительного ребенка запал ему в душу, как тайный восторг первой любви, как случайная встреча с сочувственным созданием, так же как и он, бедным и потерянным среди чуждых ему людей, смутно предчувствующим иные радости, иную жизнь, иную родину... Впечатление было единственное по своей неотразимости. С тех пор образ Миньоны являлся ему во

сне, преследовал его в звездные августовские ночи, когда он прогуливался с Чичиковым по крепостному валу, мелькал в загорелых чертах черноглазых молдаванок, когда он возвращался с охоты по берегу Днестра, мимо крестьянских хат и виноградников, а тоскующая песнь Миньоны: «Ты знаешь ли страну?» — он сам не знал как запомнилась ему наизусть, как молитва [5]. Теперь он готовился услышать эту песнь как что-то давно-давно знакомое, с чем он сжился и слюбился, и когда дребезжащий звонок позвал публику в залу, он поспешил скорей занять свое место в последнем ряду кресел, в углу, у стены, и весь сосредоточился в ожидании обещанного счастья. Толстая, коротенькая Фиорентини вдруг выросла в его глазах, помолодела, похорошела, голос ее стал все ближе и ближе доходить до сердца, и непонятная до сих пор итальянская речь звучала и угадывалась, как родная. Тем не менее Степурин не проявлял шумных восторгов «риккикикнувшего» офицерства, одинаково аплодировавшего и одушевившейся теперь Фиорентини, и выходившему с нотами аккомпаниатору синьору Коки, и носастой бездарности г-же Захропуло — и сидел молча, понурив голову, втайне волнуясь, точно любовник в нетерпеливом ожидании давно условленного свидания.

И вот, наконец, по зале пронеслось ласкающее и чарующее, как дуновение весны:

«Non conosci quel suolo
Che di tutti è il più bello?»

(Не знаешь ли ты ту страну, которая всех лучше?)

Степурин побледнел, машинально поднялся со стула и, отодвинувшись в темный угол стены, замер, как приговоренный... Эмма Фиорентини пела на этот раз действительно с особенным одушевлением. Вспомнила ли она и вправду в этом неприютном и унылом захолустье свою родную Италию, хотела ли разжечь сонливую мухрованскую интеллигенцию или просто пела хорошо от прозаического сознания, что ее утомительная программа оканчивается, но ее бархатный голос плакал и трогал, как живая страсть. Степурин стоял не двигаясь, боясь пропустить малейший замирающий звук, и уставился жадным взглядом в разгоревшиеся черные глаза итальянки... А песнь Миньоны все разрасталась, становилась все страстнее, все тоскливее, терзала его сердце, как терзает родная нам мука.

«Ah! potess'io tornare
A quel suolo che intese il mio primo vagir!»

(Ах! если бы возвратиться мне в ту землю, которая слышала мой первый лепет!)

Поет она... Но это уже не пение, это почти вопль, в котором слышится жгучая боль человеческого страдания:

«Ivi pace trovare,
Ivi amare, morire!»

(Там бы найти покой, там бы любить, там бы умереть!)

«Ivi amare... morire...» — бессознательно шепчет про себя Степурин... и вдруг вся зала задергивается туманом — и зрители, и сцена, и синьор Коки, а сама Фиорентини все уменьшается и превращается, наконец, в маленькую, маленькую девочку, в ту самую сказочную грациозную Миньону, которая неотлучно жила в его сердце... Худенькое ее тельце едва прикрыто рубищем, черные волосы растерянно рассыпались по оголенным плечам, и во всей ее наивной и хрупкой фигурке, начиная с ее крошечных босых ножонок, потом в этих тонких, беспомощно протянутых руках, в этих печально мерцающих глазах оживает что-то до такой степени детски-милое и невыразимо трогательное, что Степурину хочется плакать. Да, это она, его заветная Миньона, тайная подруга его целомудренного сердца, точно такое же одинокое и заброшенное дитя, как и он сам, бог знает зачем заброшенный в глухую и безрадостную жизнь... И в самом деле, что делать ей, этому чистому ребенку, на этой скучной и холодной земле, посреди чуждых и грубых людей?.. «Туда, скорей туда, в эту неведомую, прекрасную страну, по которой тоскливо сжимается мое сердце!» — рыдает она в отчаянии...

«Там полюбить... там и умереть!»

«La solo, la solo vorrei restare,
Amare, amare... e morire!»

И ее голос обрывается, точно последний всхлип погибающей жизни...

«Браво! брависсимо!» — раздаются около Степурина оглушительные голоса — и сновидение исчезает, а с ним вместе рассеивается предательский туман; но сама Фиорентини все еще заслонена от него, точно облаком, и, когда она раскланивается с публикой, он ее не различает, а только видит красный цветок, трепещущий на

ее высокой прическе, и фрачные фалды синьора Коки, убирающего ноты. Шум все не прекращается, и певица снова появляется на вызов и кланяется, еще и еще, но Степурин опять ничего не видит, кроме красного трепещущего цветка. Теперь аплодисменты превращаются в настоящую бурю: хлопали все — дамы и мужчины, штаб- и обер-офицеры, трезвые и подвыпившие, и, разумеется, оглушительнее всех — подпоручик Дембинский...

Не хлопал один Степурин. Он стоял по-прежнему позади всех, прислонившись к стене, неподвижный и смертельно бледный, устремив растерянный, помутившийся взгляд в сторону занавеса, за которым скрылась чародейка Фиорентини. Если бы его спросили, что это с ним такое произошло, он едва ли бы сумел ответить. Он знал лишь одно, что это произошло с ним в первый раз в жизни: какая-то совсем новая, ослепительно-светлая волна врасплох налетела на него, обожгла и, захватив с собой, понесла, как беспомощного и покорного ребенка, в неведомую и блаженную даль... Он видит, что концерт кончился и быстро остывшая мухрованская публика, зевая, расходится; он явственно слышит шум раздвигаемых стульев, звяканье шпор и шуршание дамских юбок и в то же время ничего не видит и не понимает, отчего все кончилось и отчего все расходятся, и ничего не слышит, кроме одного всезаглушающего, манящего, священного призыва: «Amare e morire...» «Да, да, morire!» — думает он настойчиво про себя, сдерживая подступающие к горлу слезы. О, какое бы это было счастье, если б умереть сейчас, здесь, на этом самом месте, ни на секунду не выходя из своего сладостного оцепенения...

— Ну, что, брат Степурин, как тебя пробрала синьорита? — раздается под самым его ухом хриплый голос «Зеленого змия».

— Да... хорошо... только мне пора... скорей туда...— бормочет он бессвязно и стремительно бросается к выходу.

— Стой!.. куда?..— кричат ему вслед Нищенков и Дембинский.— Эй, пустынник!.. мы ведь вместе до дому?..

Но Степурин ничего не отвечает и, лихорадочно-поспешно накинув на плечи пальто, выбегает на улицу. Он хочет еще раз во что бы то ни стало видеть волшебницу. Он знал, что у «благородки» есть другой подъезд со стороны двора, и был безотчетно уверен, что она выйдет именно с этого подъезда, и выйдет сейчас же, так что

нельзя медлить ни минуты. Затем ли он торопился, чтобы вымолить цветок на память или еще раз увидеть те чудесные глаза, в глубине которых выглянула на миг детская душа Миньоны, или просто, в силу бессознательного инстинкта, удержать ускользающее счастье?.. Он в этом не отдавал себе отчета, как не отдавал отчета во всем происшедшем с ним любовном захвате. Как раз когда он подходил, в стоявший перед подъездом фаэтон скользнула из дверей укутанная женская фигура, похожая на Фиорентини, и так как сеял дождь и кузов экипажа был поднят, трудно было угадать, была ли это действительно она. Но это была *она,* Степурин это знал с ясновидением влюбленного, и когда из глубины фаэтона ломаный мужской голос крикнул: «Пашель!», Степурин ринулся как сумасшедший к коляске, простирая умоляюще руки и рискуя ежеминутно быть раздавленным. В фаэтоне на минуту произошло замешательство: *она* спросила что-то по-итальянски, *он* сердито перебил ее на каком-то смешанном наречии, и до Степурина явственно дошли слова: «русский пьяный официр». Затем раздалось вторично: «Пашель, дурак!..» Лошади рванули, и экипаж исчез под воротами, обдав очарованного поручика комьями грязи.

Но поручик нимало не оскорбился этим обстоятельством, потому что смутно не мог не сознавать, что все, что он проделал, было до крайней степени глупо и бесцельно, и потому, что дрожавший в его душе пленительный призыв «Amare e morire» наполнял его всего такой сладостной истомой, которая совершенно отделяла его от внешнего мира... Куда идти?.. Чего теперь ждать! К чему жить?!

Он поправил съехавшее с плеч пальто и почувствовал, как его толкнула под локоть дужка револьвера, лежавшего в боковом кармане. Степурин вздрогнул как бы от минутного озноба и странно-задумчивый вышел на улицу... Машинально обогнул он малолюдную улицу, где помещалось благородное собрание, машинально перешел базарную площадь, миновал растянувшееся за ней жидовское предместье и скоро вышел на большую дорогу, ведшую к крепости. По обеим сторонам его была теперь степь, огромная, безотрадная бессарабская степь — сплошное море темноты и грязи. Но на Степурина все это не производило ни малейшего впечатления — ни угнетающая темнота, ни топкая поколенная грязь, ни сеявший как сквозь решето лихорадочный ноябрьский дождик. Точно добиваясь сосредоточенной и быстрой ходьбой за-

глушить тупую боль, сверлившую его сердце, он продолжал шагать, весь мокрый и грязный, по отвратительному осеннему месиву и продолжал бы шагать до бесконечности, пока бы не подкосились от устали ноги, если бы его шаг не отдался вдруг на деревянном помосте... и, остановившись, он увидел себя посреди крепостного моста перед главными крепостными воротами.

Он осмотрелся. Внизу, под ним, чернела, как отверстие могилы, глубь крепостного рва, а прямо, впереди, за линией бруствера, выступали сквозь дождевую сетку зубчатые башни крепостного замка, высокие и зловещие, как привидения. Степурин посмотрел на крепость и решительно мотнул головой, как бы тем говоря: «Нет... туда... не стоит!..»

Он обошел с правой стороны крепостной мост и, отыскав знакомые ступеньки, ведшие вниз оврага, стал спускаться, одной рукой ощупывая боковой карман с револьвером, а другой — упираясь в липкую грязь, и все быстрее и быстрее сползал по склизкой насыпи, как сползает с возу лишняя тяжесть...

Было два часа пополуночи, когда беспечальная компания, состоявшая из штабс-капитана Дедюшкина, подпоручика Дембинского и прапорщика Нищенкова, приближалась к крепостным воротам. Денщик Дедюшкина, одинаково пьяный, как и его барин, шел впереди господ офицеров и освещал путь фонарем. Господа офицеры, сильно «риккикикнувшие» после концерта, были очень веселы и сообщительны и обсуждали женский вопрос со всех сторон, с которых только можно было подойти. Дембинский объяснял, что он любит женщин деликатных и щепетильных и питает антипатию к крупным формациям. Дедюшкин доказывал ему, что он исполнен предрассудков, и в пример приводил ему комплекцию Фиорентини.

— Что до Фиорентини, это особь статья... Это, черт возьми, примадонна!..

Нищенков толкнул под бок Дедюшкина.

— А что скажешь, змий, если бы этакую примадонну да залучить бы к нам в «Камчатку»?

— Мм... да, вот этакую... это действительно...— возрадовался было «змий»... и вдруг все трое разом остановились...

Со стороны крепостного оврага послышался не то выстрел, не то какой-то странный сухой треск. Денщик тоже остановился и спьяна выронил фонарь. Господа офицеры

выругали его самым последним словом, и так как треск больше не повторился, то все решили, что это им просто почудилось, и, когда денщик снова зажег фонарь, путь продолжался самым благополучнейшим образом. То обстоятельство, что Степурин еще не возвращался в крепость, их нисколько не смутило, так как это они объяснили прямым воздействием концерта Фиорентини и единогласно решили, что разгоряченный поручик, вероятно, остался ночевать в городе у «Султанши». Такое направление на путь истинный целомудренного пустынника совершенно искренно порадовало обитателей «Камчатки», и они заснули сном праведников.

Но их праведный сон продолжался недолго. Не было еще пяти часов утра, когда их разбудил денщик Нищенкова и, путаясь в словах, объяснил, что над «ахвицерским хлигелем» стряслась беда: что так как поручик Степурин не изволили податься до дому, то Чабан пошел их «пошукать» и нашел их благородие в овражке «в мертвом виде». Дембинский, Нищенков и Дедюшкин на скорую руку оделись и опрометью бросились в каземат «пустынника»...

В сыром и неприютном каземате, едва выступавшем в полусвете утренних сумерек, на складной походной кровати лежал труп поручика Степурина. Лицо его было мертвенно-бледно, но беззаботно спокойно, как у спящего ребенка. Вся левая сторона сюртука была испачкана кровью, запекшиеся следы которой виднелись на свисшей левой руке покойника и тут же на полу... Чичиков сидел возле кровати и с унынием, от которого становилось жутко, выл не переставая. В углу, у печки, стоял Земфир Чабан, осунувшийся, с опухшими от слез веками, и с каким-то тупым ожесточением смотрел в окно каземата — на чернеющий гребень крепостного вала, на полосатую спину сторожевой будки, на равнодушную фигуру часового, блуждающего, как маятник, вдоль своей узкой площадки...

КОЖАНЫЙ АКТЕР

— Господин Караулов, пожалуйте!.. Сейчас ваш выход!

Небольшой человек в испанском костюме, гримировавшийся в конце уборной, наскоро оглянул себя в зеркало, надвинул себе на лоб какую-то зловещую шляпу и, при-

державая левой рукой шпагу, а правой — свежеподклеенную бороду, стремительно ринулся за кулисы.

Прибывший в клуб всего за четверть часа до начала представления, чтобы заменить внезапно заболевшего «благородного отца», он еще не успел прийти в себя после часового своего путешествия по злейшему петербургскому морозу и смирить свое благородное негодование на подлеца-извозчика, содравшего с него от Коломны[1] до «Ситцевого клуба» неумолимый полтинник. Возмущенный до глубины души низостью людей, пользующихся крайним положением таких бедняков, как он, получавших за «выход» по четыре с полтиной, г. Караулов, против воли, больше думал об утраченном полтиннике, чем об испанском гранде, которого ему предстояло сейчас изображать и о личности которого он имел самое смутное понятие.

И вот он уже на своем посту, за кулисами, перед потайным ходом принадлежащего ему — на время спектакля, разумеется,— великолепного севильского замка. Но проклятый полтинник решительно мешает Караулову позабыться, что он находится под южным небом Испании, и он взволнованно топчется на месте, стараясь согреть занемевшие ноги и дуя на отмороженный безымянный палец левой руки, заглядывает через плечо сценариуса в обтрепанную тетрадку, по которой тот следит за выходами.

— Голубчик,— шепчет он ему,— объясни, сделай милость, что я теперь такое? Я ведь роли ни в зуб... Прямо из Коломны!..

Сценариус — высокий, заспанный господин с подвязанным флюсом и мутными глазами — кивнул ему на сцену по направлению толстого испанца с тараканьими усами, стоявшего на коленях перед чахоточной девицей с вырезом на груди и распущенными волосами, и апатично пояснил:

— Понимаешь, сеньор Алонзо соблазнил твою дочь... А ты, понимаешь, внезапно приехал и упрекаешь Алонзо...

— Ты бы, все-таки, хоть приблизительно сказал... в каком роде надо упрекать? — засуетился Караулов.

— Ах, когда же теперь... Суфлер скажет, в каком роде! — И, внушительно нажав благородного гранда ладонью в спину, сценариус буркнул: — Ну, ступай... упрекай!..

Караулов моментально придал своему лицу оттенок меланхолии и тупоумия и, закинув за плечо конец испанского плаща, медленно выполз на сцену, к великому ужасу толстого испанца с тараканьими усами. Девица с вы-

резом упала в обморок, а суфлер прохрипел из своей будки по адресу Караулова:

— А, сеньор, я приехал, кажется, несколько ранее, чем вы ожидали?!

— Сеньор, вы, кажется, не ожидали, что я приеду из *Месопотамии?!* — произнес Караулов и саркастически улыбнулся.

— *Несколько ранее,* — подсказал суфлер.

— Да, я приехал из Месопотамии! — с достоинством повторяет коломенский испанец и понемногу... входит в роль.

— Кто это такой? — обращается сидящая в первом ряду увядшая дева с русалочным взглядом к своему соседу, пожилому господину с тем особым геморроидально-разочарованным выражением лица, которое обличает в нем клубного завсегдатая...

— Это некто Караулов, — сонно поясняет завсегдатай. — Так, ничтожность... кожаный актер!

Кожаный актер — вот был над ним общий приговор! Эта кличка, пущенная кем-то из закулисной братии при первом появлении Караулова на клубных подмостках, так и закрепилась за ним на всю жизнь, как нечто очень характерное и только ему одному присущее. Кожаный актер — это, так сказать, значило, что обладатель клички не только никогда не вылезал из своей кожи, превращаясь в то или другое лицо, но и также что его кожа могла, по требованию антрепренера, претерпевать, без особого ущерба для ансамбля, самые удивительные превращенья — от короля до нищего и от великосветского виконта до водевильного дядюшки с табачным носом. Словом, это был совершенно особый театральный злак, уродившийся на той совершенно особой клубно-театральной почве, где актер, знающий роль, — такая же редкость, как в январе земляника, где три репетиции одной и той же пьесы считаются историческим событием, а вникающий в дело автор чем-то вроде закулисного домового, понапрасну смущающего мирных людей... В этом коптильном и зевающем мире, по какому-то предрассудку причисляющем себя к артистическому, такая безличность, как Караулов, представляла своего рода практическую ценность. Готовый во всякое время дня и ночи по первой повестке из клуба выступить в любой роли старинного и новейшего репертуара, он хотя никогда и не выдвигал ничего, но никогда ничего вко-

нец не портил, не вызывал аплодисментов, но не получал и свистков и, видя «роль» лишь в редких случаях накануне спектакля, а самую пьесу лишь в руках у суфлера, справлялся с похвальным достоинством со своей неблагодарной задачей, разрешив в лице своем неразрешимейшую загадку — служить искусству без искусства...

Многострадальные клубные подмостки, что бы с вами сталось, если бы вас не выручали подчас рассеянные в дальних концах Коломны и Петербургской стороны полуголодные кожаные актеры!..

Вот и «Ситцевый клуб»,— бывало, чуть что — сейчас шлет гонцов за Карауловым. Идет, положим, в клубе «Орфей в аду» [2] и певец, поющий партию Юпитера, проходя мимо буфета, непредвиденно спал с голоса. Сейчас какой-нибудь закулисный гном отряжается за Карауловым, и тот, хотя отроду ничего не певал, кроме «Чижика», разучивает на слух юпитерские куплеты, и, к душевному спокойствию антрепренера, вечерний спектакль проходит без особого скандала. Или заболеет, например, перед самым спектаклем первый сюжет, играющий Иоанна Грозного в «Князе Серебряном» [3]. Что делать? — ломает голову антрепренер.— Не отменять же спектакля!.. Разумеется, больше нечего делать, как послать за тем же Карауловым. Опять театральный гном скачет на берег реки Пряжки, разыскивает на заднем дворе клетушку, где прозябает спасительный кожаный человек, и смело стучится в дверь. А кожаный человек, не предвидевший своего призвания на царство, заблаговременно улегся спать и мирно посвистывает. «А! что такое? Не пожар ли?!» — бормочет спросонья Караулов и, узнав в чем дело, с хладнокровием акушерки, привыкшей к ночным тревогам, быстро одевается и путешествует, под проливным дождем, в клуб... изображать Иоанна Грозного. Он не отказывался никогда и ни от чего — лишь бы заплатили! Кажется, если б не театральные предрассудки, он бы охотно заместил даже заболевшую актрису, конечно, из разряда комических старух.

А то ли было несколько лет тому назад, когда он проходил курс драматического искусства в ложно-классической школе пресловутого «Пепочки Бродедеева»? Как он был тогда наивен, прекраснодушен и полон веры в самое лучезарное будущее! До самого выхода из драматического питомника Караулов так и не подозревал, что все эти Мольеры, Шекспиры и Шиллеры были своего рода весе-

лящими глаз китайскими ширмочками, за которыми пряталась самая гнусная и безотрадная изнанка. Когда же он наконец вышел и очутился на панели один, без друзей и поддержки, с свернутым трубкой школьным дипломом под мышкой, он вдруг понял весь обман и горько усмехнулся.

Диплом был оттиснут на превосходной веленевой бумаге, с какой-то аллегорической уродливой маской в заголовке и с пояснением в тексте, что означенному в сем дипломе дворянину, Диодору Ильичу Караулову, предоставляется широкое право играть где угодно и что угодно на всем необъятном пространстве Российской империи. Внизу была печать школы в виде лиры, перевитой лаврами, и подпись лжеклассического директора — Пепочки Добродеева. Увы! Лучшие, энергические годы были потрачены под педагогической сенью предательских китайских ширмочек, и возвращаться назад было поздно...

Диодор Караулов махнул рукой на несбыточные мечты юности, сунул дутый диплом в боковой карман своего сюртука и принялся отныне играть где угодно, когда угодно и что угодно — лишь бы заплатили! Обтрепав на пороге клубных театров последние обрывки своих недавних мечтаний, он понемногу и незаметно для себя начал опускаться все ниже и ниже в затягивавшую его тину. Сама наружность Караулова, под влиянием полуголода, вечных скитаний и перегримировок, тускнела, облезала, искраплялась пятнами и прыщами и стала скоро походить на ту самую уродливую аллегорическую маску, которая украшала его школьный диплом.

Все было кончено — он сделался кожаным актером!

Дома уже давно свыклись с этим кожаным положением и никогда не спрашивали Караулова по возвращении из театра — *как* он играл? — а только осведомлялись: *получил ли?* И разумеется, в его житейской обстановке это было самое главное.

А обстановка его была такова, что не только можно было пасть духом и сделаться кожаным актером, но и вовсе превратиться в кожаного человека, заглушившего в сердце последние остатки человеческой надежды. На руках Караулова находилась мать, вдова-чиновница — полубольная, полуслепая, выживавшая из ума старуха, изводившая сына вечными воздыханиями о том сказочном довольстве, которым она пользовалась при покойном муже, умершем от удара за полмесяца до выслуги полной пенсии. Сестра его, Авдотья Ильинишна — «кукольная порт-

ниха», хотя и добавляла к жалкой чиновничьей пенсии еще более жалкие гроши, но смотреть, как она работала, было просто несчастье: бледненькая, худенькая, полугорбатая, она страдала какой-то болезнью суставов, и ее пальцы, слабые и искривленные, почти через силу и только ввиду долгой привычки справлялись с иглой, обряжая в разноцветные лоскутья кокетливых игрушечных кукол. Опорой семьи являлся, таким образом, Диодор Караулов, или, как его звали дома, «Доря», и его кожаный заработок. Ничего, следовательно, нет мудреного, что бедный Доря, любивший мать и страдавший за сестру, так скоро убыл душой и стал смотреть на свой актерский измор совершенно так же, как смотрит наборщик на свой случайный набор, мало справляясь о его содержании и лишь заботясь о задельной плате. В особенности к сестре он питал какую-то болезненную, почти благоговейную привязанность и готов был для нее не на такие еще жертвы.

Но ошибочно было бы думать, что Караулов окончательно примирился со своим «кожаным положением» и что в его убывшей душе не сохранялось более искры надежды на лучшее будущее. Глубоко, на самом ее донышке, под хламом неизбежных домашних дрязг и всяких театральных и житейских обид, незаметно тлелась эта спасительная искорка, разрешаясь по временам в груди Караулова приливами артистической гордости и тщеславия. В такие возвышенные минуты он как-то вдруг весь вырастал в своих собственных глазах, расхаживал широкими шагами по своей узкой комнате и, полузакрыв глаза, мечтал о дебюте на Александринской сцене в роли *Несчастливцева* в «Лесе» [4], которую он мнил своей коронной ролью и которую ему не удалось нигде еще сыграть, несмотря на всевозможные театральные случайности; в более же здоровые минуты он мечтал, как бы пристроиться на той же сцене на «выход» или пробраться в Москву, в театр Корша [5], на жалованье сценариуса. Но подобные минуты были очень редки и совпадали с такими же редкими минутами материального благополучия; в большинстве случаев горизонт был пасмурен и покрыт тучами. А тучи всегда заволакивали его, когда по клубам все обстояло благополучно и благодетельный театральный гном не появлялся на берегах реки Пряжки.

Эти томительные меланхолические досуги проводились Карауловым, по обыкновению, на жалком и обтрепанном, как и он сам, кожаном диване, в мрачном бездействии и в

излиянии желчи на все остальное, «не кожаное» человечество.

Вижу, как теперь, низенькую и полутемную, как погреб, комнату, разделенную надвое ситцевой драпировкой и убранную угнетающе убого. Как странное противоречие с этой убогостью, недоумевающе глядит над диваном большой пожухший портрет какой-то владетельной шведской принцессы с утиной шеей и мушкой на щеке. Портрет этот, вместе с затейливой золоченой рамой, его украшавшей, доставшийся Карауловым по наследству от какого-то дальнего родственника, составлял их фамильную гордость и ревниво оберегался про самый черный день, так как, по мнению одного коломенского живописца, принадлежал кисти хотя лично ему не известного, но очень знаменитого художника и стоил, наверное, не одну радужную. Но пока члены семьи все на ногах, «шведская принцесса» благополучно продолжает висеть на стене, а владельцы ее продолжают работать, кто как может...

Авдотья Ильинишна сидит сгорбившись у окна и копошится над кружевным кукольным пеньюаром; старушка Караулова ворчит и что-то стряпничает по соседству, в маленькой кухоньке; а униженный и оскорбленный Доря лежит в своем замасленном пестрядинном халате у стены на диване и изощряет свое воображение в изобретении разных жестоких слов по адресу клубных антрепренеров. В ногах его валяется обтрепанная книга «Театральное искусство» П. Боборыкина [6] — сей последний остаток школьной мудрости, на которой теперь бессовестно высыпается домашний кот.

— О, антрепренеры, антрепренеры! «Лживое, коварное отродье крокодилов! — мстительно гудит Караулов, потрясая кулаком в воздухе.— На устах поцелуй, кинжал в сердце! Львы и леопарды кормят детей своих...» [7]

— Доря, охота тебе понапрасну надрываться! — перебивает укоризненно сестра.

Караулов теперь сжимает оба кулака.

— Помилуй, как же мне не надрываться, когда в жизни на каждом шагу одно свинство! Отчего, например, меня так редко занимают? Больше ни от чего, как оттого, что я не подлизываюсь к первачам, не кланяюсь и не пьянствую со всякими подлецами... Ах, Дуня, Дуня, если б ты только знала, сколько на свете подлецов!!

На этот монолог — уже не из Шиллера — отзывалась мать из кухни:

— Как это ты хочешь, Доря, чтобы добывать деньгу и не кланяться... Не поклонясь до земли, и гриба не подымешь! Муж-покойник не чета тебе был, а всю жизнь прокланялся; да и помирал-то — ничком на панель повалился...

— Ну и пусть прокланялся! А я вот лучше околею на этом кожаном диване, а уж не пойду просить... Небось понадоблюсь — сами придут клянчить!

На пороге появлялась негодующая, распаренная от плиты старушечья физиономия...

— Не кланяйся, сынок, не кланяйся... пусть лучше старуха мать лавочнику да дворнику кланяется — так-то куда легче жить!..

Караулов, как ужаленный, вскакивал с дивана и нервически взвизгивал:

— Маменька, не растравляйте рану моего сердца! Вам все равно никогда не понять, что должен чувствовать артист в унижении... потому что вы в душе чиновница и вам на мои мечты наплевать!

— Доря! — строго останавливала его Авдотья Ильинишна. И на четверть часа в квартире водворялся мир. Но через четверть часа сам же Доря поднимал вопрос о летнем заработке, и тогда над головой деликатной шведской принцессы проносился настоящий семейный ураган. Да это иначе и быть не могло, потому что летний заработок был самое больное место в семье Карауловых.

Кто имеет хоть слабое понятие о летней театральной жизни Петербурга, тот без труда поймет, что кожаный человек, подобный Караулову, летом должен был играть еще более жалкую роль, чем зимой,— простужая горло на открытых сценах, путешествуя зачастую пешком из Лесного в Озерки [8] и из Коломны на Крестовский остров, недоедая, недосыпая, беспрестанно подвергаясь всяким оскорбительностям со стороны петербургского климата. Да, это была в полном смысле какая-то полукаторжная, полуцыганская, катарально-бутербродная жизнь — скорее жизнь первобытного номада [9], чем жизнь белого человека, претендующего на звание артиста, хотя бы даже и кожаного.

Если вам когда-нибудь случалось летом, ранним утром, проезжать по Офицерской улице, вам, наверное, попадался на панели небольшой полинявший и мрачный человек с повязанным горлом и узелком под мышкой, стремительно шагавший по направлению набережной реки Пряжки;

и если, по недоразумению, вы приняли его за петербургского жулика, возвращавшегося со своего промысла,— спешу разуверить вас: это был не кто иной, как Диодор Караулов, возвращавшийся со своей кожаной работы где-нибудь на открытой сцене Ливадии [10] или Озерков!..

Иногда, впрочем, его занимали летом и на «закрытой» сцене, когда наезжал какой-нибудь гастролер и заявленная последним пьеса требовала увеличения персонала. Тогда Караулов, с прибавкой лишнего полтинника к своему обычному кожаному окладу, переводился с открытой сцены на закрытую и играл бок о бок с московской или провинциальной знаменитостью.

Ох уж эти гастролеры! Это было чистое наказание играть с ними... Или — вернее говоря — играть вовсе и не приходилось, а нужно было лишь подыгрывать, но подыгрывать настолько умело, чтобы не навлечь на себя гастролерского грома и, оставаясь все время фоном картины, неосторожно как-нибудь не напомнить о себе как о живой фигуре. Поэтому репетиция подобного гастрольного спектакля была для болезненно самолюбивого Караулова своего рода театральной инквизицией.

Приезжает подобный летний гастролер на репетицию вечернего спектакля и узнает, что г. Дреймадеров, играющий богатого лондонского банкира, не явился на репетицию и его роль передана *какому-то* Караулову, игравшему в пьесе третьестепенную роль старика нищего. Гастролер оскорблен, раздражен и приступает к репетиции в самом наиязвительнейшем настроении. Караулов из сил выбивается, чтоб ему подладить, но тот все недоволен.

— Слабо подыгрываете, душенька, слабо! *Нажимайте сильнее педаль!*

Караулов, прошедший весь курс театрального волапюка [11], начинает подчеркивать слова. Но гастролер, раздраженный отсутствием Дреймадерова, с которым уже сыгрался на первой репетиции, снова привередничает.

— Вы, как вас... Меркулов, что ли?.. Надо, милочка, оттенять роль!.. Здесь, например, у вас пауза, потому что я делаю *крендель* и публика мне аплодирует. В конце сцены — опять крендель и, разумеется, вызов... а монолог ваш вы можете преспокойно вычеркнуть, потому что он иначе съест мой *уход*... Вникли, родной, в чем суть?

— Вник-с! — бормочет сквозь зубы Караулов и, следуя указаниям гастролера, безропотно нажимает педаль, делает паузы и херит у себя все выигрышные места. В ко-

роткий промежуток, между концом репетиции и началом спектакля, он забирается в пустую купальную будку на берегу театрального пруда и зудит усиленно роль обрезанного лондонского банкира.

За десять минут до поднятия занавеса Караулов — уже совсем одетый и загримированный — взволнованно прохаживается с ролью под мышкой по сцене в почтительном отдалении от антрепренера и гастролера — тоже совсем готового,— мирно между собой беседующих.

Но вот к антрепренеру подбегает сценариус и докладывает, что только что приехал Дреймадеров.

— Ну, слава богу! — восклицают в один голос гастролер и антрепренер.

— Караулов! — командует последний,— вы играете прежнюю роль нищего... Бегите и переодевайтесь... да смотрите поскорей... сейчас даем занавес!..

И Караулов, не успевший еще прийти в себя от неожиданности, стремглав бросается в уборную, быстро совлекает с себя мешковатый костюмерский редингот лондонского банкира, отрывает чуть не с мясом со щек рыжие бакены и мигом переоблачается в обдерганную нищенскую блузу, напяливает на голову театральную лысину, наскоро гримируется и спешит опять на сцену, почти на ходу подклеивая себе седую нищенскую бороду.

Действительно, надо было быть кожаным актером, чтобы претерпевать такие жестокие превращения!..

Был, впрочем, в жизни Караулова один такой день, когда он самым решительным образом вышел из своей кожи и поразил игрой как зрителей, так и товарищей по сцене; но этот день оказался роковым для злополучного кожаного актера, точно судьба, снисходившая к его кожаному существованию, захотела наказать его, когда он осмелился перейти положенный предел.

В этот день в «Ситцевом клубе» шла какая-то раздирательная французская мелодрама, в которой на долю Караулова выпала ответственная роль старого наполеоновского генерала, губящего против своей воли родную дочь, тайно влюбленную в молодого графа, передавшегося на сторону Бурбонов [12]. На этот раз роль была доставлена в Коломну, против обыкновения, за целые три дня до спектакля, и Караулов имел полную возможность приготовиться как следует. Он бы, наверное, и приготовился, если б эта присылка не совпала несчастным образом с болезнью Авдотьи Ильинишны, давно страдавшей нервно-желудоч-

ными припадками. Перемогавшаяся уже несколько дней, она в самый день спектакля занемогла настолько серьезно, что потребовалось немедленное вмешательство врача — обстоятельство, к которому чердачный люд, как известно, прибегает лишь в очень крайних случаях.

Бедный Доря сидел сам не свой у изголовья нежно любимой сестры, около столика, уставленного лекарствами, и тревожно вглядывался в ее страдальческое, изжелта-бледное, как восковой слепок, лицо. В руках у него был градусник для проверки температуры, не обещавший ничего успокоительного, а на коленях валялась тетрадь с ролью наполеоновского генерала. Он отлично знал, что роль была выигрышная и что деньги в доме нужны были до зарезу, но горе пересиливало практические соображения и громкие фразы «генерала» о Наполеоне и славе Франции скользили в его расстроенном мозгу, как что-то совсем ему чуждое, никому не нужное и жалко-смешное. Под влиянием душевной тревоги Караулов уже было решил послать в театр отказ (единственный в своей жизни!), но к вечеру Авдотье Ильинишне как будто полегчало — и он отправился.

Один бог ведает, что было внутри у Караулова, когда он вышел на сцену в мишурном и полинявшем мундире французского генерала, загримированный на манер оперного гугенота [13], и начал свою роль!.. Было бы больше чем несправедливостью обвинять его теперь, что он вел первые три акта мелодрамы как заурядный кожаный актер. У Караулова на душе была своя сильнейшая мелодрама, и, разумеется, ему мало было заботы до коварного графа, передавшегося на сторону Бурбонов. О, пусть бы он передался на сторону самого черта — лишь бы не тянул так монологов и скорей кончал пьесу!..

В предпоследней картине у Караулова была совсем коротенькая сцена у постели умирающей дочери: генерал входит и хочет видеть умирающую, а доктор всеми силами старается удалить несчастного старика. Готовясь к ней, Караулов внутренно ликовал, что спектакль близится к концу... Но когда он вышел на сцену и увидал в глубине алькова маленькую, худенькую актрису, неподвижно лежавшую в постели с лицом покойницы,— с ним произошло что-то необычайное... Сколько раз, кажется, он видал на сцене набеленных умирающих героинь и никогда не чувствовал к ним ничего, кроме брезгливости... Теперь же сходство положений внезапно осветило ему

драму во всей ее потрясающей правде... Все, начиная, с полинявшей драпировки алькова до олеографии в позолоченной раме на стене, как нарочно, переносило его от поддельной театральной обстановки на берега реки Пряжки, к настоящему человеческому страданию...

Караулов весь точно переродился... Мучительное сознание собственного несчастия, глухое озлобление на равнодушно любопытствующую толпу зрителей, наконец, какая-то мстительно-радостная жажда перелить свою скорбь в живое слово и заставить страдать нестрадающих — все это вместе неведомой, творчески страстной волной хлынуло в его содрогнувшуюся душу...

— Генерал, уходите... ее нельзя видеть! — говорит доктор, отстраняя его от дочери.

— Один только поцелуй, доктор... один поцелуй!..— упрашивает старый генерал и беспомощно цепляется за его рукав.

Клубный бутафор, игравший роль доктора, невольно поднял глаза на Караулова... и не узнал прежнего кожаного актера... Глаза его умоляюще слезились, голос дрожал, как жалоба ребенка, вся фигура как-то жалко сгорбилась, как у человека, вконец убитого горем. Шатаясь, он подходит к кровати и целует дочь.

— О, холодна, холодна! — вырывается у него болезненным всхлипом, и, опустившись в кресло рядом, он заливается слезами...

Апатичная клубная публика теперь вся встрепенулась, как один человек, и притаила дыхание. Клубный завсегдатай, сидевший в первом ряду и не любивший ничего серьезного, неприязненно хрюкнул... В задних рядах, переполненных более непосредственными натурами, послышалось сочувственное сморканье...

Театральный доктор вновь старается увести «генерала», но тот, как помешанный, идет не в ту дверь, куда следует.

— Не туда, генерал, не туда!

— Ах, доктор, я совсем потерял голову! — потерянно лепечет старик и, уходя, чуть-чуть поднимается на цыпочки и с каким-то удручающе-жалким, полудетским любопытством взглядывает через плечо доктора еще раз по направлению алькова...

Мороз пробежал по коже от этого взгляда у зрителей, проводивших исполнителя за кулисы с молчаливой тревогой; но спустя минуту стены клуба вздрогнули от бур-

ных, исступленно-восторженных и единодушных рукоплесканий всей залы.

— Караулова! Караулова! Караулова!! — гремели десятки голосов.

И Караулов вышел на эту овацию — радостный, потрясенный и торжествующий, как человек, открыто высказавший наконец толпе свои затаенные чувства... За кулисами его встретил антрепренер и заключил в свои благодарные объятия... Около антрепренера суетилась со своими излияниями комическая старуха и какой-то малыш в дубленом тулупчике и с отмороженными щеками, робко лепетавший: «Барин... а барин? Я оттеле прислан!» Но неумолкавшие аплодисменты заглушили этот детский лепет, и Караулов поспешил выйти на сцену вторично... Он находился теперь как в чаду, и когда, низко откланявшись рукоплескавшей толпе, он стал спускаться вниз в уборную, то должен был схватиться за кулису, чтоб не упасть... Тут его опять нагнал замороженный малыш в дубленом тулупчике и настойчиво уцепился за полы его генеральского мундира.

— Чего тебе? — огрызнулся Караулов, тщеславно предчувствовавший свой третий вызов...

— Авдотья Ильинишна помирают!.. Так маменька наказали, как ежели ослобонитесь — чтобы сичас прийтить!!

Караулов так и закаменел на месте...

Но окаменение это продолжалось всего несколько секунд... Как полоумный, кинулся он в уборную, схватил пальто, шапку, свой вязаный шарф и, как был — в мундире французского генерала и пудреном парике — кинулся к выходу, через театральный коридор, забыв все на свете: и свой полубалаганный вид, и свой неслыханный успех, и то, что ему осталось доиграть целый акт, самый эффектный из всей пьесы.

— Караулова! Караулова! — гулко доносилось до его ушей, в то время как он пробирался с своим замороженным посланцем по полутемному коридору к театральному подъезду...

Опасения, впрочем, были преувеличены. Авдотья Ильинишна, благодаря заботам врача, была спасена и начала очень быстро поправляться. Но бедный Диодор Караулов!.. Попавший прямо с жару в своем наполеоновском мундире на двадцатиградусный мороз, он простудился, и простудился настолько жестоко, что уже всякие заботы врача, вылечившего сестру, оказались излишними, и ос-

талась на долю старухи матери лишь одна забота — похоронить злополучного Дорю возможно лучше и благолепнее. Нечего делать — пришлось расстаться, наконец, с нежно лелеянной «Шведской принцессой», которая оказалась на поверку ничего не стоящей особой и оцененной за сорок рублей лишь благодаря старинной резной раме.

Облеченный в гробу в свой единственный черный сюртук, сшитый еще по выходе из школы у закройщика-еврея специально для ролей графов и виконтов, Караулов, по странной случайности, был схоронен вместе с тем самым веленевым дипломом, который ревниво хранился в боковом кармане сюртука. Таким образом, отходя в ту беспечальную страну, где нет ни кулаков-антрепренеров, ни театральных интриг, ни грошовых «поспектакльных», он как бы захватил с собой к престолу всевышнего свою земную челобитную на предательскую школу Пеночки Добродеева и на всех иных, ему подобных, театральных опричников...

Итак, «кожаный актер» исчез с петербургского горизонта, и семья Карауловых спустилась по ступеням нищеты еще ниже...

Я как-то недавно, после долгого промежутка, навестил театральные подмостки «Ситцевого клуба». Подмостки были все те же — тесные и скрипучие, точно аллегорический эшафот, на котором казнятся безвинные авторские головы. Остался тот же, хотя и подновленный, занавес, изображающий неведомое лебединое озеро с волнами сизого цвета и плавающими белогрудыми лебедями — пленительный вид, воспроизведенный как бы наперекор составившемуся в умах представлению о театральном болоте и его злокачественных жителях.

И за кулисами было все то же...

По сцене прогуливался взад и вперед хмурый и неумытый человек, с виду похожий на калабрийского бандита [14], и, размахивая руками, подзубривал какой-то возвышенный монолог; от времени до времени он отрывал глаза от тетрадки и перебрасывался нехорошими словами с плотниками, ставившими декорацию. Подбежала к суфлерской будке какая-то невзрачная дева в коротком и прозрачном пеньюаре и, наклонясь к суфлеру, капризно прошепелявила:

— Вы мне монолога перед смертью не подавайте! Я умру просто... без монолога!

Показался было в глубине беспечальный толстяк в шубе и мокроступах, смахивающий по наружности на Фальстафа[15] и направлявшийся, по всем признакам, к выходу, но был немедленно остановлен калабрийским бандитом:

— Стой, ты куда?

— Ну, известно, куда...

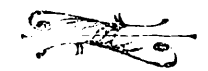
— Эфиоп ты эдакий! Ведь у тебя в последнем акте есть еще сцена с безумной матерью?

— Разве есть? Вот история!

И блудливый толстяк в шубе и мокроступах проваливается обратно в уборную...

В уборной я застал целое скопище каких-то непостижимых, самодовольно лепечущих юнцов с физиономиями заморенных котят и обиженных мопсиков — жалких, преждевременно выкинутых на свет театральных младенцев, которым следовало бы еще сосать молоко, учить «Отче наш» и долбить азбуку и которые уже тянули коньяк, судачили о рецензиях и мнили себя Чацкими и Фердинандами...[16]

«Бедный кожаный актер! — подумал я про себя с грустью.— Конечно, его ожидала лучшая участь... если б ему поручали роли заблаговременно!..»



КОММЕНТАРИИ

При отборе произведений для настоящего издания в него прежде всего были включены произведения, в той или иной степени одобренные А. П. Чеховым. Публикуются также рассказы, небольшие повести, сатирические миниатюры, которые хотя и не получили чеховских отзывов, но являются вещами характерными для творчества автора, запечатлевшими быт и нравы эпохи. Из-за ограниченного объема сборника пришлось отказаться от включения многих вполне заслуживающих того произведений, как, например, от талантливых романов М. Н. Альбова «Ряса», И. Н. Потапенко «Не герой» и др.

Отбор произведений потребовал просмотра множества отдельных изданий, собраний сочинений, комплектов газет и журналов. Неизученность творчества большинства включенных в двухтомник писателей составила особую сложность для установления первой публикации отдельных произведений. В связи с этим в комментариях указываются в основном только те источники, по которым печатаются тексты. Тексты печатаются по последнему прижизненному изданию.

Краткие справки о писателях содержат сведения об их жизненном и творческом пути, оценки современной им критики, а также информацию относительно их связей с А. П. Чеховым.

Н. А. ЛЕЙКИН

Писатель и журналист Николай Александрович Лейкин родился в 1841 году в Петербурге в образованной купеческой семье. Стремление к литературным занятиям проявилось у Лейкина в ранней юности: во время учебы в Петербургском немецком рефор-

матском училище он сочинял сценки, которые разыгрывались на ученических спектаклях. Окончив училище (1859 г.), помогал отцу в торговле, был приказчиком, пять лет прослужил в петербургском страховом обществе, после чего целиком отдался литературной деятельности.

Печататься Лейкин начал в 1860 году, опубликовав в журнале «Русский мир» стихотворение «Кольцо». В 1861 году в журнале «Петербургский вестник» появился его первый рассказ — «Гробовщик». С этого времени Лейкин выступает в периодике как автор бытовых очерков, повестей, коротких юмористических рассказов-сценок, «моментальных» зарисовок с натуры. Значительным было влияние на его творчество В. С. и Н. С. Курочкиных, в сатирическом журнале которых «Искра» он начал сотрудничать с 1863 года. Вскоре вышла его первая книга «Апраксинцы» (СПб., 1864), включавшая сцены и очерки из жизни мелкого купечества, торговавшего на Апраксином дворе в Петербурге. В 1864 году Лейкина пригласили к участию в журнале «Современник». Редакторы журнала, Салтыков-Щедрин и Некрасов, ценили в произведениях Лейкина правдивое отражение быта и нравов торгового люда, городских низов. В рецензии на двухтомное издание «Повестей, рассказов и драматических сочинений Н. А. Лейкина» (СПб., 1871) Салтыков-Щедрин писал, что его произведения дают «правильное понятие о бытовой стороне русской жизни», и рассматривал их как почти документальные свидетельства о темном «языческом мире», «нравственной и умственной Патагонии», являвшейся опорой режима. Салтыков-Щедрин отметил, что среда, о которой пишет Лейкин, «схвачена очень живо и ясно» [1].

Лейкин был одним из самых плодовитых российских беллетристов, пытавшимся обнять в своем творчестве самые разнообразные стороны русского быта. Он, по подсчетам его биографа, написал 36 романов и повестей, 11 пьес, выпустил 70 книг [2]. Но основное место в творчестве Лейкина занимают короткие рассказы-сценки, которых он написал около семи тысяч (эта цифра, по свидетельству Н. К. Михайловского, фигурировала в печати в дни тридцатилетнего литературного юбилея Лейкина). Именно этот жанр создал ему громадную читательскую аудиторию в простонародной, мещанской, торгово-ремесленной среде. Эта связь писателя с «определенным кругом читателей» была отмечена и

---

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 9. М., «Художественная литература», 1970, с. 421—422.

[2] «Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке». СПб., 1907, с. 229—230.

в критике[1]. С начала 80-х годов рассказы Лейкина все более отчетливо приобретают черты бытовой сатиры, добродушного юмора, комического изображения разных сторон купеческой и мещанской жизни. Манера эта, в сущности, и определила облик петербургского юмористического журнала «Осколки», редактором-издателем которого Лейкин был в 1882—1905 годах. В то же время следует сказать, что «Осколки» были наиболее либеральным из юмористических журналов 80-х годов. В некоторых его публикациях и карикатурах звучали острые критические ноты, в особенности в материалах, авторами которых являлись бывшие сотрудники «Искры» Л. И. Пальмин и Л. Н. Трефолев. Журнал немало терпел от цензуры.

Своеобразной школой короткого рассказа стали «Осколки» для молодого Чехова, которого Лейкин пригласил сотрудничать в журнале в конце 1882 года. 12 января 1883 года Чехов писал Лейкину: «Направление Вашего журнала, его внешность и уменье, с которым он ведется, привлекут к Вам, как уж и привлекли, не одного меня. За мелкие вещицы стою горой и я...» В журнале в течение пяти лет было напечатано более двухсот рассказов Чехова. Кроме того, в 1883—1885 годах он вел в «Осколках» (под псевдонимами Рувер и Улисс) обозрение «Осколки московской жизни». На этот период работы Чехова в «Осколках» приходится и особенно активная переписка его с Лейкиным. Издатель журнала считал его самым талантливым своим сотрудником. Чехов не всегда соглашался с правками и сокращениями, вносившимися Лейкиным в его рукописи. Тем не менее он писал издателю 27 декабря 1887 года: «Осколки» — моя купель, а Вы — мой крестный батька». Впоследствии сам Лейкин не без гордости вспоминал: «Антон Чехов... называл себя моим литературным крестником»[2]. В издании журнала «Осколки» вышел второй сборник Чехова — «Пестрые рассказы» (1886).

Чехов был внимательным читателем произведений Лейкина. Из его романов наиболее высокую оценку у Чехова получили «Стукин и Хрустальников»: «Это самая лучшая из всех Ваших книг» (27 мая 1886 г.), «Стукин» имеет значение серьезное и стоит многого...». Вместе с тем Чехов отмечал растянутость и громоздкость романа Лейкина «Сатир и нимфа, или Похождения Трифона Ивановича и Акулины Степановны» (1887), в котором «нет ничего нового». О присланном Лейкиным сборнике рассказов «Пух и перья» (1888) он писал автору: «Именно такие рассказы мне наи-

---

[1] Н. К. Михайловский. Литературно-критические статьи. М., Гослитиздат, 1957, с. 599.

[2] «Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке», с. 243.

более симпатичны у Вас. В них простота, юмор, правда и мера...» (5 октября 1888 г.).

В сохранившихся дневниках Лейкина за 1892—1899 годы зафиксированы встречи и беседы с Чеховым (извлечения из дневников опубликованы: «Литературное наследство. Чехов», т. 68. М., Изд-во АН СССР, 1960).

Н. А. Лейкин умер в 1906 году в Петербурге. После Октябрьской революции его книги выходили в серии «Библиотека сатиры и юмора», выпускавшейся издательством «Земля и фабрика» (ЗиФ): «Медные лбы. Рассказы» (М.—Л., 1926), «Ради потехи. Рассказы» (М.—Л., 1927), «Шуты гороховые» (М.—Л., 1927) и др.

ПТИЦА

Печатается по изданию: Н. А. Лейкин. Саврасы без узды. Юмористические рассказы. СПб., 1880.

Вспоминая «признаки желаемой книжки» (сборник «Саврасы без узды»), Чехов в письме к Лейкину так говорит о рассказе «Птица»: «В этой же книжке, кстати сказать. есть фраза, которая врезалась в мою память: «Тургеневы разные бывают»,— фраза, сказанная продавцом фотографий» (март 1883 г.).

[1] *Петипа* Мариус Иванович (1819—1910) — известный танцовщик и балетмейстер.

ПОСЛЕ СВЕТЛОЙ ЗАУТРЕНИ

Печатается по изданию: Н. А. Лейкин. Саврасы без узды. Юмористические рассказы. СПб., 1880.

В марте 1883 г., обратясь к Лейкину с просьбой прислать ему эту книгу, Чехов вспомнил о впечатлении, произведенном на него рассказом «После светлой заутрени»: «Особенно врезался в мою память один рассказ, где купцы с пасхальной заутрени приходят. Я захлебывался, читая его. Мне так знакомы эти ребята, опаздывающие с куличом, и хозяйская дочка, и праздничный «сам», и сама заутреня...»

САМОГЛОТ-ЗАГРЕБАЕВЫ

(Краткий современный роман в документах)

Печатается по публикации в журнале «Осколки» (1884, № 4).

В первых числах февраля 1884 г. Чехов писал Лейкину об этом рассказе: «Ваши письма в предпоследнем нумере — очень

хорошенькая вещь. Вообще замечу, Вам чрезвычайно удаются рассказы, в которых Вы не поскупитесь на драматический элемент».

КУСТОДИЕВСКИЙ

(Краткий роман в документах)

Печатается по публикации в журнале «Осколки» (1884, № 6).

Об этом рассказе Чехов так отозвался в письме к автору: «Кустодиевский» превосходен. Горбуновский рассказ, несмотря на незатейливую, давно уже заезженную тему, хорош — форма! Форма много значит...» (12—13 февраля 1884 г.).

ИМЕНИНЫ СТАРШЕГО ДВОРНИКА

Печатается по изданию: Н. А. Лейкин. Цветы лазоревые. Юмористические рассказы. СПб., 1885.

Чехов писал Лейкину 28 апреля 1885 г.: «За «Цветы лазоревые» я уже благодарил Вас и еще раз благодарю. Прочел... В особенности понравились мне «Именины у старшего дворника».

[1] *Синица,* синенькая — пятирублевая ассигнация.

ПРАЗДНИЧНЫЙ

Сценка

Печатается по публикации в журнале «Осколки» (1886, № 42).

23 октября 1886 г. Чехов писал Лейкину: «Я послал Вам рассказ «Бука», но, кажется, неудачный, по крайней мере гораздо худший Вашего «Праздничного», который Вам чертовски удался. Очень хороший рассказ. Одна есть в нем фраза, портящая общий тон, это — слова городового: «в соблазн вводишь казенного человека»; чувствуется натяжка и выдуманность. Мужичонка картинен, и я себе рисую его».

[1] *Поярец* — здесь: пьяный приставала.

АЙВАЗОВСКИЙ

(Сценка)

Печатается по публикации в «Петербургской газете» (1887, 24 сентября, № 262).

Чехов писал Лейкину 7 октября 1887 г.: «Ваш «Айвазовский»

мне так понравился, что я послал его своему домохозяину, а сей последний — любитель веселого чтения — снес его в Клиники, где и читал вслух».

[1] *Кобургский*, Фердинанд I Кобургский (1861—1948) — князь Болгарский с 1887 по 1908 г. Способствовал усилению германского влияния в Болгарии.

[2] *Бисмарк* Шенгаузен фон Отто (1815—1898) — рейхсканцлер Германской империи в 1871—1890 гг.

[3] *Кальноки* Густав (1832—1898) — министр иностранных дел Австро-Венгрии в 1881—1895 гг. Был сторонником союза с Германией.

[4] *Шамиль* (1797—1871) — руководитель освободительного движения горцев Дагестана и Чечни против царских колонизаторов, а также местных феодалов. После сдачи в плен в 1859 г. был с семьей поселен в Калуге.

[5] *Баттенберг* Александр (1857—1893) — князь Болгарский в 1879—1886 гг., ставленник великих держав, глава созданного по решению Берлинского конгресса (1878) Болгарского княжества.

В ГОСТЯХ У ХОЗЯИНА

Печатается по изданию: Н. А. Лейкин. Пух и перья. Рассказы. СПб., 1888.

В письме от 5 октября 1888 г. Чехов благодарил Лейкина за присылку книги «Пух и перья», в которой выделил как особенно удачный рассказ «В гостях у хозяина»: «Особенно мне понравился рассказ, где два приказчика приезжают к хозяину в гости на дачу и хозяин говорит им: «Дышите! Что ж вы не дышите?» Отличный рассказ».

ЗЕМЛЯК

Печатается по изданию: Н. А. Лейкин. Голубчики. Рассказы. СПб., 1889.

В. В. БИЛИБИН

Писатель-юморист и журналист Виктор Викторович Билибин (его наиболее распространенные псевдонимы — И. Грэк и Диоген) родился в 1859 году в Петербурге. В 1880 году окончил юридический факультет Петербургского университета, некоторое время служил помощником присяжного поверенного. Еще студентом Би-

либин начал сотрудничать в юмористическом журнале «Стрекоза». С 1883 года Билибин — постоянный сотрудник журнала «Осколки», в котором ведет еженедельное обозрение «Осколки петербургской жизни». Кроме того, он принимает деятельное участие в редактировании журнала. После смерти Лейкина в 1906 году Билибин стал редактором-издателем «Осколков».

Заметным было участие Билибина в газетной периодике 80-х годов («Петербургская газета», «Новости и Биржевая газета» и др.). Выступления Билибина — юмориста, фельетониста выгодно отличались от пошлых, безвкусных писаний многих авторов юмористических журналов и газетных обозрений несомненной культурой письма, наблюдательностью, едкостью стиля, разнообразием остроумия, с которым высмеивались теневые стороны общественного быта и нравов. Особенно силен он был в жанре пародии.

Известен Билибин и как драматург, автор многих одноактных комедийных пьес и водевилей, которые в 90-е годы шли на частных и любительских сценах в столицах и в провинции. Постановке некоторых водевилей Билибина содействовал и Чехов.

Чехов следил за творчеством Билибина со времени сотрудничества обоих писателей в «Стрекозе». О выступлениях Билибина в «Осколках» он писал Лейкину в апреле 1883 года: «...между вещицами остроумнейшего И. Грэка попадаются вещицы, бьющие на серьез...» Личное знакомство в конце 1885 года положило начало дружеским отношениям и переписке, продолжавшейся более пятнадцати лет. Можно утверждать, что из литературного окружения Чехова второй половины 80-х годов Билибин стоял ближе других к нему. Молодых литераторов сблизило и творческое содружество. Они совместно написали и опубликовали в 1886 году в газете «Новое время» (под псевдонимом Два Аякса) фельетоны «Мысли и отрывки» и «Театральный разъезд» под общим названием «Пестрые сказки» (см.: А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах, т. 18. М., «Наука», 1982).

Для Чехова была очевидна талантливость Билибина, о ней он неоднократно говорил в письмах к Лейкину, Леонтьеву-Щеглову, брату Александру. В ряде отзывов, как и в письмах к самому Билибину, Чехов указывает и на недостатки его писаний. 11 марта 1886 года он пишет Билибину: «Весь Ваш недостаток — Ваша мягкость, ватность...» Более «развернутая» характеристика билибинского творчества дана Чеховым в письме к Щеглову от 12 апреля 1889 года: «Талант у него большой, но знания жизни ни на грош, а где нет знания, там нет и смелости... Он хороший фельетонист; его слабость — французисто-водевильный... тон... Внушайте ему стиль строгий и чувства возвышенные, а водевиль не уйдет». Би-

либин прислушивался к мнению Чехова о своих произведениях, ценил его критическую откровенность.

В отличие от многих литераторов-современников, Билибин сразу же разглядел в Чехове большого и многообещающего писателя. В апреле 1887 года он писал Чехову: «У Вас есть все, чтобы быть талантом и знаменитостью...» Как секретарь редакции «Осколков», он содействовал публикации многих рассказов Чехова, помог выходу его первого сборника «Пестрые рассказы», на который откликнулся одобрительными рецензиями в «Осколках» (1886, № 21) и «Петербургской газете» (1886, 26 мая, № 142). Билибин не раз советовал Чехову писать «крупные вещи», высоко отзывался о его пьесах «Иванов» и «Чайка».

Та порядочность, которую не раз подчеркивал Чехов в своих характеристиках Билибина, нашла проявление и в его принципиальной позиции в редакции «Осколков», в далеко не простых отношениях с Лейкиным, позже — в непримиримости к «Новому времени» и его сотрудникам, прежде всего к В. П. Буренину.

Литературную деятельность Билибин совмещал со службой в Главном управлении почт и телеграфов. Он умер в 1908 году в Петербурге.

ИЗ МОЛОДЫХ, ДА РАННИЙ

(Очерк)

Печатается по публикации в журнале «Осколки» (1882, № 22, подпись: И. Грэк).

[1] Известные рестораны Петербурга.

СНОВИДЕНИЯ

Печатается по публикации в журнале «Осколки» (1882, № 41, подпись: И. Грэк).

ИЗ ЗАПИСОК ИНОСТРАНЦА О РОССИИ

Печатается по публикации в журнале «Осколки» (1882, № 44, подпись: И. Грэк).

[1] *Цетивайо* (Кетчвайо, 1828—1884) — последний правитель независимого зулусского государства, свергнутый английскими колонизаторами.

[2] *Араби-паша* (Ураби-паша, Ораби-паша, Ахмед, 1841—1911) — руководитель национально-освободительной борьбы египетского народа в 1879—1882 гг.

ПОД НОВЫЙ ГОД

Печатается по публикации в журнале «Осколки» (1883, № 1, подпись: И. Грэк).

[1] Пальто горохового цвета в те времена было синонимом шпика, филера.

Я И ОКОЛОТОЧНЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ

Печатается по публикации в журнале «Осколки» (1883, № 17, подпись: И. Грэк).

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАНЫ, «КУДА МАКАР ТЕЛЯТ НЕ ГОНЯЛ»
ЯЗЫК ПОЭТОВ
ДЕКАДЕНТСКАЯ ПРОЗА
(Отрывки современной беллетристики)

Все произведения печатаются по изданию: В. В. Билибин (Диоген — И. Грэк). Юмористические узоры. СПб., 1904.

СОКРАЩЕННЫЕ ЛИБРЕТТО

Печатается по изданию: В. В. Билибин (Диоген — И. Грэк). Юмористические узоры. СПб., 1904.

Пародия «Аида» построена на обыгрывании сюжета оперы Д. Верди. В «Фаворитке» использованы мотивы оперы Г. Доницетти и образы романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». В пародии «Африканка» использованы мотивы оперы Д. Мейербера.

[1] *Качуча* — испанский (андалузский) танец.
[2] *«Птички певчие»* — под этим названием на русской сцене шла оперетта Ж. Оффенбаха «Перикола» (1868).

АЛ. П. ЧЕХОВ

Старший брат Антона Павловича Чехова Александр, писавший под псевдонимом А. Седой, был энциклопедически образованным человеком, одаренным литератором. Он родился в 1855 году в слободе Крепкой близ Таганрога, учился в Таганрогской гимназии, окончил в 1882 году физико-математический факультет Московского университета. Студентом Александр Чехов начал сотрудничать в московских юмористических журналах, в газете «Москов-

ский листок» и других изданиях. После окончания университета, безуспешно попытавшись служить таможенным чиновником (в Таганроге, Новороссийске, Петербурге), он окончательно связал свою судьбу с журналистикой.

Для юного Антона Чехова старший брат в определенной мере был литературным авторитетом. Именно на его суд отправлялись из Таганрога в Москву первые сочинения, в том числе пьесы «Безотцовщина», «Нашла коса на камень». Александр Чехов содействовал сближению Антона с миром московской журналистики. И в начале 80-х годов оба они сотрудничали в журналах «Зритель», «Мирской толк», «Москва», «Будильник» и др. Вскоре, однако, роли поменялись, и младший брат стал литературным опекуном и ходатаем за старшего. В 1883 году Антон Павлович рекомендовал брата издателю юмористического журнала «Осколки» Н. А. Лейкину, а в 1886 году с его же помощью Александр стал постоянным сотрудником газеты «Новое время». С этого времени он сделался своего рода литературным поверенным в делах Антона Павловича в Петербурге и до самой смерти его выполнял разнообразные поручения.

Ни с одним из братьев Антон Павлович не вел такой содержательной и интенсивной переписки, как с Александром. Антон Павлович считал письма брата «первостатейными произведениями». Он видел, что Александр талантлив, но и лучше других он знал его недостатки — разбросанность, слабоволие. В письмах брату Антон Павлович пытался помочь ему, постоянно призывал его к серьезной работе. 6 апреля 1886 года он писал Александру: «Все те рассказы, которые ты прислал мне для передачи Лейкину, сильно пахнут ленью. Ты их в один день написал?.. Сюжеты невозможные... Лень не рассуждающая, работающая залпом, зря... Где это ты видел супругов, которые у тебя в рассказе обедают и говорят о рефератах... и где под луной есть такие рефераты? Уважай ты себя, ради Христа, не давай рукам воли, когда мозг ленив! Пиши не больше 2-х рассказов в неделю, сокращай их, обрабатывай, дабы труд был трудом. Не выдумывай страданий, которых не испытал, и не рисуй картин, которых не видел,— ибо ложь в рассказе гораздо скучнее, чем в разговоре... Помни каждую минуту, что твое перо, твой талант понадобятся тебе в будущем больше, чем теперь, не профанируй же их...» Блестящий стилист и остроумный юморист в письмах, Александр Павлович бледнел и отступал в беллетристике, становясь порою благостным бытописателем. «Ведь ты остроумен, ты реален, ты художник,— писал Чехов брату 20 февраля 1883 года.— За твое письмо, в котором ты описываешь молебен на палях (с гаттерасовскими льдами), будь я богом, простил бы я тебе все твои согрешения вольные и невольные...»

В письме от 3 февраля 1886 года он убеждал брата: «Твое поздравительное письмо чертовски, анафемски, идольски художественно. Пойми, что если бы ты писал так рассказы, как пишешь письма, то ты давно бы уже был великим, большущим человеком».

Лучшие из рассказов Александра Чехова те, где он отказывается от воспевания несуществующих добродетелей и морализаторства и выступает как очеркист, знаток быта и характеров изображаемой им среды — простонародной, мещанской, чиновничьей. Некоторые из таких рассказов вошли в сборник «Княжеские бриллианты».

Ради заработка Александр Чехов написал множество репортажей, публицистических, научно-популярных статей и брошюр по самым различным вопросам — от фотографии и медицины до пожарного дела. Он сотрудничал в провинциальных газетах, редактировал журналы «Слепец», «Пожарный», «Вестник Российского общества покровительства животным». Специальный характер имели его книги «Исторический очерк пожарного дела в России», «Алкоголизм и возможная борьба с ним» и др.

После смерти Антона Павловича он опубликовал в журналах «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива» свои воспоминания о детстве и юности, о начальном периоде литературной деятельности брата. Вышли и отдельные мемуарные книги: «В гостях у дедушки и бабушки» (СПб., 1912), «Из детства Антона Павловича Чехова» (СПб., 1912). Часть воспоминаний Александра Чехова вошла в сборник «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» (М., Гослитиздат, 1960).

Подлинным памятником литературного мастерства Александра Чехова, свидетельством его блестящих способностей являются его триста девятнадцать писем, вошедших в книгу «Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова» (М., Соцэкгиз, 1939).

Александр Павлович Чехов умер в 1913 году в Петербурге.

НА МАЯКЕ

Печатается по публикации в газете «Новое время» (1887, 1 августа, № 4102).

Рассказ очень понравился А. П. Чехову. В первых числах августа, после получения номера газеты с рассказом, он отправил брату, в принятом между ними шутливо-ироническом тоне, критический отзыв о новом произведении: «Твой последний рассказ «На маяке» прекрасен и чуден. Вероятно, ты украл его у какого-нибудь великого писателя. Я сам прочел, потом велел Мишке читать его вслух, потом дал читать Марье, и во все разы убедился, что этим маяком ты превозошел самого себя. Ослепительная искра

во мраке невежества! Умное слово за 30 глупых лет! Я в восторге... Татарин великолепен, папенька хорош, почтмейстер виден из 3-х строк, тема слишком симпатична, форма не твоя, а чья-то новая и хорошая. Начало не было бы шаблонно, если бы было вставлено куда-нибудь в середину рассказа и раздроблено; Оля также никуда не годится, как и все твои женщины. Ты положительно не знаешь женщин! Нельзя же, душа моя, вечно вертеться около одного женского типа! Где ты и когда (я не говорю про твое гимназичество) видел таких Оль? И не умнее ли, не талантливее поставить рядом с такими чудными рожами, как татарин и папенька, женщину симпатичную, живую (а не куклу), существующую? Твоя Оля — это оскорбление для такой гранд-картины, как маяк. Не говоря уж о том, что она кукла, она неясна, мутна и среди остальных персонажей производит такое же впечатление, как мокрые, мутные сапоги среди ярко вычищенных сапог. Побойся бога, ни в одном из твоих рассказов нет женщины-человека, а все какие-то прыгающие бланманже, говорящие языком избалованных водевильных инженю. Я думаю, что маяк поднял тебя в глазах нововременцев на три сажня. Жалею, что тебе не посоветовали подписать под ним полное имя. Ради бога, продолжай в том же духе. Отделывай и не выпускай в печать («Новое время»), прежде чем не увидишь, что твои люди живые и что ты не лжешь против действительности... «Маяк» спрячь. Если напишешь еще с десяток подобных рассказов, то можно будет издать сборник». Ни в один из последующих сборников рассказ не вошел.

ЦЕПИ

Рассказ печатается по изданию: А. Седой. Княжеские бриллианты. СПб., 1904.

Антон Павлович Чехов правил рукопись этого рассказа.

[1] *Боткин* Сергей Петрович (1832—1889) — русский терапевт-клиницист, общественный деятель.

[2] После статьи Н. А. Добролюбова «Темное царство» (1859), посвященной разбору пьес А. Н. Островского, выражение «темное царство» стало обозначением косной среды.

[3] *Иоанн Кронштадтский* (Сергеев И. И., 1829—1908) — протоиерей собора в Кронштадте, черносотенец и авантюрист.

БАБЬЕ ГОРЕ

Рассказ печатается по изданию: А. Седой. Княжеские бриллианты. СПб., 1904.

СТАРЫЙ МАХМУТКА

Рассказ вошел в сборник Ал. Чехова «Птицы бездомные» (СПб., 1895). Подготавливая рассказ к переизданию, автор значительно его переработал: снял длинноты, излишние описания и характеристики, что сообщило повествованию динамизм и выразительность. Печатается по изданию: А. Седой. Княжеские бриллианты. СПб., 1904.

И. Н. ПОТАПЕНКО

Игнатий Николаевич Потапенко родился в 1856 году в селе Федоровка Херсонской губернии. Сын принявшего священнический сан уланского офицера и крестьянки, он учился в бурсе. Затем слушал лекции в Новороссийском и Петербургском университетах, занимался в Петербургской консерватории, которую закончил по классу пения. С 1873 года Потапенко стал выступать в периодической печати с рассказами, очерками, по преимуществу рисовавшими хорошо знакомую ему среду сельского духовенства, быт городков и местечек южных губерний Российской империи. В 80-е годы его рассказы о жизни украинского крестьянства публиковались в демократическом журнале «Дело». Широкую известность принесла Потапенко повесть «На действительной службе», опубликованная в журнале «Русская мысль» в 1890 году. В этом произведении, как и в появившемся в 1891 году романе «Не герой», сделана попытка утвердить идеалы получившей распространение в 80-е годы либерально-народнической теории «малых дел». Вместе с тем в творчестве писателя было очевидно стремление нарисовать обширную, не лишенную сатирических красок картину общественных нравов 80—90-х годов XIX века (в романе «Не герой», в повестях «Здравые понятия» (1890), «Секретарь его превосходительства», «Семейная история» (1893) и др.).

Потапенко был известен и как драматург. На сценах столичных театров шли его пьесы «Жизнь», «Волшебная сказка», «Лишенный прав», «Чужие», «Выдержанный стиль» и др. В разные годы Потапенко активно сотрудничал в газетах «Россия», «Новое время», «Русь», на страницах которых выступал с фельетонами, театральными и литературными рецензиями.

Несмотря на некоторую расплывчатость убеждений, Потапенко умел быть принципиальным в некую ответственную минуту. А. М. Горький искренне удивился, когда на премьере его «Дачни-

ков» Потапенко заявил осудившим пьесу представителям «Мира искусства»: «Только в России возможна такая гнусность, господа... только в России возможно... шикать человеку, каждое слово которого — правда, правда! Стыдитесь!»[1] Удивление Горького понятно: ведь в «Дачниках» острейшей критике подвергались интеллигентные мещане, те самые «не герои», о которых с сочувствием писал Потапенко.

Из литературного окружения Чехова в 90-е годы Потапенко — наиболее близкий к нему. Они познакомились в Одессе в 1889 году. Настоящее сближение началось через четыре года в Москве и переросло в достаточно тесные дружеские отношения. Потапенко написал в 1914 году воспоминания «Несколько лет с А. П. Чеховым. К 10-летию со дня его кончины», которые говорят об их авторе как о проницательном психологе, понимавшем, что судьба свела его с истинным художником: «...он творил всегда и даже в непосредственное соприкосновение с жизнью и с людьми вступал как-то особенно, по-своему, творчески...»[2] Несомненен человеческий и творческий интерес и Чехова к Потапенко. Об этом свидетельствуют чеховские письма к А. С. Суворину. 7 августа 1893 года: «Мне с ним было очень нескучно, независимо от скрипки и романсов»; 11 ноября 1893 года: «Он нравится мне все больше и больше»; 23 марта 1895 года: «Я говорил Вам, что Потапенко очень живой человек, но Вы не верили. В недрах каждого хохла скрывается много сокровищ. Мне кажется, что когда наше поколение состарится, то из всех нас Потапенко будет самым веселым и самым жизнерадостным стариком».

Не только бившая ключом энергия, несомненное знание жизни, хороший музыкальный дар привлекали Чехова в Потапенко. Он видел и уважал в нем подлинно профессионального литератора, талантливого, остроумного, наблюдательного. Именно Потапенко Чехов доверил сложную процедуру согласования текста «Чайки» с цензурой. Единственный из друзей и знакомых провожал Потапенко Чехова в Мелихово на другой день после провала «Чайки» в Александринском театре. Свидетельства дружеской близости содержат и письма Потапенко к Чехову. В одном из них (от 25 ноября 1895 г.) подчеркнуто, «что истинную нашу духовную связь не должны разрушать никакие внешние обстоятельства»[3]. Брат Чехова Михаил Павлович вспоминал: «С Потапенко у

---

[1] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28. М., Гослитиздат, 1954, с. 334.

[2] «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1960, с. 308—309.

[3] «Чеховские чтения в Ялте. Чехов и русская литература». М., 1978, с. 97.

него (Антона Павловича. — *С. Б.*) было очень много общих литературных интересов...»[1]

Несмотря на то что читатели и критика нередко ставили имена обоих писателей рядом, сам Потапенко понимал, какова дистанция между ним и Чеховым. 19 мая 1895 года он писал Чехову: «Пишу разом бесконечное число повестей и романов... «Вы, нынешние, ну-тка!» Нет, Чехов, далеко тебе до Потапенко, так же далеко, как Потапенко до Мачтета! Ну, будь здоров, счастливый одиночка, предмет моей неиссякаемой зависти!»[2] «Счастливый одиночка» — в этом определении и восхищение Чеховым, его принципиальностью, его умением ценить и уважать в себе художника. И вместе с тем это приговор самому себе, не устоявшему, разменявшему свой талант в погоне за «злобой дня». «Умный и остроумный наблюдатель жизни» (так охарактеризовал писателя критик Ф. Д. Батюшков[3]), Потапенко спешил, как будто жить ему оставалось считанные годы. А меж тем, будучи старше Чехова на четыре года, Потапенко пережил его на целую четверть века. Стремление оправдать звание модного беллетриста, соединенное с извечной мыслью русского литератора о хлебе насущном, вело к спешке, излишней плодовитости, к неумению уважать свой талант. И произведения Потапенко, хотя и чутко реагировавшие на злобу дня, сбивались на тезис, декларацию или описательность, утрачивая образную емкость и выразительность формы.

Однако и у Потапенко есть рассказы, повести, очерки, правдиво запечатлевшие мир южнороссийского крестьянского быта, жизни сельского духовенства, мещанских нравов, чиновничьей психологии, беспросветного существования городских низов.

В годы Советской власти Потапенко опубликовал пьесу «Ряса» (Вологда, 1922), в которой показал корыстолюбие и ограниченность православного духовенства. Были также выпущены его книги: «Честная компания» (М.—Л., 1926), «История одной «коммуны» (Л., 1928), «Мертвое море» (Л., 1929) и др.

Умер писатель в 1929 году в Ленинграде.

---

[1] М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Е. М. Чехова. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1981, с. 163.

[2] «Чеховские чтения в Ялте. Чехов и русская литература», с. 102.

[3] Ф. Д. Батюшков. Критические очерки и заметки. СПб., 1900, с. 136.

СЕКРЕТАРЬ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА

Очерк

Рассказ опубликован в журнале «Вестник Европы» (1890, № 9). Печатается по изданию: И. Н. Потапенко. Соч., т. 4. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1903.

[1] Цитата из либретто М. Н. Загоскина к опере А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» (1835).

[2] *Патти* Аделина (1843—1919) — итальянская певица, сопрано. В 1869—1877 гг. гастролировала в Петербурге.

[3] *«Риголетто»* (1851) — опера Дж. Верди.

[4] *Гласный* — лицо, избранное в городскую думу.

[5] На Выборгской стороне в Петербурге находилась Военно-медицинская академия, на Васильевском острове — Академия художеств.

[6] *Эрнст* Генрих (1814—1865) — немецкий скрипач и композитор. Выступал в России в 1847 г. *Венявский* Генрик (1835—1880) — польский скрипач и композитор. Был придворным солистом в Петербурге, профессором Петербургской консерватории.

[7] *Поппер* Давид (1843—1913) — чешский виолончелист и композитор.

ШЕСТЕРО

Рассказ

Рассказ опубликован в журнале «Русская мысль» (1891, № 7). Печатается по изданию: И. Н. Потапенко. Соч., т. 2. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1903.

[1] *«Тытарь»* — искаженное «ктитор», церковный староста.

[2] *Громадильница* — конные грабли.

[3] *Консистория* — церковное учреждение с административными и судебными функциями.

[4] То есть хлопотал о приеме в число студентов духовной академии, находившейся в Петербурге.

[5] *Синод* — высшее административное учреждение православной церкви.

[6] *Эпитимия* — церковное наказание.

[7] Гора на полуострове Афон в Греции считалась святым местом и привлекала множество паломников.

[8] *Шлоссер* Фридрих Кристоф (1776—1861) — немецкий историк либерально-прогрессивного направления. Русский перевод его

главного труда «Всемирная история» издан в восемнадцати томах (СПб.— М., 1861—1869) под редакцией Н. Г. Чернышевского и В. А. Зайцева. *Бокль* Генри Томас (1821—1862) — английский историк и социолог-позитивист, автор получившей известность «Истории цивилизации в Англии» (отдельное издание русского перевода вышло в 1863—1864 гг.).

[9] Имеется в виду одна из фортепианных пьес немецкого композитора Мендельсона из цикла «Песни без слов» (1834—1847).

[10] Фонари, в которых использовался фотоген, род керосина.

[11] *Бурса* — в дореволюционной России название общежития при духовных учебных заведениях (семинариях, училищах), в которых учащиеся содержались на казенный счет. Суровый режим, грубые нравы были характерны для бурсы первой половины XIX века. С середины 60-х годов во внутреннем распорядке бурс произошли некоторые смягчения и улучшения, чему в немалой степени содействовало появление в печати известных «Очерков бурсы» (1863) Н. Г. Помяловского.

[12] *Авдиторы* — ученики бурсы, в обязанность которых входило выслушивать уроки, приготовленные товарищами по классу, и ставить оценки в специальных тетрадях. *Секуторы* (правильно — секундаторы) — ученики бурсы, которые по приказанию учителя секли своих товарищей.

[13] *Лития* — богослужение вне храма. *Соборне* (старослав.) — вместе, сообща.

А. Н. МАСЛОВ-БЕЖЕЦКИЙ

А. Бежецкий — псевдоним Алексея Николаевича Маслова, беллетриста, автора путевых очерков, военного инженера по профессии. Он родился в 1853 году в дворянской семье в Тверской губернии. Закончил Николаевскую инженерную академию в Петербурге.

В 1873 году Маслов принимал участие в Хивинской экспедиции. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов он командовал ротой в составе русских войск, действовавших на Кавказе, участвовал в осаде Карса, в боях при Зивине и на Аладжинских высотах, в штурме и последующей осаде Эрзурума. В 1880—1881 годах находился в отряде генерала М. Д. Скобелева в Закаспийском крае. С 1882 года Маслов — преподаватель Николаевской инженерной академии, где дослужился до чина генерал-лейтенанта. Дата смерти Маслова, как и обстоятельства последних лет его жизни, неизвестны. Четвертый том «Источников словаря русских

писателей» С. А. Венгерова, вышедший в 1917 году, сообщает только дату его рождения. Это позволяет предположить, что он умер в последующее время.

Литературная деятельность Маслова началась в конце 1876 года публикацией военных корреспонденций в петербургском журнале «Пчела». В следующем году его корреспонденции стали печататься в газете «Новое время», где он вскоре стал постоянным сотрудником. Пробовал Маслов свои силы и в драматургии. Ему принадлежат драма «Севильский обольститель», комедии «Ольгин день», «Котофей Иванович». Увлечение Маслова театром нашло проявление и в его деятельности театрального рецензента. Но кратковременная литературная известность Маслова связана прежде всего с его «военной беллетристикой». Рассказы и повести из армейского быта, начавшие появляться отдельными книгами с середины 80-х годов, привлекли внимание Чехова. Личное знакомство писателей, состоявшееся в декабре 1886 года, вызвало у Чехова представление о новом знакомом как о человеке, принадлежавшем к кругу «очень хороших и не узких людей», к которым он в ту пору относил Гаршина, Короленко, Щеглова (письмо А. С. Суворину от 3 апреля 1888 г.). Еще определеннее позднейшие чеховские высказывания: «Мне Маслов очень симпатичен» (А. С. Суворину, 9 декабря 1890 г.). Одобрительно отзывался Чехов и о книге Маслова «Военные на войне». «Это очень талантливый парень. Прочти его военные рассказы, и он вырастет в твоих глазах на пять аршин»,— писал он брату Александру 31 января 1887 года. С интересом знакомился Чехов и с очерковыми книгами Маслова «Путевые наброски. В стране мантильи и кастаньет», «На пути. Рассказы и очерки». В этих книгах, как и в военных рассказах, проявились ценимые Чеховым писательские качества — наблюдательность, точность характеристик, живой язык, юмор, наконец, достаточно высокая общая культура автора. Чехов хлопотал о привлечении Маслова в журнал «Северный вестник», о постановке его пьесы «Севильский обольститель» в театре Корша (не была поставлена) и в Малом театре (поставлена в 1890 г.).

В 1889 году вышла повесть Маслова «Детская любовь», в которой заметно подражание чеховским рассказам о детях. Одна из его последних книг — «Неведомое. Фантастические рассказы» (СПб., 1914).

ТИФ

Эпизод из блокады Эрзерума

Печатается по изданию: А. Н. Б е ж е ц к и й. Военные на войне. СПб., изд. А. С. Суворина, 1885.

Эту книгу подарил Чехову А. С. Суворин в конце 1886 г.

Прочитав ее, Чехов 21 декабря написал Суворину: «Мне Бежецкий положительно нравится... он, если бы захотел, был бы тем, чего у нас на Руси недостает, т. е. военным писателем-художником».

[1] *Эрзерум* (Эрзурум) — город на северо-востоке Турции. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. представлял собой стратегически важную крепость. Подвергался штурму, а затем осаде русскими войсками, которые заняли его после заключения мира в Сан-Стефано в феврале 1878 г. По Берлинскому трактату в том же году возвращен Турции.

[2] *Иов* — библейский персонаж, веру которого бог подверг испытанию, наслав на него разорение и болезни. Когда пораженный проказой Иов находился за городом в состоянии болезненного забытья, его раны лизал бездомный пес.

[3] В первой части («Ад») поэмы итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321) «Божественная комедия» изображены девять кругов ада.

[4] *Плевна* (теперь — Плевен) — город в Болгарии, за который во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. шли упорные бои. 28 ноября 1877 г. турецкий гарнизон Плевны сдался войскам генерала И. В. Гурко. Падение Плевны имело большое значение для хода войны, так как способствовало успешному наступлению русских войск за Балканы.

[5] *Деве-Бойну* — горная возвышенность, у которой 23 октября 1877 г. русские войска нанесли поражение туркам, после чего последние отступили к Эрзуруму.

[6] *Гейман* Василий Александрович (1823—1878) — генерал-лейтенант, во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. командовал отрядом.

[7] 3 октября 1877 г. отряд генерала Геймана штурмом взял укрепленные турецкие позиции на горе Авлиар.

[8] *Поршни* — обувь из кожаных лоскутков, по форме похожая на лапти.

[9] Имелась в виду возможность расположения войск на зимний период в центре Анатолии — основной части Турции, расположенной на полуострове Малая Азия. С 20-х годов XX века Анатолией называется вся азиатская часть Турции.

[10] Орден св. Станислава был младшим из российских орденов, имел три степени. Орден второй степени носился на шее.

[11] Российский орден св. Владимира имел четыре степени. За военные подвиги жаловался крест 4-й степени с бантом. Давал право на потомственное дворянство.

[12] Город и крепость в Эриванской губернии в Закавказье. Ныне г. Ленинакан Армянской ССР.

[13] *Отшельники* и *столпники* — религиозные аскеты.

[14] Вариант выражения из Евангелия от Матфея: «Взявшие меч — мечом погибнут».

М. Н. АЛЬБОВ

Михаил Нилович Альбов (1851—1911) родился в Петербурге в семье дьякона церкви почтового департамента. Писать и печататься начал с тринадцати лет, во время учебы в гимназии, где он вместе со своим товарищем, будущим писателем К. С. Баранцевичем, выпускал рукописные журналы. Литературные занятия настолько захватили юного Альбова, что он совсем забросил учебу, за что его неоднократно оставляли на второй год, исключали из гимназии. Поэтому он закончил ее довольно поздно — на двадцать втором году жизни.

Альбов учился на юридическом факультете Петербургского университета. В занятиях этих также был перерыв: во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов студент-юрист отправился фельдшером-добровольцем в Дунайскую армию. В первой половине 90-х годов писатель принимал участие в редактировании журнала «Северный вестник»; затем несколько лет (до 1901 г., когда он вернулся в Петербург) сотрудничал в екатеринославской газете «Приднепровский край».

Первое значительное произведение Альбова — повесть «Пшеницыны» (1873), в которой нашла продолжение традиция русской демократической литературы 40-х годов, обратившейся к «маленькому человеку» («Шинель» Гоголя, «Бедные люди» Достоевского, произведения Гребенки, Буткова, Михайлова), одобрил М. Е. Салтыков-Щедрин. Уже в этой первой повести проявилась художественная манера Альбова — обостренное внимание ко всем деталям бытия своих героев, внешне мелочного, однообразного. Она получила развитие и в рассказе «На точке», где именно через подробности быта раскрывается драма героя способного, искренне желавшего приносить пользу человека, оказавшегося в «футляре» провинциального существования.

Тема жизни петербургского мещанства и чиновничества, маленьких людей, не только обиженных и озлобленных, но и выражающих протест против бессмысленного обывательского существования, против угнетения личности, получила широкое воплощение в главном произведении Альбова — трилогии «День да ночь» (1890—1903). Мрачные краски альбовской палитры подчас засло-

пяли, заглушали звучание мечты о новой, достойной человека жизни. В той же трилогии автор говорит о своих исстрадавшихся героях: «Настанет время, когда все изменится, и им будет всем хорошо... Ведь не может же вечно так продолжаться!» Изображение, особенно в ранних произведениях, болезненной психики маленького, задавленного жизнью человека дало повод современной писателю критике зачислить его в ученики Достоевского «по манере и приемам, а отчасти и по сюжетам его писаний»[1]. Можно отметить и некоторые сходные черты в личностях писателей. Альбов признавался, что «с детства был склонен к меланхолии и страдал приступами тоски»[2]. Иронизируя над тягой молодого Альбова ко «всякой психиатрии», Н. К. Михайловский вместе с тем отмечал его «большую наблюдательность и талантливость»[3]. Эту же мысль о зависимости Альбова от Достоевского — «подражатель сильный и талантливый»[4] — подчеркнул В. Г. Короленко в отзыве на его «Повести и рассказы» (СПб., 1888).

Чехов считал Альбова одним из видных представителей русской беллетристики. Личное знакомство писателей произошло в 1891 году: Альбов уговорил Чехова возобновить сотрудничество в «Северном вестнике». Переписка же между ними началась ранее — еще в 1888 году. Чехов интересовался романом Альбова «Ряса», посвященным острой критике религии и церкви. Первое издание романа подверглось цензурным искажениям, которые автор смог снять только в 1906 году при подготовке третьего тома собрания сочинений.

Умер Альбов в Петербурге.

ДИССОНАНС

Эскиз

Опубликовано в журнале «Дело» (1883, № 1, под названием «Голодный»). Печатается по изданию: М. Н. Альбов. Соч., т. 5. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1907.

[1] Имеется в виду персонаж пьесы А. С. Пушкина «Каменный гость» (1830).

[2] *«Малый Ярославец»* — фешенебельный ресторан на Морской улице в Петербурге.

---

[1] Н. К. Михайловский. Соч., т. 5. СПб., 1897, стб. 910.

[2] «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей». Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911, с. 178.

[3] Н. К. Михайловский. Соч., т. 5, стб. 918.

[4] «В. Г. Короленко о литературе». М., Гослитиздат, 1957, с. 311.

НА ТОЧКЕ

Очерк одного исчезнувшего типа

Опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1885, № 12, под названием «Филипп Филиппыч»). Печатается по изданию: М. Н. Альбов. Соч., т. 3. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1906.

[1] Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834).

[2] «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (первое издание в четырех томах осуществлено в 1863—1866 гг.).

[3] *Шлоссер*— см. коммент. на стр. 444. *Тьерри* Жак Никола Огюстен (1795—1856) — французский историк эпохи Реставрации, автор исследований «История завоевания Англии норманнами...» (первый том русского перевода вышел в 1858 г.), «История происхождения и успехов третьего сословия» (Париж, 1853). Некоторые идеи Тьерри, касавшиеся классовой борьбы и революции, были высоко оценены К. Марксом. *Гизо* Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский историк, автор работ «Опыты по истории Франции» (русский перевод в четырех томах вышел в 1877—1881 гг. под названием «История цивилизации во Франции»), «История английской революции» (русский перевод в трех томах вышел в 1859—1860 гг.). *Соловьев* Сергей Михайлович (1820—1879) — русский историк, академик, автор «Истории России с древнейших времен» (в 1851—1879 гг. вышло 29 томов). *Костомаров* Николай Иванович (1817—1885) — русский и украинский историк, этнограф, писатель, автор исследований о Богдане Хмельницком, Степане Разине.

[4] *Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864) — русский литературный критик и поэт (первый том его «Сочинений» вышел в Петербурге в 1876 г.).

[5] *Тэн* Ипполит (1828—1893) — французский философ и историк, один из основоположников идеалистической социологии искусства, изложенной в труде «Философия искусства» (Париж, 1865). *Курье* де Мере Поль Луи (1772—1825) — французский писатель, публицист, филолог, критик режима Реставрации. Русская демократическая критика 1860—1870-х годов проявляла большой интерес к памфлетам Курье.

[6] В романе В. Гюго «Человек, который смеется» (1869) воспроизведена сцена пытки в Англии XVII века. Пытке подвергается компрачикос Хардкванон, обезобразивший мальчика Гуинплена.

[7] *«Рокамболь»* — вольное обозначение серии авантюрных романов французского писателя Понсон дю Террайля (1829—1871), главным действующим лицом которых является мошенник, а затем сыщик Рокамболь. Русский перевод: «Воскресший Рокамболь», кн. 1—6. СПб., 1868.

[8] Неточная цитата из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825).

[9] Начало десятой главы романа В. Скотта «Айвенго» (1820). В 1874 г. в Петербурге вышло иллюстрированное издание романа.

[10] Просто *жуковым* назывался табак фабрики Жукова.

[11] Поэма, видимо, посвящалась Кейстуту (год рождения неизвестен — 1382), князю Великого княжества Литовского, всю жизнь сражавшемуся против агрессии Тевтонского ордена, погибшему в борьбе за великокняжескую власть.

[12] Героини романов Ч. Диккенса «Давид Копперфильд» (1850) и «Холодный дом» (1853).

[13] Крымская война 1853—1855 гг. России с коалицией Англии, Франции и Турции.

[14] Сражение 4 августа 1855 г. на Черной речке под Севастополем.

[15] Драматические произведения Нестора Васильевича Кукольника (1809—1868) отличались высокопарностью, выспренностью слога.

К. С. БАРАНЦЕВИЧ

Казимир Станиславович Баранцевич родился в 1851 году в Петербурге в семье обрусевшего польского дворянина.

Тяга к литературным занятиям пришла к Баранцевичу в годы учебы в младших классах гимназии. Тогда же вместе с Михаилом Альбовым он писал фантастический роман «Путешествие на луну», издавал рукописный журнал «Волна». Увлеченный народническими идеями, Баранцевич бросил гимназию на пороге пятого класса и «пошел в народ». С этого времени для него началась многолетняя полоса лишений, постоянной нужды. За грошовый заработок он исполнял всевозможные поручения богатого подрядчика, работал конторщиком «Русского строительного общества». Даже в годы литературной известности Баранцевичу, обремененному большой семьей (шестеро детей), приходилось исполнять обязанности мелкого служащего в первом товариществе петербургских конно-железных дорог.

В 1873 году в Александринском театре была поставлена написанная Баранцевичем стихотворная инсценировка романа А. К. Толстого «Князь Серебряный». Но сам писатель началом своей литературной деятельности считал повесть «Порванные струны», опубликованную в 1878 году в журнале «Слово» и принесшую ему известность. Произведением этим начался длинный ряд повестей, рассказов, очерков, описывавших жизнь мелкого чиновничества, петербургской бедноты, людей, придавленных нищетою, болезнями, безысходностью. Меланхолические, нередко переходящие в мрачные краски повествования Баранцевича закрепили за писателем характеристику певца пессимистических настроений. Гнет жизни — главная тема в творчестве Баранцевича. Не случайно и название одного из его первых сборников — «Под гнетом» (1884).

Наиболее крупные произведения Баранцевича — повесть «Чужак», романы «Раба», «Две жены (Семейный очаг)». Эти произведения страдают растянутостью, сентиментальностью, расплывчатостью в характеристиках героев. Значительно интереснее, праздивее оказался Баранцевич в рассказе, очерке, этюде, где он выступает бытописателем городских низов, исследователем детской психологии (у него немало удачных рассказов о детях и для детей).

Современная писателю критика в целом сочувственно относилась к его творчеству. Н. К. Михайловский, обращаясь к сборнику «Под гнетом», отмечал, что его автор «в своем жизнеописании одиноких людей поднимается до действительно художественных картин и образов» [1]. Как «явление симпатичное и заметное в нашей литературе» охарактеризовал творчество Баранцевича в 1914 году В. Г. Короленко [2].

Чехов, познакомившийся с Баранцевичем в 1887 году, видел в нем заметного литературного деятеля и прекрасного человека. В 1900 году он поднимал вопрос об избрании Баранцевича в академики: «...замученный, утомленный человек, несомненный литератор, в старости, которая уже наступила для него, нуждается и служит в конно-жел. дороге так же, как нуждался и служил в молодости. Жалованье и покой были бы для него как раз кстати» (А. С. Суворину, 8 января 1900 г.). Тепло относясь к Баранцевичу, Чехов, однако, не переоценивал его как писателя. Со своей стороны, Баранцевич любил Чехова и считал его единственным своим другом. 1 мая 1889 года он писал ему: «...у меня

---

[1] Н. К. Михайловский. Соч., т. 5, стб. 922.
[2] «В. Г. Короленко о литературе», с. 290.

никогда таких (друзей.— *С. Б.*) не было, если не считать Вас, с которым за все время наших мимолетных свиданий виделся ли я в общем хоть одни сутки?»[1] О днях, проведенных в гостях у Чехова на даче Линтваревых под Сумами в июне 1888 года, Баранцевич написал воспоминания «На лоне природы с А. П. Чеховым» («Биржевые ведомости», 1905, 2 июля, № 8904).

Баранцевич умер в Ленинграде в 1927 году. Ленинградская «Красная вечерняя газета», отметившая за три года до того пятидесятилетие его литературной деятельности (1924, 5 января, № 4), поместила некролог (26 июля, № 199), в котором подчеркивалась многолетняя обращенность писателя к судьбам обездоленных, демократизм его творчества.

ГОРСТОЧКА РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Рассказ опубликован в журнале «Отечественные записки» (1882, № 5) с подзаголовком «Эскиз». Печатается по изданию: К. С. Баранцевич. Соч., т. 6. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1909.

КЛЯЧА

Рассказ печатается по изданию: К. С. Баранцевич. Соч., т. 1. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1908.

[1] Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка» (1846).

[2] Подразумевается глупый человек, путаник, у которого все наоборот. Масленица была продолжительнее рождественского праздника.

[3] *Дациаро* и *Фельтен* — владельцы магазинов на Невском проспекте, торговавших предметами искусства.

[4] См. коммент. 2 на с. 447.

И. И. ЯСИНСКИЙ

Иероним Иеронимович Ясинский (псевдоним — Максим Белинский) родился в 1850 году в Харькове. Учился на естественных факультетах Киевского и Петербургского университетов, но курса не кончил, отдавшись всецело журналистике. Ясинский начал печататься в 1870 году, выступив как писатель демократического, народнического направления. Этот период его творчества запе-

---

[1] «Чехов и его среда». Л., «Academia», 1930, с. 152.

чатлен в сборнике «Семидесятые годы. Повести и рассказы» (СПб., 1901).

Молодого писателя привлек к участию в «Отечественных записках» М. Е. Салтыков-Щедрин, писавший Н. К. Михайловскому 11 сентября 1881 года: «По-моему, Ясинский талантлив»[1]. В 1881—1884 годах в журнале были напечатаны получившие одобрительный отзыв Салтыкова-Щедрина рассказы «Наташка» и «Спящая красавица», а также повести «Болотный цветок», «Искра божия», «Старый сад», «Всходы. Картины провинциальной жизни». Произведениям Ясинского, вышедшим в 1888 году в четырехтомном «Полном собрании повестей и рассказов», присущ характерный оттенок бытописания, в котором подчас звучат критические ноты. Они особенно ощутимы в его книге «Киевские рассказы» (1885), где много внимания уделено судьбам обездоленных, бездомных бедняков.

В середине 80-х годов в творчестве Ясинского произошел поворот от проблем, выдвигавшихся жизнью, к защите ценностей «чистого искусства». В 90-х годах в творчестве Ясинского выявляются охранительные тенденции, он становится сотрудником консервативной печати.

Как литературный критик Ясинский высоко отзывался о книгах Чехова «Дуэль», «Хмурые люди», «В сумерках», «Пестрые рассказы»: «Из молодых беллетристов, выступивших на литературное поприще в восьмидесятых годах, Антон Чехов бесспорно самый даровитый, и его ожидает блестящая литературная будущность»[2],— писал он. Он более тонко и правильно понимал творчество Чехова, чем, скажем, народническая критика, постоянно упрекавшая писателя в «холодности». По поводу рассказа «Убийство», например, он утверждал, что «холодность» эта есть «редкий дар» объективности, которая сродни таланту Толстого. Общение писателей, познакомившихся в 1889 году, поддерживалось в первой половине 90-х годов. Отношение Чехова к творчеству Ясинского не было однозначным. 3 апреля 1888 года он писал Суворину: «Ясинский непонятен (это или добросовестный мусорщик, или же умный пройдоха)...» Эта «непонятность» в немалой мере вызывалась манерой Ясинского, в которой фантазия и живая наблюдательность сочетались с небрежностью, эскизностью письма, развязностью стиля. Но некоторые рассказы Ясинского Чехову нравились. Так, очерк «Пожар» (1888) Чехов считал

---

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 19, кн. 2, с. 38.

[2] Журнал «Труд», 1892, № 2, с. 479.

«превосходной вещицей» (письмо Леонтьеву-Щеглову от 4 февраля 1888 г.), о повести «Дача на Черной речке» (1894) сказал, что «Ясинский выше Щеглова» (А. С. Суворину от 26 июня 1894 г.).

Признавая за Ясинским такие человеческие качества, как доброжелательность и внимательность (в письме к Л. А. Авиловой от 19 марта 1892 г.), Чехов одновременно видел и его беспринципность, проявившуюся в частности в согласии Ясинского сотрудничать в газете «Новое время», ранее подвергшей его произведения самой уничижительной критике. Та же беспринципность Ясинского сказалась и в 1896 году во время провальной премьеры чеховской «Чайки» в Александринском театре, когда некоторые писатели, рецензенты повели себя в высшей степени некорректно по отношению к драматургу. Чехов вынужден был зачислить Ясинского в круг тех своих знакомых литераторов, с которыми он «дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копья» (А. С. Суворину, 14 декабря 1896 г.) и которые в театре подвергли его глумлению.

В мемуарной книге Ясинского «Роман моей жизни» (М.—Л., 1926) есть глава, посвященная Чехову.

После Октябрьской революции Ясинский принимал участие в работе Пролеткульта, редактировал журналы «Красный огонек» (1918), «Пламя» (1919). В 1919 году вышли сборники его стихотворений «Воскреснувшие сны», «Книга любви и скорби», «На земле», пьеса «Последний бой». В 1923 году он осуществил перевод поэмы Ф. Энгельса «Вечер», Умер Ясинский в 1931 году в Ленинграде,

ВТУПЕНКО

Рассказ печатается по изданию: И. Ясинский. Осенние листы. Новые рассказы. СПб., изд. А. С. Суворина, 1893.

[1] *Бисмарк* — см. коммент. на с. 434. *Гладстон Уильям Юарт* (1809—1898) — английский государственный деятель.

[2] *«Московские ведомости»* — газета, выходившая с 1756 по 1917 г. Со второй половины XIX в. стала крайне реакционной.

[3] *«Русские ведомости»* — газета, выходившая в Москве с 1863 по 1918 г. В 80-е годы имела либерально-демократическое, народническое направление.

[4] *Василий Темный* (Василий II, 1415—1462) — великий князь Московский (с 1425). В 1446 г. был ослеплен его противниками,

претендентами на московский престол (отсюда и прозвище — «Темный»).

[5] На Страстном бульваре в Москве находилась редакция газеты «Московские ведомости».

[6] См. коммент. на с. 448.

[7] Писатель Иван Александрович Гончаров (1812—1891) с 1856 г. был цензором Петербургского цензурного комитета, с 1863 по 1867 г.— членом совета министров по делам книгопечатания.

[8] *Татьянин день*, день св. Татьяны по церковному календарю — 12 января, дата основания Московского университета (учрежден в 1755 г.). Татьянин день ежегодно отмечался студентами и бывшими выпускниками университета.

[9] *Греч* Николай Иванович (1787—1867), *Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789—1859) — русские журналисты и писатели, издававшие совместно реакционную газету «Северная пчела».

ГРАФ

Рассказ печатается по изданию: И. Ясинский. Осенние листы. Новые рассказы. СПб., изд. А. С. Суворина, 1893.

[1] *Румянцев* Петр Александрович (1725—1796) — русский полководец, государственный деятель, граф. В русско-турецкую войну 1768—1774 гг. успешно командовал армией, получил чин генерала-фельдмаршала и почетное наименование Задунайский.

ГРИША ГОРБАЧЕВ

Рассказ впервые опубликован в журнале «Русское обозрение» (1890, № 2). Печатается по изданию: И. Ясинский. Осенние листы. Новые рассказы. СПб., изд. А. С. Суворина, 1893.

[1] *Льюис* Джордж Генри (1817—1878) — английский литературный критик и философ, автор «Истории философии в биографиях» (русский перевод 1865 г.— «История философии от начала ее в Греции до настоящего времени»).

[2] *Кок Анри де* (1821—1892) — французский писатель, автор бульварных романов.

[3] *Базаров* — герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862).

[4] Лозунгом, великими принципами французской буржуазной революции 1789—1794 гг. были «свобода, равенство, братство».

[5] Книга «Положение рабочего класса в России» (1869) принадлежала перу русского экономиста и социолога Н. Флеровского

(псевдоним Берви Василия Васильевича, 1829—1918). Эту книгу высоко ценили К. Маркс и Ф. Энгельс, ее использовал в своих трудах В. И. Ленин.

[6] *Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ.

И. Л. ЛЕОНТЬЕВ-ЩЕГЛОВ

Беллетрист и драматург Иван Леонтьевич Леонтьев, выступавший под псевдонимом Ив. Щеглов, родился в Петербурге в 1856 году. После окончания Павловского военного училища стал артиллерийским офицером, служил в Крыму, в Бессарабии, участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. (в Закавказье). В 1883 году вышел в отставку в чине капитана и занялся литературной деятельностью. Первые рассказы Щеглова («Первое сражение», «Поручик Поспелов»), появившиеся на страницах «толстых» журналов («Русское обозрение», «Вестник Европы») в 1881 году и привлекшие внимание читателей, были посвящены военному быту, впечатлениям, связанным с войной. Они встретили сочувственное отношение М. Е. Салтыкова-Щедрина, напечатавшего рассказ молодого писателя «Неудачный герой» в «Отечественных записках». В военных рассказах Щеглова, объединенных в книгу «Первое сражение» (1887), современная писателю критика отмечала следование гуманистическим традициям Льва Толстого (его рассказов «Набег», «Рубка леса», «Севастопольских рассказов»), сравнивала их с рассказами Вс. Гаршина «Воспоминания рядового Иванова», «Четыре дня», «Трус» [1].

В 1887 году появился роман Щеглова «Гордиев узел», запечатлевший картины дворянского и мещанского быта 80-х годов. Чехов, внимательно следивший за литературными успехами Щеглова и симпатизировавший ему, написал о романе автору 22 февраля 1888 года: «Лучшее из Ваших детищ — это «Гордиев узел». Это труд капитальный. Какая масса лиц и какое изобилие положений!.. В этом романе Вы не плотник, а токарь».

Познакомившись со Щегловым в декабре 1887 года, Чехов более пятнадцати лет состоял с ним в переписке, поддерживал дружеские отношения. Чехову импонировало разнообразие творчества Щеглова, которого он не находил у других писателей-восьмидесятников. «Это разнообразие... может служить симптомом не распу-

---

[1] См.: К. К. Арсеньев. Критические этюды по русской литературе, т. 2. СПб., 1888, с. 225—229.

щенности, как думают иные критики, а внутреннего богатства»,— отмечал он в том же письме от 22 февраля 1888 года.

В последующее время Щеглов по-прежнему много работал во всех жанрах, но творчество его 90-х — начала 900-х годов заметно уступает по своим художественным достоинствам начальному периоду. Смех, звучащий в его юмористических рассказах, чересчур беспритязателен, «добродушен». А повесть «Около истины» (1892), шаржированно воспроизводящую последователей учения Толстого, Чехов назвал «мракобесием 84-й пробы» (И. И. Ясинскому, 16 апреля 1892 г.). Неудачной оказалась и его попытка осмыслить духовное состояние интеллигента-восьмидесятника в повести «Убыль души» (1892). Надежды Щеглова на будущее России связаны с упованием на «истинно русское», патриархальное и противопоставлены «разлагающему» влиянию западного прогресса (роман «Мильон терзаний»).

Еще слабее выглядела драматургия Щеглова. Чехов настойчиво рекомендовал ему оставить писание пьес, видя их невысокий литературный уровень. Одобрительно отзываясь о комедии «В горах Кавказа», написанной «без претензий на мораль» и потому имевшей «выдающийся успех», Чехов писал в то же время о пьесе «Дачный муж»: «Ведь кроме турнюров и дачных мужей на Руси есть много еще кое-чего смешного и интересного... надо бросить дешевую мораль» (А. Н. Плещееву, 4 октября 1888 г.). Наиболее удачными из драматических сочинений Щеглова Чехов считал его водевили, одноактные шутки.

Леонтьев-Щеглов хорошо знал актерскую среду, повседневный театральный быт. Это способствовало правдивой разработке театральной темы в ряде рассказов 80-х годов («Кожаный актер», «Корделия»). Щеглов занимался проблемами народного театра, которому посвящены его книги: «О народном театре» (1895), «В защиту народного театра» (1903), «Народ и театр» (1911).

После смерти Чехова Леонтьев-Щеглов напечатал воспоминания о нем в ежемесячных «Литературных приложениях к «Ниве» (1905, кн. 6 и 7); перепечатаны в сборнике «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» (М., 1947, 1952, 1954). Ценным дополнением к этим воспоминаниям являются извлечения из дневника Щеглова, дающие возможность с достаточной полнотой обозреть историю взаимоотношений двух писателей (см. «Литературное наследство. Чехов», т. 68. М., Изд-во АН СССР, 1960).

Умер писатель в 1911 году в Кисловодске.

МИНЬОНА
(Из хроники Мухрованской крепости)

Рассказ опубликован в газете «Новое время» (1887, 25 декабря, № 4248). Печатается по изданию: Иван Щеглов. Корделия. СПб., изд. А. С. Суворина, 1891.

Чехов приветствовал рассказ: «Миньона» — прелесть. Браво! Бис! Щеглов, Вы положительно талантливы! Вас читают! Пишите!» (И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 1 января 1888 г.). В ответ на просьбу автора указать на недостатки рассказа Чехов 22 января того же года пишет: «Мне кажется, что Вы, как мнительный и маловерный автор, из страха, что лица и характеры будут недостаточно ясны, дали слишком большое место тщательной, детальной обрисовке. Получилась от этого излишняя пестрота, дурно влияющая на общее впечатление. Боясь, что читатель Вам не поверит, Вы в доказательство того, как может иногда сильно влиять музыка, занялись усердно психикой Вашего фендрика; психика Вам удалась, но зато расстояние между такими моментами, как «amare, morire» и выстрелом, у Вас получилось длинное, и читатель, прежде чем дойти до самоубийства, отдыхает от боли, причиненной ему «amare, morire». А нельзя давать ему отдыхать; нужно держать его напряженным... Эти указания не имели бы места, если бы «Миньона» была большою повестью. У больших, толстых произведений свои цели, требующие исполнения самого тщательного, независимо от общего впечатления. В маленьких же рассказах лучше недосказать, чем пересказать...»

[1] *Патти* — см. коммент. на с. 444.

[2] *«Гугеноты»* (1835) — опера французского композитора Дж. Мейербера.

[3] *Чимароза Доменико* (1749—1801) — итальянский композитор.

[4] Под общим названием «Вильгельм Мейстер» вышли пятый и шестой тома «Собрания сочинений Гете в переводах русских писателей, изданных под редакциею Ник. Вас. Гербеля» (СПб., 1878, 1879). В пятом томе напечатан роман «Ученические годы Вильгельма Мейстера», в шестом — роман «Годы странствований Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся».

[5] В романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» главному герою в его театральных скитаниях сопутствует не знающая своей семьи, выступающая с бродячими актерами девочка Миньона — трогательный, романтический образ, символ любви и страдания, над которым тяготеет сознание неискупленного греха. Миньона поет песни, в которых звучит тоска по неизвестной ей родине, по человеческому теплу. Она умирает, так и не узнав, что принадлежала

к высокородной итальянской семье. По роману написана опера французского композитора А. Тома «Миньон» (1866). Образ Миньоны, кроме того, вдохновил многих композиторов на создание песен и романсов, приобретших во второй половине XIX века большую популярность.

КОЖАНЫЙ АКТЕР

Рассказ опубликован в газете «Новое время» (1889, 10 октября, № 4891). Печатается по изданию: Иван Щеглов. Корделия. СПб., изд. А. С. Суворина, 1891.

21 октября 1889 г. Чехов писал Щеглову: «Читал я Вашего «Кожаного актера» и очень рад, что могу салютовать Вам. Рассказ *превосходный*. Особенно пластично то место, где мелькает малый в дубленом полушубке. Молодец вы, Жанушка. Только на кой черт в этом теплом, ласковом рассказе сдались Вам такие жителевские[1] перлы, как *«облыжный»*, *«бутербродный»* и т. п.? К такой нежной и нервной натуре, каковою я привык считать Вас, совсем не идут эти ернические слова. Бросьте Вы их к анафеме, будь они трижды прокляты... Очень хорошо «нажми педаль», хороша рожа у гастролера. Заглавие тоже хорошее».

При подготовке рассказа для сборника Щеглов убрал слово «облыжный».

[1] *Коломна* — пригород Петрбурга.

[2] *«Орфей в аду»* (1858) — оперетта французского композитора Ж. Оффенбаха.

[3] *«Князь Серебряный»* — инсценировка по роману А. К. Толстого (1817—1875).

[4] *Актер Несчастливцев* — герой пьесы А. Н. Островского «Лес» (1870), поставленной в 1871 г. в петербургском Александринском театре.

[5] Крупнейший частный театр в России был основан в Москве в 1882 г. русским театральным деятелем Ф. А. Коршем (1852—1923).

[6] Книга «Театральное искусство» Боборыкина Петра Дмитриевича (1836—1921), писателя, драматурга и теоретика театра, вышла в Петербурге в 1872 г.

[7] Цитата из драмы Ф. Шиллера «Разбойники» (1781).

[8] *Лесное* и *Озерки* — пригородные местности Петербурга, имевшие летние театры.

---

[1] Житель — псевдоним публициста «Нового времени» А. А. Дьякова.

[9] *Номады* — древние кочевники.

[10] *Ливадия* — пригород Петербурга.

[11] *Воляпюк* — жаргон.

[12] *Бурбоны* — королевская династия, правившая во Франции в XVI—XIX вв.

[13] См. коммент. на с. 459.

[14] *Калабрия* — область на юге Италии, как и Сицилия, знаменитая в XIX — начале XX вв. своими разбойничьими шайками.

[15] *Фальстаф* — герой комедии У. Шекспира «Виндзорские проказницы» (1597).

[16] *Чацкий* — герой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1828), *Фердинанд* — герой драмы Ф. Шиллера «Коварство и любовь» (1784).

СОДЕРЖАНИЕ

П 34 **Писатели чеховской поры: Избранные произведения писателей 80—90-х годов: В 2-х т.— М.: Худож. лит., 1982.**
Т. 1. Вступит. статья, сост. и коммент. С. В. Букчина. 1982. 463 с.

В сборник вошли избранные произведения писателей 80—90-х годов прошлого столетия (Лейкина, Потапенко, Леонтьева-Щеглова, Ал. Чехова, Баранцевича и др.), когда рос и мужал талант А. П. Чехова. Писатели эти не издавались давно и уже забыты читателями. Однако сто лет назад многие из них были любимцами публики, выразителями общественных идей и настроений своего времени, некоторые их произведения составляют безусловную, непреходящую художественную ценность.

П $\frac{4702010100-043}{028(01)-82}$ 38-82 Р1

**СБОРНИК
«ПИСАТЕЛИ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ
80—90-х ГОДОВ»**

Том 1

Составитель
Семен Владимирович Букчин

Редактор
В. Перссыпкина

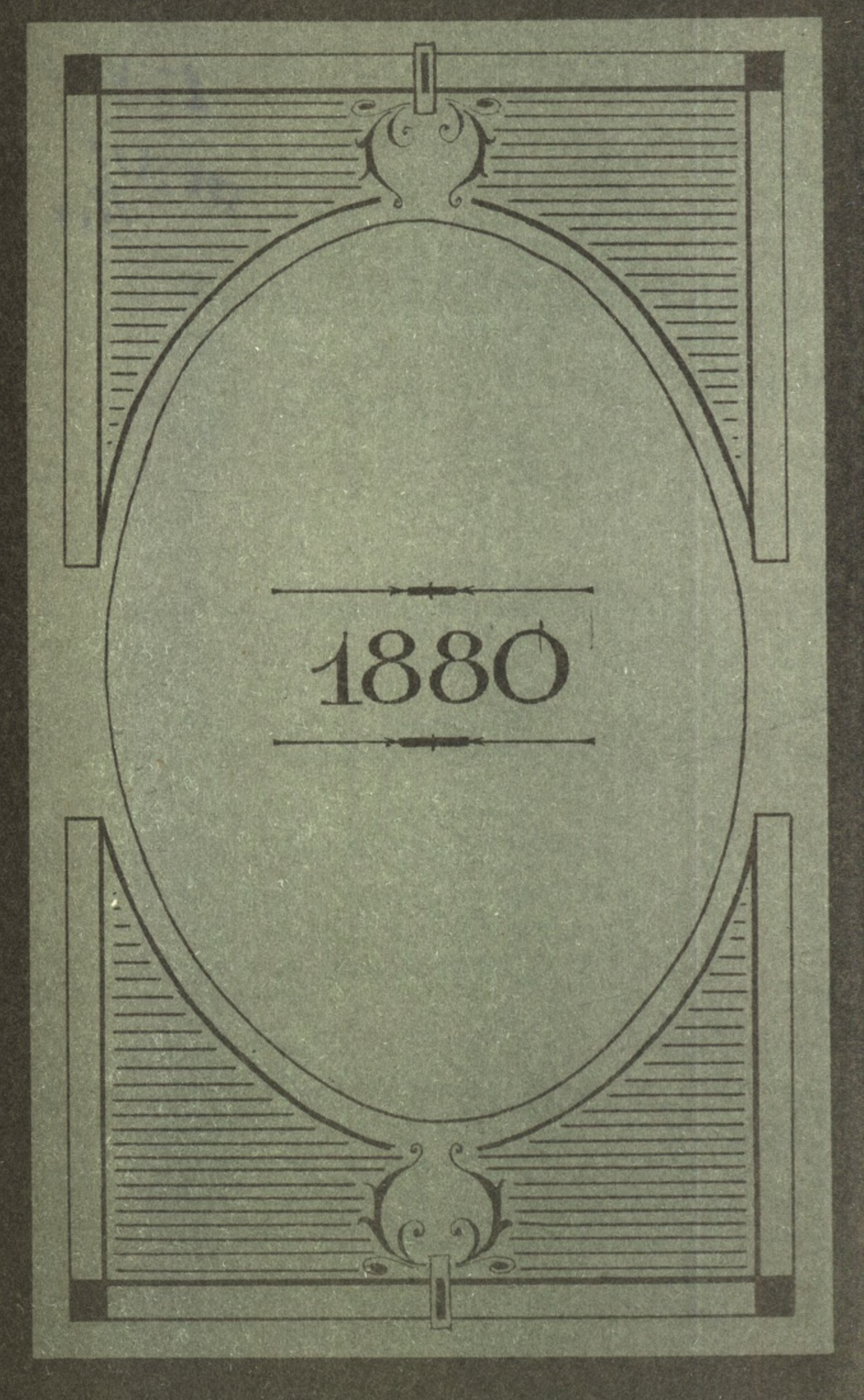
Художественный редактор
В. Серебряков

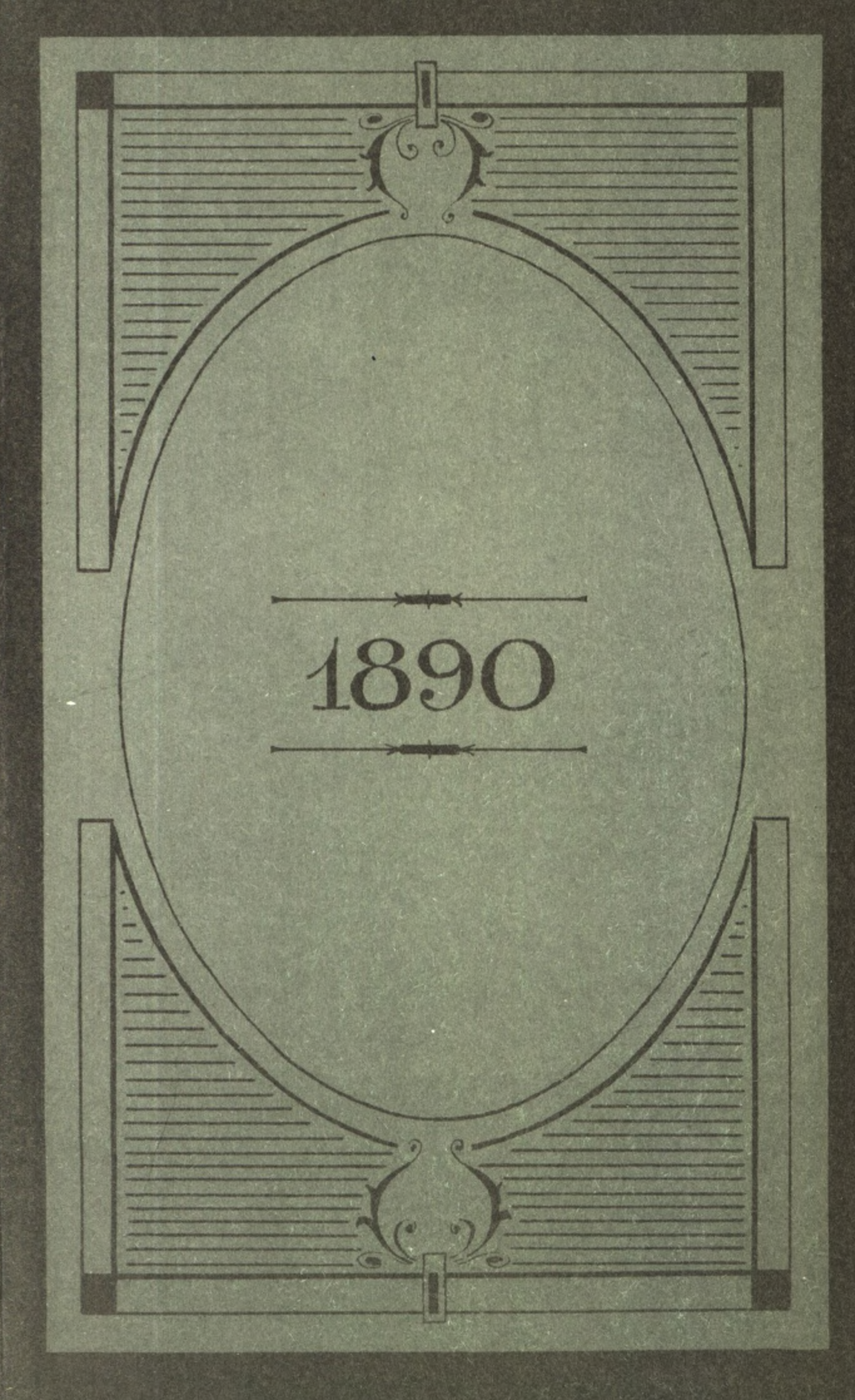
Технические редакторы
Л. Синицына
и В. Нефедова

Корректоры
Т. Сидорова и Н. Усольцева

ИБ № 2511

Сдано в набор 07.05.81. Подписано к печати 18.12.81. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 26,03. Тираж 100 000 экз. Изд. № II—535. Заказ № 1208. Цена 2 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16. Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли г. Чехов, Московской области. Зак. 691


1880



1890

